63.3 (5Уз6)
И-90

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

63.3(543)
И90

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

(ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНИЕ ВЕКА)

Под редакцией
Б. Г. Гафурова и Б. А. Литвинского

247175
Центральная городская
БИБЛИОТЕКА
г. Ташкента



ПОГАШЕНО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1976

9(С)1
И 90

1977 ГБ УзССР 12264

Сборник содержит исследования по истории, археологии, нумизматике, метрологии, истории материальной культуры, искусства и идеологии народов Средней Азии с эпохи становления классового общества до позднего средневековья. В статьях по-новому рассматриваются как широко известные, так и недавно открытые письменные и вещественные памятники, а также вводится в научный оборот материал, накопленный в ходе исследований последних лет. Сборник рассчитан на специалистов — историков, археологов, лингвистов, искусствоведов, этнографов.

И $\frac{80104\text{-}152}{013(02)\text{-}76}$ 248-75

© Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 4

I. ДРЕВНОСТЬ

Лелеков Л. А. (Москва), Отражение некоторых мифологических воззрений в архитектуре восточноиранских народов в первой половине I тысячелетия до н. э. 7
Пьянков И. В. (Душанбе), Бактрийский гриф в античной литературе 19
Горбунова Н. Г. (Ленинград), Фергана по сведениям античных авторов 26
Кошеленко Г. А. (Москва), Генеалогия первых Аршакидов (еще раз о нисийском остраке № 1760) 31
Пугаченкова Г. А. (Ташкент), Бактрийский жилой дом (к вопросу об архитектурной типологии) 38
Ставиский Б. Я. (Москва), О северных рубежах кушанской Бактрии 43

II. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Литвинский Б. А. (Москва), Проблемы этнической истории древней и раннесредневековой Ферганы 49
Вайнберг Б. И., Новгородова Э. А. (Москва), Заметки о знаках и тамгах Монголии . . 66
Беленицкий А. М., Маршак Б. И. (Ленинград), Черты мировоззрения согдийцев VII—VIII вв. в искусстве Пенджикента . . . 75
Большаков О. Г. (Ленинград), Хронология восстания Муканны 90
Шишкина Г. В. (Самарканд), Северные ворота древнего Самарканда 99

III. РАЗВИТОЕ И ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Прибыткова А. М. (Москва), О методе проектирования средневековых зодчих 107
Акимушкин О. Ф., Иванов А. А. (Ленинград), К чтению надписей с именами мастеров на мавзолеях Шах-и зинда 110
Бородина И. Ф. (Москва), Декоративная система внутреннего пространства мавзолея Гури-Эмир в Самарканде 116
Давидович Е. А. (Москва), О происхождении и значении термина *мири* в денежном хозяйстве Средней Азии XV — начала XX в. . . . 124
Маньковская Л. Ю. (Ташкент), К исследованию некоторых архитектурных памятников Шахрисябза 128
Сухарева О. А. (Москва), Очерки по истории среднеазиатских городов 132
Чехович О. Д. (Ташкент), Городское самоуправление в Ташкенте XVIII в. 149
Давидович Е. А. (Москва), *Егани А. А.* (Душанбе), *Чехович О. Д.* (Ташкент), Новые материалы по метрологии Средней Азии 161
Список сокращений 167
Abstracts of papers included in the collection . . 168
Иллюстрации 173

ОТ РЕДАКЦИИ

Народы Средней Азии на протяжении тысячелетий создали высокую цивилизацию, ставшую неотделимой частью истории человечества. Советские востоковеды — археологи, лингвисты, нумизматы, историки архитектуры, литературоведы, историки науки, этнографы — в своих трудах, опираясь на марксистско-ленинскую методологию, воссоздали картину поступательного развития среднеазиатской цивилизации.

Результаты этих работ, с одной стороны, развеяли миф о «провинциальности» среднеазиатской истории и культуры, разоблачили полную несостоятельность европоцентристских измышлений. С другой стороны, они оказали значительное влияние на прогрессивную историографию стран Востока.

При изучении истории каждой из республик Средней Азии, культурного наследия отдельных народов этого региона была выявлена безусловная общность их исторических судеб. Этносы среднеазиатских народов складывались на базе общего древнего субстрата; их история и культура настолько тесно переплетаются, что часто невозможно определить границы или хотя бы примерные разграничительные линии между двумя народами и культурами. Особенно тесно взаимосвязаны история и культура двух близкородственных народов — узбеков и таджиков. Близость и даже общность исторических судеб среднеазиатских народов в полной мере сохраняется и в настоящее время. Все это выдвигает в качестве важнейшей перспективной задачи создание капитального труда по истории и культуре народов Средней Азии.

В этом труде предстоит полно и всесторонне раскрыть ход и глубинную сущность исторических процессов, протекавших на территории Средней Азии; показать роль и значение истории Средней Азии в истории Востока; дать развернутое представление о вкладе народов Средней Азии в духовную и материальную культуру человечества; нарисовать картину широких экономических и культурных взаимосвязей; охарактеризовать во всем объеме этногенетические процессы и этапы сложения и развития среднеазиатской этнокультурной общности.

Публикацию материалов и исследований по всем аспектам этой проблемы Институт востоковедения АН СССР начинает в сборниках по истории и культуре народов Средней Азии. Эти сборники будут включать работы специалистов всех профилей, занимающихся разработкой истории и истории культуры Средней Азии.

Предлагаемый вниманию читателей первый сборник содержит исследования по истории, археологии, нумизматике, метрологии, истории материальной культуры, искусства и идеологии народов Средней Азии с эпохи становления классового общества до позднего средневековья. В статьях по-новому рассматриваются как широко известные, так и недавно открытые памятники письменности и материальной культуры, а также вводится в научный оборот материал, накопленный в ходе исследований последних лет. Статьи могут содержать и дискуссионные положения, не разделяемые редакторами сборника (далее, в тексте сборника это специально не оговаривается).

Подготовка сборника была осуществлена редакционно-издательской группой Отдела советского Востока Института востоковедения АН СССР в составе: М. Н. Погребовой, Д. С. Раевского и Л. А. Чвырь.

I

ДРЕВНОСТЬ

Л. А. Лелеков

ОТРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ ВОСТОЧНОИРАНСКИХ НАРОДОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н. Э.

I тысячелетие до н. э. оставило в Приаралье группу своеобразных погребальных памятников. Речь идет о сырцовых мавзолеях Северного Тагискена (IX—VI вв. до н. э.), Кой-Крылган-калы (IV в. до н. э.), Чирик-рабата (III в. до н. э.). Как показали раскопки Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, для похоронного обряда здесь было характерно сожжение не только тела умершего, но и всей усыпальницы. Затем над пожарищем возводился курган. Некоторым специалистам намеренное сжигание монументальных сырцовых гробниц казалось всецело лишенным смысла [17, стр. 234—236]. Тем не менее выжечь все деревянные столбы, жерди и оплетки внутреннего каркаса в огромном мавзолее Чирик-рабата, прокалить и даже ошлаковать обмазки полов, стен, выкладок и уступов во всех его камерах [21, стр. 208] мог только длительно бушевавший ритуальный огонь, но не случайное возгорание. Случайный пожар мог бы произойти раз или два, но следы огня засвидетельствованы на ряде памятников с IX в. до н. э. по III в. н. э. Кроме Чирик-рабата признаки намеренного воспламенения обнаружены в мавзолеях Северного Тагискена, Инкардарьи и в грандиозном заупокойном храме Кой-Крылган-калы.

Предание огню приаральских сырцовых гробниц — частный случай ритуального сожжения усыпальниц, многократно засвидетельствованного у различных индоевропейских народов. Особо следует выделить сожжения деревянных надмогильных сооружений в Южном Тагискене, Уйгараке [3, стр. 197] и в сарматском ареале [16, стр. 215], поскольку они происходили в зоне культур, родственных приаральской.

Зачем древние индоевропейские племена сжигали свои усыпальницы, часто трудновоспламеняемые? Есть основания полагать, что данный обряд был связан с космологической символикой самих погребальных сооружений. Гробница в индоиранской и всей индоевропейской мифологии трактовалась как микрокосмос, соответственно ее планировка осмыслялась как миниатюрное воспроизведение структуры Вселенной. Эти представления достаточно четко выражены в текстах Ригведы [X, 18, 13; см. 35, стр. 836] и других литературных памятников самых различных эпох [31; 33, стр. 29—32; 47, стр. 80—81, 107; 24, стр. 731; 29, стр. 96—97]. Поскольку религиозно-мифологические системы древних индоевропейцев представляли структуру мира (т. е. земли и неба) в виде круга и квадрата с общим для них центром, то и рассматриваемые приаральские мавзолеи тоже имели в плане круг с вписанным в него квадратом (реже — квадрат с вписанным кругом). Более поздние исторические эпохи — античность, средневековье — воплощали те же идеи в архитектурных формах купольных гробниц, тоже сочетавших вписанные друг в друга круг и квадрат. Семантика образа, усложненная и заново переосмысленная на новых этапах исторического развития, все же сохраняла исходную старую основу, пронесенную сквозь тысячелетия. Так, знаменитый мавзолей Санджара (XII в.) называли в момент строительства «домом будущей жизни» [5, стр. 134] — почти теми же словами, какими описывает усыпальницы Ригведа.

Ритуальное сожжение гробниц, подражавших устройству Вселенной, по всей видимости, имитировало мировой пожар, которым, по архаическим индоевропейским преданиям, должен быть в конце веков обновлен мир. Об этом эсхатологическом пожаре, обязательном условии достижения вечности, по-своему рассказывают в широком диахроническом интервале Авеста, Рамаяна, Махабхарата, Энеида, пехлевийские тексты, Эдда. Если у восточноиранских народов идея огненного обновления бытия и приобщения к вечности выразилась в несколько наивном погребальном ритуале, то поздний зороастризм, строжайше разделив культ ог-

ния и культ предков, в Тагискене слитые воедино, развивал ее в сфере отвлеченной и сухой теологии [8, стр. 128—131].

Пожалуй, самым известным примером сожжения монументальных гробниц, содержавших в плане взаимовписанные круг и квадрат, может служить описание похорон Патрокла в Илиаде (песнь XXIII, 164—165):

Сруб они вывели в сотню ступней шириной и длиною
И на вершину его мертвеца положили, печалясь.

Итак, гробница представляла собой *квадратный* бревенчатый сруб. Далее в поэме повествуется о сожжении сруба, который долго не загорался — к огорчению участников погребения. Когда сруб наконец полностью сгорел, из центра пожарища, натянув веревку, описали гигантский круг и по этой разметке насыпали над пепелищем высокий курган. Классический индоевропейский обряд, таким образом, очень точно описан в Илиаде (притом в его наиболее распространенном варианте). Точно такие же обряды спустя две с лишним тысячи лет совершали на русской Черниговщине, где знатных покойников сжигали в квадратной деревянной «домовине», или «краде великой», т. е. в бревенчатом срубе, возможно несколько меньшем, чем тот, что описан в Илиаде, но зато с деревянным перекрытием. Над пепелищем точно так же возводили грандиозный курган [13]. Остается добавить, что в Южном Тагискене и Уйгараке погребальный обряд типологически был тождествен русской языческой Черной Могиле X в. Здесь, к югу от Аральского моря, вождей также сжигали в легких столбовых конструкциях с перекрытиями, иными словами, в погребальных шатрах, притом квадратных очертаний. Остатки пожарища засыпали круглыми в плане курганами. Словом, типология данного обряда тысячелетиями сохранялась в разных углах индоевропейского мира. Без глубокого идеологического обоснования это было бы невозможно. Греки, иранцы и славяне, очевидно порознь, хранили общее индоевропейское наследие. Не исключено, впрочем, что в славянской обрядности отразилось влияние восточноиранского мира, так как археологами сейчас надежно доказано, что иранский субстрат принимал участие в процессе формирования части восточных славян [15, стр. 295].

Как отмечалось выше, особенностью приаральского варианта общего для всех индоевропейских племен погребального обряда был материал гробниц — сырцовая кладка. Зажечь ее было почти невозможно, но древние жители упорно добивались поставленной перед собой цели. Это видно на примере Кой-Крылган-калы [7, стр. 227—230], где архаический обряд кремации нашел особенно яркое воплощение. Замена деревянных усыпальниц сырцовыми в безлесном Приаралье вообще-то понятна, но отметим, что мавзолеи Тагискена — первые по времени сырцовые сооружения здесь; бытовых построек из кирпича в начале I тысячелетия до н. э. еще не возводили. Сырцовая кладка была заимствована тагискенцами с юга, откуда мог быть занесен и сам обряд (например, с территории культуры Гиссар III). Там как будто впервые обнаруживает себя сожжение сырцового погребального сооружения. В. И. Сарианиди показал, что это событие нельзя объяснять военным вмешательством извне, и даже наметил связь между пожаром и ритуальным обрядом погребения, но предпочел осторожно трактовать эту связь как нежелательную случайность [14, стр. 177—178]. Между тем, если считать сожжение гробницы намеренным, то это послужит еще одним аргументом в пользу индоевропейского происхождения культуры Гиссар III [36, стр. 181].

О том, насколько детально осмыслялись планировки индоевропейских гробниц при других типах погребений, особенно наглядно свидетельствуют тексты Шатапатхи Брахманы. В них излагается, в частности, что квадратные гробницы создавались богами-дэвами, а круглые — их старшими братьями асурами (почитавшимися в соседнем Иране, но отвергнутыми послеведической религией Индии). Преобладание квадрата в очертаниях древнеиндийских гробниц прямо связывается Шатапатхой Брахманой с четырьмя сторонами света, откуда были изгнаны асуры и где утвердились «благие боги» (XIII, 8, 1, 7) [56, стр. 55—57 и 61—62].

Менее ясен следующий признак богопочитания в древнеиндийском погребальном ритуале. Приверженцам «благих богов» и противникам асуров надлежало возводить могильную насыпь прямо на уровне дневной поверхности, «не отделяя ее от земли». Поклонники же асуров не только подчеркивали круг в планировке гробницы, но и отделяли ее от земли какой-либо каменной или кирпичной выкладкой (см. Шатапатха Брахмана, XIII, 8, 2, 1). Описание Шатапатхой Брахманой круглых усыпальниц на каком-то подобии фундамента (или же с кольцевыми выкладками) напоминает реальные могильные курганы эпохи степной бронзы, приаральские сакские мавзолеи и, конечно, величественные сооружения Кой-Крылган-калы и Чирик-рабата. Напомним еще раз, что, по Шатапатхе Брахмане, асуры были изгнаны богами именно на север, т. е. туда, где преобладали *круглые* планировки.

Круглые гробницы, опоясанные кольцами из камней, были свойственны и некоторым иным индоевропейским народам. В том же хроноло-

гическом отрезке VIII—VI вв. до н. э. могут быть названы курганные могильники некрополя Питане такого же типа [10, стр. 178]. Пока трудно утверждать, что они были продолжением ближневосточного почитания асуров во II тысячелетии до н. э., которое засвидетельствовано известными митаннийскими текстами, но это предположение не лишено вероятности. Во всяком случае, нужно учитывать общеиндоевропейский фон арийских погребальных обрядов. Приходится признать, насколько прав был Ж. Дюмезиль в трактовке индоевропейской мифологии как единой системы.

Та же Шатапатха Брахмана устраняет всякие сомнения в символическом тождестве ритуального очага священного огня — разумеется, квадратной формы — с погребальной постройкой. Если умершему доводилось когда-либо ранее совершить обряд воздвижения ритуального очага, то его гробницу полагалось строить именно наподобие очага, так как алтарь огня «есть тело жертвователя» (XIII, 8, 1, 17). В этом случае мы видим тройной перенос семантики: ритуальный очаг — гробница — тело, причем последнее звено выступает в традиционном для индоевропейской мифологии значении образа микрокосма.

Вожди, которых погребали в царских усыпальницах Приаралья, по обычаю арийских племен, соединяли в себе сакральную и мирскую власть (по Ж. Дюмезилю, объединяли в своем лице первую, религиозно-магическую и вторую, воинскую функции). Они почти наверняка воздвигали при жизни священные огни. На это прямо указывает доавестийский эпос — в повествовании о Йиме первом царе и первом жреце, т. е. носителе обеих названных функций. Первую, магически-ритуальную функцию Йимы подтверждает как раз установление им «огня жрецов», именовавшегося в поздней сасанидской классификации Атур-Фарнбаг. Вероятно, и гробницы приаральских царьков рассматривались дозороастрийским обществом в качестве символических аналогов ритуальным очагам священного огня.

Шатапатха Брахмана монотонно и последовательно отождествляет ритуальный очаг с земным миром, с небом, с солнцем, с антропоморфным космическим телом, со всем бытием и всеми богами. После каждой пары уподоблений следует рефрен, поясняющий, что предложенное тождество знаменует равенство ритуального очага с небесным миром (X, 5, 4, 6; 9; 11; 19). Нетрудно видеть, что вся система уподоблений нанизана на стержневую идею огненного первоначала Вселенной. Только метафоричность изложения маскирует принципиальное совпадение его с учением Гераклита, восходящим к тем же общим индоевропейским истокам. Поскольку в данную систему включено и понятие гробницы, мы получаем самое веское из доказательств ее космологического осмысления и прямой связи с культом огня.

Упомянутые документальные свидетельства архаических текстов и специальные исследования устраняют сомнения по поводу религиозно-мифологического осмысления архитектуры индоевропейских (в том числе приаральских) погребальных сооружений. Геометрическая четкость их планов, так или иначе сочетавших круг и квадрат, была обусловлена космологическими уподоблениями гробницы «обитаемому миру».

Архитектурная иконометрия на Среднем и Дальнем Востоке лучше изучена на позднем буддийском материале [55, стр. 795—809; 46], но нет никаких оснований пренебрегать ею в анализе предшествующего евразийского материала, откуда, несомненно, были почерпнуты и буддийские уподобления.

Безусловно, символичен и ритуальный пожар. Пламя, уничтожавшее деревянные микрокосмы ахейцев, балтов, германцев, славян, обитателей Южного Тагискена и Уйгарака и их сырцовые аналоги на Северном Тагискене, олицетворяло мировой космологический первопринцип, тот, который сформулировал Гераклит Эфесский и который задолго до него был изложен в Ригведе, Авесте и Упанишадах (Бр, V, 9, I или Чх, III, 13, 7—8). Сожжение гробницы отражало — на уровне микрокосма — великий мировой пожар, призванный обновить бытие, вернуть мир в конце веков к его началу, т. е. эсхатологические аспекты индоевропейского мифа. Этот мировой пожар образно воспет в Эдде, где он венчает Рагнарок, сумерки богов, прямые и косвенные ссылки на него переполняют Махабхарату и Рамаяну, Гаты Авесты восемь раз упоминают пламя эсхатологического очищения [42, стр. 348].

Синхронность, если не предшествование (что вероятнее), текстов Ригведы и Гат тагискенским мавзолеям снимает вопрос о сомнительности бытования столь сложных символических образов в коллективном сознании (весьма примитивном, по мнению некоторых археологов) древнего общества.

Еще более ранние, чем Ригведа и Авеста, хеттские источники называют место ритуального трупосожжения *ukturi* «вечный», «постоянный», «постоянный огонь» [6, стр. 272]. Понятие вечного огня у хеттов в основе своей тождественно логосу Гераклита и зороастрийской Арте, хотя, конечно, оно выступает не в столь теологически изысканной форме, как в Греции или в Иране [32]. Чрезвычайно детальна теология огня в Ригведе. Здесь огонь — первоисточник бессмертия даже для богов и

тем более для человека, космические, атмосферные и земные воплощения огня связывают все три ступени ведической космологии [22, стр. 28—32; 43, стр. 269—270]. В частности, возвращение земного огня к его космическому прообразу, в сферу духовного бытия (Ригведа, VII, 3, 3), хорошо объясняет, почему огонь в Ригведе именуется «стражем священного порядка» и «призван сопровождать к счастью», т. е. к бессмертию.

Наиболее отчетливое описание космологической функции огня дает старейшая из Упанишад — Брихадараньяка:

> «Поистине, тот мир, Гаутама, это жертвенный огонь. На этом огне боги совершают подношение веры» (Бр, VI, 2, 9)
> «Поистине, этот мир, Гаутама, это огонь.
> Поистине, человек, Гаутама, это огонь» (Бр, VI, 2, 11—12).

Здесь ясно прослеживается унаследованное из Ригведы объединение темой огня двух миров и духовной природы человека. Подобное объединение (но более смутно) видно и в хеттском ритуале трупосожжения.

Когда человек умирает, «то его несут к погребальному огню», продолжает автор Брихадараньяки, «на этом огне боги совершают подношение человека. Из этого подношения возникает человек, покрытый сиянием» (Бр, VI, 2, 14). Приведенный отрывок демонстрирует типологическую близость обряда к тагискенскому погребальному ритуалу. Аналогичные описания дают и прочие Упанишады, например Катха, где так излагается речь бога смерти Ямы: «Я поведаю тебе о небесном огне... Знай, что этот огонь — достижение бесконечного мира» (Кт, I, 1, 14). Очень важно прямое указание на небесный, трансцендентный огонь как на залог бессмертия. Это бесспорное доказательство символичности пожара, пожиравшего древнейшие индоевропейские могильники. Пламя этого земного пожара имитировало незримый огонь духовной сферы.

Аналогичная идея о восхождении от земного пламени к небесному по ступеням своеобразной огненно-световой лестницы развита в учении Упанишад о девадана — пути богов. Души праведных сначала входят в горящее пламя, затем в солнце, луну, молнию и, наконец, приобщаются к совершенному и предвечному свету Брахмана [30, стр. 54].

Все рассмотренные выше оттенки огненной космологии суммированы также в III книге Махабхараты, где «Повесть об Ангирасе» и «Возникновение Агни» образуют единый мистико-теософский трактат «о разных родах огней».

Тексты иранских источников не столь обильны деталями, как индийские, зато, как было отмечено Э. Бенвенистом и Л. Рену, они достовернее ведических [25, стр. 182]. Трактовка мировой роли огня в Гатах Авесты уже приводилась. Подчеркнуто эсхатологические акценты этой темы на таком раннем этапе предвещают уклон спекулятивной мысли канонического зороастризма в сторону от общей индоевропейской архаической традиции (которой достаточно близко следовал Гераклит и его предшественники в Индии). У Гераклита и в индийском эпосе бесконечное, замкнутое в цикле вечных повторений огненное обновление мира не имело ни начала, ни конца. Оно непрерывно воспроизводилось после определенного отрезка времени — так называемого «великого года» у Гераклита и синонимичной ему махаюги (или кальпы) индийских мифов. В ранней Авесте архаический циклизм с его несколько механистической моделью вечности начинает отступать перед так называемой линейной моделью. Мир, бытие получает точку отсчета в акте своего духовного творения Ахура-Маздой. Через три тысячи лет, в течение которых солнце и прочие светила не двигались, стояли на месте, мир обретает материальную форму. В конце веков ему предстоит заключительное огненное обновление и возврат в изначальную сферу духовного бытия. (Данную схему позднее унаследует и повторит христианство.) Именно авестийская эсхатология, распрямившая древний индоевропейский круг безначального мирового времени, дала повод И. Хертелю [38; 39] сосредоточить внимание на авестийских описаниях огня как владыки духовного царства, достигаемого в последней и неповторимой фазе мирового линейного цикла.

Доавестийское состояние собственно иранской огненной космологии представлено в Ясне Семи глав. Идею всеобщей первичности огня эта Ясна доносит в старом общеиндоевропейском обличье, требуя приносить первое поклонение огню (XXXVI, 1). Затем это же понятие выступает в специфичной именно для иранской мысли форме: огонь описан как тело Ахура-Мазды (XXXVI, 14). В этой же Ясне Семи глав проведено четкое различие земного и духовного мира (XXXV, 2 и 23). В целом космологический уровень Ясны тот же, что и у Шатапатхи Брахманы, где огонь тоже уподобляется антропоморфному космическому телу.

Все основные линии мистического осмысления огня как первоначала мира и средства приобщения к вечности, детализированные в Упанишадах, находят аналогии в ранней Авесте. Различие между индийским и иранским преданиями состоит в тяготении последнего к эсхатологическому «распрямлению» мировой истории, в отказе от бесконечной цикличности. Раннюю Авесту дополняют поздние тексты.

Таково, например, поучение книги Бундахишн по поводу того, что огонь есть символ человеческой души, приобщаемой после смерти к духовному источнику бытия [42, стр. 362]. Здесь мы видим уже теологическую сублимацию начальной авестийской мифологемы.

При анализе приаральских погребальных ритуалов неизбежен вопрос об их соотношении с последующей зороастрийской традицией и с культовой практикой других культурно-исторических зон иранского мира, например раннемидийской или «авестийской», т. е. Дрангианой с центром у оз. Хамун. При всей неясности этого вопроса из-за отсутствия достоверных статистических данных насчет того, какие виды погребений преобладали в каждой из названных зон, нетрудно видеть, что классическая индоевропейская кремация, притом в ее предельно развитой форме, была весьма отчетливо выражена в Приаралье. Ни одна другая индоевропейская архаическая культура, от Скандинавии до Индии, не обладала столь гипертрофированным ритуалом кремации [см.8].

Итак, характер приаральских погребальных ритуалов показывает, во-первых, что тагискенские племена, несомненно, принадлежали к индоевропейской общности. Устойчивость обряда кремации с сожжением всей погребальной постройки от Северного Тагискена (IX в. до н. э.) до Чирик-рабата (III в. до н. э.) дает основание твердо полагать, что она бытовала в одной и той же этнической среде, очевидно восточноиранской (хотя дандыбаево-бегазинские параллели в материальной культуре Тагискена и воспринимаются некоторыми археологами как свидетельство проникновения в Приаралье какого-то иного этноса).

Во-вторых, возникает предположение, что Хорезм не был родиной зороастризма и лишь впоследствии воспринял это учение — под каким-то внешним давлением с юга.

Одним из отражений этого процесса была, как представляется, эволюция образа Йимы, чьи деяния, по легенде, вершились именно в Хорезме [51, стр. 291]. Локализация предавестийского Хорезма спорна, но в самом образе Йимы как будто содержатся косвенные указания на достоверность легенды. Йима, культурный герой, первопредок и сын солнца, т. е. воплощение огня-света в дозаратуштрийском Фарвардин-Яште, бесспорно, олицетворял собой благое начало. Но у Заратуштры он стал виновником грехопадения, отрицательным персонажем [40, стр. 4—5, 31—32, 321, 324]. Поздняя авестийская литература — Вендидад, Бундахишн, пехлевийские тексты, а также Фирдоуси, которому принадлежит поздняя канонизация иранских эпических сказаний, вновь рисуют светлый облик «благого Йимы, великого пастыря», и единодушно связывают Йиму с Хорезмом. Все поздние источники передают древнюю изначальную версию мифа — в отличие от редакции Заратуштры. Вместе с тем нет никаких оснований возводить эти две версии к общему протооригиналу. Отнесение деяний сына солнца Йимы к Хорезму, «стране солнца», может быть независимо заимствовано из устойчивой эпической традиции, а не из какого-то одного тенденциозного первоисточника. Именно из этих соображений Нюберг и Херцфельд помещали Йиму как раз в Приаралье.

«Переоценка» Заратуштрой образа Йимы, центральной фигуры архаических приаральских мифов, возможно, была следствием борьбы двух традиций, дрангианской и северной, борьбы оседлого Ирана с полукочевым «внешним». Не случайно Заратуштра обвинял Йиму в «поедании говядины», что стало причиной грехопадения рода людского и появления смерти. Видимо, под «поеданием говядины» подразумевались хищения и угон скота при набегах кочевых племен с севера; эти племена были персонифицированы в образе их родоначальника Йимы. Образ Йимы был весьма удобен и для простого и доходчивого изложения введенной Заратуштрой системы дуализма. По вине Йимы был якобы утрачен золотой век и в мире воцарилось зло. Вселенная оказалась расколотой надвое, превратилась в арену борьбы между силами света и мрака. Так общеиндоевропейский миф об утрате золотого века, который будет вновь обретен в конце времен, помог Заратуштре, претенденту на роль дарователя закона, пророка, умалить Йиму, первого царя и первого жреца, и наполнить знакомым мифологическим содержанием достаточно тощую абстракцию.

Йима — единый носитель первых двух функций, причем ведущая, ритуально-магическая, объединяет его с божеством огня. Он же сын солнца, т. е. космического огня, а иногда просто уравнивается с солнцем. Ригведа приписывает Яме-Йиме открытие огня на земле (X, 51, 3). Он же и первый смертный, в Индии — царь мертвых. Если в связи с этим вспомнить, что в Катха Упанишаде именно Яма, бог смерти, разъясняет сущность обряда кремации как пути к духовному бессмертию, то напрашивается вывод, что еще одной причиной нападок Заратуштры на Йиму была причастность последнего к огненным погребальным ритуалам.

Связь Йимы с кремацией в иранской традиции, где акцентированы только его солярная природа и возжжение первого огня на земле, конечно, выражена слабо. Но индийская традиция, вначале изобилующая отождествлениями Ямы с огнем (Таиттирия Самхита, III, 3,

8, или Шатапатха Брахмана, VII, 1, 1, 1, 2, 1, 7; см. также 57), а позже именующая его Шраддхадева, т. е. «божество погребальных церемоний», главной среди которых была именно кремация, не оставляет никаких сомнений. Связь с огненным первопринципом бытия Яма утратил в результате обратного влияния местных неиндоевропейских культов [26, стр. 8—9].

Итак, коль скоро Йима выступает в качестве божества кремации, хранителя ее «тайны», что прямо приписано его двойнику в Катха Упанишаде, образ его тем более должен был возникнуть в среде приаральских мифов. Йима, персонифицированный огонь и первый смертный, хранитель обряда кремации, должен был действовать прежде всего в классической зоне распространения этого погребального ритуала, т. е. в Приаралье. Так внутренняя реконструкция мифа смыкается с позднеавестийским преданием. Эта реконструкция также дополняет аргументацию Нюберга и Херцфельда в пользу приаральской локализации царства Йимы.

Вполне логично и выступление Заратуштры против хорезмийца Йимы. Реформатор сознательно выбрал наиболее популярный мифологический образ своего времени [1, стр. 256—257] в соседней культурно-исторической зоне, которую надлежало идейно подчинить новой вере, дабы попранием его утвердить свою догму, и в частности низвергнуть обычай кремации, самый страшный грех в учении зороастризма. Только Йима в индоиранской мифологии был связан с «огненной смертью». Надо полагать, что в Приаралье, там, где Йима, по преданию, возжег первый в мире огонь (к тому же огонь жрецов, связанный с ритуально-магической первой функцией, приобщавшей к бессмертию), должны были обращаться какие-то мифы, которые объединяли бы темы огненной природы Йимы и смерти с мотивом таинственного царства Йимы, так называемой квадратной Вары. В сохранившемся предании отчетлив только один аспект Вары как обители бессмертия, попросту рая, утраченного из-за грехопадения. Но ведь Вара основана персонифицированным огнем, почему она и есть оплот бессмертия. Следовательно, кольцо сюжетов, прикрепляющих к Йиме мотивы огня, смерти-бессмертия и квадратного ограждения, действительно замыкается, что, собственно, и вытекает из Катха Упанишады.

Есть многие и достаточно веские основания предполагать, что тема «квадратной Вары», обители бессмертия, т. е. места, где так или иначе выполнялась первая магическая ритуальная функция, присущая огню и приобщавшая к вечности, была имплицитно связана с обрядом трупосожжения. Важно отметить, что первая функция обычно принадлежала богам старшего поколения, так называемым Уранидам, которым в индоиранском мире соответствовали асуры. К числу асуров, между прочим, относились как божество огня в Ригведе и Авесте, так и сам Йима-Яма [49, стр. 84—85, 148]. В образе «квадратной Вары» передана идея той обители бессмертия, куда огонь возносит душу умершего. Потому-то Вара и создана «сыном солнца», одним из воплощений мирового огня.

В тагискенских обрядах нет явных следов дуалистического осмысления мира, и, напротив, семантическая оппозиция между творцом и творением в них отсутствует. Отсутствие такого противопоставления способствовало космологическим отождествлениям, характерным для духовной культуры Индии. Заратуштра впервые (хотя и далеко не последовательно) ввел эту оппозицию — и старые космологические уподобления сразу исчезли, а с ними и центрично-купольные сооружения. На западе, в Мидии и Персиде, где ведущей формой общественного сознания стала идеология централизованного государства, древняя космология освящала царскую власть. Сначала там Дейок возвел священный град Экбатаны в кольце семи символических стен, каждая из которых по цвету уподоблялась тому или иному светилу. План этого города явно был изобразительной космограммой [29, стр. 96—97]. В культуре Индии такие космограммы обозначались термином «мандала», получившим ныне широкое распространение. Если в Мидии кольцевая планировка сохранялась довольно стойко и в последующие эпохи, например парфянскую (Фраасна), то для ахеменидской Персиды более типичными оставались квадратные. Так, в культовых центрах древнего Прана все главные постройки в плане обычно образуют равносторонний прямоугольник, значение которого очевидно из общего символизма таких архитектурных комплексов, как Персеполь [52; 53].

Восстановление старых духовных ценностей в послеахеменидском зороастризме, утратившем цельность и суровый ригоризм воззрений его основателя, возродило и прежнюю космологическую символику, особенно в парфянское время. Для того периода отмечаются отдельные случаи кремации, снова появляются центричные ритуальные сооружения с купольными покрытиями — несомненно архитектурные космограммы. Дух реформы отступил перед древней мифологической стихией. Для Средней Азии это с полной очевидностью удостоверяют Чирик-рабат, Баланды-2 и первые из обнаруженных пока на ее территории храмы огня в Мансур-депе. Названные мавзолеи III—II вв. до н. э. документируют особую восточноиранскую традицию, несводимую к собст-

венно зороастрийской даже в ее расширительном толковании. Заслуживают внимания точки соприкосновения среднеазиатских заупокойных ритуалов и соответствующих им мифов с древнеиндийскими. Эти мифы, воспевая первопредка, сына солнца Йиму-Яму, подчеркивают его связь с темой появления смерти и достижения бессмертия. М. Моле, развивая старую концепцию М. Флюгеля, хорошо объяснил различия в родственных образах Йимы и Ямы феноменологическим пессимизмом как господствующей формой индийской религиозной психологии [50, стр. 46]. В индийской мифологии особенно значительна была тема смерти, тогда как в Ириральве на первом плане оставались культурные деяния Йимы, утверждение им порядка и преодоление хаоса, выразившееся в постройке квадратного ограждения райской обители. Близким аналогом «квадратной Вара» выступает Асгард, город асов, светлых богов скандинавской мифологии, т. е. место обитания сил блага и бессмертия (хотя и не абсолютного). Асгард, по преданию, будет утрачен в конце золотого века, как исчезнет и Вара, город асуров, к которым принадлежал Йима. И Асгарду и Варе предстоит своего рода возрождение после окончательной победы над злом. Естественно предположить, что общие черты, объединяющие сооружения асов и асуров, должны распространяться и на их создателей. В самом деле, и асы и асуры — культурные герои, борцы против хаоса [49, стр. 187—188], построившие особые крепости, Асгарда и Вары, чтобы противостоять силе смерти. Несмотря на определенные этимологические трудности, некоторые исследователи отождествляют асов и асуров не только типологически [49, стр. 171].

Следовательно, геометрическая схематизация индоевропейских и особенно приаральских культовых сооружений может рассматриваться как явное указание на идею преодоления хаоса.

Продолжением культовой общности Ириаралья и Индии является как ритуал кремации, так и факт генетического предшествования заупокойных храмов-мавзолеев собственно храмам. Еще в 1888 г. У. Симпсон отметил зависимость храмовой архитектуры Индии от могильных сооружений и погребальных культов [56, стр. 55—57, 272]. Для Средней Азии эта зависимость восстанавливается по цепочке: мавзолеи Тагискена (IX—VI вв. до н. э.), Кой-Крылган-калы (IV в. до н. э.), Чирик-рабат (IV—III вв. до н. э.), Баланды-2 (III в. до н. э.) и затем храмы огня Мансур-депе, а также Кух и Ходжа. Все они образуют в плане квадратную или круглую мандалу-космограмму, причем старший мавзолей Тагискена и храмы огня в Мансур-депе содержат круг, вписанный в квадрат (что станет затем непременной особенностью сасанидских чортаков и знаменитых среднеазиатских мавзолеев эпохи средневековья в Бухаре, Куня-Ургенче, старом Мерве).

По мнению того же У. Симпсона, культовая общность восточноиранской зоны с Индией выразилась в церемониях при погребении Будды [56, стр. 62]. Такое предположение весьма вероятно, поскольку предки Сиддхартхи-Будды явились из этой зоны и в ней же — а именно в Балхе — была основана первая община почитателей Будды и возведена первая буддийская ступа [11, стр. 70—71]. Балху же, кстати, приписывалась честь быть родиной зороастризма, но это сомнительно. Любопытно, однако, что вокруг Балха концентрируются буддийские и восточноиранские предания о великих религиозных реформаторах. Этот факт показателен тем, что косвенно обнаруживает взаимное тяготение двух рассматриваемых культурно-исторических зон первой половины I тысячелетия до н. э.

То же тяготение проступает и в близком родстве архаической и затем буддийской ступы со среднеазиатскими мавзолеями, историю которых начинает Тагискен в IX в. до н. э. и венчают грандиозные мемориалы Текеша, Санджара (XII в. н. э.) и Тимуридов (XIV—XV вв.). Функциональное тождество ступы и среднеазиатского мавзолея бесспорно [9, стр. 158] на всех хронологических этапах — от поздней бронзы до средневековья, хотя нюансы архитектурного воплощения и догматической интерпретации, конечно, менялись. Однако суть первоначального символизма индоевропейских народов, объединявшего космологию и судьбы души в ином мире идеей истинно духовного творения бытия, неизменно прослеживается в центричных планах погребальных построек. Планы эти оставались неизменными на протяжении почти двух с половиной тысяч лет.

Изучению общей эволюции культового зодчества Среднего Востока — от заупокойных храмов начала I тысячелетия до н. э. к более поздним центрично-купольным сооружениям, затем к храмам огня, святилищам типа ротонды и мавзолеям со ступами — мешает традиционный формалистический анализ памятников архитектуры исключительно по элементам конструкции. Пренебрежение символическими аспектами древневосточного зодчества возникло из того, что историю архитектуры начинали от Греции и Рима, где космологический символизм быстро разложился и практически не ощущался [35, стр. 839], что вполне ясно на примере трудов Витрувия. Штудии греко-римского зодчества как идеальной модели любых архитектурных систем и всеобщего образца развития архитектурной формы привели к тому, что историки архитектуры, по едкому замечанию

У. Летаби, пали жертвами собственной терминологии [48, стр. 5]. Они оказались всецело во власти профессиональных предрассудков, сводивших суть памятника к «истинному стилю», «должным пропорциям» и «правильной конструкции». С этих позиций различие, например, между парусом и тромпом оказывалось решающим в истории зодчества. Тот факт, что чисто символическая нагрузка этих элементов конструкции могла быть совершенно тождественна, полностью игнорировали. В результате подобного анализа «по античным образцам» древняя архитектура Востока лишилась собственного лица, принципиальное различие между нею и античным зодчеством очень долго совсем не ощущалось. Если для Греции и Рима архитектурная форма действительно стала только выражением конструкции, в чем нас убеждает тот же Витрувий, то для Востока она прежде всего указывала на символическую идею. Поскольку же любое строительство мыслилось аналогом деятельности творца, то идея эта приобретала космологический характер. По мере становления развитых культов из этого первого значения выводилось второе, связанное с судьбами индивидуальной души в ином мире, которому подражала земная постройка. Так как действительное пространство в архаическом сознании легко переходило в религиозно-мифологическое, все эти отождествления воспринимались как реальность [4, стр. 44—46]. Характерна в этом отношении накширустамская надпись, в которой общая деятельность ахеменидского царя в социально-историческом плане предстает как отражение трудов творца в плане космическом, т. е. как равное преодоление хаоса [20, стр. 136]. Это тоже космограмма, только не изобразительная (мандала), а словесная (мантра), наиболее устойчивый элемент в структуре архаического и раннеклассового сознания.

По этой причине дворцы и святилища, будь то в реальном Персеполе или в повествованиях индоевропейского эпоса вроде «Сказания о дворцах собраний» из Махабхараты или «Речей Гримнира» в Старшей Эдде, часто получали квадратную или реже круглую планировку. «Сказание о дворцах собраний», в частности, дает понять, что образ «квадратной Вары» очень древен и восходит по меньшей мере к периоду индоиранской общности (примерно к началу II тысячелетия до н. э.). В «Сказании» (II, 8, 1—6) говорится «о том небесном дворце собраний, который выстроил Вишвакарман для сына Вивасвана. Тот сверкающий дворец... простирался на сто йоджан в длину и столько же в ширину... Нет в нем ни горя, ни старческой дряхлости, ни голода, ни жажды и неприятностей».

Сын Вивасвана, в Авесте Вивахванта, не кто иной, как Яма-Йима. Следовательно, приведенный выше текст излагает древнеиндийский вариант предания о небесной обители бессмертия, где царствовал сын солнца Яма-Йима, т. е. о «квадратной Варе». «Небесный дворец» по всем признакам и функциям должен быть признан тождественным ей, только сторона квадрата для него определяется не в «лошадиный бег», а в сто йоджан. Ясно, что подобное совпадение иранского и индийского вариантов мифа отражает его глубокую древность. Яма-Йима здесь еще небесный персонаж и владыка бессмертия, настоящий Уранид, носитель первой религиозно-магической функции. Царем смерти он станет позже, в результате переосмысления его образа в условиях специфически индийской эволюции общеиндоевропейских божеств, особенно богов старшего поколения, и тогда царство его переместится под землю. Примерно то же произойдет с позднеавестийской Варой. Одни тексты помещают ее в Хорезме, другие — под землей. Если начальная специфика образа Ямы-Йимы объясняется единством индоиранской мифологемы, то сходство темы подземного царства, быть может, отчасти обусловлено взаимными влияниями письменной традиции.

Рассматривая тождество «квадратной Вары» и сабхи (т. е. дворца) Ямы, Ж. Дюмезиль полагал, что данный образ не нашел отражения в Ригведе [34, стр. 165]. Однако он был неправ. В этом убеждает известный гимн Соме (IX, 113, 7—8):

> [Там], где немеркнущий свет,
> В том мире, [где] помещено солнце,
> Туда помести меня, о Павамана,
> В бессмертный нерушимый мир!
> [Там], где царь — сын Вивасвана,
> Где замкнутое место неба...
> Там сделай меня бессмертным!
>
> (Перевод Т. Я. Елизаренковой)

Таково самое исчерпывающее описание реконструируемой мифологемы. Налицо нерасторжимая связь немеркнущего света и солнца, т. е. космического огня, с бессмертием в замкнутом месте неба, где царит сын Вивасвана — Яма. Поскольку образ Ямы предстает здесь в самом начале его эволюции, гимн Соме должен быть весьма архаичным, как и вся тема благой небесной обители, озаренной немеркнущим светом бессмертия. Размещение аналога Вары на небесах, как об этом говорится в Ригведе и Махабхарате, позволяет считать древнейшими именно те позднеавестийские упоминания Вары, которые также относят в зону владычества неба — Варуны. «Квадратная Вара» в таком случае выступает еще одним синонимом

неба, часто представленного в индоиранской традиции тоже квадратным [33, стр. 27—29]. Кстати, Варуна, владыка неба, иногда описывается в Ригведе как четырехглавое существо, что символизирует его власть над сторонами света (V, 48, 5).

В другом гимне Ригведы рассказывается, как Варуна установил небо, отмерил ширь земных просторов и создал жизнь (VIII, 42, 1), т. е. преобразовал хаос в миропорядок, сотворил нечто функционально и типологически тождественное Варе. По авестийской традиции, создать Вару повелел Ахура-Мазда, т. е. тот же Варуна. Деятельность асуров Варуны и Йимы по установлению организованного миропорядка, противостоящего хаосу и смерти, таким образом, аналогична; протекает она «в четырех сторонах света». Шатапатха Брахмана, как мы уже знаем, свяжет их с погребальными обрядами (XIII, 8, 1, 7).

Итак, «квадратная Вара», священная ограда против сил смерти, возведенная воплощением солярного начала, «сыном рассвета» асуром Йимой, непременно должна была соотноситься с небом, квадратным в раннем арийском предании. Этимологическое подобие терминов Варуна и Вара дополняет их несомненное типологическое соответствие и позволяет сделать вывод о глубочайшей древности рассматриваемых образов. Противоречие с концепцией, выводящей образ Вары из реальных построек-загонов эпохи ранней бронзы, здесь чисто внешнее, поскольку в архаическом сознании любые сооружения имели черты космологического символизма. Строительство таких загонов еще во времена индоиранской (если не общеиндоевропейской) общности уподоблялось деятельности солярного божества, например асуров Варуны или Йимы, установивших небо в форме квадратной ограды.

Глубочайшая древность образа Вары следует также из соответствия тохарских, балтийских, хеттских и авестийских изоглосс с корнем *var* общеиндоевропейскому **uer* со значением «окружать, охватывать, огораживать» [19, стр. 188].

Как только Вара окончательно утвердилась в качестве обители огненного бессмертия, ее земными подобиями в новых и более сложных общественных условиях начала I тысячелетия до н. э. стали отнюдь не бытовые постройки, а лишь культовые, ритуальные очаги священного огня и погребальные сооружения, к тому же предаваемые огню. И снова Шатапатха Брахмана дает надежные свидетельства того, что такие очаги и усыпальницы были важнейшими символами достижения бессмертия. Старый космологический квадрат, когда-то ограждавший средоточие жизни от внешних набегов, превратился в горнюю обитель духовного бытия, теперь трактуемую в отличие от прежних времен в теолого-историческом плане [23].

* * *

Квадрат типичен и для многих иных архитектурных образов иранского эпоса. Конечно, не сам Фирдоуси приписал легендарному Сиявушгерду «в длину два фарсанга и два в ширину» (№ 6616). Он, безусловно, воспроизвел в данном пункте древнее предание.

Итак, символический образ космоса, в памятниках зодчества обычно отмечаемый лишь для развитого средневековья, предопределял планировку и характер эволюции культовых и дворцовых сооружений Ближнего и Среднего Востока уже с начала I тысячелетия до н. э., возник же он в этом районе, вероятно, значительно раньше. К этим постройкам вполне приложима теория архитектурной иконографии, развитая Р. Краутхаймером применительно к церковному зодчеству Западной Европы [44] и подчиняющая анализ конструкции семантике образа. Соответственно архитектурные микрокосмы, первоначально представленные намогильными сооружениями, следует возводить не к средневековью, а к глубочайшей древности, что бы ни говорили о примитивности идеологических представлений родового общества. Этот тезис получает надежное подтверждение в самых древних фрагментах индоевропейского эпоса и в перекликающихся с ними погребальных обрядах. Совокупность археологических и мифологических данных в нашем случае достаточно выразительна.

Последним важным аспектом исследуемой темы представляется перерождение космологической интерпретации архитектурных образов и погребальных ритуалов в теологическую. Процесс этот был частным случаем этической переработки «натуралистических» представлений. Как было отмечено, зороастризм, являвшийся одним из ранних течений протогностической мысли, превращал архаические мифы в теолого-исторические. Это особенно ясно видно на примере видоизменения Заратуштрой эпического образа Йимы. Поэтому трудно согласиться с распространенной тенденцией истолкования Гат лишь как практического «наставнического» учения, подвергшегося жреческой «теологизации» только в позднейшее время [2, стр. 104, 110—114]. Обращение Заратуштры к мотиву грехопадения и появления в мире смерти (отправная точка последующих мировых религий) уже показывает на начало теологических спекуляций в деятельности пророка. Сама попытка реформы, т. е. религиозного освящения сравнительно нового социально-эконо-

мического уклада, тоже знаменует отход от местных территориальных культов к иной, сознательно формируемой общественной идеологии. Заратуштра был жрецом оседлой общины, профессионалом религиозного осмысления мира. Он пересмотрел старую мифологию, заново интерпретировал ее, чтобы поставить на службу новым общественным запросам. К нему, т. е. к Гатам, и нужно возводить первые попытки тенденциозной систематизации древних иранских преданий. До создания завершенной формы абстрактного религиозного мировоззрения было, конечно, еще далеко, но первые шаги на этом пути сделал именно Заратуштра [45, стр. 120—128].

В частности, введенная Заратуштрой космологическая оппозиция между богом и его творением была изобретена им как параллель этической оппозиции добра и зла. Невозможная в предшествующей индоевропейской, а также в синхронной и последующей индийской традициях, она была «личным вкладом» Заратуштры и, безусловно, предвосхищала главную тему исканий гностицизма [58, стр. 51; 27, стр. 716—724]. Конечно, Заратуштра исходил в большинстве случаев из старого мифологического материала, но признаки намеренной теологической обработки у него всегда заметны. Так, например, в Махабхарате или Эдде утрата и возврат в конце времен обители бессмертия трактуются на старый лад как естественное течение событий, как следствие всеобщего надличностного предопределения, которому подвластны даже боги. У Заратуштры в Гатах этот же общеиндоевропейский мотив выступает в обновленном виде: для возврата рая имеют немалое значение правые деяния каждого отдельного человека. Налицо теологическое, а не стихийно-мифологическое, как в Эдде, преломление идеи. Позднее оно станет центральным пунктом манихейской доктрины [28, стр. 16].

Если вернуться к тагискенским ритуалам, где также различим образ нового рая, созданного в подобие небесного, то они, конечно, всецело архаичны, традиционны, далеки от философского осмысления, даже наивны. Достижение небесного рая после огненного обновления бытия они изображают весьма натуралистично, настоящим пламенем. Не исключено все же, что в них имплицитно содержалась примитивная теология типа той, какая вдохновляла составителей десятой мандалы Ригведы, особенно гимна Пурушасукта, ранних Упанишад и всей Шатапатхи Брахманы, а также и самого Заратуштру. Похоже, что падший и подлежащий спасению первочеловек — это Йима, чей образ переносился на тагискенских вождей по закону партиципации и микрокосмического отождествления, тому самому закону, что связывал небесную обитель бессмертия и ее земную архитектурную модель. В этих ранних тагискенских обрядах содержались зачатки сотериологических тенденций, выявленных Р. Рейтценштейном в мистериальных литургиях митраистов, гностиков и манихеев [54].

Однако приаральские погребальные обряды не содержат ясно очерченной фигуры спасителя — в этом также видна их архаичность. Им должен был бы стать сам Йима [58, стр. 49], но в цикле сказаний о нем этот аспект едва намечен. Сотериологическую роль Йимы вполне определенно фиксируют только поздние пехлевийские тексты, так что утверждать, будто они продолжают древнюю дозаратуштринскую традицию в этом отношении, опасно (хотя и возможно). Может быть, появление в Авесте бледных, но бесспорно сотериологических персонажей вроде Гаюмарта или саошьянтов тоже связано с намеренным развенчанием Йимы Заратуштрой, на что указывал Э. Херцфельд [40, стр. 4—5]. Во всяком случае, если сотериологические аспекты в тагискенских и вообще приаральских огненных ритуалах остаются предметом осторожной реконструкции, то эсхатологические линии, надежно представленные во всех крупных циклах индоевропейского эпоса вплоть до нартского, очевидны.

Сотериологическую миссию Йимы можно, пожалуй, предположить еще и потому, что в гностических и манихейских воззрениях так называемый спасенный спаситель (он же падший первочеловек), вокруг которого вращалась поздняя антропософия, по большей части еще сохраняет остаточные черты первопредка и культурного героя. До Заратуштры в восточноиранском мире первопредком и культурным героем выступал преимущественно сын солнца Йима. К нему через какие-то промежуточные ступени должны восходить и позднеиранские варианты первого смертного. Г. Виденгрен возводил их к Гаюмарту, что логически верно [58, стр. 49], но Гаюмарт несколько искусственно заместил, как упоминалось выше, равнозначного ему Йиму. Следовательно (если предполагаемая реконструкция образа Йимы не слишком далека от истины), архаическая литургия тагискенского типа генетически предваряет развитые мистериальные литургии гностической и манихейской эпохи. Как и они, ранняя погребальная обрядность Приаралья представляет собой развитие старой мифологической темы единства макрокосма (Вселенной), мезокосма (литургии) и микрокосма (души), хотя и в весьма натуралистическом обличье. Эта же идея в ранних Упанишадах, синхронных тагискенским мавзолеям, выражена отчетливее, но не глубже. Проповедь Заратуштры сместила акценты в старой

теме, впервые связав свободу воли индивидуума с конечными судьбами мира. Эта проблема могла возникнуть лишь при развитой общественной структуре, при линейной модели мировой истории. В Упанишадах она закономерно отсутствует. Поскольку у гностиков и манихеев она была сопряжена со старой идеей огня-света как источника и всеобщего стержня бытия, можно считать, что поздний Иран унаследовал ее от раннего авестийского (в широком значении термина).

В заключение остается заметить, что многократно описанные в индоевропейском эпосе сожжения дворцов и матров павших героев могли быть слегка искаженным воспоминанием об огненных погребальных ритуалах, близких уйгаракским и тагискенским. В восточноиранском мире они сохранялись дольше всего — от эпохи бронзы до раннего средневековья (реальное бытование подобных ритуалов отмечено византийской историографией у хионитов в IV в. н. э).

Несколько труднее однозначно истолковать в том же духе эпизоды из скандинавских саг, повествующие о сожжениях дворцов и усадеб конунгов. Однако рассказ о смоляном доме из Махабхараты, бесспорно, представляет собой переосмысление древнего погребального ритуала. В этом смоляном доме по коварному замыслу Дурьйодханы предполагалось сжечь пандавов. Сама идея смоляного дома говорит об искусственно воспламеняемой постройке, какими в исторической действительности были мавзолеи Тагискена, Кой-Крылган-калы, Инкардарьи, Чирик-рабата.

244145

1. Болдырев А. Н., Отражение древних культурных традиций в классической литературе Ирана,— «История иранского государства и культуры», М., 1971.
2. Брагинский И. С., Из истории таджикской и персидской литератур, М., 1972.
3. Вишневская О. А., Итина М. А., Раннее саки Приаралья,— МИА, 1971, № 177.
4. Гуревич А. Я., Категории средневековой культуры, М., 1972.
5. Жуковский В. А., Развалины старого Мерва, СПб., 1894.
6. Иванов В. В., Культ огня у хеттов,— «Древний мир», М., 1962.
7. Кой-Крылган-кала. Памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н. э.— IV в. н. э.,— ТХАЭЭ, V, 1967.
8. Лелеков Л. А., К истолкованию погребального обряда в Тагискене,— СЭ, 1972, № 1.
9. Литвинский Б. А., Буддизм и среднеазиатская цивилизация,— «Индийская культура и буддизм», М., 1972.
10. Маринович Л. П., Котеленко Г. А., Археологические работы последних лет в Малой Азии,— ВДИ, 1967, № 1.
11. Минаев И. П., Несколько рассказов из перерождений Будды,— «Избранные труды русских индологов-филологов», М., 1962.
13. Рыбаков Б. А., Древности Чернигова,— МИА, 1949, № 11.
14. Сарианиди В. И., Погребения Гиссар III. Новые материалы и наблюдения,— «История иранского государства и культуры», М., 1971.
15. Седов В. В., Конгресс археологов-славистов в Берлине,— СА, 1971, № 4.
16. Смирнов К. Ф., Попов С. А., Сарматское святилище огня,— МИА, 1969, № 169.
17. Средняя Азия в эпоху камня и бронзы, М., 1966.
18. Струве В. В., Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии, Л., 1968.
19. Топоров В. Н., Заметки по индоевропейской этимологии,— «Этимология», М., 1963.
20. Топоров В. Н., К толкованию одного древнеперсидского слова,— НАА, 1971, № 4.
21. Трудновская С. А., Круглое погребальное сооружение на городище Чирик-рабат,— МХЭ, вып. 6, 1963.
22. Agrawala V. S., Fire in the Rigveda, — EW, vol. 11, 1960, № 1.
23. Bansani A., Il mito in Grecia e in Iran,— «La Persia e il mondo greco-romano», Roma, 1966.
24. Battisti E., Proportion in architecture,— EWA, XI, 1966.
25. Benveniste E., Renou L., Vrtra et Vrθragna, Paris, 1934.
26. Bhattacharji S., The Indian theogony, Cambridge, 1970.
27. Bianchi U., Perspectives de la recherches sur les origines du gnosticisme,— «Le origini dello gnosticisme Colloquio di Messina», Leiden, 1966.
28. Boyce M., The Manichaean hymn-cycles in Parthian, London — New York — Toronto, 1954.
29. Campbell L. A., Mithraic iconography and ideology, Leiden, 1968.
30. Dasgupta S., A History of Indian Philosophy, I, Cambridge, 1969.
31. Diez E., Die Siegestürme in Ghazna als Weltbilder,— «Kunst des Orients», I, 1950.
32. Duchesne-Guilleimin J., Logos en Iran et en Grece, Torino, 1972.
33. Dumésil G., Rituels indo-européens à Rome, Paris, 1954.
34. Dumésil G., La sabhā de Yama,— «Journal Asiatique», Paris, t. 253, 1965, № 2.
35. Gnoli R.,— EWA, III, 1960.
36. Gimbutas M., Proto-Indo-European culture; the kurgan culture during the Fifth, Forth and Third Millennia BC,— «Indo-European & Indo-Europeans», Philadelphia, 1970.
37. Grabar A., Martyrium, I, Paris, 1946.
38. Hertel J., Die arische Feuerlehre, Leipzig, 1925.
39. Hertel J., Die Sonne und Mithra im Awesta, Leipzig, 1927.
40. Herzfeld E., Zoroaster and his world, I, Princeton, 1947.
41. Jackson A. V. W., Zoroaster, the prophet of ancient Iran, New York, 1919.
42. Kramers J. H., Analecta Orientalia, I, Leiden, 1954.
43. Kramrisch S., The triple structure of creation in the RG Veda,— «History of Religions», vol. II, 1963, № 2.
44. Krautheimer E., Introduction into the Iconography of Medieval Architecture,— «Journal of the Courtauld and Warburg Institute», London, V, 1942.
45. Kuiper F. B. J., The Bliss of Aša,— «Indo-Iranian Journal», 's-Gravenhage, vol. VII, 1964, № 2.

1977 ГБ УзССР 12264

Центральная городская БИБЛИОТЕКА Ташкента

46. Lessing F. D., The topographical identification of Peking with Yamataka.— «Central Asiatic Journal», Wiesbaden, vol. II, 1956, № 2.
47. Lethaby W. R., Architecture, Nature and Magic, London, 1956.
48. Lethaby W. R., Form in civilization, London, 1957.
49. Littleton C. S., The New Comparative Mythology, Berkely — Los Angeles, 1966.
50. Molé M., L'Iran ancien, Paris, 1965.
51. Nyberg H. S., Die Religionen des alten Iran, Leipzig, 1938.
52. L'Orange H., Studies in the Iconography of Cosmic Kingship in the Ancient World, Oslo, 1953.
53. Pope A. U., Persian Architecture, London, 1965.
54. Reitzenstein R., Das iranische Erlösungmysterium, Bonn, 1921.
55. Rowland B., The world's image in Indian architecture,— «The Journal of the Royal Society of Arts», London, vol. 112, № 5099.
56. Simpson W., Some Suggestions of Origin in Indian Architecture.— JRAS, 1888.
57. Wayman A., Studies in Yama and Mara.— «Indo-Iranian Journal», 's-Gravenhage, vol. III, 1959, № 1, 2.
58. Widengren G., Les origines du gnosticisme et l'histore des religions.— «Le origini dello gnosticismo. Colloquio di Messina», Leiden, 1966.

И. В. Пьянков

БАКТРИЙСКИЙ ГРИФ В АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Фигура грифа — грифон, как его называют искусствоведы,— все еще довольно загадочная по своему происхождению и идеологическим функциям, была очень популярна и широко распространена в древнем искусстве. Изображения грифа известны и в искусстве древних народов Средней Азии. Кроме того, со Средней Азией, а именно с Бактрией, связывает грифов и один из вариантов рассказа о грифах в античной литературе. Этому варианту посвящена настоящая работа.

Рассказ о грифах со ссылкой на сообщение бактрийцев содержался в сочинении Ктесия (конец V — начало IV в. до н. э.), известном под названием «Индика» (Indika). Сочинение это полностью до нас не дошло, от него сохранился лишь ряд фрагментов. Названный рассказ передан в двух фрагментах (сохраненных Фотием и Элианом). Приводим полностью перевод этих фрагментов так как, насколько нам известно, они на русский язык не переводились.

Фрагмент 45 (Jacoby). Phot., § 26: «Имеется и золото в Индийской земле, которое, однако, не в реках разыскивают и промывают, как [это бывает] в реке Пактоле, но в обширных и громадных горах, в которых обитают грифы, четвероногие птицы, величиной с волка, с ногами и когтями как у льва. Перья [у них] на всем теле — черные, а на груди — красные. Из-за них-то обильное в тех краях золото и добывается с трудом».

Фрагмент 45h (Jacoby). Aelian., N. A., IV, 27: «Я узнаю, что гриф, это индийское животное — четвероногое, наподобие льва, когти имеет чрезвычайно сильные и притом также похожие на [когти] льва. Повествуют, что спина [его] покрыта перьями и цвет этих перьев — черный, а спереди, говорят, красный. Крылья же у него — ни того и ни другого [цвета], но белые. Шея, рассказывает Ктесий, у него украшена темно-синими перьями, клюв орлиный, голова такая, какую мастера рисуют или ваяют, глаза его, говорит, огненные. Гнезда вьет в горах. Взрослого [грифа] поймать невозможно, [поэтому] ловят птенцов. Бактрийцы, соседние с индийцами, рассказывают, что [грифы] в тех местах являются сторожами золота. Говорят, что они выкапывают его и сооружают из него гнезда, а осыпающееся [при этом] подбирают индийцы. Индийцы же, напротив, отрицают, что [грифы] являются сторожами этого золота, так как грифы не нуждаются в золоте (и мне, по крайней мере, кажется, что это правильно утверждают), но [индийцы] сами отправляются на сбор золота. [Грифы] же, обеспокоенные за своих птенцов, нападают на приближающихся. Они также вступают в борьбу и с другими живыми существами и легко одолевают их, кроме льва и слона, с которыми не могут бороться. Местные жители, опасаясь силы этих животных, отправляются собирать золото не днем, а ночью, так как тогда надеются лучше спрятаться. Область, где обитают грифы и находятся золотые рудники,— пустынейшая. Поэтому желающие добыть металл, о котором идет речь, отправляются туда, снаряженные [всем необходимым], по тысяче и по две, приносят заступы и мешки и копают, дождавшись безлунной ночи. И если утаятся от грифов, то достигают двойной выгоды: и сами остаются живыми, и уносят домой ношу [золота]. Те, кто научился очищать золото, выплавляя его каким-то своим способом, приобретают себе путем этих опасностей огромные богатства. Если же окажутся схваченными — гибнут. Возвращаются оттуда, как я узнаю, через три или четыре года».

Близкий этому рассказ о грифах приводит Филострат. Многими деталями он отличается от повествования Фотия и Элиана. Некоторые моменты, отсутствующие у Фотия и Элиана, возможно, восходят к Ктесию и, таким образом, дополняют сохранившиеся фрагменты его рассказа; другие, поданные в несколько ином виде, нежели у Фотия и Элиана, представляют

скорее всего позднюю переработку сообщений Ктесия. Грифы у Филострата также помещены в Индию. Золото, которое они выкапывают, рассеяно на камнях в виде капель; грифы клювами сбивают золотые капли. Эти животные считаются у индийцев посвященными Солнцу (Helios); четверку грифов они запрягают в колесницу, на которую ставят изваяния, изображающие Солнце. Грифы обладают очень сильными крыльями, хотя и не могут летать; взмахивая ими, они одолевают даже слонов и драконов, но быстрых тигров победить не могут (Philostr., V. A., III, 48). Отрывком из подобного рассказа могут быть и слова Гелиодора об «упряжке грифов с поводьями из золотых цепей» (Heliod., Aethiop., X, 26).

Ряд других авторов, рассказывая о грифах, упоминают лишь отдельные черты, которые можно возвести к сочинению Ктесия. Так, Цец соединяет рассказ Геродота о муравьином золоте с рассказом Ктесия о грифах: индийцы, отнимающие золото у муравьев (по Геродоту), идут ночью, «опасаясь грифов» (по Ктесию) (Tzetz., Chil., XII, 336). У Плиния в рассказ о грифах, представляющий версию Аристея и Геродота, введена одна деталь, которая напоминает рассказ Ктесия: грифы выкапывают золото «из подземных шахт» (ex cuniculis) (Plin., N. H., VII, 10).

Об источниках своего рассказа Ктесий говорит сам, ссылаясь на слова бактрийцев и индийцев. Судя по Ктесию, бактрийцы и индийцы рассказывали о грифах почти одинаково; разница была в том, что согласно бактрийской версии индийцы только подбирали выкопанное грифами золото, а согласно индийской — индийцы сами добывали его. В этом заявлении Ктесия о своих источниках заметна, как почти всюду в его сочинениях, скрытая полемика с Геродотом. Если Геродот, приводя свой рассказ о происхождении индийского золота, отличающийся от рассказа Ктесия, ссылается на слова персов, то Ктесий говорит о сообщениях самих индийцев и соседних бактрийцев, т. е. претендует на бо́льшую точность.

Однако полностью поверить заявлению Ктесия о его источниках мы не можем. Влияние литературных образцов у него налицо. Общую идею рассказа Ктесий, видимо, заимствует у Геродота. О таком заимствовании свидетельствует следующее наблюдение. Геродот, говоря о том, что окраины земли богаты золотом, упоминает два места, обильных драгоценным металлом: одно — на севере Европы, где золото похищают у грифов аримаспы, соседи исседонов (Herod., III, 116; IV, 13), другое — в Индии, где золото похищают у муравьев индийцы (Herod., III, 102, 104—105). Ктесий, проявляя своего рода «негативную зависимость» от Геродота, обычную для него, заимствует оба рассказа, но грифов и муравьев меняет местами: грифы попадают к индийцам (Ctes., fr. 45, 45h, Jacoby), а муравьи — к исседонам (Ael., N. A., III, 4) [1] [ср. 16, стр. 2239).

Содержание рассказа скомбинировано Ктесием в основном из трех рассказов Геродота, близких по теме: о грифах (Herod., III, 116), о муравьях (Herod., III, 102, 104—105), о птицах, приносящих кинам (Herod., III, 111) [13, стр. 67—68]. Грифы как хранители золота в рассказе Ктесия — из рассказа Геродота о грифах, но действуют грифы у Ктесия так же, как муравьи у Геродота [ср. 2, стр. 163; 17, стр. 12]. Золото грифы выкапывают из земли, строя жилища, гнезда; муравьи также выносят золото из-под земли, устраивая свои жилища, норы. Людей, приближающихся к их жилищу, грифы преследуют, люди прячутся; муравьи также преследуют людей, а те убегают от них. Люди, желающие добыть золото у грифов, выбирают определенное время суток, а именно ночь, когда им легче спрятаться; добывающие золото у муравьев выбирают утро, когда им легче убежать от преследования. Отправляясь за золотом в страну грифов, запасаются определенным снаряжением: берут заступ (ame) и мешок (sakkos); отправляясь к муравьям, берут с собой мех (thylakos). Грифы, несущие золото в горные гнезда, напоминают птиц, которые добывают откуда-то полоски коры (кинам) и несут их в гнезда, прилепленные к горам.

Но можно ли считать, что знакомство Ктесия с какими-то устными преданиями о происхождении восточного золота совершенно исключено? Думается, что нет. Ведь подобные рассказы действительно имели хождение во времена Ктесия, и он вполне мог их слышать в Персии, где жил долгое время. Например, предание о «муравьином» золоте было известно самим древним индийцам; об этом золоте упоминается в «Махабхарате» [17, стр. 13; 14, стр. 218—219], а предание о нем рассказывали в македонскую эпоху Неарху (Strab., XV, 1, 44; Arr., Ind., XV, 4) и Мегасфену (Strab., II, 1, 9, XV, 1, 44, 69; Arr., Ind., XV, 5—7; Plin., N. H., XI, 111).

Чтобы проследить предполагаемый путь, которым легенды о золоте могли дойти до Ктесия, нужно определить путь «индийского» золота в Персию.

Индийцы, добывающие золото, являются у Ктесия соседями бактрийцев. У Геродота

[1] В рассказе Элиана о муравьях и исседонах нет прямой ссылки на Ктесия. Но, судя по содержанию этого рассказа, он почерпнут из того же источника, из которого Элиан заимствовал и рассказ о грифах, т. е. из сочинения Ктесия «Индика» [см., например, 16, стб. 2239; 1, стр. 40—41].

они также обитают рядом с бактрийцами, а кроме того, и рядом с гандариями, на севере Индии (Herod., III, 102; ср. Hec., fr. 295, Jacoby). Еще более конкретно эти индийцы определены Мегасфеном; он называет их дардами (=дадики Геродота, соседи гандариев) (Strab., XV, 1, 44; Plin., N. H., XI, 111). Индийцы эти, по Ктесию, отправляются за золотом большими караванами на три года. Страна, куда они идут, «пустыннейшая» и горная, с «обширными и громадными горами». Характеристика этой страны, конечно, может быть просто комбинацией черт, присущих стране муравьев и стране птиц, приносящих кинам: первая является песчаной пустыней, а во второй имеются высокие, недоступные горы. Но возможно, что здесь отразилась и какая-то устная традиция. По крайней мере Мегасфен, живший позже Ктесия, также говорит о горах в стране, где добывалось золото: золотые рудники, по его словам, находятся под большим (3000 стадий в окружности) плоскогорьем. Где же находилась эта страна? Судя по указанию Ктесия на длительность пути к ней, она была достаточно отдалена от индийцев, которые добывали золото. Действительно, несмотря на то что легенды указывают на страну дардов как на место добычи золота, многие современные исследователи считают, что дарды были лишь посредниками на пути золота с Тибета, Алтая или Гоби в Иран и Индию [ср. 24, стб. 2153—2154; 23, стр. 105—108; 10, стр. 95; 20, стр. 96].

Путь золота от индийцев, которые считались его добытчиками, до сокровищниц персидского царя можно восстановить следующим образом. Непосредственно от индийцев к царю, например в виде дани, золото поступать не могло, так как индийцы во времена Ктесия, при Артаксерксе II, как и позже, не были подданными персидского царя (Индия, по представлению Ктесия,— область за пределами Персидского царства). В пределы персидских владений золото попадало иным способом. В связи с этим следует обратить внимание на слова Ктесия, что выгоду получают лишь те, «которые научились очищать золото». Возможно, что данное указание Ктесия находит себе объяснение в более позднем подробном рассказе Мегасфена, согласно которому люди, похищавшие золотой песок, не умели сами выплавлять золото и продавали песок за дешевую цену крупным скупщикам (emporoi). Через них золото и попадало, видимо, в Бактрию. По представлению Ктесия, в городе Бактры было «большое количество золота» (Ctes., fr. 1b, c. 7, 1, Jacoby). Сокровищница Бактр и была наряду с сокровищницей Сард золотой «кладовой» персидских царей (ср. надпись «f» Дария из Суз, 35—36). Золото могло добываться во времена Ахеменидов также непосредственно в Бактрии и, судя по сообщению Аристотеля, действительно добывалось там (Aristot., De mirab., 46), но все-таки античные авторы указывают на Индию как на самый мощный и обильный источник ахеменидского золота. Бактрийцы же могли донести легенды об индийском золоте и до столицы персидских царей, до Суз, где жил Ктесий. Что последний действительно встречал бактрийцев в Персии, явствует из самих его сочинений (ср., например, Ctes., fr. 45, § 6, Jacoby).

Итак, рассказ Ктесия об индийском золоте скомбинирован в основном из литературных источников. Однако не исключено, что некоторые детали в нем обязаны устной традиции; правда, выделить эти детали очень трудно и сказать с полной уверенностью, что они заимствованы именно из устных рассказов, нельзя, но все же возможность такого заимствования существует. Все сказанное полностью относится и к образу грифа у Ктесия, к анализу которого мы переходим.

Гриф в античной мифологии — образ не исконно греческий, это выходец с Востока [2, стр. 162], точнее, с Ближнего Востока. Но он рано и довольно прочно обосновался в мире греческих мифологических образов, обрел там свое географическое место, свои функции. В греческой литературе предание о грифах имеет две основные версии.

Одна версия принадлежит Аристею (VII в. до н. э.). У него грифы представлены как существа, «похожие на львов, но с крыльями и орлиным клювом» (Aristeas, fr. 7, Kinkel). Описание краткое, но вполне характерное. Если искать соответствующий ему образ в произведениях древнего изобразительного искусства, то таким соответствием, безусловно, будет орлиный грифон. Аристей сообщает об этих животных следующее. Обитают они на крайнем севере, близ Рипейских гор, с которых никогда не сходит снег и где дует Борей, северный ветер. Земля там в изобилии производит золото, и грифы стерегут его. Аримаспы, живущие рядом с ними, похищают золото и постоянно сражаются из-за него с грифами (Aristeas, fr. 5, 7, Kinkel; Herod., III, 116; ср. Damast., fr. 1, Jacoby). Грифы эти связаны с Фебом-Аполлоном, как и гиперборей, обитающие за Рипейским хребтом. Аристей, рассказывая обо всех этих чудесах, ссылается на сообщения исседонов, путешествие к которым он якобы совершил (Aristeas, fr. 5, 6, Kinkel). Известие о путешествии Аристея к исседонам, долгое время воспринимавшееся в науке скептически, ныне оценивается как вполне достоверное [13, стр. 104—118, 179—181]. Исседонов локализуют в различных местах, но, пожалуй, наиболее верно искать их где-то в степях и лесостепях Зауралья. Рипейские горы

Аристея исследователи почти единогласно отождествляют с Алтаем. Действительно ли Аристей слышал о грифах от исседонов? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Сам образ грифа был привнесен в рассказы исседонов Аристеем из арсенала греческой мифологии, но какие-то чудовища типа дракона, стражи золота, замененные у Аристея грифами, должны были фигурировать уже в устных рассказах [2, стр. 162; 13, стр. 6, 93; ср. 21, стр. 172, 174; ср. образ Полоза в уральских сказах П. П. Бажова]. Археологические данные подтверждают такое заключение. Орлиный грифон был хорошо известен ионийцам архаической поры. Они, как полагают, не без влияния «Аримаспеи», сочинения Аристея [13, стр. 6, 90—92], сделали этот образ популярным в Скифии. Действительно, изображения орлиных грифонов имеются на ряде предметов, происходящих из Скифии и являющихся, видимо, греческой работой [ср. 7, стр. 293]. Предполагают даже, что орлиные грифоны на предметах из алтайских курганов — след скифского, а не персидского влияния [13, стр. 92].

Другая версия засвидетельствована ранее всего у Эсхила (V в. до н. э.). Разумеется, Эсхил не был первым, кто ввел эту версию в греческую литературу; она значительно древнее его. Возможно, что древнейшие греческие авторы излагали именно ее (первым, кто упоминал грифов, был Гесиод, см. Schol. Aesch. Prom., 830). У Эсхила эта версия представлена в виде фрагмента и сочетается с версией Аристея: в середину фрагмента вставлены слова «и одноглазой конной рати аримаспов» — из Аристея [2]. Грифы у Эсхила описаны как «остроклювые безгласные псы Зевса» (Aesch., Prom. Vinct., 803—804). Очевидно, мы имеем здесь разновидность орлиного грифона — с туловищем собаки, а не льва. Что можно узнать из текста Эсхила об этих грифах? Обитают они на крайнем юге и, видимо, тоже сторожат золото, но не у подножия Рипейских гор, как в версии Аристея, а у «золотоносного потока Плутона», реки в Эфиопии (Aesch., Prom. Vinct., 806 и сл.). Грифы Эсхила, как видно из приведенного отрывка, связаны с Зевсом: с этим же божеством связаны и эфионы, крайний южный народ. Таким образом, грифы Эсхила прямо противоположны грифам Аристея, которые вместе с крайним северным народом гиперборейми считались посвященными Аполлону. Предполагают, что такая южная ориентация эсхиловых грифов отразила путь, которым этот образ пришел в Грецию [22, стб. 1919—1920]; изображения грифона, и именно орлиного грифона, создавались в Египте с глубочайшей древности. Вполне естественно, что именно такая локализация грифов была свойственна первоначальной, древнейшей, греческой версии о грифах.

Ктесий дает третью версию рассказа о грифах. Насколько она является самостоятельной и насколько — комбинацией предшествующих двух, и предстоит решить.

В описании Ктесием грифа прежде всего обращает на себя внимание красочность, даже какая-то наглядность. Ктесий подробно рассказывает, какие у грифа голова и глаза, тело, лапы и когти, какого цвета перья. Не случайно поэтому предполагают, что описать грифов Ктесию помогли художественные изображения этих существ [13, стр. 68; 18, стб. 2038]. Собственно, Ктесий и сам ссылается на художественные произведения, говоря, что голова грифа такая, какой ее рисуют или ваяют мастера (cheirourgountes). Эта ссылка Ктесия на свой источник очень интересна. Видимо, в данном случае он имел в виду протомы грифов, широко распространенные тогда в Греции, особенно на Самосе и Родосе, рядом с его родным Книдом [19, стр. 49] [3]. Греческие изделия с протомами грифов попадали и в Персию. Так, в ахеменидских Сузах был обнаружен фрагмент, который, как полагают, оказался там после походов Дария или Ксеркса в Грецию [19, стр. 73]. Так что Ктесий мог использовать греческий изобразительный материал для своего описания грифов, виденный им как в Греции, так и в Персии.

Гриф у Ктесия — «наподобие льва», с львиными лапами и когтями, но с орлиной головой и крыльями. Судя по этим указаниям, гриф Ктесия — обычный орлиный грифон. Однако сравнение его с волком позволяет предполагать влияние на Ктесия и других представлений о грифе, например тех представлений, которые засвидетельствованы для Эсхила. Но имеем ли мы здесь дело только с литературным влиянием? Ведь Ктесий ссылается на сообщения бактрийцев, и возможность существования бакт-

[2] Сообщение Эсхила о грифах является частью описания пути Ио. География этого пути у Эсхила отличается крайней эклектичностью; у него вперемежку упоминаются самые разные, весьма удаленные один от другого географические объекты. Исследователи приложили много усилий для того, чтобы как-то согласовать и объяснить массу противоречий в описании пути Ио, но все подобные объяснения выглядят малоубедительно. Скорее всего Эсхил просто соединил несколько периегес, произвольно перемешав их данные. В числе этих периегес было описание пути на юг — к эфиопам и на север — к аримаспам [ср. 13, стр. 48]. В рассматриваемом отрывке как раз и совместились данные из этих двух описаний: сообщение о грифах — из первого, сообщение об аримаспах — из второго. Такое соединение было подсказано версией Аристея, у которого грифы фигурируют в паре с аримаспами.

[3] При таком толковании ссылки Ктесия на «мастеров» мы будем иметь в данном случае второе, после Геродота (IV, 152), упоминание о протомах грифа в литературном источнике.

рийских информаторов у Ктесия является вполне реальной, как показано выше.

Действительно, фигура грифа во времена Ктесия была уже известна бактрийцам. Правда, довольно сложно определить, насколько точно соответствует этот известный бактрийцам образ описанию Ктесия.

Вообще в персидском ахеменидском искусстве более популярен был львиный, а не орлиный грифон [ср. 22, стб. 1916], т. е. существо с львиными головой и туловищем, с крыльями и иногда с орлиными лапами. Но и орлиный грифон был известен, причем образцы его изображений во времена Ктесия из ахеменидских центров проникали в Среднюю Азию; об этом свидетельствуют, например, протомы грифов из Калалы-гыр I, копирующие персепольские капители. Надо думать, что в Средней Азии образ ахеменидского орлиного грифона нашел вполне подготовленную для его восприятия почву, так как близкие ему образы бытовали там с глубокой древности, уходя корнями в эпоху индоиранской общности [3, стр. 148—149]. Полагают, что образ грифона с львиным телом, засвидетельствованный в искусстве древних жителей Алтая, проник в него из ахеменидской Персии именно через Среднюю Азию [5, стр. 74; 6, стр. 211]. Однако здесь нужно сделать оговорку: те же исследователи отмечают, что в некоторых деталях алтайские орлиные грифоны находят соответствие не в персидских образцах, а в более древних ассирийских [6, стр. 209; 7, стр. 292]; поэтому возможно, что наиболее ранние образцы орлиного грифона древние алтайцы получили от скифов, других вероятных посредников между ассирийцами и древними алтайцами. Образ орлиного грифона с львиным туловищем, усвоенный среднеазиатским искусством, иногда приобретал черты тигра — более привычного для местных жителей животного; об этом может свидетельствовать изображение орлиного грифона на серебряном фаларе, считающемся греко-бактрийским изделием [5, стр. 74].

Известен был в Средней Азии в древности и другой вид грифона — собаковидный грифон, с головой и туловищем собаки. Изображения такого существа имеются на предмете из Амударьинского клада [15, стр. 86], на сердолике, найденном близ Термеза [5, стр. 73, 78]; грифоны в росписях Варахши имеют собачье туловище, иногда птичьи лапы, но изображения голов в них, к сожалению, надбиты [11, стр. 153, табл. II, VI, XI, XV). Предания о летающих собаках сохранились и доныне в Средней Азии [8, стр. 322].

Итак, у Ктесия — орлиный грифон то ли с львиным туловищем, то ли с собачьим. У бактрийцев его времени можно предполагать несколько видов грифонов, из которых наиболее соответствующим Ктесиеву грифу будут орлиный грифон с львиным или тигриным туловищем и настоящий собаковидный грифон. Совпадение имеется, хотя и не полное. Таким образом, и здесь остается лишь констатировать возможность того, что Ктесий в какой-то мере отразил представления бактрийцев о грифе; с полной же уверенностью утверждать это нельзя.

Связь грифов с Индией у Ктесия может объясняться тем фактом, что они просто заменяют у него муравьев легенды о «муравьином» золоте, рассказанной Геродотом. Возможно также, что перенесение грифов ближе к югу явилось результатом влияния версии Эсхила. Правда, и более поздние авторы помещают грифов, стерегущих золото, в Индию; так, Гиерокл, видимо, связывает с Индией грифов, живущих в стране гиперборейского племени таркинеев (Hierocl, fr. 3, Müller). Иногда эти авторы упоминают грифов и муравьев вместе, относя их к чудесам Индии (Arr., Anab., V, 4, 3; Philostr., V. A., VI, 1, 2; у последнего муравьи помещены в Эфиопию). Смешение грифов и муравьев заходит так далеко, что пятнистую, как у леопарда, шкуру приписывают то грифам (Paus., VIII, 2, 7), то индийским муравьям (Strab., XV, 1, 44). Но все это может быть объяснено влиянием Ктесия. И тем не менее, если бактрийцы были знакомы с образом грифа и связывали его с добычей золота, то вполне естественно ожидать, что они связывали грифов и с индийцами, от которых к ним поступало большое количество золота.

Описание самой страны грифов, пустынной и горной, может быть скомбинировано из деталей двух рассказов Геродота — о муравьях и о птицах, приносящих кинам, как уже отмечалось выше. Возможно также, что Ктесий просто отождествил страну своих грифов со страной Аристеевых грифов, опираясь на какие-то картографические материалы [ср. 16, стб. 2239], и определил сам длительность пути от индийцев до Рипейских гор и обратно в три-четыре года. Однако известие Ктесия о том, что индийское золото добывается в какой-то горной стране, подтверждается более поздней, независимой версией Мегасфена; об этом также говорилось выше. Важно еще и то, что все писавшие об индийском золоте помещали места его добычи непосредственно в Индию; лишь Ктесий говорит о значительной удаленности этих мест от индийцев, добывавших золото. Действительно, в самой Северной Индии известных месторождений золота не было; это отмечали уже античные авторы с тех пор, как греки, во время походов Александра Македонского, ближе познакомились с Индией (Arr.,

Anab., V, 4, 4). Возможно, что в данном указании Ктесия сохранилось известие о добыче золота где-то в Тибете, у истоков рек Брахмапутра и Сатледж или в верховьях Инда [ср. 25, стр. 757 и сл.; 17, стр. 15; 12, стр. 5—6].

Грифы у Ктесия охраняют золото. Правда, Ктесий приписывает прямое определение грифов как стражей золота только бактрийцам, индийцы же, по его словам, говорят, что грифы нападают на людей не из-за золота, а просто беспокоясь за своих птенцов. Функция охраны золота присуща грифам у всех античных авторов, это общее место в античной литературе. Видимо, Ктесий здесь просто повторяет установившееся в античном мире мнение. Однако и в данном случае можно найти параллель этому представлению в среднеазиатских верованиях. У древних иранских народов издавна существовало поверье, отраженное в зороастрийской традиции и эпосе, о чудесной собакептице Сэнмурве, или, позже, Симурге, которая обитает на огромном дереве или высокой скале [9]. Пережиточно это поверье сохраняется в Средней Азии доныне: здесь рассказывают о некоей птице, обитающей на высокой горе и охраняющей сокровища; полагают, что птица эта — тот же Симург [8, стр. 322].

Мотив грифомахии, т. е. борьбы грифов с людьми, похищающими золото, у Ктесия в настоящем своем виде отсутствует. Это и понятно, так как грифы у него замещают муравьев, а о борьбе муравьев с людьми в предании о «муравьином» золоте ничего не говорилось. Но представление о грифомахии, отчетливо засвидетельствованное в версии Аристея, все-таки нашло своеобразное преломление в рассказе Ктесия. Он говорит о борьбе грифов с животными, в том числе со слонами и львами. Впрочем, возможно, что в подлинном рассказе Ктесия говорилось и о борьбе с людьми; например, упоминание о том, что грифы не могут одолеть слона, могло быть дано в связи с описанием битв с грифами наездников верхом на слонах. Были ли известны подобные мотивы древнему населению Средней Азии? И на этот вопрос следует ответить утвердительно. На росписях из Варахши грифы всюду изображены в сценах грифомахии: грифы с двух сторон кидаются на слона, верхом на слоне сидит человек и поражает грифов копьем или стрелой из лука. Интересно заключение исследователя этих росписей: данные мотивы сформировались, причем не только в основном, но и в деталях, где-то в Бактрии или Тохаристане [11, стр. 206]. Однако наряду с глубокими местными и вообще восточными традициями росписи обнаруживают, судя по ряду деталей, также эллинистическое влияние [11, стр. 205]; наличие такого влияния, конечно, и следует ожидать, если происхождение рассмотренных композиций вести из Бактрии греко-бактрийского или кушанского времени. В связи с этим опять возникает вопрос: не были ли мотивы грифомахии привнесены в бактрийское искусство из греческой литературы, из сочинений Ктесия? Известно, что участникам походов Александра Македонского, положивших начало широкому внедрению греческой культуры в Бактрию, было хорошо знакомо содержание сочинений Ктесия.

Грифы у Ктесия (или только у Филострата?) связаны с Солнцем (Гелиосом). В этом факте можно видеть влияние версии Аристея, в которой грифы связаны с Аполлоном. Ктесий уже вполне мог отождествить Аполлона с Гелиосом [4]. Характерно в этом отношении, что если Филострат считает колесницу, запряженную грифами, принадлежностью Гелиоса, то другой поздний автор, Порфирий,— атрибутом Аполлона (Porphyr., III, 18, 16). Но, с другой стороны, известно, что гриф на Востоке с глубокой древности считался символом Солнца.

Итак, можно прийти к следующему выводу относительно грифа, описанного Ктесием со ссылкой на рассказы бактрийцев и индийцев. Влияние литературных источников, сочинений предшествующих авторов, на представления Ктесия о грифах бесспорно. Ктесий описывал своих грифов, учитывая обе уже существовавшие к его времени литературные версии легенды о грифах, а также изобразительный материал — установившийся образ грифа, запечатленный в произведениях искусства. Кроме того, грифы введены у него в рамки легенд о добыче индийского золота и отчасти аравийского кинама, где соответствуют сказочным муравьям и птицам, приносящим кинам. Вместе с тем ряд моментов в рассказе Ктесия может действительно восходить к восточным, в частности к бактрийским, преданиям о грифах, хотя определенно доказать этого нельзя. С бактрийцами Ктесий вполне мог встречаться в Сузах, столице персидского царя. Возможно, что он использовал какой-то редкий, малоизвестный вариант сказаний о грифах и приспособил его к вариантам, имевшим хождение среди греков. Во всяком случае, бактрийцы во времена Ктесия были уже знакомы с образом грифа. К сообщениям бактрийцев могут предположительно восходить следующие моменты в ктесиевом описании грифов: в описании внешнего вида грифов — некоторые черты собаки (волка); в указаниях на географическое место грифов — связь их с северными индийцами, соседями бактрийцев, а также определение отдаленных

[4] Первоначально Аполлон и Гелиос были у греков двумя различными божествами, но с V в. до н. э. они начинают отождествляться в греческой мифологии [см. 4, стр. 298—300].

мест добычи индийского золота как мест обитания грифов; в указаниях на функции и действия грифов — роль их как стражей золота, некоторые мотивы грифомахии, как, например, борьба с грифами людей, сидящих на слонах; возможно, что сюда нужно отнести и связь грифов с Солнцем.

1. Ельницкий Л. А., Знания древних о северных странах, М., 1961.
2. Клингер В. П., Сказочные мотивы в истории Геродота, Киев, 1903.
3. Литвинский Б. А., Древние кочевники «Крыши мира», М., 1972.
4. Лосев А. Ф., Античная мифология в ее историческом развитии, М., 1957.
5. Пугаченкова Г. А., Грифон в античном и средневековом искусстве Средней Азии,— СА, 1959, № 2.
6. Руденко С. И., Горноалтайские находки и скифы, М. — Л., 1952.
7. Руденко С. И., Культура населения Центрального Алтая в скифское время, М. — Л., 1960.
8. Снесарев Г. П., Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма, М., 1969.
9. Тревер К. В., Сэнмурв-Паскудж. Собака-птица, Л., 1937.
10. Хеннинг Р., Неведомые земли, т. I, М., 1961.
11. Шишкин В. А., Варахша, М., 1963.
12. Юсов Б. В., Тибет. Физико-географическая характеристика, М., 1958.
13. Bolton J. D. P., Aristeas of Proconwesus, Oxford, 1962.
14. Bose A., Social and Rural Economy of Northern India cir. 600 B. C. — 200 A. D., vol. II, Calcutta, 1945.
15. Dalton O., The Treasure of the Oxus. With other Objects from Ancient Persia and India, London, 1905.
16. Herrmann, Issedoi,— RE, Bd IX, 1916.
17. Herrmann A., Das Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike, Leipzig, 1939.
18. Jacoby F., Ktesias (1),— RE, Bd XI, 1922.
19. Jantzen U., Griechische Greifenkessel, Berlin, 1955.
20. Muellerus C., Ctesiae Cnidii et chronographorum fragmenta, Paris, 1877 [Дополнение к изданию Геродота В. Дындорфа].
21. Phillips E. D., The Legend of Aristeas: Fact and Fancy in early Greek Notions of East Russia, Siberia and Inner Asia,— «Artibus Asiae», XVIII, 1955, № 2.
22. Prinz und Ziegler, Gryps,— RE, Bd VII, 1912.
23. Tarn W., The Greeks in Bactria and India, 2 ed., Cambridge, 1951.
24. Tomaschek W., Dardai,— RE, Bd IV, 1901.
25. Tomaschek W., Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Norden, I,— «Sitzungsberichte der philos.- hist. Cl. der K. Akademie der Wissenschaften», Bd 116, Wien, 1888.

Н. Г. Горбунова

ФЕРГАНА ПО СВЕДЕНИЯМ АНТИЧНЫХ АВТОРОВ

Древнейшие письменные свидетельства о Средней Азии содержатся в надписях персидских царей и в трудах, написанных различными греческими и римскими авторами [1]. Но ни в одном из этих источников нет сведений, которые безоговорочно можно было бы отнести к Фергане. Естественно, возникает вопрос: почему такая издревле обитаемая плодородная долина осталась вне поля зрения этих авторов? По-видимому, это связано с тем, что ни персидские, ни греческие войска не проникали в глубь ее территории. Недостаточная же осведомленность могла привести к тому, что она скорее всего автоматически включалась в какую-то другую область. Следовательно, надо обратить внимание прежде всего на соседние районы, о которых сведения имеются, на географические описания их и на племена, которых там размещали античные авторы. И в первую очередь надлежит исследовать реку Сырдарью, неоднократно фигурирующую в текстах, притом на ее верхнее течение. Наиболее раннее упоминание этой реки имеется у Аристотеля в «Метеорологии» [2]: «С этой горы (Парнас.— *Н. Г.*) текут, между прочим, Бактр, Хоасп и Аракс; от последнего отделяется в виде рукава Танаид в Меотийское озеро. С нее же течет и Инд, самая многоводная из всех рек» (I, 13, 16). Под Танаидом античные авторы подразумевали Сырдарью, путая ее с Доном. Это объясняется тем, что и та и другая реки связывались у греков с кочевыми племенами — европейских скифов или среднеазиатских саков.

Наиболее достоверные сведения о Средней Азии, во всяком случае о ее северо-восточных пределах, поступили к грекам в результате походов Александра Македонского, дошедшего до Сырдарьи и даже переправившегося через нее. Эти сведения были использованы в «Географии» Эратосфена, частично дошедшей до нас в изложении Страбона. Таким образом, именно со Страбона мы можем начать рассматривать представления греков о Сырдарье.

Приведем их, как они изложены у автора. «С тех же самых Индийских гор, откуда текут Ох, Окс и многие другие реки, вытекает Яксарт и, подобно тем рекам, впадает в Каспийское море — это самая северная из всех этих рек. Реку Яксарт они называли Танаисом...» (Страбон, XI, 7, 4).

«Они владели также Согдианой, расположенной выше Бактрианы по направлению к востоку, между рекой Оксом, разделяющей страну бактрийцев и страну согдийцев, и Яксартом. Яксарт разделяет согдийцев и кочевников» (Страбон, XI, 11, 2).

«Яксарт, однако, с начала и до конца отличен от Окса и впадает в то же море; устья этих рек, по словам Патрокла, все же отстоят друг от друга приблизительно на 80 парасангов; персидский парасанг одни определяют в 60, а другие — в 30 или 40 стадий» (Страбон, XI, 11, 5).

«Наиболее известные из кочевников те, которые отняли у эллинов Бактриану, именно Асии, Пасианы, Тохары, Сакаравлы, которые переселились из области на другом берегу Яксарта рядом с областью саков и согдианов, занятой саками» (Страбон, XI, 8, 2).

«Саки отделены от согдианов Яксартом, а Согдиана от Бактрианы — Оксом» (Страбон, XI, 8, 8).

«...и Кира, крайний из городов, основанных Киром на Яксарте; там же была и граница Персидского царства» (Страбон, XI, 11, 4).

Из этих сведений мы извлекаем два указания: во-первых, что Сырдарья вытекает из тех же гор, что и Амударья, т. е. из района Па-

---

[1] Подробный обзор источников в свете истории народов Средней Азии см. [10, стр. 12—22].

[2] Приводимые ниже отрывки из работ античных авторов, разумеется, не исчерпывают все их сведения о Сырдарье, а только показывают характер этих сообщений. Тексты проверены по оригиналам Е. А. Молчадской, которой я очень благодарна за большую помощь в работе.

мир — Гиндукуш, следовательно, исток ее предполагается с юга, а не с востока. Во-вторых, Яксарт служит границей между согдийцами и саками, границей империи Кира, пределом походов Александра.

Если придерживаться хронологической последовательности, то далее следуют сведения Плиния: «...дальнейшему их движению препятствовала река Яксарт, которую скифы зовут Силисом, а Александр и его воины приняли за Танаис...». «За этой рекой живут скифские народы. Персы дали им общее название — саков — от ближайшего народа» (Плиний, VI, 49—50).

Много раз упоминается Яксарт в связи с походом Александра Македонского у Арриана и Квинта Курция Руфа.

«Истоки этого Танаиса, который местные варвары называют еще, по словам Аристобула, Яксартом, находятся тоже на горе Кавказ; впадает и эта река в Гирканское море» (Арриан, III, 30, 7).

«...решил (Александр Македонский.— *Н. Г.*) основать на реке Танаисе город...» (Арриан, IV, 1, 3).

Город «станет для страны оплотом против набегов живущих за рекой (Танаис.— *Н. Г.*) варваров» (Арриан, IV, 1, 3).

«...из Бактрии сюда (в Каспийское море.— *Н. Г.*) течет Окс, самая большая из азиатских рек, кроме индийских; пройдя через землю скифов, впадает в это море Яксарт» (Арриан, VII, 16, 3).

«...придут же к нему (Бессу.— *Н. Г.*) хорезмцы и дахи, саки и инды, а также обитающие за рекой Танаис скифы...» (Квинт Курций Руф, VII, 4, 6).

«...на помощь Бессу подходят скифы, живущие за рекой Танаис» (Квинт Курций Руф, VII, 4, 32).

«Царь скифов, держава которого простиралась тогда по ту сторону Танаиса, считал, что город, основанный македонцами на берегу реки, является ярмом на его шее...» (Квинт Курций Руф, VII, 7, 1).

У Плутарха читаем: «Он (Александр Македонский.— *Н. Г.*) перешел реку Оксарт, которую принял за Танаид, и, обратив скифов в бегство, гнал их целых сто стадий» (Плутарх, Александр, X, V).

Интересные сведения можно было бы ожидать от похода Демодаманта, селевкидского полководца, о чем сообщает Гай Юлий Солин, но, к сожалению, сведения эти скудны.

«По всей этой земле (Бактрии.— *Н. Г.*) с той стороны прорезывает границы река Лаксат, которую, впрочем, называют Лаксатом одни только бактрийцы, ибо прочие скифы зовут ее Силисом. Войска Александра Великого принимали ее за одну реку с Танаидом; по Демодамант, вождь Селевка и Антиоха, писатель довольно достоверный, переправившись через эту реку, превзошел свидетельства всех и открыл, что это иная река, чем Танаид... Здесь пограничная черта, на которой Персидская граница соединяется со Скифскою» [19, стр. 248].

Наиболее подробные данные о Яксарте и его течении мы находим у Птолемея, труд которого основан, в частности, на работах географа II в. н. э. Марина Тирского. По Птолемею, мы можем более точно представить себе, как именно видели античные авторы верхнее течение Сырдарьи. Он приводит координаты истоков Яксарта (125°/43°), его изгиба (120°/48,30) и двух рек, в него впадающих до этого изгиба. Истоки этих двух рек помещены примерно там же, где исток Яксарта, а именно: Димос — исток 124°/43°, устье 123°/47° и Баскатис — исток 123°/43°, устье 121°/47,30 (Птолемей, 6, 12, 3). В изданном в настоящее время переводе Птолемея, сделанном Итало Ронка, приведены карты, составленные им по координатам Птолемея [21]. На них показано, что Яксарт течет сначала прямо с юга на север, затем на северо-запад и затем поворачивает на запад.

Вблизи истоков Яксарта обозначен у Птолемея подъем из Согдианы, который находится в Комедских горах. Вопрос о том, что понимал Птолемей под Комедскими горами, неоднократно рассматривался различными исследователями[3]. Так, А. М. Мандельштам полагал, что они соответствуют западной части Памира и Заалайскому и Алайскому хребтам [14, стр. 37]. К. Ширатори на основании анализа китайских хроник, содержащих в ином произношении название Kumedh, пришел к выводу о том, что в ханьское время этим термином обозначалась восточная часть Вахана и только с танской династии под названием Kumedh стали понимать и Дарваз [23, стр. 20—21]. По-видимому, Комедские горы следует понимать довольно широко, как определение всего горного массива Западного Памира и Припамирья, и вряд ли есть смысл искать точную локализацию на современной карте подъема из Согда и истоков Яксарта. Скорее здесь следует видеть общее представление о том, что реки вытекают из тех же гор, где находится подъем из Согда.

Анализируя географические представления Птолемея, Херманн считал, что наличие только левых притоков Яксарта до изгиба реки и только правых притоков после изгиба подтверждает реальность сведений, которые имел Птолемей. Помещение же истока реки на юге,

[3] Подробно о различных точках зрения на этот вопрос см. [14 и 23].

а не на востоке он относит за счет традиционного представления о том, что Яксарт течет с Индийских гор и территория Согдианы и саков противолежит Индии [20, стб. 1185].

В. В. Григорьев указывал, что одной из ошибок Птолемея было помещение истока Яксарта на юге, а не на востоке, а другой — помещение Имайского хребта на 8—10° восточнее Комедских гор. Он полагал, что если восстановить реальное течение Яксарта и «сдвинуть» западнее Имайский хребет, то «все будет изображено близко к нашему времени», в частности восстановится правильное положение Ферганы, которую В. В. Григорьев видел в Вандабанде Птолемея, никак, впрочем, это не аргументируя [18, стр. 60—61].

Как Херманн, так и В. В. Григорьев, таким образом, считали, что у Птолемея имелись реальные сведения, которые были им искажены под влиянием прежних традиционных представлений.

В связи с этим встает, в частности, вопрос о том, каким путем проходил сирийский купец Маэс Тицианн, сведения которого были использованы Марином Тирским и Птолемеем [4].

Исследователи убедительно доказали, что путь Маэса не лежал через Фергану, с чем мы полностью согласны. Если бы путь его проходил через Ферганскую долину, то скорее всего греки получили бы какие-то реальные сведения об этом районе, что в свою очередь нашло бы отражение у античных авторов. Видимо, все же и Марин Тирский, и Птолемей не располагали новыми данными о Фергане. Если сравнить реку Яксарт у Птолемея с реальным течением Сырдарьи, то можно видеть, что верхнее течение Яксарта соответствует примерно и по направлению, и по длине отрезку Сырдарьи от выхода ее из Ферганской котловины вблизи Ленинабада до поворота на северо-запад в районе примерно железнодорожной станции Тимур. Вблизи Ленинабада, разумеется, истоков ее нет. Следовательно, за исток принималась какая-то другая река, некогда впадавшая в Сырдарью. Причем западнее такой реки Птолемей помещает еще два притока Сырдарьи.

Херманн предлагает видеть в Димосе Карадарью, а в Баскатисе — «реку у Коканда» (видимо, Сох?) [20, стб. 1185].

А. М. Мандельштам предполагал, что за исток Сырдарьи в данном случае принимали реку Куршаб, а следовательно, Южная Фергана вся входила в Согдиану [14, стр. 37].

Но было ли известно Птолемею о существовании Куршаба? Даже побывавший в 1813 г. в Ферганской долине Филипп Назаров очень неопределенно пишет о том, что Ош, в котором он был, стоит «на упадающей из горы Кашкар-Диван реке Сырдарье» [16, стр. 49], т. е. имеется в виду река Ак-бура, на которой стоит город Ош. Если бы некто, кто давал сведения об истоках Яксарта, видел Куршаб, то он видел бы и много других рек к западу от Куршаба, текущих, как и последний, с юга на север и впадавших в те времена в Сырдарью (Исфайрам, Шахимардан, Сох и др.). И тогда к западу от предполагаемого истока Яксарта было бы не два притока, как у Птолемея, а по крайней мере восемь, если не больше!

Между тем сравнение с современной картой позволяет сопоставить указанные Птолемеем два притока и исток Яксарта с вполне реальными реками, которые греки действительно видели и могли описать. Самая западная река Ферганской долины, впадающая сейчас в Фархадское море — это Аксу, берущая начало в Туркестанском хребте у перевалов Комадон и Ховрут [15, стр. 694]. Восточнее ее — река Исфана, тоже текущая со склонов Туркестанского хребта, причем исток ее близок к истоку Аксу. При больших паводках она и сейчас впадает в Сырдарью. Третья же река, которую греки, видимо, и принимали за Сырдарью,—это река Ходжа-Бакырган, тоже стекающая с Туркестанского хребта и впадающая в Сырдарью у селения Ява [9, стр. 148—149]. Река эта довольно большая [15, стр. 694], издавна служила основным источником водоснабжения Ходжентского оазиса [6, стр. 6]. Войско Александра Македонского в погоне за саками переправлялось через Сырдарью вблизи Ленинабада [12], где Ходжа-Бакырган впадает в Сырдарью. И вполне возможно, что именно эту реку греки приняли за верхнее течение Яксарта. Это, на мой взгляд, наиболее реальное объяснение тому, что греки, побывав в этом районе, все равно помещают исток реки на юге, а не на востоке.

При таком представлении о Яксарте естественно, что в территорию «за Яксартом», «за Танаидом» античные авторы включали земли не только к северу от современного течения Сырдарьи, но и к востоку от предполагаемого течения Яксарта, т. е. к востоку от реки Ходжа-Бакырган. Не повторяя приведенных выше сведений, обратим внимание лишь на то, что все авторы безоговорочно помещают за Яксартом саков, иногда добавляя к ним другие племена (например, ассии, пасианы, тохары, сакаравлы у Страбона). Именно Яксарт разделяет Согдиану и саков и является восточной границей Согдианы. По Птолемею, страна саков граничит на западе с Согдианой; на севере — со скифами по линии от изгиба Яксарта до точки 130°49′; на востоке граница спускается от этой точки

[4] Этому вопросу посвящено много работ. Наиболее полно см. [14, стр. 26—45; 23, стр. 1—12; 8].

по Аскатанским горам до гор Имаом; на юге идет по линии собственно Имайских гор. Под Аскатанскими горами, считает А. М. Мандельштам, следует понимать Ферганский хребет в противоположность точке зрения Бертело, помещавшему их в районе Джунгарского Алатау [14, стр. 37]. Нам кажется более правильной точка зрения А. М. Мандельштама, но, может быть, следует понимать Аскатанские горы более широко, как Тянь-Шань в целом.

Саки, которые живут по Яксарту, называются у Птолемея караты и комары, те, что совсем у гор,— комеды, у Аскатанских гор — массагеты. Между комедами и массагетами — гринаи и тоорны, на Имае — бильты. Страна саков — страна кочевников: они не имеют городов, живут в лесах и пещерах. Вот то, что сообщает о стране саков Птолемей. Границы ее довольно точно определены лишь на западе, где дальше за Яксартом начинается Согдиана. Что касается других ее границ, то они более проблематичны. По-видимому, под страной саков античных авторов действительно следует понимать довольно обширное пространство, охватывающее горные массивы Памиро-Алая, Тянь-Шаня, Фергану, Ташкентский оазис [1, стр. 208—216; 3, стр. 47; 17, стр. 14].

Если исходить из карты Птолемея, то караты и комеды и даже массагеты оказываются на территории Ферганы. Но не думаю, что стоит пытаться локализовать их точно по Птолемею. Вряд ли для северо-востока Средней Азии эти сведения реальны. Скорее всего племенные названия отражают бесчисленное количество племен (а может быть, и родов!), обитавших в этих районах и объединенных под названием саки [3, стр. 14—15; 17]. Поэтому для нас в данном случае важно только то, что, с точки зрения античных авторов, Фергана также оказывалась в стране саков. В этой связи интересно вспомнить сведения Арриана о походе Александра Македонского. У него неоднократно говорится о варварах, живущих за рекой (Арриан, IV, 1, 3; IV, 3, 6) или по соседству с рекой (Арриан, IV, 1, 4). Он же вкладывает в уста скифов слова о том, что есть-де разница между скифами и среднеазиатскими варварами (Арриан, IV, 4, 2). В. В. Григорьев полагает, что варварами Арриан называет в данном случае оседлых туземцев. «Следовательно, если говорит он о варварах по ту сторону Сыра, значит, правое побережье этой реки имело в Александрово время оседлое население, по крайней мере на протяжении бывшей Ташкинии» [4, стр. 27].

В свете изложенных соображений мы имеем право предполагать, что оседлое население (с точки зрения греков) находилось на территории скорее Западной Ферганы, чем Ташкента.

Таким образом, античные авторы имели реальные сведения лишь о территории Юго-Западной Ферганы до реки Ходжа-Бакырган. Ее они и включали в Согдиану. А вся Ферганская долина, оставшаяся «за Яксартом», т. е. за Ходжа-Бакырганом, была для них страной саков, в которой, впрочем, обитали еще и какие-то «варвары» — оседлое население долины.

Ничего больше они о Фергане не знали [5].

1. Бернштам А. Н., Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая, — МИА, М.—Л., 1952, № 26.
2. Грантовский Э. А., Племенное объединение parçu — parçava у Панини,— «История и культура древней Индии», М., 1963.
3. Григорьев В. В., О скифском народе саках, СПб., 1871.
4. Григорьев В. В., Поход Александра Македонского в Западный Туркестан,— ЖМНП, ч. 217, отд. II, 1871, сентябрь — октябрь.

[5] В литературе неоднократно поднимался вопрос о возможности отождествления названия одного из народов, упоминаемых Геродотом, с населением Ферганы. Это имя народа «парикании», помещаемого Геродотом при перечислении ахеменидских сатрапий в X, а затем в XVII сатрапию. Впервые это отождествление было сделано Херцфельдом [22, стр. 24], в дальнейшем поддержано рядом других ученых, в частности А. Н. Бернштамом, К. В. Тревер. Наиболее подробно на этом останавливался Ю. А. Заднепровский [7, стр. 196—198], приведший все существовавшие тогда точки зрения. Отождествление это базировалось на лингвистическом сопоставлении топонимов Парикания — Фергана.

Геродот называет париканиев в одном случае вместе с мидянами и ортокорибантиями, в другом — вместе с азиатскими эфиопами. По мнению И. М. Дьяконова, словом «парикании» обозначалось неиранское население Ирана и под этим именем не следует понимать только Фергану [5, стр. 338, прим. 4].

Имеется сопоставление города Парикана Гекатея, страны Паркан из Бундахишна и упоминаемой Панини страны Prakanva с Ферганой. Ю. А. Заднепровский считает все эти сопоставления закономерными и полагает, что, так же как неверно связывать их только с Ферганой, так же неверно исключать Фергану из этих сопоставлений.

Вопрос о возможности видеть в «Парикана» греков и в «Prakanva» индусов Фергану детально рассмотрен Э. А. Грантовским. Автор приходит к выводу о том, что эти сопоставления не могут быть приняты [2, стр. 71—77], так как сомнительно само отождествление parikāna —prakaṇva, а кроме того, в тексте Панини не фигурируют области, народы и города Ирана и Средней Азии [2, стр. 78].

Древняя форма названия Ферганы, как это установлено В. А. Лившицем,— Far(a)gana или Fragana [11, стр. 85]. Следовательно, парикании, Паркан и т. д. не могут относиться к ней.

Подробную критику сопоставления парикании — Фергана дал Б. А. Литвинский [13, стр. 266—267]. По-видимому, столь соблазнительные отождествления не могут быть приняты и надо признать, что в списке ахеменидских сатрапий Фергана как самостоятельная область не числится.

5. Дьяконов И. М., История Мидии, М.—Л., 1956.
6. Ершов Н. Н., Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского района Таджикской ССР перед Октябрьской революцией,— ТИИ АН ТаджССР, т. XXVIII, Сталинабад, 1960.
7. Заднепровский Ю. А., Древнеземледельческая культура Ферганы, — МИА, М.—Л., 1962, № 118.
8. Зелинский А. Н., Древние пути Памира, АКД, М., 1969.
9. Ильин И. А., Водные ресурсы Ферганской долины, Л., 1959.
10. История таджикского народа, т. I, М., 1963.
11. Лившиц В. А., Согдийские документы с горы Муг. II. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица, М., 1962.
12. Литвинский Б. А., Саки, которые за Согдом,— ТАН ТаджССР, т. CXX, Сталинабад, 1960.
13. Литвинский Б. А., [Рец. на кн.:] Ю. А. Заднепровский, Древнеземледельческая культура Ферганы,— СА, 1965, № 4.
14. Мандельштам А. М., Материалы к историко-географическому обзору Памира и Припамирских областей,— ТАН ТаджССР, т. 53, Сталинабад, 1957.
15. Массальский В. И., Туркестанский край,— «Россия», т. XIX, СПб., 1913.
16. Назаров Ф., Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии, М., 1968.
17. Пьянков И. В., «Саки» (Содержание понятия),— ИООН АН ТаджССР, 3 (53), 1968.
18. Риттер К., Землеведение, вып. II, отд. I, СПб., 1873.
19. Юлий Солин, перев. В. В. Латышева,—ВДИ, 1949, № 3.
20. Herrmann A., Jaxartes,— «Paulus Real Encyclopödie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Rearbeirung begonnen von Georg Wissowa».
21. Ronca I., Ostiran und Zentralasien bei Ptolemaios (Geographie 6, 9—21), Mainz, 1968.
22. Sarre F., Herzfeld E., Iranische Felsreliefs. Aufnahmen und Untersuchungen von Denkmälern aus alt- und Mittelpersischer Zeit, Berlin, 1910.
23. Shiratory K., On the Ts'ung-ling traffic route described by C. Ptolemaus,— «Memoires of the Research Department of the Toyo Bunko», 1957, № 16.

Г. А. Кошеленко

ГЕНЕАЛОГИЯ ПЕРВЫХ АРШАКИДОВ

(ЕЩЕ РАЗ О НИСИЙСКОМ ОСТРАКЕ № 1760)

В 1960 г. И. М. Дьяконов и В. А. Лившиц опубликовали происходящий из раскопок ЮТАКЭ в Старой Нисе документ — памятную хронологическую запись о вступлении на престол нового царя (остракон № 1760):

(1) SNT 1 C XX XX X III III 1 'rš MLK' BRY BR [YZ] Y (?) (Pry)ptk (2) BRY 'HY BRY ZY (?) 'rš.

(1) Год 157, Aršak царь, вну[к] Friyapātak'a, (2) сына племянника Aršak'a. [1, стр. 20—21; см. также 3, стр. 20—21, 38].

Отметив некоторые языковые особенности документа, авторы так интерпретировали его историческое содержание: царем, вступившим на престол в 157 г. аршакидской эры (91 г. до н. э.), является Готарз, который, согласно этой записи, был внуком Фриапатия и, вероятно, двоюродным братом правившего в это время Митридата II. Его генеалогию они на основании этого остракона восстанавливают следующим образом: упомянутый в документе Фриапатий являлся сыном Тиридата и племянником основателя династии Аршака. В документе, добавляют они, указаны только царствовавшие предки Аршака-Готарза с целью подчеркнуть его права на престол. Кроме того, этот документ является свидетельством в пользу историчности Аршака I, что часто подвергалось сомнению.

Несколько лет спустя к этой памятной записке обратились Э. Бикерман [8, стр. 15—17] и М.-Л. Шомон [10, стр. 11—35; 9, стр. 143—164]. Согласившись с предположением И. М. Дьяконова и В. А. Лившица о том, что здесь действительно имеется в виду восшествие на престол Готарза [1], поскольку это полностью соответствует сведениям вавилонских клинописных документов, Э. Бикерман также подчеркнул уже встречавшуюся ранее в литературе мысль, что этот Готарз до того, как выступил против Митридата II, занимал пост «сатрапа сатрапов»; в этом качестве он и был изображен на рельефе царя Митридата в Бисутуне [12, стр. 81, табл. VII]. Связав этот документ с иными сведениями по истории Парфии конца 90-х — начала 80-х годов I в. до н. э., Э. Бикерман уточнил ряд фактов этого периода. Вместе с тем Э. Бикерман высказал несколько соображений, которые кажутся весьма дискуссионными. В частности, он полагал, что у парфян система наследования царской власти строилась не по линии от отца к сыну, а от брата к брату. Безусловно, в ряде династий [13], в том числе, возможно, у индо-скифских царей, этот принцип существовал, однако на парфян его распространить нельзя — этому противоречат прямые сообщения источников. Так, в частности, Юстин писал о Приапатии и его наследниках следующее:

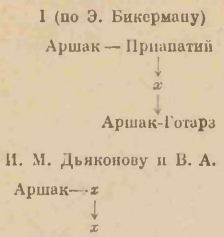
«Приапатий умер, пробыв царем пятнадцать лет, и оставил двух сыновей: Митридата и Фраата. Старший из них, Фраат, по обычаю парфянского народа наследовал царство...» (Just., XLI, 5, 9).

Здесь прямо говорится, что обычай парфян — это наследование от отца к старшему сыну. Наследование же от брата к брату — явление экстраординарное, вызванное какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, как это подчеркивает тот же Юстин, объясняя, почему наследником Фраата I стал Митридат I (Just., XLI, 5, 10). Ценность сообщений Юстина заключается в том, что он, как это указывает сам Э. Бикерман, излагает официальную парфянскую традицию.

Второй тезис Э. Бикермана, вызывающий возражения,— это его реконструкция генеалогического древа ранних Аршакидов, точнее, той его ветви, которая связывает Аршака I с Готарзом. Предлагая несколько иное чтение текста, нежели чтение И. М. Дьяконова и В. А. Лившица, он дает в сопоставлении две генеалоги-

[1] М.-Л. Шомон также согласна, что Аршак, упомянутый в этом документе, является Готарзом I, хотя она совсем не уверена, что именно он ранее занимал пост «сатрапа сатрапов» [10, стр. 18].

ческие схемы — свою собственную и схему, составленную им на основании чтения И. М. Дьяконова и В. А. Лившица:



Не будучи специалистом в семитской эпиграфике, я не могу, конечно, судить о лингвистической стороне вопроса. Отмечу только, что предложенная Э. Бикерманом реконструкция приводит к очень серьезным хронологическим натяжкам. Если следовать схеме Э. Бикермана, то, чтобы уложиться в упомянутый в документе срок в 157 лет, приходится допустить, что в момент коронации Аршака I Приапатий только родился, его сын, отец Аршака-Готарза, родился тогда, когда его отцу было 70 лет, и в свою очередь Аршак-Готарз появился на свет, когда его отец также достиг 70-летнего возраста, короновался же Готарз в 17 лет. Если же вспомнить, что вряд ли могла существовать столь большая разница между возрастом Аршака и Приапатия — его брата (по Э. Бикерману), что рождение сына от 70-летнего отца да еще и в двух поколениях подряд — довольно большая редкость, то все это заставит нас отказаться от схемы, предложенной Э. Бикерманом [2].

Свое толкование содержания остракa № 1760 предложил и Ф. Альтхайм [7, стр. 445—448]. Его концепция также не может быть принята [3], что заставляет нас вернуться к схеме И. М. Дьяконова и В. А. Лившица. Она тем более заслуживает предпочтения, что при этом нет никакой нужды менять чтение документа, а наличие двух добавочных поколений снимает все трудности хронологического порядка.

Естественно, встает вопрос о том, как эта схема согласуется с другими сведениями о генеалогии первых аршакидских царей [4].

Однако, прежде чем перейти к этому вопросу, необходимо сделать несколько вводных замечаний. Возникновение и ранняя история парфянского государства во многом еще остаются дискуссионными. Наибольшие сложности порождают две труднопримиримые версии источников относительно событий эпохи возникновения государства Аршакидов: версия Помпея Трога (Юстина) и Страбона, с одной стороны, и версия Арриана (и зависящих от него авторов) — с другой.

Несмотря на то что в изучении истории Парфии в течение долгого времени существовало стремление как-то примирить эти две версии источников, сравнительно недавние работы И. Вольского показали, что при таком подходе невозможно решить встающие вопросы. И. Вольский доказал, что исторической, отража-

---

[2] На хронологически малую вероятность предложенной Э. Бикерманом схемы указывает и М.-Л. Шомон [10, стр. 16], однако ее собственные предположения также весьма уязвимы. М.-Л. Шомон [10, стр. 169; 9, стр. 148] переводит текст таким образом: «Год 157. Аршак, царь, внук Фриапатака [и] племянник сына Аршака». Следовательно, она считает, что BRY'ḤY BRY означает «племянник сына» и относится к данному Аршаку.

Однако при таком толковании появляются совершенно непреодолимые трудности как хронологического, так и генеалогического порядка: во-первых, наличие в хронологическом древе только трех поколений, что невозможно, как мы пытались показать, анализируя схему Э. Бикермана. Во-вторых, Фриапатий в таком случае оказывается братом Аршака I, что совершенно невозможно. М.-Л. Шомон сама сознает эти трудности, и поэтому она предлагает переводить формулу BRY' ḤY BRY словом «потомок» (arrière neveu). Однако подобный перевод совершенно произволен и не подкрепляется никакими лингвистическими аргументами. Кроме того, М.-Л. Шомон почему-то называет Фриапатия сыном Артабана. Однако Юстин, на которого она ссылается (Just., XLI, 4, 9), говорит только, что этот царь был третьим из парфянских царей и он также носил имя Аршака («Tertius Parthis rex Priapatius fuit, sed et ipsa Arsaces dictus...»). Никакого Артабана в сообщении Юстина нет. Таким образом, предложенная М.-Л. Шомон интерпретация документа не может быть принята.

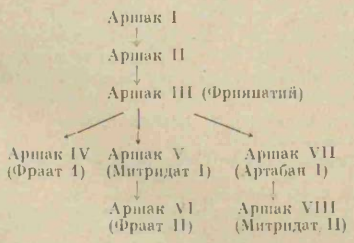
[3] Данная работа, к сожалению, осталась мне недоступной. Сведения о концепции Ф. Альтхайма и ее критика принадлежат В. А. Лившицу, любезно сообщившему свои наблюдения автору. Ф. Альтхайм считает, что издатели архива прежде всего не поняли, что имеют в записке дело с Митридатом II, а не Готарзом I. Однако эта поправка не может быть принята по соображениям хронологии. Кроме того, построения Ф. Альтхайма основаны на неверном переводе и произвольном толковании текста, а также на искаженной интерпретации порядка престолонаследия у ранних Аршакидов.

[4] М.-Л. Шомон [10, стр. 18] считает вполне возможным, что генеалогия Готарза является фиктивной, а сам он не был подлинным Аршакидом. Однако это предположение вряд ли верно. Согласно единодушному мнению древних авторов, в Парфии твердо держалась традиция, по которой царями могли быть только представители Аршакидского дома (точно так же, как в эпоху Ахеменидов и Сасанидов). Практически почти во всех известных внутренних войнах различные борющиеся группировки выдвигали в качестве претендентов на престол Парфии различных представителей рода Аршакидов, что было, в общем, нетрудно, учитывая его многочисленность.

ющей подлинные события парфянской истории является версия Юстина [см. особенно 18, стр. 222—238].

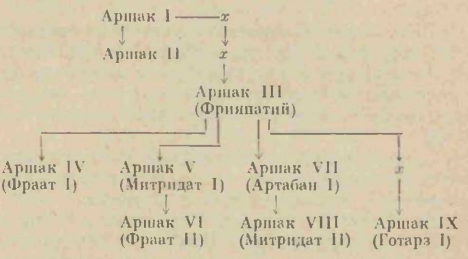
Схема же событий, восходящая к Арриану, — явление более позднее, порожденное периодом, когда династия Аршакидов вынуждена была искать новые аргументы для доказательства своей «легитимности» [14, стр. 40—59; 5, стр. 212—218]. Решение, предложенное И. Вольским, в течение ряда лет оставалось лишь очень вероятным предположением, пока новые эпиграфические открытия не подтвердили его. Была, в частности, найдена надпись III в. до н. э., в которой упоминается Андрагор, по всей видимости занимавший пост стратега «верхних сатрапий» [15, стр. 85—91]. Тем самым было доказано, что версия Юстина верна, ибо только у него противником Аршака выступает Андрагор, в то время как у Арриана в этом качестве выступает Ферекл, а у Синкелла — Агафокл. Кроме того, подтверждением выводов И. Вольского могут служить и нумизматические материалы [4, стр. 53—60], а также и рассматриваемый нами документ. И. М. Дьяконов и В. А. Лившиц совершенно справедливо подчеркивают, что он является свидетельством в пользу историчности Аршака, что часто подвергалось сомнению [1, стр. 20—21] [5].

Таким образом, есть все основания поставить вопрос о том, как соотносятся данные, полученные при исследовании нисийской памятной записки, с данными, извлеченными из сообщения Юстина. Под интересующим нас углом зрения сведения Юстина рассматривались И. Вольским, который предложил свою генеалогическую схему первых парфянских царей (до Митридата I) [17, стр. 138—145], которую мы воспроизводим здесь с некоторыми дополнениями для более позднего времени. Эти добавления бесспорны, поэтому мы и позволяем себе это расширение, нужное для большей ясности вопроса.



[5] Отметим, что М.-Л. Шомон в обеих своих работах совершенно не учитывает выводы И. Вольского, смешивая воедино данные Арриана и Юстина, в результате чего возникает ряд явных ошибок.

Если мы сопоставим эти две схемы, то в глаза бросится основное различие между ними: у Вольского Фриятий (Приапатий) является сыном Аршака II и тем самым внуком Аршака I, у И. М. Дьяконова и В. А. Лившица Фриятий — внучатый племянник Аршака I. Естествен в такой ситуации вопрос: какое же из решений предпочтительнее? Нам кажется, что более правы И. М. Дьяконов и В. А. Лившиц, хотя бы потому, что нисийский документ — это документальное свидетельство, которому должно быть отдано предпочтение перед литературными данными. Но и сам текст Юстина, как мы увидим, ни в коей мере не противоречит памятной записке. У Юстина нет никаких указаний на характер родственных отношений Приапатия с Аршаком II. Этот автор пишет следующее: «Третьим парфянским царем был Приапатий, но и он назывался Арсаком. Ибо, как выше было сказано, парфяне всех своих царей называли этим именем...» (Just., XLI, 5, 8). Это умолчание тем более показательно, что для всех остальных парфянских царей ранней поры Юстином точно указан их характер родственных отношений: Аршак II — сын Аршака I; Фраат I и Митридат I — сыновья Приапатия; Фраат II — сын Митридата I; Артабан I — дядя по отцу Фраата II; Митридат II — сын Артабана I. Таким образом, в действительности никаких противоречий между нисийской памятной запиской и Юстином нет, и можно на основании этой записки исправить генеалогическую схему, предложенную И. Вольским:

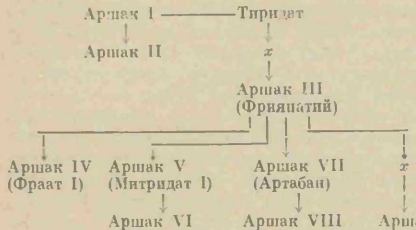


Так составленная схема, отвечающая и данным литературной традиции, и документальным свидетельствам, позволяет сделать несколько выводов по важным вопросам раннепарфянской истории.

Первый вывод заключается в том, что прямая линия наследников Аршака I прекращается уже на его сыне Аршаке II, а все последующие цари ранней Парфии — потомки Фриятия, являющегося, в свою очередь, внуком брата Аршака I. В настоящее время можно только строить предположения о том, как и почему

это произошло. Единственным объяснением, которое мы можем предложить, является то, что именно на период царствования Аршака II приходится поход Антиоха III, поражение парфян в ходе его и признание вассалитета от Селевкидов. Эти события, почти сведшие на нет успехи периода царствования Аршака I, могли послужить причиной недовольства среди парфянской знати Аршаком II и даже низвержения его. Конечно, это не более чем предположение, но оно, на наш взгляд, вполне вероятно.

В связи с этим встает вопрос о замене в предложенной генеалогической схеме некоторых неизвестных реальными историческими лицами. Мы имеем в виду брата Аршака I. У Арриана (и у следующего ему Синкелла) упоминается брат Аршака I — Тиридат, которому они приписывают значительную роль в деле создания парфянского государства. С учетом этих добавлений генеалогическая таблица первых Аршакидов на нынешнем уровне изученности должна выглядеть следующим образом:



Но, естественно, встает вопрос: не означает ли введение в эту схему Тиридата признания достоверности версии Арриана и тем самым не является ли это противоречием тому, что утверждалось в начале статьи? Нам кажется, что нет.

Для того чтобы подтвердить свои взгляды, мы должны будем остановиться на том, чем различаются версии Юстина и Арриана.

1. У Юстина создание парфянского государства — это завоевание Парфиены, власть над которой принадлежала Андрагору, кочевыми племенами [6], у Арриана — это восстание местного населения против македонской власти [7].

2. У Юстина руководитель борьбы — Аршак, у Арриана (а также Синкелла и Зосима) присутствуют два брата, причем восстание вызвано преступными намерениями селевкидского наместника против одного из братьев — Тиридата (Арриан, Синкелл, Зосима).

3. У Арриана Аршак и Тиридат привлекают еще пять человек, так что в заговоре всего участвуют семь человек. У Юстина этот мотив отсутствует.

4. У Синкелла отмечается связь рода Аршакидов с Ахеменидами через Артаксеркса (Ἀρσάκης τις καὶ Τηριδάτης ἀδελφοὶ τὸ γένος ἔλκοντες ἀπὸ τοῦ Περσῶν Ἀρταξέρξου — «Братья, некий Арсак и Тиридат, ведущие род свой от Артаксеркса персидского...»), а у Арриана указываются предки Аршака и Тиридата (Ἀρσάκης καὶ Τηριδάτης ἦστιν ἀδελφὼ Ἀρσακίδαι, τοῦ υἱοῦ Ἀρσάκου τοῦ Φριαπίτου ἀπόγονοι — «Были два брата Арсак и Тиридат из рода Арсакидов, потомки Фриапатия, сына Арсака»), у Юстина подчеркивается неизвестность происхождения Арсака (Just., XLI, 4, 6).

5. У Арриана в роли создателей парфянского государства выступают оба брата — Аршак и Тиридат, причем (очень характерная деталь) время царствования Аршака — всего два года, а наследующего ему Тиридата — 37 лет. У Юстина же подробно рассказывается о всем долгом правлении Аршака, который умирает в глубокой старости и оставляет престол своему сыну, носящему также личное (не тронное) имя Аршак (Just., XLI, 5, 5—6).

Как уже отмечалось И. Вольским, в отличие от версии Юстина версия Арриана наполнена литературными реминисценциями и некоторыми другими чертами, указывающими на ее позднее происхождение. Кроме того, в литературе (в общей форме) указывалось также на то, что в версии Арриана явно видно стремление придать «легитимность» Аршакидской династии и обосновать ее претензии на власть над всем Передним Востоком [14, стр. 40—42].

В силу этого нам представляется необходимым вновь под этим углом зрения просмотреть отличия двух версий, отмечая высказывавшиеся ранее соображения и несколько более подробно развивая те, которые ранее, как нам кажется, не приводились в данной связи.

---

[6] У Юстина (Just., XLI, 4, 7) Арсак «с шайкой разбойников напал на парфян, победил их правителя Андрагора и, убив его, захватил власть над парфянским народом»; у Страбона (Strab., XI, II, 2): «затем Арсак, скиф, вместе с некоторыми из даев, так называемых апарнов, кочевников, живущих по реке Оху, напал на Парфию и завоевал ее».

[7] У Арриана (Arrian, Parthica, fr. 1,— Photius, Bibl., cod. 58 — FHG, II, стр. 586—587): «они (Аршак и Тиридат) освободили народ от македонян, и они стали править над своими...» (καὶ τὸ ἔθνος Μακεδόνων ἀπεστήσαν καὶ καθ' ἑαυτοὺς ἦρξαν . . .) Близкие идеи у Синкелла (Syncell, стр. 248B — FHG, II, стр. 587: ἐπὶ τούτου τοῦ Ἀντόχου Πέρσαι τῆς Μακεδόνων καὶ Ἀντιόχων ἀρχῆς ἀπέστησαν... — «При этом Антиохе персы отпали от власти македонян и Антиохов») и у Зосима (Zosimus I, 18 — FHG, II, стр. 587: Ἀρσάκης ὁ Παρθυαίος... πόλεμον πρὸς τὸν Ἀντιόχου σατράπην ἀναιμος. αἰτίαν δέδωκε τοῖς Παρθυαίοις ἐκβαλοῦσι Μακεδόνας εἰς ἑαυτοὺς τὴν ἀρχὴν περιστῆσαι — «Арсак-парфянин... предпринявший войну против сатрапа Антиоха, дал причину парфянам, изгнавшим македонян, чтобы власть перешла к ним самим»).

1. Безусловно, в тот период, когда власть Аршакидов нуждалась в обосновании не только правом завоевания, в период, когда поднимал голову местный сепаратизм, особое значение имела борьба вокруг вопроса о том, представляют ли Аршакиды местную династию, героев освободительной борьбы иранцев против македонского ига (как это доказывалось в версии, излагаемой Аррианом), или они чужеземцы, пришельцы (как это утверждает поздняя иранская традиция, восходящая к Сасанидам, считавшим только себя истинно иранской династией). Особенно важно отметить, что в поздней традиции Аршакидов называют не парфянской династией, а персидской, царями Персии, персов и т. п. [8], что, безусловно, с нашей точки зрения, перекликается с теми же идеями, которые мы видим у Арриана.

2. Замена одного героя двумя, как отмечалось в литературе,— явление вполне обычное, результат влияния литературной традиции, согласно которой у колыбели того или иного государства стояли два героя-основателя (не обязательно брата), начиная с легендарного основания Рима, где действовали Ромул и Рем.

В связи с этим можно только заметить, что в литературной традиции, касающейся судеб эллинистического Востока, очень часто в качестве таких «парных» героев выступали Александр Македонский и Селевк, причем они обрисовывались таким образом, что создавалось впечатление, что Селевк — прямой наследник Александра [многочисленные примеры см. 11, стр. 153—170].

Появление же мотива преступной любви как причины низвержения власти (как это прекрасно показал И. Вольский) — общий литературный штамп античной эпохи, начиная с описания причин низвержения Писистратидов. Он всегда использовался в качестве мотива, особо подчеркивающего тиранический характер власти и законность ее свержения.

3. Уже давно было отмечено, что появление семи заговорщиков в версии Арриана — также чисто литературный прием, позаимствованный из описания заговора семи персов против Гауматы. Он применен, чтобы связать посредством аналогии Аршакидов с Ахеменидами. Можем только добавить, что это наблюдение было уже сделано в позднеантичной литературе [9].

4. Возведение генеалогии к Ахеменидам для обоснования «законности» своей власти — явление настолько общее в эллинистический период, присутствующее у самых мелких династий, что особо останавливаться на этом вопросе нет необходимости [16, стр. 221].

Рассмотрев эти особенности, отличающие версию Арриана от версии Юстина, мы вслед за И. Вольским и Я. Нойзнером можем действительно признать, что все они — явления, объяснимые тем, что создание этой версии имело целью обосновать новыми средствами принцип законности власти Аршакидов. История ранней Парфии была пересмотрена в соответствии с некоторыми широко распространенными приемами и литературными штампами, следовательно, версию Арриана надо рассматривать как свидетельство развития идеологических концепций парфянской государственности, а не как документ, описывающий события эпохи возникновения парфянского государства.

Но в эту концепцию решительно не укладывается пункт пятый, поскольку здесь отличия версии Арриана от версии Юстина никак не могут быть истолкованы исходя из тех принципов, которыми объясняются различия в первых четырех пунктах. Суть различий здесь в том, что в версии Арриана упорно снижается значение деятельности Аршака I, совсем не упоминается Аршак II и возвеличивается взамен этого Тиридат. У Арриана указывается, что братья освободили народ от македонян и стали править (... καὶ τὸ ἔθνος Μακεδόνων ἀπέστησαν ... καὶ ἦρξαν), а у Синкелла говорится, что Аршак царствовал 2 года, а Тиридат — 37 лет [10]. В то же время у Юстина нет ни слова о Тиридате, все заслуги в создании государства приписываются Аршаку I, которому наследует его сын Аршак II [11]. Если мы имеем дело с литературной обработкой фактов раннепарфянской истории с целью обосновать права Аршакидов на власть в Иране, то совершенно необъяснимым становится стремление преуменьшить роль Ар-

---

[8] Это мы видим в уже отмеченном месте Синкелла. У Стефана Византийского (s. v. Ῥάγα) при упоминании этого города говорится: μετωνομάσθη δὲ καὶ Ἀρσάκη ἀπὸ Ἀρσάκου βασιλέως Περσῶν; — «переименованный в Арсакию по Арсаку, царю персов»; у Гезихия (s. v.): Ἀρσάκες — οἱ βασιλεῖς Περσῶν; в «Суде» в обоих случаях, когда говорится об Аршакидах, несмотря на то что Аршак I называется парфянином, отмечается, что Аршакиды — цари персов: καὶ Ἀρσακίδαι οἱ Περσῶν βασιλεῖς ἐνθεν Ἀρσακίδαι ἐκλήθησαν οἱ Περσῶν βασιλεῖς. У Моисея Хоренского (1, 8) отмечается, что Аршак был царем персов и парфян.

[9] «Время в своих долгих оборотах часто возобновляет сходные случаи. Так, составивших с Дарием заговор против магов было семеро; столько же было и тех, которые гораздо позже того восстали с Арсаком против македонян» [6, отрывок 16].

[10] Необходимо отметить, что помимо Юстина сведения о длительности царствования Аршака присутствуют и у других авторов — см., например, Моисей Хоренский, II, 2, где сообщается, что Аршак царствовал 31 год.

[11] Помимо обычно привлекаемых в этой связи авторов необходимо учесть и позднюю традицию, очень высоко оценивавшую деятельность и моральные качества Аршака. См., например, обычно в этой связи не привлекавшиеся свидетельства «Суды» (s. v. Ἀρσάκης, A),

шака I, изъятие Аршака II и взамен этого преувеличение роли Тиридата. Но если обратиться к данным нисийской памятной записки и к составленной на основании ее генеалогической таблице, из которой явствует, что после Аршака II царем стал внук брата Аршака I — Фриапатий[12] и все последующие раннепарфянские цари — его потомки, то станет ясным, что создание новой беллетризованной версии истории возникновения парфянского государства имело и еще одну цель — переписать историю таким образом, чтобы как можно большую роль в создании парфянского государства сыграл брат Аршака I — Тиридат (согласно авторам круга Арриана), истинный предок парфянских царей [13]. Ясно, что брат Аршака I существовал, возможно, ему принадлежали значительные заслуги в деле завоевания Парфии и уничтожения власти Андрагора, но он никогда не был царем, что утверждает и нисийская памятная записка, поскольку он в ней представлен анонимно, как и все предки Готарза, не носившие царского титула.

При таком объяснении, как нам кажется, все факты согласуются и взаимно объясняют друг друга. После смерти или свержения Аршака II власть переходит к потомкам Тиридата, но поскольку, как свидетельствует античная традиция, слава Аршака I была велика, он был официально обожествлен, элиминировать его из истории Парфии было невозможно, то история постепенно переделывалась путем полного изъятия из нее Аршака II (видимо, фигуры вообще одиозной для парфянской знати), а также резкого сокращения времени царствования и Аршака I, который якобы гибнет в самом начале борьбы. Созданный таким образом запас почти в четыре десятилетия отдается под никогда в действительности не имевшее места царствование Тиридата [14].

Таким образом, памятная записка из Нисы позволяет, как нам кажется, не только восстановить подлинную генеалогию царей ранней Парфии, но и осветить неизвестные ранее причины расхождений между сведениями Юстина и Арриана. Она позволила окончательно понять, что версия Арриана не отражает народно-фольклорную парфянскую традицию, а является искусственным созданием, умышленной переработкой подлинных фактов для того, чтобы, во-первых, доказать права Аршакидов на власть в Иране и, во-вторых, возвысить роль Тиридата, подлинного предка раннепарфянских царей.

которые мы считаем необходимым процитировать и из-за некоторых других оригинальных данных, приведенных здесь: Ἀρσάκης Πάρθων βασιλεύς, ὃς δράστι πλεῖστις ἐν τῇ μάχῃ κατὰ τὴν πλευρὰν θνήκει, ἀνὴρ γενόμενος τό τε σῶμα κάλλιστος καὶ περιβλεπτότατος καὶ τὴν ψυχὴν βασιλικώτατος καὶ τοῖς ἐς πόλεμον ἔργοις δαιμονέστατος καὶ ἐς μὲν τὸ ὑπήκοον πᾶν πρᾳότατος, εἰς καθαίρεσιν δὲ τοῦ ἀνθισταμένου ἐρρωμενέστατος καὶ τοῦτον Πάρθοι τε ἐς τὰ μάλιστα ἐπόθησαν.

«Арсак, царь парфян, который от удара копья в бок умер в сражении. Муж прекрасный телом, и славный, и царственнейший душой, и в ратных делах опытнейший; по отношению к покорным во всем — кротчайший, а по отношению к противникам своим — самый сильный; и о нем парфяне больше всего скорбят».

[12] Подтверждением этому служат две другие памятные записки, найденные при раскопках Старой Нисы (NOV 307, NOV 366), к сожалению, худшей сохранности. В документе NOV 366, как полагают издатели, говорится о восшествии на престол Санатрука, брата Митридата II. В его родословной также отмечается Фриапатий как «связующее звено» между Санатруком и Аршаком. В документе NOV 307 упоминается правнук Фриапатия, возможно, Фраат III [3, стр. 143—144]. Безусловно, особое место, которое принадлежало Фриапатию,— первому из потомков Тиридата, восшедшему на аршакидский престол, должно было как-то отразиться в официальной генеалогии. И именно поэтому во всех тех документах, которые являются памятными записками о восшествии на престол и которые до сего времени были обнаружены при раскопках Старой Нисы, обязательно упоминается Фриапатий.

[13] Можно думать, что и фраза у Арриана относительно предков Аршака I и Тиридата (Ἀρσάκης καὶ Τηριδάτης ἦσαν ἀδελφὼ Ἀρσακίδαι τοῦ υἱοῦ Ἀρσάκου τοῦ Φριαπίτιου ἀπόγονοι) введена специально для того, чтобы показать, что династия имела название не по Аршаку I, как утверждают все иные авторы (см., например, у Евсевия — 11а, стр. 207: Πάρθοι Μακεδόνων ἀπέστησαν, καὶ πρῶτος ἐβασίλευσεν Ἀρσάκης. ὅθεν Ἀρσακίδαι,— «парфяне отпали от македонян, и первым стал царствовать Арсак, отсюда Арсакиды»), а по другому Аршаку — общему предку Аршака I и Тиридата.

1. Дьяконов И. М., Лившиц В. А., Документы из Нисы I в. до н. э. Предварительные итоги работы, М., 1960.
2. Дьяконов И. М., Лившиц В. А., Новые находки документов в Старой Нисе,— «Переднеазиатский сборник, II. Дешифровка и интерпретация письменностей Древнего Востока», М., 1966.
3. Дьяконов И. М., Лившиц В. А., Парфянское царское хозяйство в Нисе I в. до н. э.,— ВДИ, 1960, № 2.
4. Кошеленко Г. А., Некоторые вопросы истории ранней Парфии,— ВДИ, 1968, № 1.
5. Кошеленко Г. А., Царская власть и ее обоснование в ранней Парфии,— «История Иранского государства и культуры. К 2500-летию Иранского государства», М., 1971.
6. Эвнапий Сардиец, История,— «Византийские историки», т. 5, СПб., 1858.
7. Altheim F., Stiehl R., Geschichte Mittelasiens im Altertum, Berlin, 1970.
8. Bickerman E. J., The Parthian ostracon № 1760 from Nisa,— «Bibliotheca Orientalis», Jaargang XXIII, № 1—2, 1966.

[14] Если принять во внимание хронологические указания Арриана (37 лет царствования Тиридата и 2 года Аршака I) и наложить их на реальную хронологическую канву в соответствии с нашими соображениями, то можно будет думать, что Аршак II лишился власти в 208 г. до н. э., т. е. непосредственно после его подчинения Антиоху III, что хорошо согласуется с нашими предположениями о возможности его свержения.

9. Chaumont M. L., Études d'histoire parthe. I. Documents royaux à Nisa,— «Syria», t. XLVIII, fasc. 1—2, 1971.
10. Chaumont M. L., Les ostraca de Nisa. Nouvelle contribution à l'histoire des Arsacides,— JA, t. 256, fasc. I, 1968.
11. Edson Ch., Imperium Macedonicum: The Seleucid Empire and Literary Evidence,— «Classical Philology», vol. LIII, № 3, 1958.
11a. Eusebi, Chronicorum,— «Liber prior», ed. A. Schoene, Berlin, 1875.
12. Herzfeld E., Archaeological history of Iran, London, 1935.
13. Lambert J. N., Aspects de la civilisation à l'age du fratriarcat («Bibliothèque de la faculté de droit de l'Université d'Alger», vol. 28), Alger, 1958.
14. Neusner F., Parthian political ideology, Iranica Antiqua, vol. III, fasc. 1, 1963.
15. Robert L., Inscription hellénistique d'Iran, Hellenica, vol. XI—XII, Paris, 1960.
16. Tarn W., Queen Ptolemais and Apama,— «The Classical Quarterly», vol. XXIII, № 3—4, 1929.
17. Wolski F., Arsace II et la généalogie des premiers Arsacides,— «Historia», Bd 11, Hft. 2, Wiesbaden, 1962.
18. Wolski F., L'historicité d'Arsaces I,— «Historia», Bd 8, Hft. 2, 1959.

Г. А. Пугаченкова

БАКТРИЙСКИЙ ЖИЛОЙ ДОМ

(К ВОПРОСУ
ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ)

В архитектурном наследии древнего и античного Востока основное внимание историков архитектуры обычно привлекали памятники монументального зодчества — храмы, крепостные сооружения, дворцы. Жилые дома хотя и оставались в поле их зрения, но как бы на третьем плане. Это понятно, поскольку главными объектами применения наиболее совершенных строительно-технических средств и воплощения художественно-образных идей являлись сооружения, связанные с заданиями властителей и запросами господствующих культов, в силу чего к их созданию привлекались лучшие зодчие, мастера строительного дела и художественного оформления. Однако основную плоть городов, их архитектурно-организующую среду составляла все же жилая застройка, и в ней-то, в опыте массового строительства, вызревали те принципы, которые затем получали наиболее полноценное эстетическое воплощение в монументальной архитектуре дворцов и храмов.

Жилые дома античной Бактрии оставались почти неизвестными в науке вплоть до последних лет. Осуществленные ранее вскрытия трех-четырех комнат в домах на Чингиз-тепе Старого Термеза [11], Калаи-Мире [6, стр. 273 и сл.], Дальверзин-тепе [1, стр. 49 и сл.] не могли дать представления ни об общей планировке, ни о роли и взаимосвязи различных помещений. Ныне положение изменилось. Крупный греко-бактрийский жилой дом раскопан Французской археологической делегацией в Афганистане [17, стр. 321 и сл., рис. 6; 16, стр. 310 и сл., рис. 9, 11]. Раскопками же Узбекистанской искусствоведческой экспедиции в Сурхандарьинской области УзССР уже вскрыты полностью (или в большей своей части) по одному жилому дому в Халчаяне [14, стр. 86 и сл.], Айртаме, Хатын-Рабате и три дома на Дальверзин-тепе (последние фигурируют ниже под полевыми шифрами ДТ-2, ДТ-5, ДТ-6) [1]. Все эти дома — кушанского времени.

[1] Научный руководитель работ — автор данной статьи, участники раскопок упоминаемых в статье объектов — Т. Беляева, Э. Ртвеладзе, Б. Тургунов, Э. Хакимов.

Полученный комплекс наблюдений и фактов позволяет охарактеризовать некоторые ведущие черты архитектуры бактрийского жилого дома первых веков до и после начала нашей эры.

Архитектура жилища, как правило, отвечает требованиям бытового уклада семьи, отражающего определенные черты господствующей социальной организации; задачам создания повседневного комфорта — с учетом природно-климатических факторов; требованиям экономичности, побуждающим к применению наиболее доступных местных строительных материалов и проверенных долгой практикой строительных конструкций; в известной мере созданию эстетически воспитующей среды. Разумеется, удельный вес этих факторов неравноценен, он менялся в зависимости от сословного и имущественного положения владельца, отсюда — различие в облике жилых домов рядовых горожан и домов городской верхушки. Но при всем том есть в них немало и общих черт.

Общим является использование традиционных для Бактрии строительных материалов и строительно-технических приемов. Материалом стен служат крупный квадратный сырец, битая глина-пахса, нередко их комбинация, применяются и глино-каркасные конструкции. Стены значительны по толщине (несущие и ограждающие — от 1,20 до 2,80 *м*, перегородки — 0,80 — 1 *м*). Эта толщина не только отвечала конструктивным целям, но и обеспечивала хороший тепловой режим — прохладу летом, сохранение тепла зимой. В домах на Дальверзин-тепе выявлен прием армирования стен интерьеров вертикальными стойками, заделывавшимися вровень с поверхностью стены, — именно на эти стойки, а не на сырцовые кладки опирались главные прогоны потолка. Перекрытия домов были преимущественно деревянными — остатки больших и малых обуглившихся при пожаре балок обнаружены в Ай-Ханум, Халчаяне, Дальверзин-тепе. В айванах и большепролетных помещениях использовались деревянные колонны, нередко на каменных базах.

Планировка бактрийских жилых домов может быть проиллюстрирована на примерах.

Дом в Хатын-Рабате расположен неподалеку от холма — остатков крупного кушано-бактрийского архитектурного комплекса. Дом принадлежал владельцу мастерской по обработке каменных архитектурных деталей — плит, баз, коринфизированных капителей, фрагменты которых и множество отщепов мергелистого известняка обнаружены прямо на рабочей площадке. Участок владельца невелик и охвачен глинобитным дувалом. Сам дом прямоуголен (21 × 18 *м*), ориентирован с некоторым склонением к странам света. Он включает 16 помещений, полуоткрытую мастерскую, отмощенную сырцовым кирпичом; два дворика: один — с очажком, видимо, производственного назначения, другой — хозяйственный с расположенной рядом кухней. Выделяется центральное квадратное помещение — о его особом назначении свидетельствуют и само местоположение, и окраска (или роспись) штукатурок, фрагменты которых найдены при раскопках, в бело-красно-черной гамме. Комнаты взаимосвязаны дверьми в отдельные группы, однако в некоторых из них вообще не удалось выявить положения дверных проемов. Быть может, в них спускались по деревянным лесенкам с расположенных на крыше крытых террас. Отметим, что подобное же явление — отсутствие дверных проемов — присуще многим помещениям жилых домов Бхир-Маунда и Сиркапа в Таксиле [18, табл. 2, 10 и др.].

Время сооружения и функционирования дома на Хатын-Рабате определяется находками кушанских монет — от Кадфиза II до Хувишки (I—II вв., если относить «эру Канишки» к рубежу I—II вв. ± два — три десятилетия).

Небольшой дом рядового горожанина ДТ-2 вскрыт на Дальверзин-тепе [12, стр. 192]. Он близок к квадрату в плане (26,5 × 23 *м*), имеет Г-образный дворик, в который, судя по торцовому выступу одной из стен, был обращен айван на деревянных колоннах. Дом состоял из восьми помещений, взаимосвязанных дверными проемами по два, по три. В нем выделяется продолговатая центральная комната, посреди которой высился небольшой очаг и примыкающая к стене сырцовая тумба. То и другое имело не бытовое назначение, так как очаг невелик, приподнят на сырцовом пьедестале, а у подножия его в слое пепла были найдены фрагменты двух терракотовых статуэток бактрийской богини. Очевидно, комната одновременно служила и гостиной-михманханой, и местом отправления домашнего культа у жертвенника-очага; на тумбе же устанавливались ритуальные предметы.

Датировку дома определяет комплекс археологических находок, в числе которых — монеты Кадфиза II и Канишки (I—II вв.).

Особую группу представляют жилые дома богатых горожан. В отличие от описанных домов рядовых жителей, возводивших их, очевидно, своими силами (отсюда — отсутствие строгой осевой разбивки, иногда непараллельность стен и трапециевидная форма некоторых помещений), домам этого типа присуща четкость планировочной схемы. К сооружению их, несомненно, привлекались опытные зодчие, искушенные в разбивке обширных, многокомнатных зданий.

Планы вскрытых археологами жилых домов этой группы не повторяют друг друга, но варьируют в зависимости от общих масштабов и от их положения в черте городских кварталов. Вместе с тем они следуют некоему единому принципу.

Дом на городище Ай-Ханум расположен в глубине квадратного двора и сам квадратен в плане (70 × 70 *м*). Главный фасад выделен трехпролетным айваном (две колонны и два пилястра). Через центральный проход из него можно попасть в вестибюль, а через боковые — в коридоры. В центре дома помещается подквадратный зал с входами из вестибюля и из коридора, обводящего зал с трех сторон; по периметру этого коридора находятся комнаты жилого, хозяйственного и бытового назначения (в числе последних — небольшая баня).

Дом ДТ-5 на Дальверзин-тепе имеет два дворика — парадный, лицевой, и задний, хозяйственный. Дом прямоуголен (33,5 × 28 *м*), на главной оси его айван, вестибюль и обширный прямоугольный зал (11 × 7,5 *м*), за ним на той же оси лежит изолированный, поперечно-вытянутый зал (10,5 × 4 *м*). С двух сторон эту группу огибает коридор; отрезок отделенного перегородкой коридора имеется и с третьей стороны; попасть в них можно было лишь со двора, через самостоятельные, не связанные с центральным входом двери. Коридоры давали доступ к расположенным в правом и в левом крыле дома отдельным группам взаимосвязанных проходами комнат, в большинстве, очевидно, жилых. Главный зал представлял собой гостиную-михманхану. Обширная квадратная угловая комната служила скорее всего семейной трапезной. Вдоль заднего двора размещены хозяйственно-бытовые помещения, в числе их небольшая баня, вымощенная жженым кирпичом, с кобурами в углу и кирпичным водостоком, ведущим к поглощающей яме.

Особый интерес представляет поперечно-вытянутый зал, попасть в который можно было лишь из обводного коридора. На щипцовой стене этого зала расположена овальная ниша с закопченной поверхностью и прямоугольной приступкой, где имеется полусферическая ямка, заполненная пеплом. Вдоль противоположной

стены тянется невысокая суфа и возведена пристенная тумба. Зал этот явно служил домашней молельной, где в нише возжигался огонь, на тумбе располагались культовые предметы, а на суфе пребывали члены семьи, совершавшие положенные обряды [2]. При раскопках здесь в углу обнаружена обуглившаяся при пожаре деревянная статуэтка бактрийской богини и рядом — монета Канишки. Но строительство самого дома предшествует времени Канишки, поскольку его первоначальный пол значительно ниже пола молельни.

Дом ДТ-6 на Дальверзин-тепе выстроен в том же квартале, что и описанный выше, смежно с оградой его переднего двора. Сам этот дом значительно крупнее по масштабам, также имеет два двора, ту же ориентацию и сходный состав помещений. Парадная часть его выделена семиколонным айваном, откуда в дом ведут три входа. Центральную группу образуют поперечновытянутое помещение и расположенный за ним четырехколонный прямоугольный зал-михманхана. Ее охватывает с четырех сторон широкий коридор, подразделенный перегородками (может быть, не первоначальными) на прямоугольные или Г-образные отрезки. Судя по находкам целых и разбитых хумов и иных сосудов в двух коридорах, последние имели хозяйственно-складской характер. Вдоль них размещено большое число жилых и иных бытовых помещений, взаимосвязанных в отдельные группы; попасть туда можно было или из этих коридоров или со стороны хозяйственного двора. Здесь же имеется молельня с нишей.

Сооружение дома ДТ-6 относится примерно к I в. н. э.: в засыпке под полом обнаружены монеты из группы «варварского Гелиокла», а над полом — «Сотера Мегаса». Последний этап существования постройки приходится на II—III вв.— время Васудевы II, монеты которого найдены на полах зала и коридоров.

Как видим, всем трем большим жилым домам — греко-бактрийского времени в Ай-Ханум и кушанского периода на Дальверзин-тепе — присуще единство типологической схемы при вариантности ее разработки, а именно: выделение главного фасада колонным айваном; расположение на его оси приемного зала (михманхана), которому иногда предшествует вестибюль; устройство с трех или четырех сторон вокруг центральной группы обводного коридора, иногда подразделенного на длинные отсеки; размещение с двух или с трех сторон здания вдоль коридоров одиночных или объединенных в группы комнат; организация двух дворов — парадного и хозяйственного. Общий композиционно-планировочный принцип сводится к функционально-четкому выделению в бактрийских домах парадно-гостевой группы, жилищно-бытовой и системы связующих или, наоборот, разделяющих их коридоров, частично выполнявших хозяйственно-складские функции. Иногда в доме выделяется домашняя молельня, планировочно смежная с центральной группой.

Определить назначение всех вскрытых комнат не всегда представляется возможным, но обращает внимание их группировка по две, по три; вероятно, это жилые ячейки супружеских пар большой семьи с чертами патриархального уклада.

Объемно-пространственная композиция крупных бактрийских домов во многом была обусловлена как их планировочной схемой, так и приемами строительной техники. Обращает внимание чрезвычайная толщина стен центрального планировочного ядра — приемного зала; она достигает 2,5 *м*, вдвое больше, чем стены других помещений. И толщина стен, и подсчет объема заполняющих зал завалов глины приводит к заключению, что зал возвышался над перекрытиями прочих помещений. Очевидно, с уровня их кровли кладка возвышенной части михманханы сокращалась наполовину, другая же ее половина служила для опоры смежных перекрытий. Их плоские кровли могли использоваться в летнюю пору — на них, возможно, располагались легкие навесы типа тех *балахана*, которые столь характерны для народных жилых домов таджиков и узбеков.

Фасады бактрийских домов были глухими, кроме главного, который обычно выделен колонным айваном, обжатым гладкими плоскостями смежных стен. Колонны в основном деревянные, нередко на каменных базах аттического или торовидного профиля. В домах ДТ-5 и ДТ-6 на Дальверзин-тепе углы айвана фланкированы трехчетвертными пилястрами на профилированных базах и увенчаны коринфизированными капителями.

В декор краевых свесов крыш по главному фасаду входили желобчатые черепицы-антефиксы с орнаментально оформленными щитками. В вестибюле дома ДТ-5 найдены мелкие фрагменты многоцветных росписей, составлявших первоначальную отделку стен. В михманхане этого же дома обнаружены обгорелые балки плафона, выполненного в той конструктивно-рациональной выразительной системе «кассетного потолка», которая дожила в народном строительстве памирских таджиков до наших дней. На этих балках сохранилась декоративная резьба в виде набегающих лавровых листков. Вероятно, резьбою покрывались в бактрийских домах и колонны.

[2] Небольшая изолированная молельня, оформленная живописью и скульптурой, обнаружена также в здании ДТ-7 на Дальверзин-тепе, раскопки которого пока еще не завершены.

Упомянутые архитектурно-декоративные детали — коринфизированные капители, антефиксы, балки, покрытые резьбою в виде листвы лавра,— восходят к греческим архитектурным истокам. Но в своем планировочном и объемно-пространственном решении композиция бактрийских жилых домов имеет чисто местную основу.

Типология жилых домов оказала существенное влияние и на иные виды архитектурных сооружений Бактрии. Это явственно отражено в композиции бактрийских дворцов. Таков раннекушанский дворец в Халчаяне, где доминирует центральная часть — пятипролетный *айван* с деревянными колоннами на каменных базах, приемный зал и расположенная за ним двухколонная (тронная?) комната, а по обе стороны находятся несколько коридоров и подсобных помещений [12, стр. 45 и сл.; 11, стр. 15 и сл.]. В обширном дворцовом здании греко-бактрийского или раннекушанского времени, вскрытом на городище Саксанохур, центральным организующим элементом плана становится не зал, а внутренний дворик, обведенный по периметру кулуаром, дающим доступ к отдельным группам комнат [8, стр. 163 и сл., рис. 3]. Вход со двора в парадную, видимо «гостевую», группу выделен глубоким айваном с колоннами и пилястрами коринфизированного ордера. Из *айвана* через коридор и несколько смещенный по оси проход можно было попасть в михманхану. Имелся во дворце и род изолированной молельни с жертвенником и остатками живописного декора. Мы полагаем, что в Саксанохуре вскрыт именно дворец, хотя исследователи этого памятника Б. А. Литвинский и Х. Мухитдинов считают его «дворцово-храмовым зданием», исходя из наличия в нем коридора и устройства четырех очажков (жертвенников?) в трех помещениях и в коридоре [8, стр. 176—177]. Как показано выше, обводные коридоры очень типичны для крупных бактрийских жилых домов, не менее типично и устройство в них культовых ниш, жертвенников и даже особых молелен, связанных с отправлением культовых обрядов.

Идея зала в обводе коридора или системы продолговатых коридорообразных кулуаров, заложенная в бактрийском жилом доме, вошла и в культовое бактрийское строительство. История мирового зодчества знает немало примеров, когда генезис храма — «дома божества» — ведет свое начало от архитектуры жилого дома: напомним роль мегарона в формировании типологии греческого храма, жилища со скатными черепичными кровлями в облике китайских кумирен и т. д.

По-видимому, сходный процесс имел место и в бактрийской архитектуре. Беря за исходное типологическую схему жилого дома, зодчие приспосабливают и видоизменяют ее в соответствии с запросами культа, очищая от функционально ненужных элементов бытового характера и придавая ту замкнутость композиции, которая была вызвана требованиями ритуала. В итоге возникает ряд храмовых вариантов. Уже в позднем греко-бактрийском строительстве можно видеть схему *айван — пронаос — наос* в П-образном обводе их коридором: таков храм на городище Дильбержин в Южной Бактрии [7, стр. 168, рис. 9], с которым сходен план жилого дома ДТ-6 на Дальверзин-тепе в северной Бактрии. Еще более лаконична характерная для эпохи Кушан схема храма с квадратным залом (при большом пролете — четырехколонным), охваченным с трех или с четырех сторон коридорами, которые подразделены наподобие продолговатых кулуаров,— напомним святилище Канишки и храм В в Сурх-Котале [19, стр. 437 и сл., рис. 2, 4; 20, стр. 163 и сл., рис. 1, 2; 21, фиг. 1]. Система зала в коридорообразном обводе входит на почве Бактрии и в буддийское зодчество — таковы святилища и кумирни буддийской вихары Кара-тепе в Старом Термезе [15, рис. 2—4].

Композиционные особенности бактрийского жилища свидетельствуют об оформлении здесь особого регионального архитектурного типа. Он сложился на основе конкретных социально-бытовых запросов и конструктивно-технических средств, отлившись в конечном счете в определенный архитектурный образ.

В близком русле развивалась и архитектура жилых домов (к сожалению, пока еще очень слабо изученных) античного Согда и восточнопарфянских областей. Дома, вскрытые в Кизил-Кыре [9, стр. 60 и сл., рис. 2] и Гарры-Кяризе [10, стр. 74 и сл., рис. 25], дают варианты планировки с центральным залом и обводящими его по периметру продолговатыми помещениями.

Рассмотренная типологическая схема в известной мере предвосхищает и композицию среднеазиатских жилых домов периода раннего средневековья. Напомним богатые дома Пенджикента [2, стр. 113 и сл.; 3, стр. 46; 5, стр. 119 и сл.], для которых характерна квадратная михманхана (нередко четырехколонная) в обводе жилых и хозяйственных помещений.

1. Альбаум Л. И., Городище Дальверзин-тепе,— ИМКУ, вып. 7, Ташкент, 1966.
2. Belenitskiy A. M., Общие результаты раскопок городища древнего Пенджикента (1951—1953 гг.),— МИА, № 66, М. — Л., 1958.
3. Беленицкий А. М., Результаты работ пенджикентского отряда в 1957 г.,— «Археологические работы в Таджикистане в 1957 г.», вып. V, Сталинабад, 1959.
4. Воронина В. Л., Архитектура древнего Пенджикента,— МИА, № 124, М. — Л., 1964.

5. Воронина В. Л., Городища древнего Пенджикента как источник для истории зодчества,— «Архитектурное наследство», 8, М., 1957.
6. Дьяконов М. М., Археологические работы в нижнем течении р. Кафирнигана (Кобадиан),— МИА, № 37, М. — Л., 1953.
7. Кругликова И. Т., Сарианиди В. И., Древняя Бактрия в свете новых археологических открытий,— СА, 1971, № 4.
8. Литвинский Б. А., Мухитдинов Х., Античное городище Саксанохур (Южный Таджикистан), — СА, 1969, № 2.
9. Нильсен В. А., Кизил-Кыр,— ИМКУ, вып. 1, Ташкент, 1956.
10. Пилипко В. Н., Раскопки парфянского сельского поселения в местности Гарры-Кяриз (Парфиена),— «Каракумские древности», вып. III, Ашхабад, 1970.
11. Пиотровский Б. Б., Раскопки на Чингиз-тепе. Термезская археологическая комплексная экспедиция, I, Ташкент, 1940.
12. Пугаченкова Г. А., Новое в изучении Дальверзин-тепе,— СА, 1971, № 4.
13. Пугаченкова Г. А., Скульптура Халчаяна, М., 1971.
14. Пугаченкова Г. А., Халчаян. К проблеме художественной культуры Северной Бактрии, Ташкент, 1966.
15. Ставиский Б. Я., Основные итоги раскопок Кара-тепе в 1963—1964 гг.,— «Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе», М., 1969.
16. Bernard P., Campagne des fouilles de 1969 à Ai-Khanoum en Afghanistan,— CRAIBL, 1970.
17. Bernard P., Quatrième campagne des fouilles à Ai-Khanoum (Bactriane),— CRAIBL, 1969.
18. Marshall J., Taxila. 3 vols., Cambridge, 1951.
19. Schlumberger D., Le temple de Surkh Kotal en Bactriane,— JA, 1952.
20. Schlumberger D., Le temple de Surkh Kotal en Bactriane (II), — JA, 1954.
21. Schlumberger D., Le temple de Surkh Kotal en Bactriane (IV),— JA, 1964.

Б. Я. Ставиский

О СЕВЕРНЫХ РУБЕЖАХ КУШАНСКОЙ БАКТРИИ

Памяти
Даниэля Шлюмберже

Древняя Бактрия, Бактриана античных авторов, сыграла, как известно, выдающуюся роль в истории древнего мира, и в частности в истории Кушанской державы. Вопреки широко распространенному ранее в нашей литературе мнению о локализации первоначального центра кушанской государственности в Согде, на среднем течении Зеравшана, теперь уже никто, кажется, не сомневается в том, что княжество Кушанию следует помещать именно в Бактрии [1]. Не вызывает сомнения и большое значение Бактрии в последующей истории Кушанского царства, вплоть до его окончательной гибели в конце IV в. н. э. (см., например, сводный обзор истории Кушанского государства [20, стр. 354—361, 366 и сл.]. Разбор данных о времени окончательного краха Кушанского царства см. [9]; см. также [24]).

Иначе обстоит дело с определением рубежей Бактрии, особенно ее северных пределов. Среди советских ученых наиболее распространено мнение, что Бактрия — это область бассейна Амударьи в среднем ее течении, ограниченная на юге Гиндукушем, а на севере Гиссарским хребтом. Наиболее четко это положение сформулировали М. М. Дьяконов [4, стр. 308; 5, стр. 22] и С. П. Толстов [25, стр. 70, прим. 26; 42, стр. 324, прим. 1].

В работах наших зарубежных коллег северным рубежом Бактрии нередко считается Амударья, а земли по ее правобережью относятся то к Согду (Согдиане античных источников), то к некоей надуманной области Трансоксиане [см., например, 34; 27, стр. 131—141, особенно карта на стр. 133; 32; 39]. Следует, однако, отметить, что в нашей литературе иногда в состав Бактрии включается Беграм (древняя Каписа), центр области Паропамисады, лежащей к югу от Гиндукуша [см., например, 26, стр. 7, 14]. Вместе с тем такой авторитетный зарубежный исследователь, как Д. Шлюмберже, придерживается тех же взглядов, что и большинство советских авторов [40, стр. 40—41; 41, стр. 52].

Отнесение Беграма и, следовательно, области Паропамисады к Бактрии — просто ошибка, обусловленная плохим знанием исторической географии и переносом в древность современных политико-административных границ. Разногласия же по вопросу о северных рубежах Бактрии объясняются противоречивостью сведений письменных источников.

Фактически науке неизвестны сейчас точные указания древних авторов на границы Бактрии как одной из областей Кушанской державы. Это, конечно, не означает, что подробных описаний кушанской Бактрии не существовало; скорее всего они еще не открыты. Но как бы то ни было, исследователям приходится для суждений по вопросу о рубежах Бактрии кушанского периода привлекать сведения, относящиеся либо ко времени, предшествующему сложению Кушанской державы, либо к эпохе после ее падения.

Представления об Амударье как северном рубеже Бактрии восходят к античным авторам, описывающим походы Александра Македонского [2], и к сообщению Чжан Цяня, посла китай-

[1] Критику локализации Кушании в Согде см. [19, стр. 112]. Следует, однако, указать, что, признавая за ядро Кушанского государства Бактрию, наши ученые расходятся в более точной локализации княжества Кушания. Так, М. Е. Массон, видимо соглашаясь со мною, помещает это княжество в южной, левобережной Бактрии [см. 12, стр. 13], в то время как Г. А. Пугаченкова связывает Кушанию с северными, правобережными землями [см., например, 17, стр. 31].

[2] Это положение касается не только труда Страбона (около 64 г. до н. э. — 23/24 г. н. э.), но и Клавдия Птолемея (вторая половина II в. н. э.), который в своем «Географическом руководстве» (VI, II) приводит краткое описание Бактрианы. См., например, недавнее издание с переводом и комментарием интересующего нас текста [38]. Как это неоднократно отмечалось [см. 10, стр. 33 и сл.], многие сведения Птолемея о Бактрии

ского императора, направленного около 130 г. до н. э. к кочевым завоевателям Бактрии — да-юечжам — с целью склонить их к совместной борьбе с хуннами. Ни летописцев великого македонянина, ни китайского «первооткрывателя Запада» историко-культурные границы древней Бактрии специально не интересовали.

При этом следует учесть, что «античные авторы, как правило, проводили границы крупных областей и этнических групп по рекам... однако эти границы, как показали тщательные исследования, были весьма условными, и принимать их без оговорок и проверки нельзя» [13, стр. 41]. Этот вывод, сделанный в отношении Рейна, Дуная, Вислы, Днестра и Дона, мы вправе, безусловно, распространить и на Амударью [3].

Сообщение же Чжан Цяня о да-юечжах к северу и о стране Дахя (Бактрия) к югу от реки Гуйшуй (Вахш — Амударья) [см. 3, стр. 151—152; 43, стр. 360, 365] никак нельзя рассматривать как свидетельство о том, что великая среднеазиатская река ограничивала Бактрию с севера, поскольку посланник китайского императорского двора посетил Среднюю Азию в тот переходный период, когда да-юечжи, *уже* подчинив всю Бактрию, обосновались *еще* не в ее центральной, левобережной части, а на правобережье Амударьи.

Вторая, поздняя группа источников, на которую опираются советские исследователи Средней Азии, включает сообщения знаменитого паломника Сюань-цзана и ранних арабских авторов. Этот паломник, проследовавший по пути к буддийским святыням Индии через среднеазиатские земли в 30-х годах VII в., широко пользовался расспросными данными. На местную традицию опирались в своих сообщениях о Средней Азии VII—VIII вв. и ранние арабские авторы. Таким образом, сведения этой группы источников доносят до нас представления о рубежах среднеазиатских владений и историко-культурных областей, распространенные в период перед арабским завоеванием в местной, среднеазиатской среде. Сюань-цзан прямо указывает, что Амударья делит Бактрию-Тохаристан («страну Ту-хо-ло») на две части, а границей между этой этнокультурной областью (политически она уже не представляла собой единого целого) и Согдом («страной Су-ли») были Железные ворота, проход в современных горах Байсун-тау [28, стр. 36, 37; 29, стр. 102—103; 30, стр. 47]. Правобережье Амударьи включают в состав Тохаристана и ранние арабские авторы [см. 2, т. I, стр. 118; т. II, ч. 1, стр. 455].

Мне, как и другим советским исследователям, специально рассматривавшим вопрос о рубежах Бактрии — Тохаристана [например, 12], сведения Сюань-цзяна и арабских авторов представляются более заслуживающими доверия. Но если даже не отдавать предпочтения ни одной из упоминавшихся выше групп источников, нельзя не признать, что нет никаких оснований оставлять без внимания данные, приводимые раннесредневековыми авторами.

Во всяком случае, мы вправе, видимо, отметить существенное расхождение в сообщениях о северных рубежах Бактрии — Тохаристана у ранних и более поздних авторов и попытаться привлечь для решения этого вопроса какие-нибудь иные источники. К счастью, такие источники у нас теперь есть. Это археологические данные, полученные советскими учеными на правобережье Амударьи, а Советско-Афганской археологической экспедицией и зарубежными коллегами, в первую очередь Французской археологической миссией, в Афганистане, к югу от этой реки. Результаты этих исследований позволяют утверждать, что все поддающиеся учету вещественные выражения этноса и его культуры — архитектура и архитектурный декор, строительные материалы и приемы, керамика, терракоты и, наконец, монеты и эпиграфические находки — свидетельствуют о том, что земли к северу и к югу от Амударьи, на всем пространстве от Гиндукуша на юге до Гиссарского хребта на севере, в период расцвета Кушанского царства составляли единое этнокультурное, хозяйственное и политическое целое.

Не имея возможности рассмотреть здесь всю совокупность вещественных находок кушанской поры на лево- и правобережных землях Тохаристана, отмечу лишь сходство в планировке знаменитого «храма Канишки» в Сурх-Котале и наземного храма в буддийском культовом центре кушанского Термеза того же времени — Каратепе [см. 22, стр. 56—57; 21, стр. 174], равно как и удивительную близость каменных деталей архитектурного декора «храма Канишки» и буддийской «платформы статуй» в Сурх-Котале и капители из Шам-калы (и Сурх-Котал и Шамкала расположены в районе Баглана, в Северном Афганистане) с капителью и другими деталями декоративного пилястра из Кара-тепе в Термезе [см. 23, стр. 44—50]. Характерно, что эти особенности устройства храмовых построек и их декора, сближающие баглапские и термезские памятники, в то же время отличают их от

почерпнуты у Марина Тирского (начало II в. н. э.), опиравшегося на данные купца Маэса Тициана (рубеж I—II вв.). Однако сведения о торговых путях, почерпнутые Птолемеем у Марина, служили лишь дополнительным материалом к общей картине, которую Птолемей позаимствовал у Страбона и Эратосфена (около 276—194 гг. до н. э.). Иначе говоря, сведения Птолемея о границах Бактрии восходят все к тем же историкам походов Александра.

[3] Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Д. А. Мачинского за ценные консультации.

гандхарской и какой-либо иной (вне Бактрии) локальной школы кушанской эпохи.

Об историко-культурном единстве этих территорий свидетельствуют и такие специфические архитектурные сооружения, как буддийские ступы. Как это показала Г. А. Пугаченкова [см. 16, стр. 157—164], ступы кушанского времени в Айртаме и в самом Термезе (Зурмала) по их строительным материалам и приемам сходны со ступами Балха — Шахри-Фолак и Тепе-Рустам [см. 37, стр. 101—102]; и айртамская, и термезская, и балхские ступы возведены из крупного квадратного сырцового кирпича и были облицованы жженными кирпичными плитками или плитами мергелистого известняка, а по форме представляли собой покоящийся на прямоугольном стилобате цилиндр со сферическим верхом. Обе эти группы построек отличны именно по строительным материалам и технике от буддийских ступ других областей Кушанского царства [16, стр. 263, 264].

На правобережье Амударьи были в кушанское время распространены и те же типы терракот, что и в левобережной Бактрии [см., например, 14, стр. 14].

Но особенно выразительны, пожалуй, эпиграфические находки. Как известно, в центральных районах Бактрии, к югу от Амударьи, в кушанское время (и позднее, вплоть до предмонгольского периода) было распространено своеобразное «кушанское письмо», основанное на базе греческого алфавита и приспособленное для записи ираноязычной речи этой колыбели кушанской государственности. Недавние находки на правобережье Амударьи показали, что то же «кушанское письмо» и тот же язык применялись здесь весьма широко,— как и на левобережье. (Последнюю сводку памятников этой письменности см. [6, стр. 47—81, а также 35; 36].) Отметим, кстати, что это письмо и этот язык, использовавшиеся в общегосударственном чекане Кушанской державы в период ее расцвета (начиная с Канишки) и бывшие, таким образом, письменностью и языком не только Бактрии, но и кушанской правящей верхушки, ни в Гандхаре, ни в Матхуре, ни в каком-либо ином из индийских владений кушан широкого распространения не получили; характерно, что даже в царском святилище в Матхуре все дошедшие до нас надписи выполнены лишь индийскими алфавитами и языками. Вполне вероятно, конечно, что и в Индии будут найдены отдельные надписи «кушанским письмом» [4], но вывод о господстве этой письменности (и языка) именно в Бактрии (причем в обеих ее частях) в отличие от индийских алфавитов и языков, преобладающих в областях к югу от Гиндукуша, вряд ли будет поколеблен.

Не менее красноречив и состав монетных находок на правобережных землях Амударьи. Не касаясь вопроса о раннекушанских чеканах, отмечу лишь, что денежное хозяйство и монетное дело были развиты здесь еще до сложения Кушанского царства [11, стр. 37—47]. Со времени же Вимы Кадфиза (Кадфиз II) на этой территории обращались лишь те же самые кушанские монеты, что и в левобережной Бактрии [помимо 19, стр. 112—113, и 20, стр. 356 и сл., см. также: 1, стр. 3; 7, стр. 135; 8, стр. 89; 15, стр. 44; 18, стр. 74—88; ср. 12]. Единственным возможным объяснением этого факта может быть вывод о денежно-хозяйственном (и, видимо, политическом также) единстве обеих этих территорий (ср. вывод П. Бернара [31, стр. 439] о зонах обращения греко-бактрийских, греко-индийских и индийских монет: первые господствовали к северу от Гиндукуша, вторые и третьи — к югу от него).

Все вышесказанное позволяет считать вопрос о северных пределах кушанской Бактрии решенным достаточно определенно. Сомневаться в связях правобережья Амударьи с кушанами в царствования Вимы Кадфиза, Канишки и их преемников теперь, по-видимому, уже не приходится: правобережные земли были неотъемлемой частью Бактрии, одной из основных областей Кушанского царства времени его расцвета.

1. Альбаум Л. И., К стратиграфии кушанских поселений Ангорского района Сурхандарьинской области,— «Тезисы докладов и сообщений советских ученых (Международная конференция по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху)», М., 1968.
2. Бартольд В. В., Собрание сочинений, т. I, т. II, ч. I, М., 1963.
3. Бичурин Н. Я., Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в давние времена, т. II, М., 1959.
4. Дьяконов М. М., Древняя Бактрия,— «По следам древних культур. От Волги до Тихого океана», М., 1954.
5. Дьяконов М. М., У истоков древней культуры Таджикистана, Сталинабад, 1956.
6. Лившиц В. А., К открытию бактрийских надписей на Кара-тепе,— «Кара-тепе II», М., 1969.
7. Литвинский Б. А., Археологические открытия в Таджикистане за годы Советской власти и некоторые проблемы древней истории Средней Азии,— ВДИ, 1967, № 3.
8. Литвинский Б. А., Зеймаль Т. И., Раскопки и разведки в Южном Таджикистане в 1961 г.,— ТИИ АН ТаджССР, т. XLII, 1964.
9. Луконин В. Г., Завоевания Сасанидов на Востоке и проблема кушанской абсолютной хронологии,— ВДИ, 1969, № 2.

[4] На такую возможность указывают недавние находки надписей курсивным «кушанским письмом» в Афганистане (к югу от Гиндукуша) и определение надписей этим же письмом, хранящихся в Пешаварском музее и происходящих из долины Точи [см. 36, стр. 25—26; 33, стр. 125—135].

10. Мандельштам А. М., Материалы к историко-географическому обзору Памира и припамирских областей, Сталинабад, 1957.
11. Массон В. М., Денежное хозяйство древней Средней Азии по нумизматическим данным,— ВДИ, 1955, № 2.
12. Массон М. Е., К вопросу о северных границах государства «великих кушан»,— ОНУ, 1968, № 8.
13. Мачинский Л. А., О времени первого активного выступления сарматов в Поднепровье, по свидетельствам античных письменных источников,— АС, вып. 13, Л., 1971.
14. Мешкерис В. А., Согдийская школа коропластики в кушанскую эпоху,— ИООН АН ТаджССР, № 2 (52), 1968.
15. Мухитдинов Х., Терракоты Саксанохура,— «Тезисы докладов и сообщений советских ученых (Международная конференция по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху)», М., 1968.
16. Пугаченкова Г. А., Два ступа на юге Узбекистана,— СА, 1967, № 3.
17. Пугаченкова Г. А., К стратиграфии новых монетных находок из Северной Бактрии,— ВДИ, 1967, № 3.
18. Пугаченкова Г. А., К изучению памятников Северной Бактрии,— ОНУ, 1968, № 8.
19. Ставиский Б. Я., О северных границах Кушанского государства,— ВДИ, 1961, № 1.
20. Ставиский Б. Я., Средняя Азия в кушанский период,— ИТН, т. I, М., 1963.
21. Ставиский Б. Я., Средняя Азия, Индия, Рим (к вопросу о международных связях в кушанский период),— «Индия в древности», М., 1964.
22. Ставиский Б. Я., Основные итоги раскопок Кара-тепе в 1961—1962 гг.,— «Кара-тепе I», М., 1964.
23. Ставиский Б. Я., Капители древней Бактрии — СА, 1972, № 2.
24. Ставиский Б. Я., Вайнберг Б. И., Сасаниды в Правобережной Бактрии (Тохаристане) в IV—V вв.,— ВДИ, 1972, № 3.
25. Толстов С. П., Датированные документы из дворца Топрак-кала и проблема «Эры Шака» и «Эры Канишки»,— ПВ, 1961, № 1.
26. Юркевич Э. А., Кушанская культура на территории Афганистана, Пакистана и Индии,—АКД, М., 1968.
27. Allchin R. A., The Culture Sequence of Bactria,— «Antiquity», vol. XXX, № 123, 1957.
28. [Beal S., transl.], The Life of Hiuen-Tsiang, by the Shamans Hwui Li and Yen-Tsung, London, 1888.
29. [Beal S., transl.], Si-yu-ki. Buddhist Records of Western World, transl. from Chinese of Hiuen-Tsiang, vol. I, London, 1906.
30. [Beal S., transl.], Si-yu-ki. Buddhist Records of Western World, transl. from Chinese of Hiuen-Tsiang, Calcutta, 1957.
31. Bernard P., La campagne des fouilles de 1970 à Ai Khanoum (Afghanistan),— CRAIBL 1971, Paris, 1971.
32. Fischer K., Gandharan Sculpture from Kunduz and Environs,— «Artibus Asia», vol. XXI, № 3—4, Ascona, 1958.
33. Dani A. H., Humbach H., Göbl R., Tochi Valley Inscriptions in the Peshawar Museum,— «Ancient Pakistan», I, Peshawar, 1964.
34. Ghirshman R., Begram,— MDAFA, t. XII, Cairo, 1946.
35. Göbl R., Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnen in Bactrien und Indien, Bd I—IV, Wiesbaden, 1967.
36. Humbach H., Two Inscriptions in Graeco-Bactrian Cursive Script from Afghanistan, E. W., vol. 17, № 1—2, 1967.
37. Le Berr M., Schlumberger D., Observation sur les remparts de Bactres,— MDAFA, t. XIX, 1964.
38. [Ronca J., transl. and comment.], Ptolemaios, Geographie 6, 9—21, Ostiran und Zentralasien, teil I, Rome, 1971.
39. Sircar D., Some problem of Kushan and Rajput History,— «Journal of Indian Historical Society», 2 (1968—1969), Calcutta, 1969.
40. Schlumberger D., Ai Khanoum, une ville hellenistique en Afganistan,— CRAIBL 1965, Paris, 1966.
41. Schlumberger D., L'Orient hellénise, Paris, 1970.
42. Tolstov S. P., Dated documents from the Toprak-kala palace and the problem of the «Saka Era» and the «Kaniṣka Era», Papers on the Date of Kaniṣka, Leiden, 1968.
43. Zürcher E., The Yüeh-chih and Kaniṣka in Chinese sources, Papers on the Date of Kaniṣka, Leiden, 1968.

II

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Б. А. Литвинский

ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ФЕРГАНЫ

Наличие сводных работ по этнической истории Ферганы, принадлежащих перу Ю. А. Заднепровского [42; 43], избавляет от необходимости сообщать весь имеющийся материал и рассматривать все аспекты темы. Мы собираемся проанализировать лишь некоторые узловые моменты этнической истории Ферганы, тем более что в понимании их значительно расходимся с Ю. А. Заднепровским.

Свою концепцию этногенетических процессов, протекавших в Фергане в эпоху развитого и позднего бронзового века, мы уже излагали [83].

Следующий период — VII—III вв. до н. э.— в части этногенеза чрезвычайно сложен. Наука располагает значительным археологическим и палеоантропологическим материалом, но сведения письменных источников почти полностью отсутствуют. Некоторые ученые связывают с Ферганой *париканиев*, упомянутых Геродотом в числе жителей X и XVII податных округов Ахеменидского государства. С развернутым обоснованием идеи о локализации геродотовых париканиев в Фергане выступал Э. Херцфельд [1], к уравнению парикании — жители Ферганы склоняются (обычно со ссылкой на Э. Херцфельда) и некоторые другие ученые, как зарубежные [например, 120, стр. 163—164, 123, стр. 128; 164а, Sp. 1482—1483 и др.], так и отдельные советские, в частности К. В. Тревер [112, стр. 108—109], А. Н. Бернштам [12, стр. 7] и Ю. А. Заднепровский. Последний подробно, хотя и не без неточностей, изложил гипотезу Э. Херцфельда по-русски [43, стр. 196—198]. Вместе с тем в зарубежной и советской научной литературе высказывалась и точка зрения относительно невозможности помещения париканиев в Фергану. Среди стоящих на этой позиции ученых — И. М. Дьяконов [41, стр. 338 прим. 4], В. М. Массон [86, стр. 144] и др. Мне в связи с критикой положений Ю. А. Заднепровского также приходилось высказывать свое отрицательное отношение к этой гипотезе [76, стр. 266—267].

Действительно, в античных источниках [2] парикании, париании (и пропущенные Ю. А. Заднепровским бариании) фигурируют неоднократно, но доказательства того, что они локализуются именно в Фергане, отсутствуют. Так, Ю. А. Заднепровский пишет: «У античных авторов рубежа н. э. Плиния (Nat. Hist., VI, 16) и Помпония Мелы (De Chorographia, I, 13) вновь упоминаются парикании и париании (Pariani), очевидно тождественные париканиям Гекатея — Геродота в перечне народов, обитавших на северо-востоке Средней Азии. По сведениям Помпония Мелы (42 г. н. э.), париане помещались на Яксарте, к северу от согдийцев и бактрийцев, и, следовательно, в Ферганской долине» [43, стр. 197].

Свое утверждение о помещении париан Помпония Мелы на северо-восток Средней Азии Ю. А. Заднепровский подкрепляет ссылкой на мнение В. Тарна. Действительно, в книге Тарна (всего один раз) говорится о париканиях, но не Помпония Мелы, а Плиния, причем среди тех народов, которые (как считает Тарн) Плиний «не знал, где поместить». При этом Тарн сопровождает париканиев пометой: обычный взгляд — в Гедрозии, по Херцфельду — в Фергане [190, стр. 285]. Что же касается париканиев Гекатея, то все исследователи, в том числе и Э. Херцфельд, локализуют их в Иране [160, стр. 83, прим.; 164а, Sp. 1482; однако ср. 163, стр. 329].

Рассмотрим, какие основания имеет отнесение париканиев Плиния и Помпония Мелы на северо-восток Средней Азии.

У Плиния (VI, 18, 49) собственно парикании

[1] Впервые — в [185, 23—24], в последний раз — в своей посмертно опубликованной работе [163, стр. 329—330].

[2] Сведения карты Кастория — иначе Tabula Peutingoriana (Castorius, Segm. XII, 3). Об этом источнике см. [99, стр. 100 и сл.; 111, стр. 520—521; 176].

(Paricani) лишь упоминаются — без какой-либо связи с Ферганой. Они помещены в перечне между гандхарами (Gandari) и зарангами (Zarangae).

У Помпония Мелы париании (Pariani) перечисляются между гандхарами (Gandari) и бактрами (Bactri). Исходя именно из этого, а также своего понимания данных карты Кастория, Маркварт решил, что следует сопоставлять этноним Paricani не с долиной Ферганы на Сырдарье, а с гораздо менее известной долиной «Фергана», которая упомянута у Табари при описании событий 91 г. х. Маркварт пришел к заключению, что эта долина находилась в Северном Афганистане, между Багланом и Ишкамышем. Помимо среднеазиатской Ферганы (упомянутой ранее североафганистанской) Й. Маркварт указал также на Фергану в Фарсе со ссылкой на Якута [3]. Именно с Ферганой Фарса он связывал сообщение Гекатея. Маркварт также указал в этой связи на город Παραχανάκη, который Птолемей помещает в Арейе. Что же касается париканиев Геродота, то Маркварт считал их совсем другой группой, которую нужно связывать с Pārič [173, стр. 514—515, прим. 136], Pāričān — горным племенем в Кермане, известным для времени раннего средневековья [174, стр. 31] [4].

К сожалению, мало что проясняет и этимология слова «парикании». Обычно его производят от авестийского *pairikā* [132, стр. 863—864], причем некоторые лингвисты реконструируют еще более древнюю форму **paryakā*. Название племени, как отмечает Ф. Альтхайм, мало отличалось от авестийского прототипа. В Авесте слову *parikā* придавалось следующее значение: гетеры, женщины невиданной красоты, злые феи, в образе которых сохранилось воспоминание о доиранском населении, по В. Гейгеру, жившем на территории Афганистана [149; 120, стр. 163—164; 124, стр. 106—107; 131, стр. 863—864; 160, стр. 100, прим. 3; 173, стр. 515, прим. 136; 187, стр. 31]. В этом слове, по мнению Й. Шарпентье, есть оттенок «чужеродности» [137, стр. 79], в связи с чем Э. Херцфельд высказывал предположение, что, употребленное как этноним, это слово должно было иметь значение (примерно) «народ из-за рубежа, чужестранцы» [162, стр. 713] [5]. Недавно авторитетный лингвист Р. Шмит высказал мнение, что «имя париканиев, вероятно, доарийское» [185а, стр. 137, прим. 156].

Остается лишь один довод Э. Херцфельда — извлеченная из пехлевийского сочинения «Бундахишн» фраза: «Ходжентская река течет между Самаркандом и Парканом, ее называют Якшарт». Э. Херцфельд рассматривал слово *parkān* в этом тексте как некую промежуточную форму между греческой Παρικάνιοι и арабо-персидской «*Фаргане*» [160, стр. 100, прим. 3]. Однако шаткость и этого довода несомненна: как известно, в среднеперсидской письменности один и тот же знак служил для обозначения и звука «п», и звука «ф» [102, стр. 22—25; 184, стр. 254—255]. Следовательно, соответствующее слово в «Бундахишне» может читаться и как «Паркан», и как «Фаркан». Правильность второго чтения подтверждается написанием этого наименования в согдийских документах с горы Муг. В. А. Лившиц реконструирует древнее название Ферганы как *Far(a)gana или *Fragāna. По авторитетному заключению В. А. Лившица, др.-ир. *Parikāna не могло отразиться в согдийском как βrγ'η. Он заключает, что с точки зрения лингвистической сопоставление Ферганы с париканиями должно быть отвергнуто [64, стр. 85].

Итак, эта гипотеза не имеет никаких оснований в данных письменных источников [6] и опровергается данными лингвистики.

---

[3] Как указывает этот исследователь, в сочинении арабского географа Ибн Хордадбеха для этого района упоминается топоним «*бирган*» (правда, в искаженной форме). Он встречается и в других источниках, в том числе у Бируни,— см. замечания В. Минорского [164, стр. 338—339]. Сводку данных письменных источников см. [164а, Sp. 1482—1483].

[4] Нельзя считать убедительным довод, которым пытается парировать эти возражения Э. Херцфельд в своей работе: «Но единственной важной областью с этим именем является Фергана на верхнем Яксарте» [163, стр. 329].

[5] См. также последнюю этимологию Э. Херцфельда — * *paraka* — «вдоль (реки)» [163, стр. 330]. В арамейских подписях на предметах из Персеполя встречены слова *srk, prkn, hst*, которые названы *byrt'*, т. е. крепости. Г. Камерон помещал их в Арахосии [136а, стр. 55; 136б, стр. 162—163]. Р. Боуман, посвятивший этим текстам специальную публикацию, выдвинул гипотезу о ритуальном значении надписей и в соответствии с этим слово *prkn* переводил «размягчать, превращать в порошок» [135а, стр. 74, № 2—5, 13—15 и др.]. М. Н. Боголюбов отвергает это толкование [1973, стр. 172—177], аналогично и мнение В. А. Лившица. В эламских табличках крепостной стены Персеполя четыре раза фигурирует наименование Barrikana [154а, № 1392, 1393, 1495]. Сопоставив все это с данными Геродота (VII, 68 и 86), П. Бернар совершенно справедливо утверждает, что эти парикании располагались в Арахосии.

[6] Есть еще один довод, приведенный Ю. А. Заднепровским, а именно упоминание страны Prakanva в труде древнеиндийского ученого Панини. Эту страну некоторые современные исследователи трета Панини сопоставляют с париканиями и Ферганой [119, стр. 37, 49 — со ссылкой на Стена Конова]. Полагая, что Панини жил в середине V в. до н. э., Ю. А. Заднепровский указывает, что «широкий географический кругозор Панини, весьма вероятно, объясняется знакомством его с источниками, которые были частично известны и его современнику Геродоту... совпадение сведений двух совершенно разных и независимых друг от друга источников, как нам представляется, служит веским доказа-

Историческим фоном утверждений о тождестве париканиев с населением Ферганы является представление, что Фергана входила в состав Ахеменидского государства. Однако это представление вызывает сомнение (или даже отвергается) авторитетными исследователями [см., например, 86, стр. 144; 106, стр. 203; 190, стр. 83, 474—476], поскольку оно не подтверждается прямыми свидетельствами. Более того, даже включение более западной, чем Фергана, области Уструшана в число ахеменидских владений также еще не доказано [74, стр. 528].

Приписывание власти над Уструшаной Ахеменидам основано лишь на факте существования в этой области города Кирэсхаты — Кирополя. Однако проведенный Э. Бенвенистом лингвистический анализ этого топонима привел к интересным и важным выводам. Исследователь считает, что первая часть названия «Кирэсхата» — это «Кир» (которое в те времена должно было звучать «Куру» или «Курш»), вторая же — видоизмененное «када» (др.-ир. «поселение»).

Таким образом, этот пункт в древности должен был именоваться Куру-ката (Куруш-ката). Греки не знали этого древнеиранского слова и по образцу Александрии Эсхаты стали называть город «Кир-Эсхата». Подтверждение своей точки зрения Э. Бенвенист видит в наличии пункта Куркат в средневековой топонимике Уструшаны [134, стр. 163—164]. Независимо от Бенвениста сопоставление «Кирэсхата» и «Куркат» предлагал В. Р. Чейлытко, но отрицал Н. Н. Негматов [90, стр. 18; 114] [7].

Общий вид реконструируемого Э. Бенвенистом наименования Курукада бесспорен, так же как этимология второй части слова. Для первой же его части (*куру*) предлагались и другие объяснения. Для нас существенно, что вообще топонимы, варьирующие *kur*, *kuri*, *kuru*, весьма распространены, однако этимология их остается, по мнению В. Айлерса, неясной, и окончательное решение этой проблемы пока находится за пределами наших сегодняшних знаний [144, стр. 180—236, 235]. Распространенность слова *kuru* в топонимике сама по себе вызывает сомнения в бесспорной связи названия Кирэсхаты — Курукаты с историческим Киром Великим. Возможно, название этого города было связано с одним из племенных наименований «Куру», отраженном в древнеиндийском эпосе и в этнотопонимике Восточного Туркестана и, очевидно, представленном также в древней Средней Азии [8] [109, стр. 199; 149, стр. 39—41; 167, стр. 56; 169, стр. 64—66; 170, стр. 612—613].

В этом плане вывод таков: письменные источники, равно как и лингвистический анализ, не дают оснований утверждать, что Фергана (или даже более западная Уструшана) входила в состав Ахеменидского государства. Характер ферганской материальной культуры, в частности керамики, резко отличен от той, которая представлена в областях, бесспорно входивших в состав империи Ахеменидов или в сферу ее культурного влияния. Как справедливо отмечает Н. Г. Горбунова, «скорее всего Фергана оставалась за пределами Ахеменидской державы, о чем свидетельствует и некоторая обособленность ее социально-экономического и культурного развития» [33, стр. 14—15; 34, стр. 120—121].

Итак, наше заключение сводится к следующему: 1) Фергана не входила в состав государства Ахеменидов; 2) парикании письменных источников не являлись жителями Ферганы.

тельством правильности локализации париканиев в Фергане» [43, стр. 197]. Однако точное время жизни Панини не установлено, обычно помещают его между второй половиной VI — первой половиной IV вв. до н. э., приводится (реже) и III в. до н. э. (о датировке помимо труда Агравалы см. [36, стр. 68; 47 стр. 25; 105, стр. 8; 136, стр. 48—50; 165, стр. 7; 180, стр. 113; 183, стр. 97], причем авторы капитальной «Истории и культуры индийского народа» [195, стр. 524] вообще не считают возможным предлагать точную дату. Еще существеннее то, что Панини (вопреки Агравале) знал лишь помимо Северной Индии юго-восточные районы Афганистана и некоторые — Белуджистана. Поэтому, как показал Э. А. Грантовский, если предположить, что Prakaṇva соответствует древнеиранской * Parikāna, то речь могла идти лишь о XVII округе Геродота — современный Белуджистан и Мекран. Но и это сомнительно, ибо с лингвистической точки зрения передача указанного названия через Prakaṇva маловероятна [36, стр. 71—72]. Таким образом, совершенно нереальным, лежащим вне научной дискуссии, является предположение Ю. А. Заднепровского, что Геродот был частично знаком с источниками, которые (в части Средней Азии) якобы были известны древнеиндийскому автору Панини. Совпадают не сведения Геродота и Панини, как пишет Ю. А. Заднепровский, а произвольные толкования этих сведений двумя современными зарубежными исследователями [76, стр. 267, прим. 41].

[7] Детальный разбор слова «када» — «кент» см. [2, стр. 442—449]. Об этимологии «куру» см. [3, стр. 286—291; 4, стр. 262—266]. Независимо от Бенвениста к аналогичным выводам об этом топониме пришел Э. Херцфельд [163, стр. 329; прим. 4]. См. также [124, стр. 125—126]. Недавно была предложена еще одна этимология, авторы которой связывают *prkn* с *fra-kāna* (со ссылкой на [131, Sp. 986 — *aufgraben*, т. е. «раскапывать»; *aufdämmen* — «возводить плотину»), ср-перс. *fragān* — «основание», «фундамент», или же с **pari-kāna* — см. ср-перс. *pargān* — «стена» (такой топоним засвидетельствован для Ирана) [177a, стр. 447—448].

[8] Ф. В. Томас ищет оторокуров Птолемея в районе Лоу-Лани [193, стр. 68], Г. Хауссиг — в Южном Припамирье, может быть, в Читрале [156, стр. 182, прим. 164].

Но это порождает другие вопросы, и прежде всего вопрос о наименовании этноса Ферганы. По этому поводу в науке нет однозначного мнения. Положение осложняется еще и тем, что в древнейших китайских источниках Фергана именуется (вплоть до III в. н. э.) Давань [179, стр. 22, прим. 5]. Лишь позже, с V в. н. э., зафиксирована форма (По)лона — P'uâ-lâk-nâ, которая является транскрипцией названия, близкого теперешнему «Фергана» [85, стр. 79].

А. Гутшмид выдвинул гипотезу, что Давань (которую он понимал как Большой Вань) соответствует Οὔαρνοι — варни Птолемея (6, 11, 6). Встречаются варианты — οὔαροι, θάρυοι, οὔαρνοι — [см. 188а, стр. 27—28; 154, стр. 63, см. также 156, стр. 175—176]. То, что Птолемей помещает этих варниев у верхнего течения Окса — Амударьи [188, стр. 142], Гутшмид объяснял тем, что Птолемей часто «путал» верховья Окса и Яксарта. Более того, Гутшмид предлагал идти еще дальше и видеть Давань — Большой Вань в области Варена Ведивдата [154, стр. 63, прим. 4].

Й. Маркварту принадлежит другая гипотеза, согласно которой встречающееся у Птолемея (6, 12, 4) обозначение Οὐανδαβανδα — это удвоение, своего рода диттография βανδα + + ουανδα, для которой можно видеть исходные: для Οὐάνδα—согд. βand, для βάνδα—средне- (и ново-) персидскую форму *band*. В китайском названии Ферганы Да-Вань (Большой Вань), китайское Wan, насколько возможно это средствами китайской письменности, передает слово band. Переводя значение этого слова как «замок», «запор», «запруда», Й. Маркварт толкует древнее название Ферганы как «укрепленная граница», «пограничная крепость» [175, стр. 295—296].

Текст Птолемея гласит: «Между Кавказскими горами и Имаоном лежит (область) Вандабанда (Οὐανδαβανδα)» [188а, стр. 34]. Здесь же приведены варианты названия, в частности οὐανδαβανδα, ἀνδάβαδα, ουαβαβανδα. Не исключено, что Й. Маркварт прав и за названием Вандабанда скрывается обозначение Ферганы (на возможность такой локализации Вандабанды много раньше Й. Маркварта указывал В. В. Григорьев [37а, стр. 62]).

Э. Пуллейблэнк полагает, что da' — 'jwan является китайской передачей слова *Taxwar, которое в греческих источниках отражено как τόχαροι, ταχόροι — тохары. Высказав эту интереснейшую гипотезу, Э. Пуллейблэнк затем сопоставляет расстояния между среднеазиатскими владениями, которые указаны в китайских источниках, и путь Чжан Кяна и отмечает несообразности, вытекающие из локализации Давани в Фергане. Наконец, обилие городов, о котором сообщается для Давани, больше, на его взгляд, соответствует Согдиане, чем «мало продвинувшейся в отношении цивилизации Фергане» (!). Указав также на возможные интерполяции в рапорте Чжан Кяна, он приходит к заключению, что Давань — не топоним, а этноним, обозначение кочевого племени, которое вначале, во времена Чжан Кяна, находилось в области Куча, затем передвигалось на запад, заняв позже Согдиану [179, стр. 22—26].

Отметим, что в целом построение Э. Пуллейблэнка представляется неубедительным, но интересно в части уравнения Давань — тохары. Если это не случайное сходство, то возможно, что китайцы при своих первых контактах застали в Фергане тохаров, захвативших там власть. По имени этого народа, если принять это предположение, могла быть названа вся область. Позже тохары (имея в виду какую-то часть этого народа) могли уйти из Ферганы, а название за ней закрепилось.

Что же касается ферганского этноса в период, предшествующий сакско-юэчжийскому штурму Греко-Бактрии, то на этот счет имеются различные точки зрения. А. Н. Бернштам полагал, что в Фергане наряду с париканиями жили различные сакские племена [12, стр. 7; 13, стр. 211], по Ю. А. Заднепровскому, здесь жили парикании — паркании (последние — изобретение самого Ю. А. Заднепровского), а «вопрос об обитании сакских племен на территории Ферганской долины остается открытым» [43, стр. 198]. Н. Г. Горбунова считает, что Фергана, вероятно, была населена сакскими племенами [33, стр. 15—16; 34, стр. 121—122].

Свою точку зрения по этому вопросу (которая не изменилась и теперь) мне приходилось высказывать в печати в 1960 и 1962 гг. [см. 73, стр. 94; 80; 83, стр. 298—299]. Я придерживаюсь мнения, что Кайрак-Кумские поселения VI—IV вв. до н. э. принадлежали сакам,— это подтверждается установленным нами тождеством керамики, а также оружия и других изделий с этих поселений с саксокусуньскими находками. Что касается широко распространенных представлений, рассматривающих саков исключительно как кочевников, то им противоречит сам факт наличия поселений. Считается, будто Птолемей (VI, 13) сообщал о кочевниках, занимающих страну саков, что у них отсутствуют города [188, стр. 144]. Однако следует иметь в виду, что этот отрывок в части рукописей труда Птолемея вообще отсутствует, в других же рукописях помещен в разделе, не связанном с саками, и отнесение его в раздел VI, 13, 3 — явная интерполяция [188а, стр. 39]. Я уже обращал внимание на то, что есть и противоположные (притом не-

сравненно более ранние) сведения письменных источников, например у Ктесия (в передаче Диодора, II, 34,4), об устройстве городов Зариной. Уже В. В. Григорьев выступил с развернутым обоснованием того, что часть саков была оседлой [37, стр. 59—73]; эту позицию поддерживал и А. Херманн [159, стр. 1795]. Напомню, однако, что эта идея не стала общепринятой.

Историки, занимавшиеся этой проблемой, в том числе и автор настоящей статьи, ранее проходили мимо того факта, что в хотано-сакских текстах хорошо засвидетельствован термин *vara* — др.-ир. *vāra* [9] [132, стр. 1411]. В этих текстах указанный термин имел, в частности, значение «ограда», «двор», «огороженная территория», «крепость», а также «круглый двор». Среди контекстов имеются такие: «В качестве военной охраны пятьсот якши были расположены в крепости Вара», «в городе, похожем на вара» и т. д. На базе этого слова возникло другое хотано-сакское образование — *bārmana* («ограда», также «резервуар», «пруд») и ряд сходных терминов [129, стр. 26—28].

Итак, в средневековом хотано-сакском языке, развившемся на базе древних сакских, известно было древнеиранское обозначение крепости-убежища — это еще один дополнительный аргумент в пользу высказывавшейся точки зрения о существовании у саков городов.

Анализ текста Ктесия, проведенный И. В. Пьянковым, позволил также выявить ряд существенно важных деталей. По Ктесию, Зарина «бо́льшую часть земли» саков «привела в культурный вид» (это И. В. Пьянков трактует как указание на то, что земля была обработана) и там имеются «немалые города». Ктесий имел в виду амиргийских саков, т. е. тех, в зону расселения которых входила Фергана [101, стр. 46—47]. Приводимые Ктесием сведения о саках-амиргиях особенно важны для подтверждения нашей идеи о принадлежности сакам поздних поселений Кайрак-Кумов, а также и Эйлатана (VII—IV вв. до н. э.). Еще в 1962 г. я писал о керамике из Эйлатана: «В этой керамике имеется значительное число элементов, роднящих ее с поздним комплексом Кайрак-Кумов. Во всех четырех типах эйлатанской керамики (применяя классификацию Ю. А. Заднепровского) представлены формы, характерные для этого комплекса. Особенно разительны совпадения с керамикой первого и четвертого типов, наиболее многочисленной в составе эйлатанской керамики. Они дают массовые совпадения с III и V группами нашей классификации кайрак-кумской керамики. Во многих случаях можно говорить не о сходстве, а об идентичности формы, техники изготовления, орнаментации. Если говорить о деталях, в Эйлатане имеются сливы кайрак-кумского типа, встречаются ручки-выступы, опубликован фрагмент с подковообразной налепной ручкой» [83, стр. 256].

Культура эйлатанского периода, столь тщательно изученная Ю. А. Заднепровским и Н. Г. Горбуновой, при несомненной генетической связи с позднебронзовой чустской [34, стр. 114—116, 43, стр. 165—167], при определенном влиянии традиций культуры степной кайрак-кумской бронзы [76, стр. 266] обнаруживает, как справедливо подчеркивает Н. Г. Горбунова, значительное сходство с культурой кочевников Алая, Тянь-Шаня, Чача и Семиречья. Это относится как к материальной культуре, так и в определенной степени (при всем своеобразии могильников актамского типа) и к погребальному обряду [34, стр. 117—120]. Я бы распространил этот ареал и на Восточный Памир, так как и там найдены специфические наконечники стрел с разделенной на лопасти втулкой, характерные для перечисленных областей, есть сходство и в керамике и пр. Характерно, что на территории Ферганы обнаружен раннесакский бронзовый котел; вооружение также принадежит к сакским типам. «Амиргийская равнина» Гелланика — это, несомненно, Алайская долина, но вполне вероятно, что в древности под «амиргийской долиной» понимали Фергану в широком смысле, а в узком — Алайскую долину. Здесь могли обитать различные группы сакского населения: [кочевники (Алайская долина, предгорья Кураминского хребта и пр.), полукочевники и оседлые жители. Все они входили в обширную конфедерацию «саков — хаумаварга», конкретнее, принадлежали к «сакам, которые за Согдом» [73; 79; 80].

Приведем еще одно соображение. В событиях конца II в. до н. э. в качестве царя Ферганы китайские источники называют Мугуа [15, стр. 164—166, 187; 153; стр. 40; 198, стр. 40]. Варианты китайского названия: *Mu-kua* (< *mɨu-kwa* < **mɨg*—**kwā*); *Wuku* (< *mɨu-kuo* < < **mɨwo*-**ko*); *Wu-kua* (*a* < *mɨu-kwa* < **mɨwo*-**kwa*) [140, стр. 50]. Как известно, Арриан (III, 8, 3) упоминает Μανάχης — предводителя среднеазиатских саков, не подчинявшихся Бессу, но являвшихся союзниками Ахеменидов. Уже Ф. Юсти сопоставил имя Μανάχος с фигурирующим в надписях из Танаиса Μαβακος [62, стр. 736—737 (№ 1245), 769—771 (№ 1280)], но Л. Згуста относится к этому сопоставлению с сомнением [199, стр. 118]. Даффина также указал на сходство этого имени с др.-перс. Vahauka [166, стр. 207], в эламской транскрип-

[9] Толкование этого термина см. [65, стр. 145; 110, стр. 77—82].

ции Ma-u-uk-ka, [175а, стр. 170], что весьма напоминает греческую и китайскую форму [140, стр. 50, прим. 14]. Единственную известную мне этимологию предложил В. И. Абаев: от др.-ир. основы *maiva* — «действие», «занятие», «работа», осет. *mewe*. По В. И. Абаеву, танаисское имя Μεβακος расшифровывается как *mew* + суффикс *-ak*. [1, стр. 171], причем имя сакского вождя фонетически ближе к древнеиранской основе. Во всяком случае, сходство имен предводителя среднеазиатских саков IV в. до н. э. и имени ферганского правителя конца II в. до н. э. не подлежит никакому сомнению. Добавим, что первым известным индо-сакским правителем был тот, чье имя на монетах читается в греческих надписях MAYOY, в надписях кхароштхи MOASA, считается, что имя этого царя Мауес, быть может, идентично с именем Махараджи Moga на таксильской медной пластинке с надписью на кхароштхи, датированной 78 г. неизвестной эры. Следует также упомянуть, что в надписи на «Львиной капители» из Матхуры фигурирует Mevaki Miyika. Вопрос о датировке, соотношении и принадлежности этих памятников многократно обсуждался в научной литературе [125, стр. 235—236; 139, стр. 240; 148, табл. XL—XL; 168, стр. 959; 172, стр. 17, 337—342; 177, стр. 142; 181, стр. 124—127, 134; 186, стр. 35—38; 190, стр. 163—164, 235—236, 494—500; 192, стр. 208; 197, стр. 91, 95], для нас в данной связи существенно лишь одно: большинство ученых считают эти имена сакскими, а некоторые непосредственно связывают с движением саков из Ферганы (что, на наш взгляд, не может быть доказано).

Что же касается времени, предшествующего сакско-юэчжийскому штурму Греко-Бактрии, то анализ письменных источников позволяет прийти к заключению, что за полтора столетия до этого штурма кочевники уже пытались сокрушить оплоты греческой (селевкидской) власти.

Косвенные данные, заключенные в источниках, позволяют предположить, что это движение кочевников коснулось Ферганы, во всяком случае Западной. Подверглась, по-видимому, разрушению Александрия Эсхата (затем восстановленная Селевкидами и переименованная). Контрнаступление Селевкидов — экспедиция Демодама, проникшая за Яксарт (между 293—289 гг. до н. э.). Вообще, многие исследователи полагают, что само назначение Антиоха на Восток было реакцией на начавшееся скифское вторжение [см. об этом: 40, стр. 354, 420; 75, стр. 279—283; 135, стр. 101; 154, стр. 26; 182, стр. 174; 189, стр. 89—94, 191, стр. 107]. Я уже отмечал, что это вторжение должно было привести к перемещению в Фергану кочевых сакских племен, за которым последовало исчезновение актамского погребального обряда [75, стр. 283, 534].

Й. Маркварт высказал много лет назад очень интересную идею, что в Фергане саки, жившие здесь еще во времена Александра, вследствие «согдизации» этой области постепенно были ограничены лишь районом на северном берегу Сырдарьи [175, стр. 319]. К довольно сходному заключению (независимо от Маркварта) пришел П. Даффина. По его мнению, после ослабления греко-бактрийского царства в Фергане образовалось независимое государство, где в этносе преобладал древний сакский субстрат («саки, которые за Согдом»), греки же составляли меньшинство, причем П. Даффина в отличие от Маркварта постулирует прирост кочевого элемента во II—I вв. до н. э. [140, стр. 50].

Конечно, мы не располагаем конкретными материалами для решения этого вопроса. О «согдизации» Ферганы мы имеем данные лишь с рубежа нашей эры (притом, собственно, не данные, а предположения)[10]. Поэтому пока допустима конструкция любой этногенетической модели, в том числе конструкция Маркварта и Даффины.

Итак, изложенные выше соображения, как мне представляется, позволяют считать, что значительный пласт населения Ферганы VII—II вв. до н. э.— это сакское население. С этой гипотезой лучше всего согласуются имеющиеся

[10] Согдийский колонизационный поток, направлявшийся в Восточный Туркестан, в определенной степени должен был проходить через Фергану. При этом следует учесть, что, как пишет В. Хеннинг, «мы не знаем, когда согдийцы начали устраивать колонии вдоль караванных путей, ведущих в Китай, и в самом Китае, но похоже, что они это делали задолго до изобретения бумаги» [157, стр. 602]. По-видимому, Хеннинг имел в виду традиционную дату изобретения бумаги Цай Лунем — 105 г. н. э. [84, стр. 35—37], хотя фактически бумага была изобретена несколько раньше. В своей более поздней работе В. Хеннинг высказался более определенно. Начало согдийской колонизационной деятельности он возводит ко времени «страшного погрома», который Александр Македонский произвел в Согде, особенно в районе Мараканды — Самарканда, и считает, что именно этот погром явился, вероятно, «главной причиной» для начавшейся тогда «диаспоры» согдийцев [158, стр. 54]. В. Эберхард связывает появление в Восточном Туркестане выходцев из Средней Азии с переселением в Восточный Туркестан части племен юэчжийского союза [143, стр. 148—154]. Для первых веков нашей эры важным фактором этнических перемещений являлась буддийская пропаганда, поток буддийских миссионеров из Средней Азии [171, стр. 10—13]. Однако все это не дает никаких конкретных данных о времени появления согдийских колоний. Мы твердо знаем, собственно, лишь то, что они существовали и играли важную роль в Восточном Туркестане в самом начале IV в. н. э., когда лишь в Дуньхуане имелось, как сообщается в одном согдийском письме, «сто благородных людей из Самарканда» [158, стр. 55, прим. 1].

в нашем распоряжении данные [11], в том числе сведения китайских источников (подробный анализ см. [80, стр. 187 и сл.]) о том, что территория Ферганы и, очевидно, ее население были вовлечены в сакско-юэчжийские передвижения II в. до н. э.

Давань-Фергана во II в. до н. э.— III в. н. э. находилась в тесных политических, экономических и культурных взаимоотношениях с Кангюем. Нам приходилось освещать проблему Кангюя в связи с датировкой Джунского могильника и историей каунчинско-джунской культуры, в этих работах приведены археологические данные и ссылки на соответствующие публикации [77, стр. 27—29; 78, стр. 14—24; ценный анализ источников осуществлен П. Даффиной]; поэтому здесь мы не останавливаемся на аспектах кангюйской проблемы.

В этническом плане кангюйско-ферганские связи и контакты, по всей вероятности, имели место в Северо-Западной Фергане — это вытекает прежде всего из археологических материалов. Эта линия имела тенденцию к дальнейшему развитию, и в IV—VIII вв. связи, в том числе этнические, между Северо-Западной Ферганой и Чачем еще более усиливаются.

Кангюйско-ферганские взаимоотношения важны еще в одном аспекте. Карабулакско-ворухская подбойно-катакомбная культура и аштская культура курумов демонстрируют многие черты близости средне- и позднесарматской культуре. Конкретное рассмотрение всех категорий материальной культуры, карабулакско-ворухского погребального обряда, явлений идеологической сферы показывает, что сарматская культура и культура жителей ферганских предгорий была исторически связана по многим направлениям [см. 38, стр. 67—70, а также 78; 80; 81; 82]. Я не хотел бы видеть в этом следствие этнических связей (хотя переселение в Фергану в процессе сакско-юэчжийских передвижек II—I вв. до н. э. каких-либо групп приаральского населения, носителей «сарматоидной» культуры, вовсе не исключается) — в большей степени это влияние не прямое, а опосредствованное.

Одним из «ретрансляторов» сарматской культуры на Фергану являлся, на мой взгляд, Кангюй. Другой вероятный путь — это взаимодействие с населением Зеравшанской долины, «сарматоидные» (но, видимо, не сарматские) черты в культуре которого выступают еще ярче, чем в кангюйской [12]. Фергана, в свою очередь, влияла в этом плане на Восточный Туркестан, и сарматские воздействия на культуру жителей окрестностей оз. Лоб-Нора могут явиться предметом специального исследования. В могильниках Лоу-Лани и других «среднеазиатская струя» является доминирующей, и культурная и этническая история древнего Восточного Туркестана, несомненно, является составной частью истории Средней Азии.

* * *

Если сведения письменных источников по Фергане или те, что могут быть связаны с Ферганой, для периода VI в. до н. э.— I—II вв. н. э. чрезвычайно скудны, то для периода III—V вв. н. э. наука вообще не располагает данными по этнической истории Ферганы. Лакуна тем более чувствительна, что именно в этот период в Средней Азии распадается кушанское государство, начинается новая волна передвижений больших масс населения; на исторической арене появляются кидариты, хионит и сыгравшие наиболее важную роль в истории Средней Азии и сопредельных стран эфталиты. Вопрос о происхождении, этнической принадлежности и языке каждого из этих народов весьма неясно освещен в противоречивых сообщениях разноязычных и разновременных источников, что породило бесконечные дискуссии, которые пока не привели к выработке единого мнения. Лишь накопление новых археологических материалов, расшифровка уже имеющихся памятников эфталитской письменности [13] и обнаружение новых, скрупулезное исследование обширного нумизматического материала [14] позволят, по-видимому, используя всю совокупность источников, в том числе иконографических, в конце концов подойти к решению вопроса о происхождении и этнической истории эфталитов [15].

В источниках нет никаких прямых свидетельств о связи эфталитов с Ферганой, можно лишь догадываться, что с Ферганой была связана одна из групп эфталитов, а именно «красные хионы» [см. 126, стр. 592; 127, стр. 945—947; 130, стр. 12—21], они были, по-видимому, распространены и в Тохаристане [66, стр. 6]. В Бахман Яште II, 49, в перечне враждебных Ирану народов, упоминаются хионы, турки, хафталы и тибетцы, причем они называются

[11] Можно было упомянуть и о косвенных соображениях, например о способе ведения войны древними ферганцами, их вооружении (см., например, Сыма Цянь [196, стр. 266]).

[12] Особенно интересен в плане сарматско-ташкентско-ферганских взаимоотношений курган 6-го могильника Курук-Сай (рубеж нашей эры).

[13] Об «эфталитских» рукописях из Восточного Туркестана см. [67, стр. 163—164; 150, стр. 37—57; 155] (там же — о памятниках эфталитской письменности в Средней Азии). О находке в долине Точи (Пакистан) см. [141].

[14] Новейшей его сводкой является четырехтомник, выпущенный Р. Гёблем [152, I—IV].

[15] Лучшими общими обзорами современного состояния проблемы являются [23; 92; 122; 145; 151].

горцами [127, стр. 945—946] [16]. По мнению Г. Бэйли, здесь, вероятно, подразумевается Самаркандский Кухистан [127, стр. 947], но не исключено, разумеется, что эти племена (т. е. хионы, хафталы) происходили из горных областей восточной части Средней Азии. В хотано-сакской поэме VII в. н. э. перечисляются враги Хотана: китайцы, монголы, тибетцы, хуна и *heinā-khosa*. Последних, как показал Г. Бэйли, можно расшифровать как «красношапочные» и идентифицировать с «красными хионами» [128, стр. 19—20]. Учитывая, что «красные хионы» принимали участие в нападениях на Иран и вместе с тем их боялся Хотан, будет логичным предположить, что они жили где-то на востоке Средней Азии, может быть и в Фергане. В «Вей-шу» («Истории Северных Дворов») об эфталитах (е-да) говорится: «Умерших из богатых домов погребают в каменных склепах, а бедных зарывают в выкопанных могилах» [15, стр. 269]. Речь идет не просто о кучах камней [17], а именно о погребальных домиках, ибо, как указал К. Еноки, в китайском тексте употреблен термин *ts' ang*, буквальное значение которого «склад», «кладовая», и здесь он применен в смысле «постройка», «место хранения трупа» [145, стр. 49, 50, п. 2]. Это сообщение «Вей-шу» было сопоставлено К. А. Иностранцевым с ферганскими мугхона — курумами [49, стр. 116—117]. В другом китайском источнике, «Лян-шу», говорится, что у эфталитов покойника при погребении клали в деревянный гроб, причем ребенку умершего родителя надрезали (или отрезали) ухо [49, стр. 116; 145, стр. 49—50].

В связи с этими эфталитскими обычаями следует рассмотреть одно сообщение Табари. Рассказав о том, что сасанидский царь Пероз (459—485 гг.) погиб в войне с эфталитами, Табари пишет, что царь эфталитов Ахшунвар приказал извлечь трупы Пероза и остальных персов из ям и похоронить их в *наусах* (что, по мнению Т. Нельдеке, должно было означать «наземные постройки» [см. 178, стр. 130, прим. 2]). Термин «наус» обычно употребляется арабскими авторами для обозначения погребальных построек зороастрийцев Средней Азии и Ирана [10, стр. 162—168; 16; 47, стр. 0170—0171]. Невозможно, конечно, сказать, что именно подразумевалось в данном случае, но параллелизм сообщений «Вей-шу» и Табари обращает на себя внимание: нельзя исключить возможности того, что были устроены погребальные постройки, применявшиеся у эфталитов, тем более что, как установил А. Я. Борисов, этим термином обозначались и незороастрийские погребальные постройки [16, стр. 310].

Е. Е. Неразик, рассмотрев эфталитский обычай захоронения в деревянных гробах, сообщает, что деревянные гробы зафиксированы у сарматов, гуннов и некоторых среднеазиатских племен, в частности ферганских, и приводит (со ссылкой на меня) мнение, что все это может указывать на существенную роль в сложении эфталитского этноса племен предгорных районов Ферганы [92, стр. 417, 554]. В самом деле, лишь в Фергане, да в примыкающих районах Чача мы видим сочетание этих двух обрядов: захоронение в каменных склепах и в грунтовых могилах (с курганными насыпями), причем в последних — нередко с деревянным гробом.

Значительно больше данных мы имеем для VII—VIII вв. Сюан-цзан (629 г.) сообщает, что язык ферганцев (сам он в Фергане не был) «отличается от языка соседних стран» [133, стр. 31]. По словам Хой Чао (726 г.), в этой стране «язык совершенно отличен и неодинаков с языками остальных стран». Хотя Хой Чао также не был в Фергане, он располагал надежной информацией. Свидетельство Хой Чао о языке Ферганы приобретает особый интерес в сопоставлении с его же сообщениями о языках некоторых других областей Средней Азии. Так, например, о Хуттале он прямо говорит, что там «язык частью тохарский, частью тюркский и частью местный» [146, стр. 452]. Отсюда как будто следует вывод, что в Фергане тюркский язык не имел столь большого распространения, как в Хуттале.

Имеется ряд данных в согдийских и в более поздних арабских источниках, свидетельствующих о том, что язык Ферганы был восточноиранским. Царь Ферганы носил титул *ихшид*, этот титул прилагался и к владетелям отдельных селений, например «ихшид Тамахуша» (в районе Исфары) [64, стр. 50—51, 84—85] [18]. По мнению В. А. Лившица, уже сейчас можно утверждать, что в Фергане существовал особый ферганский язык, относящийся к группе восточноиранских [68, стр. 229]. Вместе с тем, как в свое время правильно предположил Й. Маркварт (см. выше), происходит согдийская колонизация Ферганы. Об этом свидетельствует появление согдийской надписи на западных подступах к Фергане — в Мупчак-тепе [69, стр. 161—163, рис. 4—5; 70, стр. 168; 158, стр. 52], согдийская надпись из самой Ферганы — из Кувы, согдийское письмо из Восточного Туркестана, где упоминается правитель — ихшид селения Тамахуш.

[16] В пехлевийском тексте специально подчеркнуто: «...которые были среди горных жителей».

[17] «Богатых погребали, нагромождая кучи камней; бедных же погребали в земле» [142, стр. 63].

[18] О локализации селения Тамахуш см. [38, стр. 175—176].

В. А. Лившиц обнаружил в фондах Самаркандского музея монету, легенда которой содержит титул «ферганский царь» и имя правителя. Письмо этой легенды — арамейского происхождения, но резко отличающееся от всех среднеиранских письменностей, восходящих к арамейской, в том числе от согдийской, хорезмийской, парфянской. Монета датируется V—VI вв. и, как предполагает В. А. Лившиц, «может рассматриваться как единственный известный в настоящее время образец древнеферганской письменности» [68, стр. 230].

В VI—VIII вв. Фергана включается в сферу тюркских государственных образований. Уже во второй четверти VII в. местный правитель Ферганы был убит в сражении с тюрками, часть Ферганы управлялась с тех пор непосредственно тюрками, среди местных правителей не было верховного главы, и они соперничали друг с другом. Позже положение изменилось, и в начале VIII в. в Фергане появляется могущественный местный царь — Алутар. В 726 г., во времена Хой Чао, правитель ферганских местностей к югу от Сырдарьи подчинялся арабам, другой правитель, под властью которого находились районы к северу от реки,— тюркам. По сведениям китайских источников, в 739 г. власть в Фергане захватил тюрк Арслан-Тархан [9, стр. 529; 133, стр. 31; 138, стр. 148—149; 146, стр. 452].

Имеются археологические и эпиграфические материалы, показывающие, что в Фергане и в окружающих ее горных долинах расселяются тюрки. Материал этот наиболее полно суммирован Ю. А. Заднепровским [19] [44]. В процессе наших экспедиций в Исфаринском районе было обнаружено три фрагмента керамики с руническими надписями [38, стр. 121, 169, рис. 59—60, 85—86], при раскопках Аштского могильника в одном из курумов я нашел перстень, на щитке которого — руническая надпись. Восемь или десять находок было сделано другими исследователями или случайными лицами [14; 18; 35, стр. 35]. К наиболее раннему времени относится надпись на аштском перстне. С. Г. Кляшторный разобрал здесь слово *упапс* — титул или собственное имя. По его словам, надпись занимает «особое положение среди среднеазиатских рунических надписей... Рунические знаки надписи на перстне близки к своим старосогдийским прототипам, что не может быть объяснено локальными особенностями — в Фергане употреблялось руническое письмо в его „классическом" варианте (конец VII — первая половина VIII в.). Вероятнее всего, надпись может быть датирована концом VI—VII в.» [60; 61, стр. 48]. Если это так, то вместе с семиреченской рунико́й, которую А. Габэн датирует временем ок. 600 г. н. э. [147, стр. 539], аштский перстень входит в группу наиболее ранних тюркских рунических надписей. Учитывая, что тюркская руника происходит от согдийской, следует признать большое историко-культурное значение аштского перстня. Происходило ли сложение древнетюркской руники (на базе согдийской) в Семиречье (гипотеза С. В. Киселева и А. М. Щербака) или же началось в Восточном Туркестане с завершением процесса формирования в Средней Азии (С. Г. Кляшторный) [20] — в любом случае Фергана сыграла определенную роль в ранней истории рунического письма.

Археологические данные показывают, что Северо-Восточная Фергана в это время еще более, чем в кангюйский период, была в историко-культурном отношении связана с Чачем.

Рассматривая вопрос об ареале курумов, мы подчеркивали факт обнаружения сходных сооружений и в Чирчик-Ангренской долине [80]. Собственно, курумов там, как известно, нет. Однако там есть наземные, полуподземные и подземные погребальные сооружения, которые имеют много общих черт с курумами.

В 1956 г. я писал: «Сооружение гробниц Пскентского могильника, быть может, следует приписать какому-либо из племен — строителей курумов, продвигавшихся (через Куруксай?) в район Пскента и перешедших там к оседлости. Новый материал потребовал еще более основательного знакомства с архитектурно-строительным искусством, но база для этого была заложена в предшествующий период истории этих племен» [71, стр. 46]. Сделанные с того времени Т. Агзамходжаевым археологические открытия в Ангренской долине (особенно апартакские и туябугузские склепы) [5; 6] позволяют расширить рассмотрение вопроса.

По своему устройству апартакские каменные склепы удивительно близки курумам, особенно муг-хона. Однако имеются и серьезные различия. Они заключаются в следующем: 1) склепы в отличие от курумов являются подземными сооружениями; 2) каменная кладка в них производилась на глиняном растворе; 3) стены склепов штукатурились.

Генезис апартакских склепов можно представить следующим образом. Ориентировочно в III—V (или во II—IV) вв. происходила инфильтрация племен — строителей курумов с гор в Чирчик-Ангренскую долину. Здесь они оказались в иной природной среде и столкнулись с населением, хоронившим своих покойников в курганах типа джунских или вревских. Не-

[19] К сожалению, Ю. А. Заднепровскому осталась неизвестной работа В. А. Булатовой [18].

[20] Подробный обзор проблемы см. [61, стр. 44—49].

которое время пришельцы продолжали воздвигать курумы (они пока не обнаружены, а может быть, и не сохранились на равнине). Затем под воздействием местного погребального обряда стали «погружать» свои погребальные постройки под землю. Следующим этапом, запечатленным в апартакских склепах, было усвоение строительных приемов древнего Чача, что привело к использованию строительных растворов и штукатурок. Одновременно пришельцы подверглись влиянию оссуарного погребального обряда и согдийской традиции сооружения наусов. Результатами взаимодействия этих традиций я считаю появление наусов Туюбугуза и пскентских склепов.

Таким образом, племена — строители курумов были вовлечены в V—VII вв. в сложные этногенетические процессы не только Ферганы, но и Чача. Последний же более прочно входит в состав тюркских государственных образований, и процессы тюркского этногенеза протекали в нем более интенсивно.

Трудами В. В. Гинзбурга, В. Я. Зезенковой, Т. П. Кияткиной, Н. Н. Миклашевской и других разработана палеоантропология древней и раннесредневековой Ферганы [27; 28; 29; 30; 31; 32, 45; 46; 55; 56; 57; 58; 59; 88; 89, а также 24; 96, 98]. Судя по палеоантропологическим материалам, картина расового состава Ферганы в первой половине и середине I тысячелетия н. э. была весьма сложной. Ферганское население этого времени характеризовалось наличием следующих расовых типов:

1) мезо- и брахикранные европеоидные элементы расового типа среднеазиатского междуречья — основная часть населения;

2) долихокранные европеоиды, иногда метисизированные с предыдущим типом, — небольшая часть населения (5—10%);

3) первые и вторые с признаками монголизации — небольшая часть населения (ориентировочно столько же или несколько больше, чем тип 2);

4) одиночные представители южносибирской расы, экваториальной расы и др.

Именно в это время интенсивно завершалось становление расового типа среднеазиатского междуречья. Согласно мнению многих антропологов (в частности, В. В. Гинзбурга), «становление расового типа среднеазиатского междуречья явилось, с одной стороны, результатом эпохальных преобразований андроновского (грацилизация) и средиземноморского (брахикефализация) типов, с другой — результатом их смешения», причем этот процесс протекал в обстановке притока и примеси монголоидного типа. Население Ферганы, как пишет этот же исследователь, всегда было более смешанным в антропологическом смысле [29, стр. 31—32; 32, стр. 128].

В последней сводной работе по палеоантропологии Средней Азии В. В. Гинзбург и Т. А. Трофимова отмечают: «...население Ферганской долины (древней Давани), как оседлое, так и ведшее пастушеское хозяйство, в античное время и в раннем средневековье характеризовалось единым европеоидным типом среднеазиатского междуречья в его более древнем варианте (мезо-брахикранном), а иногда с монголоидной примесью. На некоторых сериях черепов можно уловить более древние расовые элементы средиземноморского и протоевропейского типа, на базе которых развивалось население античного времени и раннего средневековья. Это население, судя по антропологическому типу, было родственно населению других районов Бактрии и Согда» [52а, стр. 158; для населения примыкающей с севера Кетменьтюбинской долины см. 97а]. Антропологический аспект этой проблемы дискуссионен [104]. Для нас в данном случае существенно, что расовый состав был разнородным и что монголоидный элемент играл в Фергане в первой половине и середине I тысячелетия н. э. сравнительно незначительную роль в антропологическом составе населявших ее народов и племен [21].

Вопрос об усилении роли монголоидного элемента даже на значительно более северных территориях Средней Азии, в Центральном Тянь-Шане и Семиречье для первой половины II тысячелетия н. э. также очень не прост. Состав населения там был смешанным, но европеоидный компонент явно преобладал [87, стр. 7]. В свое время, оперируя лишь небольшим материалом (для «усуней» — 8 мужских и 3 женских черепа, для «гуннов» — соответственно 21 и 14), Г. Ф. Дебец даже писал, что нет «достаточных оснований для заключения о большей примеси монголоидного элемента у „гуннов" по сравнению с „усунями"» [39, стр. 12—13] (под «гуннами» подразумевалось население первой половины I тысячелетия н. э.). Позже был получен новый материал, сделавший соответствующие серии более представительными. Н. Н. Миклашевская смогла привлечь к исследованию 41 мужской и 14 женских черепов «усуней» и 84 мужских и 49 женских черепов, датируемых первой половиной I тысячелетия н. э. Сопоставляя данные опубликованной ею таблицы, мы видим увеличение верхней высоты лица, сочетающееся с заметным уменьшением угла носовых костей (с 27,8 до 25,8°), симотической высоты (с 4,13

[21] Здесь совершенно неправ Ю. А. Заднепровский, преувеличивающий удельный вес монголоидного компонента [42, стр. 43—44].

до 3,83°), дакриальной высоты (с 12,33 до 11,77°). Вместе с тем общая «уплощенность» лица не изменилась (в этом оказался прав Г. Ф. Дебец), наоборот, зигомаксиллярный угол практически остался прежним (131,2 и 131,5°), а назомалярный даже уменьшился (со 143,1 до 140,9°). Этим мы отнюдь не оспариваем общий вывод Н. Н. Миклашевской, которая, как и В. В. Гинзбург, считает, что в целом в этих областях Средней Азии в первой половине I тысячелетия н. э. монголоидный компонент заметно усилился [89, стр. 84], но мы хотим показать, что процесс монголизации в то время носил достаточно поверхностный характер и на северо-востоке Средней Азии, где он протекал несравненно интенсивнее (хотя на Тянь-Шане и в Семиречье его динамика была неравномерной). Даже там в первой половине I тысячелетия н. э. черепа с преобладанием монголоидных особенностей составляют лишь 25% тяньшаньской серии в целом [22], а в семиреченской серии III в. до н. э.— III в. н. э. небольшая монголоидная примесь практически почти не увеличилась на протяжении этого периода [49а, стр. 39—56].

Роль монголоидных этнических групп в Фергане и прилегающих районах резко возрастает начиная с VI—VII вв. н. э. Это хорошо видно на материалах Алайской долины. Так, в могильнике Кукяльда (датировка его, впрочем, не имеет надежных оснований [см. 13, стр. 220—221]) все черепа или типично монголоидные, или же европеоидные с монголоидной примесью [26, стр. 374—377]. Кроме того, имеется пять мужских и четыре женских черепа из алайских могильников Кара-Беит и др., которые Ю. Д. Баруздин датировал временем «не ранее VI в.». Н. Н. Миклашевская характеризует эту серию следующим образом: «...брахикранные черепа с высоким, широким, слабопрофилированным лицом, небольшим углом выступания носа, низким переносьем. Черепа относятся к южносибирскому типу» [89, стр. 69]. Следовательно, и эта небольшая серия является целиком монголоидной.

Вхождение в состав ферганского населения монголоидных в расовом отношении компонентов слишком прямолинейно сопоставляется с лингвистическим процессом тюркизации. Однако следует иметь в виду, что (это уже отмечалось Л. В. Ошаниным и мною [см. 95, стр. 31—32; 97, стр. 58]) [23] в Средней Азии процессы тюркизации языка и монголизации антропологического типа отнюдь не были ни синхронными, ни абсолютно параллельными, напротив, тюркизация в I тысячелетии н. э. была значительно шире и глубже, чем монголизация [39, стр. 6]. В более общем плане это положение сформулировано Г. Ф. Дебецом: «...если переселившиеся из Центральной Азии монголоидные народы все говорили на тюркском или монгольских языках, то, конечно, не все народы, распространявшие тюркские языки, характеризовались монголоидными признаками. Переход на тюркскую речь предков кумыков, азербайджанцев или турок не сопровождался переселениями сколько-нибудь значительного числа представителей монголоидной расы» [ср. 42, стр. 22].

Именно поэтому строить заключения на основании одного палеоантропологического материала было бы совершенно неправомерно.

Однако, используя всю совокупность материалов — данные письменных источников, ферганскую эпиграфику, археологию, палеоантропологию, можно прийти к заключению, что в V—VII вв. существовала ферганская народность, у которой был свой язык, относящийся к группе восточноиранских. Вместе с тем очень слабый приток монголоидных групп (о языке которых мы ничего не знаем), который имел место в первой половине I тысячелетия н. э., позже, с VI—VII вв., сменяется значительным, скачкообразным увеличением удельного веса монголоидного элемента, особенно в горных долинах, окружающих Фергану [24]. По-видимому, процесс тюркизации в обстановке постоянных вторжений тюркских племен и политического господства тюркских правителей протекал не только в горных долинах, но и на равнинах. Об этом свидетельствуют рунические надписи и тюркские памятники из Южной Ферганы. Но его размах и интенсивность не идут ни в какое сравнение с последующими столетиями [25].

Имеющиеся в нашем распоряжении источники пока слишком малочисленны, чтобы можно было рассмотреть конкретную историю этнокультурных взаимоотношений монголизированных тюркоязычных племен, появившихся в Фер-

---

[22] Данные на основании 25 мужских и 9 женских черепов [88, стр. 301—302].

[23] Для северо-востока Средней Азии на совещании по этногенезу киргизского народа в 1956 г. я выдвинул предположение «об „отставании" монголизации расового типа от хода тюркского этногенетического процесса» [72, стр. 202].

[24] А. Н. Бернштам неоднократно менял свою точку зрения на ход тюркизации Ферганы. В одной из своих работ он высказал правильную, на наш взгляд, мысль о том, что Фергана подвергается влиянию тюркского этногенеза начиная с VII в. н. э. [11, стр. 158]. В последующих работах А. Н. Бернштам необоснованно подчеркивает древность и размах процесса тюркского этногенеза в Фергане [см., например, 12, стр. 21; 13, стр. 105—106].

[25] Таким образом, мы снимаем свое первоначальное предположение, что процесс тюркизации захватывал главным образом Северную Фергану [38, стр. 208].

гане в VI—VII вв., и местных оседлых и полукочевых племен, преимущественно европеоидных и ираноязычных.

Интересные материалы о том, как протекает взаимодействие тюрков и ираноязычных таджиков, мы находим в этнографической и лингвистической литературе. Оказывается, далеко не всегда тюркский язык пришельцев распространялся среди местного населения. В горных районах Куляба, в бассейне р. Кизыл-Су и Ях-Су, живет группа населения, имеющая самоназвание «тюрк». Они не сохранили родоплеменного деления. Сейчас бо́льшая часть «тюрков» говорит между собой по-таджикски, узбекского многие из них не знают вовсе, но считают, что два-четыре поколения назад их предки говорили по-узбекски. Они селятся отдельными семьями в таджикских кишлаках; браки между ними и таджиками — обычное явление. Они называют себя таджиками рода тюрк [51, стр. 10—11; 91, стр. 10; 100, стр. 79—81].

Тюрки верховьев р. Кафирниган и р. Ханакадарья сильно смешались с таджиками и двуязычны [51, стр. 11]. Такая этническая группа имеется и в Ферганской долине. «Тюрки» Касана, как отмечает М. С. Андреев, несмотря на свое название, говорят на таджикском языке [7, стр. 110], но большинство ферганских «тюрков» сменили свой язык на узбекский [20, стр. 397] [26]. Чрезвычайно интересно взаимоотношение таджиков-хардури и полукочевых узбеков. Хардури считаются таджиками, говорят между собой по-таджикски, некоторые совсем не знают узбекского языка. Однако они по всей своей культуре и образу жизни ничем не напоминают таджиков, а, напротив, сходны с полукочевыми узбеками. Тюрки долины Ширабаддарьи, пишет Б. Х. Кармышева, «живут вперемежку с таджиками-хардури, сильно смешались с ними (особенно мачайцы) и в результате взаимных браков и по образу жизни ничем не отличаются от хардури, но и те и другие сохраняют свой язык. До недавнего времени и тюрки и хардури вели полукочевой образ жизни, сочетая хлебопашество с разведением мелкого рогатого скота» [51, стр. 11] [27].

Наконец, следует отметить, что некоторая часть узбекоязычного населения Южного Узбекистана причисляет себя к таджикам, ибо исконное оседлое население вне зависимости от языка обозначается термином «таджик» или «чагатай». Про таких «таджиков-узбеков» один представитель кочевых узбеков сказал: «Будучи таджиком — он не таджик, будучи узбеком — он не узбек, будучи таджиком — он не знает таджикского языка, будучи узбеком — он не говорит чисто по-узбекски» (последнее — неверно) [50, стр. 17].

В другой работе мы остановимся на проблеме взаимоотношений кочевников и оседлых жителей в культурном и экономическом плане. Сейчас лишь отметим, что, по этнографическим данным, в результате многовекового соседства с оседлыми горными таджиками «значительная часть тюрков растворилась в таджикской среде» [53, стр. 7—8]. Этот процесс происходил и в Афганистане [93, стр. 240—241]. В результате хотя тюрки в Средней Азии нередко утрачивали свой язык, но расовый тип их и других вошедших в состав таджиков монголоидных групп наложил свой отпечаток на антропологический тип таджиков; например, в Юго-Западном Дарвазе и в примыкающих районах (как вообще у таджиков предгорий) четко осуществляются следы монголоидных влияний [25, стр. 301—304; стр. 94]. Но вместе с тем, соседствуя с кочевыми тюркоязычными пришельцами, местное население часто усваивало их образ жизни (как показывает пример хардури), а также и язык.

В этом плане представляет интерес детально исследованное таджикско-узбекское двуязычие. Лингвисты выделяют несколько типов двуязычия у современных иранских народов Средней Азии. Для нас существенны два варианта двуязычия: 1) двуязычие бытовое, причиной которого является длительный бытовой контакт с иноязычным народом; 2) двуязычие, связанное с потребностью в узкоместном, зональном языке межнационального общения там, где соседствуют несколько малочисленных народностей, не понимающих языка друг друга. Если исходить из знания второго языка, двуязычие можно подразделить на неполное (или частичное) и полное (или абсолютное) — с совершенно одинаковой степенью владения двумя языками. У таджиков Ферганы в настоящее время наблюдаются различные формы двуязычия в разных местностях. Жители Кассансая, Чуста, Риштана «с детства одинаково хорошо владеют двумя языками — таджикским и узбекским. В разговоре они легко переключаются с одного языка на другой». Напротив, у таджиков Бухары двуязычие, хотя и массовое, но неполное [28] [103, стр. 2—5].

[26] Общую характеристику ферганских тюрков см. [20, стр. 393—399].

[27] См. также [52, стр. 55]. Об особенностях материальной культуры и хозяйства кашкадарьинских таджиков см. [54]; специально о хардури см. [115; 116].

[28] Анализ этнического состава и этнической истории Бухары см. [108, стр. 138—149; ср. 107, стр. 79—82]. Несравненно дальше процесс зашел в Карши, где таджикоязычное население утратило свой язык, влившись в состав узбеков [см. 21, стр. 22; 107, стр. 119—121]; то же самое произошло в Шахрисябзе [107, стр.

Детали современного таджикско-узбекского двуязычия и результаты длительных контактов этих двух языков — двустороннего процесса взаимодействия — подробно отражены как в диалектологических исследованиях, так и в специальных работах по двуязычию [29]. Однако по сей день остается справедливым высказанное в 1952 г. А. К. Боровковым заключение: «Вопрос о взаимодействии таджикского и узбекского языков с исторической точки зрения не изучен» [17, стр. 182]. В определенных условиях двуязычие может явиться промежуточной ступенью к переходу на другой язык, причем социальный (экстралингвистический) фактор в комплексе, обусловливающем такой переход, занимает немаловажное место.

По-видимому, в напряженной исторической обстановке VI—VIII вв. в Фергане могли возникнуть три ситуации: 1) постепенная утрата пришельцами-тюрками своего языка и ассимиляция их окружающим местным населением; 2) сохранение тюркскими группами присущих им этнокультурных и лингвистических особенностей; 3) распространение путем культурно-экономических контактов и смешанных браков культуры и языка пришельцев в среде местного населения. С течением времени должны были в целом возобладать вторая и третья тенденции. Во второй половине XI в., как сообщает Махмуд Кашгарский, согдийцы — жители Баласагуна «приняли одежду и нравы турок», причем они, как и жители Тараза и Исфиджаба, говорили по-согдийски и по-тюркски [8, стр. 36], т. е. были двуязычными. Так было в Семиречье, но и там для образования двуязычия в городах понадобилось свыше четырех столетий.

Реальный ход этногенетического процесса в Фергане осложняется еще и тем, что на ее территории произошло, по-видимому в VIII—X вв., распространение новоиранского языка — таджикского [30]. Значительная часть оседлого населения Ферганы вошла в сложившийся тогда таджикский народ [22, стр. 203—204; 23, стр. 370—376], другая часть ферганского населения явилась одним из компонентов узбекского народа [118]. Но все эти проблемы находятся вне рамок настоящего исследования.

131]. Однако в годы присоединения этих городов к России, по словам побывавшего там А. Куна, городское население в Шахрисябзе состояло из узбеков и таджиков и, хотя первых было больше, именно таджики были одним из главных компонентов населения. Даже в Китабе, где во времена Куна таджики преобладали [63, стр. 218], сейчас основное население города — узбекское [107, стр. 132].

[29] Помимо цитированной выше работы [103] см. [17; 19; 117 и др.].

[30] Для изучения процессов взаимодействия таджикского и восточноиранских языков интересно исследование механизма взаимодействия таджикского и новосогдийского — ягнобского языка [см. 113].

1. Абаев В. И., Осетинский язык и фольклор, I. М.— Л., 1949.
2. Абаев В. И., Этимологические заметки,— «Труды Института языкознания», т. VI, М., 1956.
3. Абаев В. И., К этимологии древнеперсидских имен Kuruš, Ka^{m}budjiya, Cispiš,— «Этимология 1965. Материалы и исследования по индоевропейским и другим языкам», М., 1967.
4. Абаев В. И., Из иранской ономастики,— «История иранского государства и культуры», М., 1971.
5. Агзамходжаев Т., Тюябугузские наусы,— ИМКУ, вып. 3, Ташкент, 1962.
6. Агзамходжаев Т., Подземные каменные наусы около г. Ангрен,— ИМКУ, вып. 7, Ташкент, 1966.
7. Андреев М. С., Поездка летом 1928 г. в Касанский район (север Ферганы),— «Известия Общества для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами», т. I, Ташкент, 1928.
8. Бартольд В. В., К вопросу об языках согдийском и тохарском,— «Иран», I, Л., 1927.
9. Бартольд В. В., Фергана,— Соч., т. III, М., 1965.
10. Бартольд В. В., К вопросу об оссуариях Туркестанского края,— Соч., IV, М., 1966.
11. Бернштам А. Н., Беркаринская пряжка (О скифской традиции в сарматском искусстве),— КСИИМК, вып. XVII, М. — Л., 1947.
12. Бернштам А. Н., Древняя Фергана, Ташкент, 1951.
13. Бернштам А. Н., Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая, — МИА, 1952, № 26.
14. Бернштам А. Н., Древнетюркские рунические надписи из Ферганы,— ЭВ, XI, 1956.
15. Бичурин Н. Я. (Иакинф), Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Редакция текста, вступительные статьи и комментарии А. Н. Бернштама и Н. В. Кюнера, М.— Л., тт. I—III, 1950—1953.
16. Борисов А. Я., О значении слова «наус»,— ТОВЭ, III, Л., 1940.
17. Боровков А. К., Таджикско-узбекское двуязычие и вопрос о взаимовлиянии таджикского и узбекского языков,— «Ученые записки ИВАН СССР», т. IV, М., 1952.
18. Булатова В. А., Руническая надпись на хуме из Ферганы,— ОНУ, 1965, № 8.
19. «Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР», М., 1969.
20. Виницков Я. Р., Современное расселение народов и этнографических групп в Ферганской долине,— «Труды Института этнографии АН СССР», нов. сер., т. XVII, М., 1959.
21. Вяткин В. Л., Каршинский округ, организация в нем войска и события в период 1215—1217 (1800—1803) годов,— «Известия Средне-Азиатского отдела РГО», т. XVII, Ташкент, 1928.
22. Гафуров Б. Г., История таджикского народа в кратком изложении, т. I. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г., изд. 3, испр. и доп., М., 1955.
23. Гафуров Б. Г., Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история, М., 1972.
24. Герасимов М. М., Основы восстановления лица по черепу., М., 1949.
25. Гинзбург В. В., Таджики предгорий,— Сб. МАЭ, XII, М. — Л., 1949.
26. Гинзбург В. В., Древнее население Центрального Тянь-Шаня и Алая по антропологическим данным (I тысячелетие до н. э.— I тысячелетие

н. э.),— «Труды Института этнографии АН СССР», нов. серия, т. XXI, М., 1954.
27. Гинзбург В. В., Материалы к антропологии древнего населения Ферганской долины,— Тр. КАЭЭ, М., 1956.
28. Гинзбург В. В., Антропологические материалы из Вуадильского и Ак-Тамского могильников,— КСИИМК, вып. 69, 1957.
29. Гинзбург В. В., Основные вопросы палеоантропологии Средней Азии в связи с изучением этногенеза ее народов,— КСИЭ, вып. XXXI, М., 1959.
30. Гинзбург В. В., Материалы к антропологии древнего населения Южной Киргизии (вторая половина I тыс. до н. э.— первая половина I тыс. н. э.),— «Известия АН КиргССР», сер. общественных наук, т. II, вып. 3, Фрунзе, 1960.
31. Гинзбург В. В., К антропологии населения Ферганской долины в эпоху бронзы (По материалам из Дальверзинского поселения),— МИА, 1962, № 118.
32. Гинзбург В. В., Расовые типы Средней Азии и их формирование в процессе этногенеза ее народов,— «Научные труды ТашГУ», вып. 235. Исторические науки, кн. 39, Ташкент, 1964.
32а. Гинзбург В. В., Трофимова Т. А., Палеоантропология Средней Азии, М., 1972.
33. Горбунова Н. Г., Культура Ферганы в эпоху раннего железа, АКД, Л., 1961.
34. Горбунова Н. Г., Культура Ферганы в эпоху раннего железа,— АС, вып. 5, Л., 1962.
35. Горбунова Н. Г., Новые материалы к истории ферганских поселений,— «Тезисы докладов сессии, посвященной методам научной работы Государственного Эрмитажа за 1963 год», Л., 1964.
36. Грантовский Э. А., Племенное объединение Parçu — Parçava у Панини,— «История и культура древней Индии (к XXVI Международному конгрессу востоковедов)», М., 1963.
37. Григорьев В. В., О скифском народе саках, СПб., 1871.
37а. Григорьев В. В., Восточный или Китайский Туркестан, СПб., 1873.
38. Давидович Е. А., Литвинский Б. А., Археологический очерк Исфаринского района, Сталинабад, 1955.
39. Дебец Г. Ф., Проблемы происхождения киргизского народа в свете антропологических данных,— Тр. КАЭЭ, I, М., 1956.
40. Дройзен И. Г., История эллинизма, пер. с франц. М. Шелгунова, т. 2. История диадохов, М., 1893.
41. Дьяконов И. М., История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н. э., М. — Л., 1956.
42. Задненровский Ю. А., Об этническом составе населения древней Ферганы,— КСИИМК, вып. 61, М., 1956.
43. Задненровский Ю. А., Древнеземледельческая культура Ферганы,— МИА, 1962, № 118.
44. Задненровский Ю. А., Тюркские памятники в Фергане,— СА, 1967, № 1.
45. Зезенкова В. Я., Материалы к палеоантропологии Узбекистана и Туркмении,— «Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии», Ташкент, 1953.
46. Зезенкова В. Я. Предварительный отчет об исследовании краниологического материала из раскопок курганов в Ворухе (1952 г.), — «Труды АН ТаджССР», т. XXXV, Сталинабад, 1955.
47. Иванов В. В., Топоров В. Н., Санскрит, М., 1960.
48. Иностранцев К. А., Туркестанские оссуарии и астоданы,— ЗВОРАО, т. XVIII, СПб., 1907.
49. Иностранцев К. А., О древне-иранских погребальных обычаях и постройках,— ЖМНП нов. сер., XX, № 3, СПб., 1909.
49а. Исмагулов О., Население Казахстана от эпохи бронзы до современности (палеоантропологическое исследование), Алма-Ата, 1970.
50. Кармышева Б. Х., Некоторые данные к этногенезу населения южных и западных районов Узбекистана,— КСИЭ, XXVII, 1957.
51. Кармышева Б. Х., Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков (Историко-этнографические данные),— СЭ, 1960, № 1.
52. Кармышева Б. Х., Этнические и территориальные группы населения северо-восточной части Кашкадарьинской области Узбекской ССР,— КСИЭ, вып. 33, 1960.
53. Кармышева Б. Х., К истории формирования населения южных районов Узбекистана и Таджикистана, М., 1964.
54. Кисляков Н. А., Некоторые материалы по этнографии таджиков верховий Кашка-Дарьи,— «Труды АН ТаджССР», т. CXX, Сталинабад, 1960.
55. Кияткина Т. П., Предварительное определение краниологического материала из могильников в Ворухе,— АРТ, III, Сталинабад, 1956.
56. Кияткина Т. П., О поездке в Ашт в 1957 г. (краниологический материал),— АРТ, V, Сталинабад, 1959.
57. Кияткина Т. П., Формирование антропологического облика населения Таджикистана, М., 1964.
58. Кияткина Т. П., Формирование антропологического типа таджиков по антропологическим данным, АКД, Душанбе, 1965.
59. Кияткина Т. П., Формирование антропологического типа таджиков по палеоантропологическим данным, канд. дисс., ркп. Института истории им. А. Дониша, Душанбе, 1966.
60. Кляшторный С. Г., Древнетюркская рунический надпись на бронзовом перстне из Ферганы,— АРТ, V, Сталинабад, 1959.
61. Кляшторный С. Г., Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии, М., 1964.
62. «Корпус боспорских надписей», М. — Л., 1965.
63. Кун А., Очерки Шагирсебзского бекства,— «Записки РГО по отделению этнографии», т. VI, СПб., 1880.
64. Лившиц В. А., Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица, М., 1962.
65. Лившиц В. А., [Разделы главы:] Распад первобытнообщинного строя,— «История таджикского народа», т. I, М., 1963.
66. Лившиц В. А., Надписи на фресках из Афрасиаба,— «Тезисы докладов сессии, посвященной истории живописи стран Азии. 15 ноября — 20 ноября 1965 г.», Л., 1965.
67. Лившиц В. А., Cusano — Indica,— «Эллинистический Ближний Восток, Византия и Иран. История и филология. Сб. в честь Н. В. Пигулевской», М., 1967.
68. Лившиц В. А., Письменность дровней Ферганы (?),— НАА, 1968, № 6.
69. Лившиц В. А., Кауфман К. В., Дьяконов И. М., О древней согдийской письменности Бухары,— ВДИ, 1954, № 1.
70. Лившиц В. А., Луконин В. Г., Среднеперсидские и согдийские надписи на серебряных сосудах,— ВДИ, 1964, № 3.
71. Литвинский Б. А., Об изучении в 1955 г. погребальных памятников в Кара-Мазарских горах,— АРТ, III, Сталинабад, 1956.
72. Литвинский Б. А., Среднеазиатский гор-

ный промысел в средние века (IX—XII вв.). Техника,— «Материалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии», М.— Л., 1959.
73. Литвинский Б. А., «Саки, которые за Согдом»,— «Труды АН ТаджССР», т. CXX, Сталинабад, 1960.
74. Литвинский Б. А., Борьба народов Средней Азии против греко-македонских захватчиков,— ИТН, I, М., 1963.
75. Литвинский Б. А., Средняя Азия в составе селевкидского государства,— ИТН, т. I, М., 1963.
76. Литвинский Б. А. [Рец. на:] Ю. А. Заднепровский, Древнеземледельческая культура Ферганы,— СА, 1965, № 4.
77. Литвинский Б. А., Джунский могильник и некоторые аспекты кангюйской проблемы,— СА, 1967, № 2.
78. Литвинский Б. А., Кангюйско-сарматский Фарн (к историко-культурным связям племен Южной России и Средней Азии), Душанбе, 1968.
79. Litvinsky B. A., Sakā Haumavargā в свете советских археологических исследований,— «Festschrift F. Altheim», Bd I, Berlin, 1969.
80. Литвинский Б. А., Древние кочевники «Крыши мира», М., 1972.
81. Литвинский Б. А., Курганы и курумы Западной Ферганы. Раскопки. Погребальный обряд в свете этнографии, М., 1972 (Могильники Западной Ферганы, I).
82. Литвинский Б. А., Керамика из могильников Северного Таджикистана, М., 1973 (Могильники Западной Ферганы, II).
82а. Литвинский Б. А., Украшения из могильников Северного Таджикистана, М., 1973 (Могильники Западной Ферганы, III).
82б. Litvinskij B. A., Das K'ang-chü — sarmatische Farnah (zu den historisch-kulturellen Beziehungen der Stämme Südrusslands und Mittelasiens),— CAJ, XVI, 4, 1972.
83. Литвинский Б. А., Окладников А. П., Ранов В. А., Древности Кайрак-Кумов (Древнейшая история Северного Таджикистана), Душанбе, 1962.
84. Лю Го-цзянь, Рассказ о китайской книге, М., 1957.
85. Мандельштам А. М., О некоторых вопросах сложения таджикской народности в среднеазиатском междуречье,— СА, 1954, № 20.
86. Массон В. М., Древнеземледельческая культура Маргианы,— МИА, № 73, 1959.
87. Миклашевская Н. Н., Антропологический состав киргизского народа, АКД, М., 1955.
88. Миклашевская Н. Н., Результаты палеоантропологических исследований в Киргизии,— Тр. КАЭЭ, т. II, М., 1959.
89. Миклашевская Н. Н., История распространения монголоидного типа на территории Киргизии,— «Научные труды ТашГУ», вып. 235, Ташкент, 1964.
90. Негматов Н., Усрушана в древности и раннем средневековье, Сталинабад, 1957.
91. Немелова Р. Л., Кулябские говоры таджикского языка (северная группа), Сталинабад, 1956.
92. Неразик Е. Е., Предки таджикского народа в IV—V вв. н. э.,— ИТН, т. I, М., 1963.
93. Орапский И. М., Введение в иранскую филологию, М., 1960.
94. Ошанин Л. В., Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов, ч. 1, Ереван, 1957.
95. Ошанин Л. В., Антропологический состав и вопросы этногенеза таджиков и узбекских племен Южного Таджикистана, Сталинабад, 1957.
96. Ошанин Л. В., Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов, ч. 2, Ереван, 1958.
97. Ошанин Л. В., Антропологический состав населения Синьцзяна и этногенез уйгурского народа,— «Труды Института истории АН КиргССР», вып. V, Фрунзе, 1959.
97а. Перевозчиков И. В., Антропологический тип «кепкольцев»,— ВА, 1967, № 25.
98. Перевозчиков И. В., К палеоантропологии населения Алая в сакское время,— ВА, 1970, № 34.
99. Пигулевская Н. В., Византия на путях в Индию. Из истории торговли Византии с Востоком в IV—VI вв., М.— Л., 1951.
100. Писарчик А. К., Кармышева Б. Х., Опыт сплошного этнографического обследования Кулябской области,— ИООН АН ТаджССР, вып. 3, Сталинабад, 1953.
101. Пьянков И. В., «История Персии» Ктесия и среднеазиатские сатрапии Ахеменидов в конце V в. до н. э.,— ВДИ, 1965, № 2.
102. Расторгуева В. С., Среднеперсидский язык, М., 1966.
103. Расторгуева В. С., Бакаев Ч. Х., Исаев М. И., Керимова А. А., Пирейко Л. А.,Типы двуязычия у иранских народов Советского Союза, М., 1964.
104. Рычков Ю. Г., Антропология и генетика изолированных популяций (Древние изоляты Памира), М., 1969.
105. Серебряков И. А., Древнеиндийская культура. Краткий очерк, М., 1963.
106. Ставиский Б. Я., Средняя Азия под властью Ахеменидов (VI—IV вв. до н. э.),— ИТН, I, М., 1963.
107. Сухарева О. А., К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки), Ташкент, 1958.
108. Сухарева О. А., Бухара XIX — начала XX в. (Позднефеодальный город и его население), М., 1966.
109. Толстов С. П., Подъем и крушение империи эллинистического «Дальнего Востока»,— ВДИ, 1940, № 3—4.
110. Толстов С. П., Древний Хорезм, М., 1948.
111. Томсон Дж. О., История древней географии, пер. с англ. Н. И. Скаткина, под ред. А. Б. Дитмара и Д. Г. Редера, М., 1953.
112. Тревер К. В., Согд, Хорезм, Бактрия, Чач и Паркан (Фергана) в архаический период (VI—IV вв. до н. э.),— «История народов Узбекистана», т. I, Ташкент, 1950.
113. Хромова А. Л., О роли экстралингвистических факторов в процессе взаимодействия ягнобского и таджикского языков,— «Язык и общество», М., 1968.
114. Чейлытко В. Р., Местоположение древнего городища Кирополя,— «Коммунист Таджикистана», 4.IX.1940.
115. Эшпиёзов М., Хардури,— «Ученые записки Таджикского государственного университета», т. IV, Сталинабад, 1956.
116. Эшниязов М., Говор Хардури, АКД, Душанбе, 1967.
117. Юсупов К., Языковые взаимоотношения узбекского и таджикского народов (на материале ферганского говора таджикского языка), Ташкент, 1957.
118. Якубовский А. Ю., К вопросу об этногенезе узбекского народа, Ташкент, 1941.
119. Agravala V. S., India as known to Pāṇini, University of Lucknou, 1953.
120. Altheim F., Weltgeschichte Asiens im grie-

chieschen Zeitalter, Bd I—II, Halle (Saale), 1947—1948.
122. Altheim F., Geschichte der Hunnen, Bd I, Berlin, 1959; Bd II, Berlin, 1960.
123. Altheim F., Stiehl R., Die aramäische Sprache unter den Achaimeniden, Lief. II, Frankfurt am Main, 1963.
124. Altheim F., Stiehl R., Geschichte Mittelasiens im Altertum, Berlin, 1970.
125. Bachhofer L., On Greeks and Sakas in India,— JAOS, vol. 61, № 4, Baltimore, 1941.
126. Bailey H. W., To the Zamasp-Namak, I,— BSOS, 1920, vol. VI, pt I; To the Zamasp-Namak, II,— BSOS, 1931, vol. VI, pt. 3.
127. Bailey H. W., Iranian studies,— BSOS, 1932, vol. VI, pt. 4.
128. Bailey H. W., Kusanica,— BSOAS, 1952, vol. XIV, pt 3.
129. Bailey H. W., Analecta Indoscythica I,— JRAS, 1953, October; Analecta Indoscythica II,— JRAS, April 1954.
130. Bailey H. W., Hārahūna,— «Asiatica. Festschrift Fr. Weller. Zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern», Leipzig, 1954.
131. Bartholomae Ch., Altiranisches Wörterbuch, Strassburg, 1904.
132. Bartholomae Ch., Altiranisches Wörterbuch, 2. Unveränderte Aufl., Berlin, 1961.
133. Beal S., Buddhist records of the Western World, vol. I, London, 1906.
134. Benveniste E., La ville de Cyreschata,— JA, t. 234, années 1943—1945, Paris, 1947.
134a. Bernard P., Les mortiers et pilons inscrits de Persépolis, — «Studia Iranica», t. I, fasc. 2, 1971.
135. Bickerman E., The Seleucids and the Achaemenids,— «Accademia Nazionale dei Linzei», anno CCCLXIII, Quaderno № 76, Roma, 1966.
135a. Bowman R. A., Aramaic ritual texts from Persepolis, Chicago, 1970 (OIP, vol. XCI).
136. Burrow T., The Sanskrit language, London, [1955].
136a. Cameron G. G., *-apud* E. F. Schmidt. Persepolis, II, Chicago, 1957 (OIP. LXIX).
136б. Cameron G. G., Persepolis treasure tablets old and new, — JNES, XVII, 1958.
137. Charpentier J., Beiträge zur indoiranischen Etymologie,— «Oriental studies in honour of C. E. Pavry», London, 1933.
138. Chavannes E., Documents sur les Tou-kiue (turks) occidentaux, СПб., 1903.
139. Cunningham A., Coins of the Indo-Scythians,— NC, vol. VIII, London, 1888.
140. Daffinà P., L'immigrazione dei Sakā nella Drangiana, Roma, 1967.
140a. Daffinà P., Chih-chih shan-yü,— RDSO, vol. XLIV, 1969.
141. Dani A. H., Humbach H., Göbl R., Tochi valley inscriptions in the Peshawar Museum,— AP, vol. I, Peshawar, 1964.
142. Eberhard W., Kultur und Siedlung der Randvölker Chinas, Leiden, 1942.
143. Eberhard W., The origin of the commoners in ancient Tunhuang,— «Sinologica», vol. IV, 1955, № 3.
144. Eilers W., Kyros,— «Beiträge zur Namenforschung», Bd XV, Hft. 2, Heidelberg, 1964.
145. Enoki K., On the nationality of the Ephthalites,— MRDTB, Tokyo, 1959, № 18.
146. Fuchs W., Huei-ch'ao's Pilgerreise durch Nordwest-Indien und Zentral-Asien um 726,— SPAW, Jahrg. 1938. Philosophisch-historische Klasse, Berlin, 1938.
147. Gabain A., Inhalt und magische Bedeutung der alttürkischen Inschriften,— «Anthropos», Bd 48, 1953.
148. Gardner P., The coins of the Greek and Scythic kings of Bactria and India in the British Museum, London, 1886.
149. Geiger W., Ostīranische Kultur im Altertum, Erlangen, 1882.
150. Gershevitch I., Bactrian inscriptions,— «Indogermanischen Forschungen. Zeitschrift für Indogermanitik und allgemeine Sprachwissenschaft», 72. Bd 1—2. Hft Berlin, 1967.
151. Ghirshman R., Les Chionites-Hephtalites, Le Caire, 1948.
152. Göbl R., Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrian and Indien, Bd I—IV, Wiesbaden, 1967.
153. de Groot J. J. M., Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens, II, Berlin und Leipzig, 1926.
154. Gutschmid A., Geschichte Irans und seiner Nachbarländer von Alexander dem Grossen bis zum Untergang der Arsaciden, Tübingen, 1888.
154a. Hallock R. T., Persepolis fortification tablets, Chicago, 1969 (OIP, vol. XCII).
155. Hansen O., Die Berliner Hephtalitenfragmente,— «La Nouvelle Klio», 1951.
156. Haussig H. W., Die Beschreibung des Tarimbeckens bei Prolemaios,— ZDMG, Bd 109, Hft. 1 (N. F., Bd 34), Wiesbaden, 1959.
157. Henning W. B., The date of the Sogdian ancient letters,— BSOAS, 1948, vol. XII, pt 3—4.
158. Henning W. B., Mitteliranisch,— «Handbuch der Orientalistik», I, 4, 1, Leiden — Köln, 1958.
159. Herrmann A., Sakai,— RE, Zweithe Reihe, Bd 1—2, Stuttgart, 1920.
160. Herzfeld E., Zarathustra,— AMI, Bd I, Hft 2, Berlin, 1929.
161. Herzfeld E., Zoroaster and his world, vol. I—II, Princeton, 1947.
163. Herzfeld E., The Persian empire. Studies in geography and ethnography of the Near East. Ed. from the posthumous papers by G. Walser, Wiesbaden, 1968.
164. Ḥudūd al-'Alam. «The regions of the world». A Persian geography 372. A. H.— 982 A. D. Transl. and explained by V. Minorsky, Oxford, 1937.
164a. Junge P. J., Parikanioi, — RE, Hlbd. XXXVI, letztes Drittel, Stuttgart, 1949.
165. Keith A. B., Classical Sanskrit literature, London, 1923.
166. Kent R. G., Old Persian. Grammar. Texts. Lexicon, New Haven, Connecticut, 1953.
167. Kiepert H., Lehrbuch der alten Geographie, Berlin, 1878.
168. Konow S., Kalawān copper-plate inscription of the year 143,— JRAS, 1932 October.
169. Lassen Ch., Beiträge zur Kunde des indischen Altertums aus dem Mahābhārata. II. Die altindischen Völker,— «Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», Bd II, Göttingen, 1839.
170. Lassen Ch., Indische Altertumskunde, Bd I, Leipzig — London, 1867.
171. Litvinsky B. A., Outline history of Buddhism in Central Asia, Moscow, 1968.
172. Lohuizende Leew I. E., The «Scythian» period. An approach to the history, art, epigraphy and palaeography of North India from the 1-st century B. C. to the 3-rd century A. D., Leiden, 1949.
173. Marquart J., Untersuchungen zur Geschichte von Eran,— «Philologues», Bd 54 (N. F. Bd 8), Göttingen, 1895; Bd 55 (N. F. Bd 9), Göttingen, 1896; Zweites Heft (Schluss) — «Sonderdruck aus dem Philologues», Supplementband X, Hft 1, Leipzig, 1905.

174. Marquart J., Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i, Berlin, 1901.
175. Markwart J., Die Sogdiana des Ptolemaios,— «Orientalia», vol. 15, 1946.
175a. Mayrhofer M., Onamastica Persepolitana, Wien, 1973.
176. Miller K., Weltkarte des Castorius genannt die Peutingerische Tafel, Ravensburg, 1888.
177. Narain A. K., The Indo-Greeks, Oxford, 1962.
177a. Naveh J., Shaked Sh.. Ritual texts or treasury documents?— «Orientalia», vol. 42, fasc. 3, 1973.
178. Nöldeke Th., Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen Chronik des Tabari übersetzt und mit ausfürlichen Erläuterungen und Ergänzungen von Th. Nöldeke, Leiden, 1879.
179. Pulleyblank E. G., Chinese and Indo-Europeans,— JRAS, 1966, pt 1—2.
180. Rapson E. J., The Cambridge history of India, vol. I. Ancient India, Ed. E. J. Rapson, Cambridge, 1922.
181. Rosenfield J. M., The dynastic arts of the Kushans, Berkeley — Los Angeles, 1967.
182. Rostovtzeff M., Syria and the East,— «The Cambridge ancient history», vol. VII, Cambridge, 1928.
183. Ruben W., Einführung in die Indienkunde, Berlin, 1954.
184. Salemann C., Mittelpersisch,— «Grundriss der iranischen Philologie», Bd I, Abt. 1., Strassburg, 1895—1901.
185. Sarre F., Herzfeld E., Iranische Felsreliefs. Aufnahmen und Untersuchungen von Denkmälern aus alt- und mittelpersischer Zeit, Berlin, 1910.
185a. Schmitt R., Medishes und persisches Sprachgut bei Herodot,— ZDMG, Bd 117, Hft 1, 1967.
186. Smith V. A., Catalogue of the coins in the Indian Museum Calcutta including the Cabinet of the Asiatic Society of Bengal, vol. I, Oxford, 1906.
187. Sprengling M., Third century Iran. Sapor and Kartir, Chicago, 1953.
188. [Ptolemy], Geography of Claudius Ptolemy, transl. into English and edited by E. L. Stevenson, New York, 1932.
188a. Ptolemaios, Geographie 6, 9—21. Ostiran und Zentralasien, Teil I. Griechischer Text neu herausgegeben und ins Deutsche übertragen von I. Ronga, Rom, 1971.
189. Tarn W. W., Tarmita,— «The Journal of hellenic studies», vol. LX, 1940, London, 1940 (на обл.— 1941).
190. Tarn W. W., The Greeks in Bactria and India, 2-nd ed., Cambridge, 1951.
191. Tscherikower V., Die hellenistischen Städtegründungen von Alexander dem Grossen bis auf Römerzeit, Leipzig, 1927.
192. Thomas F. W., Sakastana,— JRAS, N S, vol. 38, London, 1906.
193. Thomas F. W., The early population of Loulan-Shan-shan,— «The Journal of the Greater India Society» 1944, vol. XI, № 2.
194. Vasmer M., Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven,— «Die Iranier in Südrussland», Leipzig, 1923.
195. The Vedic age. Gen. ed. R. G. Majumder, London, 1957.
196. Watson B., Records of the Grand historian of China translated from the Shih of Ssu-ma Ch'ien, vol. II. The age of Emperor Wu 140 to circa 100 B. C., New York — London, 1961.
197. Whitehead R. B., Catalogue of coins in the Panjab Museum, Lahore, vol. I, Indo-Greek coins, Oxford, 1914.
198. Wylie A., Notes on the Western Regions. Transl. from the «Tsëën Han Shoo», Book 96, pt 1,— JAIGB, vol. X, London, 1881.
199. Zgusta L., Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Die ethnischen Verhältnisse, namentlich der Verhältniss der Skythen und Sarmaten, im Lichte der Namenforschung, Praha, 1955.

Б. И. Вайнберг, Э. А. Новгородова

ЗАМЕТКИ О ЗНАКАХ И ТАМГАХ МОНГОЛИИ

Важность изучения тамг и знаков, оставленных на скалах, надгробиях и других памятниках, для исследования проблем этнической истории бесспорна. Как известно, при отсутствии письменных свидетельств или крайней скудости их тамги порой могут указать пути расселения или передвижения отдельных этнических групп.

Но, к сожалению, исследование этой интереснейшей категории источников проводится очень неравномерно для разных территорий и эпох. Если тамги и знаки Северного Причерноморья уже долгое время являются предметом пристального внимания ученых, то по соседним территориям, например по Средней Азии, Казахстану и более восточным районам, отсутствуют даже сколько-нибудь полные специальные публикации подобных материалов.

Наиболее поздние монгольские тамги и знаки были изданы фрагментарно Г. Н. Потаниным [42, стр. 4], Б. Ринченом [68], Гочоо [14], Г. Сухебатором [51], Ц. Доржсуреном [16, стр. 17; 17], Н. Поуха [67], Йислом Л. и Сэр-Оджавом Н. [61].

В основу данной статьи положены новые материалы из Монголии, полученные в результате работ Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции АН СССР и АН МНР, проводившихся в последние годы.

Отрядом по изучению ранних кочевников собрана большая информация, и прежде всего по оленным камням и петроглифам Монголии. Среди последних наше внимание привлекли новые изображения знаков и тамг различных эпох. Детальное изучение этого собрания только начато, но уже сейчас авторам настоящей статьи хочется обратить внимание читателя на некоторые группы знаков, так как анализ их, как нам представляется, позволяет сделать интересные исторические выводы.

Тамги, издавна широко применявшиеся в Монголии — стране древнего скотоводства — как знаки собственности, известны и распространены там вплоть до настоящего времени [1].

Монгольские тамги повторяют формы орудий, оружия, предметов повседневного быта, передают начертания древнетюркских, старомонгольских, тибетских и китайских письменных знаков и иероглифов и сохраняют до настоящего времени наименования этих предметов или букв.

I. *К вопросу о некоторых знаках и символах на оленных камнях*

Хотя общий принцип образования тамг не вызывает сомнений, однако далеко не всегда удается установить название и смысловое значение знака или тамги, а о древнейших из них почти невозможно говорить с уверенностью, хотя известно, что родовые знаки возникли еще в эпоху бронзы. Поэтому мы избрали как один из объектов изучения наиболее древние из известных нам знаков и символов, поддающихся датировке [2], а именно изображения на оленных камнях.

Вторая причина, привлекшая наше внимание к оленным камням, — это смешение черт

[1] О происхождении самого слова «тамга» в современной монгольской литературе высказано несколько суждений. По мнению Гочоо [14], термин этот маньчжурского происхождения. Г. Сухебатор считает слово «тамга» монгольским, так как подобного корня нет ни в китайском, ни в тибетском языках. В тюркских же языках слово «тамга», очевидно, является заимствованием из монгольского [6; 18, стр. 530; 39].

[2] Проблема датировки оленных камней — специальная тема. Существует несколько точек зрения [15; 12; 38]. Мы присоединяемся к мнению В. В. Волкова о том, что оленные камни бытовали в Центральной Азии в течение нескольких столетий и наиболее древними можно считать стелы со стилизованными оленями. Нам кажется, что анализ кинжалов, ножей и чеканов карасукского типа на отдельных камнях позволяет датировать их концом карасукской эпохи, т. е. первой четвертью I тысячелетия до н. э.

реалистического и символического методов воспроизведения предметов и образов. Едва ли не все изображения на оленных камнях несут двойную нагрузку. Это можно сказать и о реалистически переданных куланах — небесных конях, высеченных чаще всего в верхней части камня рядом с серьгой — солнцем (см. ниже), и о хищниках, пожирающих травоядных, и о стилизованных оленях с вытянутыми, наподобие клюва, птичьими мордами. Животные эти, будь то аппликация на одежде или татуировка, аналогичная пазырыкской, символизируют почтительно ритуальное отношение к оленю как тотему рода [54].

Что же касается предметов, изображенных на оленных камнях, часто неизвестных по находкам в погребениях и широко представленных здесь впервые (в этом смысле каменные стелы единственны и уникальны как источник по быту истории и военному делу населения скифской эпохи Центральной Азии), они представляют большой интерес еще и потому, что чаще всего показаны столь условно-схематично, что могут быть рассматриваемы не только и не столько как детали вооружения или как украшения. В них в то же время заложено и символическое (религиозное или мистическое) значение. Несмотря на определенный реализм, расшифровка таких знаков требует специального исследования. Тем более затруднительно прочтение аналогичных знаков на более поздних памятниках — на петроглифах, где они чаще всего показаны изолированно, без контекста. Вот почему кажется полезным анализ отдельных знаков, регулярно встречающихся на каменных изваяниях, как переходного момента между рисунком и символом, как ступени от символа к тамге.

Оленные камни являются одним из самых ярких памятников древности в Монголии. Эти монументальные скульптуры из гранита, мрамора или базальта представляют собой четырехгранные столбы высотой до 4—5 *м*, поверхность которых сплошь покрыта высеченным рисунком. Территория, на которой зафиксированы эти скульптуры, простирается от Алтая [55, стр. 4] до Забайкалья [49, 15]. Северная граница может быть отмечена в Туве [21; 27, стр. 24—33] и южная — в Гоби [12, стр. 69]. Наибольшая концентрация этих стел отмечена в Северной и Западной Монголии, где нами исследовано более 400 памятников [34].

Преобладающий на оленных камнях мотив — фигуры оленей в летящем галопе с подогнутыми ногами [12; 54][3]. Олени, как правило, опоясывают среднюю часть камня. На нижней, обычно скрытой под землей части памятника высечены пояс с геометрическими орнаментами и висящие на нем предметы вооружения [11: 12]: кинжалы, ножи, крючки, боевые топоры, секиры и чеканы, колчаны. Выше пояса выбиты лук со стрелой, «решетка», часто именуемая предметом непонятного назначения, и большой диск. Иногда он имеет желобок по краю (например, на камне № 43[4] из Хубсугульского аймака, Цагаан-уул сомона). Исследователи называют его зеркалом, что подтверждается изображением на оленном камне, где диск имеет ручку, как у бронзовых зеркал, найденных В. В. Волковым при раскопках улангельского могильника (V — III вв. до н. э.).

Что касается пятиугольной «решетки», Э. А. Новгородовой уже высказано предположение по поводу назначения этого предмета[5]. Его изображают на спине воина, над самым поясом. Фигура заштрихована елочным орнаментом или ромбами, подобно рисунку на щите из пазырыкского кургана. Сходство по форме со щитами (на ханьских рельефах, танских изображениях и т. д.) также приводит к мысли о защитном вооружении. Очевидно, решетчатые предметы изображают щиты. Отсутствие их в погребениях объясняется плохой сохранностью материала, из которого их делали (кожа и дерево). А расположение рядом с луком и колчаном еще раз подтверждает, что это щит.

Другой знак, постоянно встречающийся на оленных камнях, расположен в головной верхней части камня. Он имеет немало вариантов, хотя неизменными его компонентами остаются круги и комбинации из них (см. рис. 6, табл. I, № 1 — 28); иногда круги сопровождаются маленькими кружками, порою в центре круга выбита точка, реже — свастика. Некоторые круги изображают солнце, иные же имеют длинные «ручки» с утолщением посредине и свисающими, как ленты, двумя концами. В. В. Волков первоначально называл эти круги солнечным диском [12, стр. 76], Н. Л. Членова высказала предположение, что это серьги [54, стр. 32], А. П. Окладников пишет о них

[3] Значительно реже изображены стоящие олени на вытянутых прямых ногах или кабаны, лоси, быки, кони, куланы, ослы, киянги, дрофы, а также хищники — рыси, барсы, тигры, пантеры, волки и т. д.

[4] Здесь и далее принята нумерация оленных камней в том порядке, как они зафиксированы в наших полевых дневниках, так как под этими номерами они уже упоминались в предыдущих публикациях.

[5] Изображение это неизменно встречается на всех оленных камнях. Характерно, что эта деталь (наряду с луком) одна из немногих не меняет своего облика. Щит сохраняет единую форму на разных типах стел и в различных частях страны. Описание и классификация щитов даны в статье Э. А. Новгородовой «К вопросу о древнем центральноазиатском защитном вооружении», —сб. «Соотношение древних культур Сибири с культурами сопредельных территорий», Новосибирск, 1975.

как о бронзовых зеркалах с ручкой и сравнивает с находкой из Пазырыкского кургана [38, стр. 215]. В более поздних своих публикациях, дискутируя с Н. Л. Членовой, этот автор пишет, что диски с ручкой не следует отождествлять с серьгами, ибо на иволгинском камне «такая „серьга“ вырастает из рогов оленя, а рукоять ее имеет форму, характерную для ручек зеркал, а не для подвески, свисающей с тюркских серег» [38, стр. 214]. И далее вслед за В. В. Волковым [12, стр. 76] А. П. Окладников указывает, что круги эти расположены на широкой и, следовательно, лицевой части памятника, а потому не могут быть серьгами.

Раскопки последних лет В. В. Волкова и открытый им (совместно с Э. А. Новгородовой) комплекс оленных камней в Ушкийн Увере Хубсугульского аймака, недалеко от города Мурена [34], а также раскопки в Агрын-бригаде (см. рис. 4) убедительно показали, что оленный камень изображает фигуру человека. На камне № 23 из Ушкийн Увера и на камне № 13 из Агрын-бригады не только прекрасно переданы скульптурные лица людей, но также показаны и серьги: в одном случае в виде большого кольца, висящего в скульптурно вылепленном в камне ухе, в другом — кольца с «ручкой». Оно также продето сквозь рельефно выступающее ухо. Характерно, что во всех случаях, когда удается определить «лицевую» часть стелы [6], это всегда узкая сторона камня, широкие же грани передают боковые стороны скульптуры. На них-то и бывают высечены кольца, висящие в ушах. Как видим, довод А. П. Окладникова о широкой лицевой стороне камня опровергнут открытиями последних лет.

Что же касается семантики рассматриваемого знака, надо думать, что в равной степени правы и В. В. Волков, и Н. Л. Членова, и А. П. Окладников. Изображенные на боковых сторонах памятника круги, бесспорно, были серьгами. Но серьги эти могли быть символом солнца (круг с лучами и треугольниками, табл. I, № 14), или священной птицы (табл. I, № 9), или вечности и бесконечности в виде свастики (табл. I, № 12), или любого родового тотема.

Рассматриваемый знак встречается не только на оленных камнях. Он неоднократно отмечен нами и среди петроглифов, например в местности Бурхантын газар Архангайского аймака. Иногда он выбит рядом с оленями, выполненными в типичной для оленных камней манере, и это определяет его дату. Встречаются варианты этого знака и среди тамг более позднего времени, и рядом с древнетюркскими надписями.

Очевидно, дальнейшее изучение и картографирование всех знаков и тамг этого типа позволит более уверенно судить об их семантике. Но уже и сейчас можно предполагать, что круги и знаки, изображаемые в головной части оленных камней, были не просто серьгами. Они служили символическим выражением этнической или родовой принадлежности того конкретного лица, кому ставился этот памятник. Следовательно, не исключено, что более поздние монгольские тамги этого типа могут быть выводимы генетически от знаков на оленных камнях.

Еще один загадочный знак на рассматриваемых памятниках — крючкообразный предмет, всегда висящий на поясе. Позднее подобный знак широко распространяется как тамга на евразийской территории [7] [4, стр. 182]. Знак этот столь часто встречается на каменных стелах Монголии и Забайкалья, что, надо полагать, он был одним из немногих необходимых аксессуаров мужчины того времени. Он изображен висящим на поясе рядом с ножом, точилом и кинжалом. Ни разу не показано никаких предметов, висящих на нем. Когда на камне бывает высечен колчан, то он, как правило, висит отдельно на поясе рядом с крючком. Очевидно, этот знак не был просто крючком для подвешивания и имел свою специальную функцию.

Подобный предмет был найден однажды в плиточной могиле Забайкалья [49]. Напоминает он также позднекарасукские, иньские и тагарские «предметы неизвестного назначения», о которых уже много лет ведется дискуссия в литературе [32, стр. 121—124, рис. 40].

Эти аналоги позволяют с большой долей гипотетичности предположить одинаковое назначение предметов, изображенных на оленных камнях и найденных в карасукских и иньских погребениях.

Выводы о публикуемых выше знаках на оленных камнях ни в коем случае не следует считать окончательными. Мы лишь стремились привлечь внимание исследователей к тем вопросам, решение которых, очевидно, станет возможным после проведения широких археологических и этнографических работ.

Пытаясь выявить наиболее ранние из датированных знаков и символов, мы возвращаемся к вопросу об их назначении и подчеркиваем факт их существования в Монголии в раннескифское (а быть может, и в предскифское) время. Положение это кажется интересным в свете тех проблем, которые возникают при анализе знаков и тамг последующих эпох и осо-

[6] «Лицо» иногда бывает передано двумя или тремя косыми линиями.

[7] Мы не хотим здесь ставить и решать вопрос о закономерности или случайности этого совпадения.

бенно послескифского времени, заполняющего мало исследованную в этом отношении хронологическую лакуну между культурой оленных камней и древнетюркским временем, тамги которого выделяются и локализуются более четко, чем все предшествующие.

II. *Монгольско-среднеазиатско-сарматские параллели*

Большой интерес представляют тамги, изображенные на скалах района Цаган-гола (Гобиалтайский аймак МНР).

В глубоком узком ущелье Монгольского Алтая течет изредка пересыхающая горная река Цаган-гол. В глубине ущелья, в 10 *км* от его начала, вдоль берега реки, возвышается скала. Черные выходы скал по подножию горы покрыты выбитыми рисунками. Бо́льшая часть рисунков расположена компактно у самого мыса скалы, среди них большой интерес представляют изображения колесниц и сложные композиции [8].

На западной стороне мыса на камне, отвесно нависшем над рекой, рисунки высечены в разное время. Наиболее древние из них — копи с пустыми невыбитыми «животами». Несколько светлее, но не самые светлые — тамгообразные знаки, напоминающие человека с луком. Тот же цвет имеют рисунки человека с копьем и длинным поясом. Значительно светлее выглядят тамги. Они заполняют все свободное пространство на этом и соседнем камнях. Лошади изображены иногда с длинной гривой, иногда напоминают таштыкские миниатюры.

Люди изображены с луками и невооруженные, с воздетыми к небу руками, в головных уборах в виде бараньих рогов, а также в длинных платьях с бахромой внизу по подолу.

Следует отметить, что заведомо тюркские тамги в Цаган-голе как будто бы отсутствуют (мы имеем в виду исследуемые комплексы Цаган-гола). Основная группа тамг (рис. 5, А, Б, В, Г) может быть по ряду признаков начертания (наличию среднего круга и ответвлений — «усов» — от него, трехчленному построению) отнесена к одной группе близких по построению и, возможно, происхождению тамг. Особенно наглядным это становится при сравнении цагангольских тамг и специфической группы тамг Средней Азии и Северного Причерноморья (рис. 7, табл. II).

Изучение тамг этой серии на монетах правителей Средней Азии привело нас к выводу, что тамги правителей Хорезма и Согда (Самарканда и Бухары) принадлежат к одной группе, резко отличной от тамг кушанской и эфталитско-хионитской групп, а также от тамг туранско-кангюйской группы (районы Сырдарьи) [8, стр. 129—154].

Неоднократно обращалось внимание на типологическую близость тамг правителей Согда, Бухары и Хорезма [53, стр. 184—185, 147, 259 и сл.], что сопоставлялось с традицией, сохранившейся поздними китайскими хрониками об их общем происхождении от «дома Юечжи» Чжаову.

Анализ тамг на монетах Хорезма, Бухары и Самарканда, предпринятый нами в связи с выяснением вопроса о происхождении династии Хорезма [9], подтвердил общность их происхождения, восходящего ко II—I вв. до н. э. (даты первых монет с тамгами в Хорезме и Бухаре, рис. 7, табл. II, 1—2) и связанного с кочевыми племенами, принимавшими участие в разгроме Греко-Бактрии, но отличными от кушан [9]. Несмотря на то что большинство исследователей [53, стр. 184 и сл., там же литература вопроса] отмечали сходство наиболее распространенной хорезмской тамги с кушанскими, хорезмийские тамги, как и согдийские, резко отличаются от кушанских не только по форме, но и, что нам представляется наиболее важным, по принципу построения и изменения тамг: у кушан тамга изменяется при переходе от царя к царю и даже в пределах правления одного царя, в хорезмийских и согдийских тамгах постоянного изменения формы тамги во времени не наблюдается, смена их происходит через значительные промежутки времени и сопровождается, как правило, и другими изменениями в монетном типе, часто находящими себе объяснение лишь в перемене правящих группировок. Для них же характерно «трехчленное» построение (см. ниже). Поэтому если нумизматика, с одной стороны, подтверждает сведения китайских информаторов о правлении кочевых династий общего происхождения («юечжи Чжаову») [10] в ряде областей Средней Азии со II в. до н. э. или несколько позже, то восточнотуркестанское происхождение племен, выдвинувших ди-

[8] Первым исследователем, открывшим и описавшим этот памятник, был Ц. Доржсурен, издавший схематические рисунки и обративший внимание на цагангольские повозки [16]. Затем детальное изучение и фиксацию петроглифов Цаган-гола произвели В. В. Волков и Э. А. Новгородова в 1970—73 гг. [13].

[9] Это подтверждает сведения китайской традиции независимо от того, правомочно или нет наименование этой группы племен «юечжи дома Чжаову». Само содержание названия для нас не имеет значения, поэтому мы не останавливаемся здесь на его анализе.

[10] Для краткости обозначения этой группы племен, с которой связываются анализируемые тамги, мы оставляем пока чисто условно за ней название «юечжи дома Чжаову», или «юечжи Чжаову», правильнее в будущем (если наши доводы представятся достаточно убедительными) называть ее сарматской.

настии, требует уточнения; основанием для этого могло послужить обозначение этих кочевников по сходству с кушанами и в связи с их соучастием в разгроме Греко-Бактрии как юечжи. На наш взгляд [см. 8, стр. 129—154], в источниках нет данных, позволяющих ставить знак равенства между «юечжи Чжаову» и кушанами («большие юечжи»). Не подтверждает это и анализ тамг правителей. Поэтому происхождение династий Самарканда, Бухары и Хорезма от «юечжи дома Чжаову» не означает их кушанского происхождения. Исходя же из имеющихся в нашем распоряжении материалов, мы можем высказать предположение о том, что на территории Согда во II—I вв. до н.э. возникли политические объединения, возглавляемые кочевыми владетелями, принадлежащими к иному юечжийскому «дому» (роду, семье), чем кушаны. Их власть не позже начала I в. до н. э. распространилась и на Хорезм, следствием чего явилось появление хорезмийской монетного чекана в подражание тетрадрахмам Евкратида. Возможно, именно существование этих юечжийских владений ограничивало на юге власть Кангюя и препятствовало продвижению власти кушанского дома на север (к северу от Бактрии). Часто встречающееся в литературе мнение о том, что в I в. до н. э. — на рубеже эр — Кангюй распространял свою власть на Согд [30, стр. 64, 205; 65, стр. 134; 19, стр. 345; 23, стр. 16 и сл.], основано на смешении поздними китайскими хрониками представлений о Кане (Согде) и Кангюе. Китайские хроники и античные источники упоминают различные племена, принимавшие участие в низвержении Греко-Бактрии, существует обширная литература, посвященная выяснению соответствий имен кочевых племен в этих двух группах источников [64, стр. 204—210; 70, стр. 284—288, 292—297; 66, стр. 131; 63, стр. 43—50, 53, стр. 242—247; 52, стр. 139—141]. В широкое движение кочевых племен во II в. до н. э. были вовлечены различные племенные группы. Поэтому задачей будущего является также выяснение этнической принадлежности той группы этих племен, которая получила в китайских хрониках название «юечжи дома Чжаову». Но некоторые соображения по этому поводу можно высказать уже сейчас.

В археологической литературе по Средней Азии в последние годы довольно часто высказывалось мнение о сарматском (или, осторожнее, северном) происхождении части кочевых племен, принимавших участие в разгроме Греко-Бактрии [35; 26, стр. 159—162]. Как представляется, можно привлечь материал по тамгам для подтверждения этого тезиса (см. табл. II). Если прямые совпадения царских тамг на монетах Хорезма и Согда и сарматских знаков Северного Причерноморья, казалось бы, не так часты и встречаются на ограниченном числе памятников [49, № 38, 42, 43, 47, 57, 58; табл. II], то число знаков, представляющих собой отдельные элементы подобного рода знаков или варианты их, уже довольно значительно [49, № 18, 23, 41—43, 44, 47, 52, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 70 и др.]. К числу тамг этой группы, вне всякого сомнения, относятся три варианта тамг, представленных на монетах, известных по кладу из городища Дальверзин Ташкентского оазиса, и отдельные экземпляры в коллекциях среднеазиатских музеев (табл. II, тип V; 53, 184; 28, 7—8; 31, 80). Один из вариантов этой тамги встречен на серебряном блюде с изображением охотящегося на кабанов кушаншаха — сасанидского царевича, правившего на востоке «Кушанским царством» [45, табл. XXV, 53; 22, № 38 и 50; 59, стр 170]. Блюдо датируется IV в., на нем имеется согдийская надпись, содержащая, по мнению ее исследователей, группу знаков, которую можно истолковать как писбу, происходящую от древнего названия Ташкентского оазиса — Чач [22, стр. 170—171]. Вероятно, в III—IV вв. в Чаче у власти стояла династия, происходящая из «дома Чжаову». Знаки, близкие к тамгам чачской династии III—IV вв., встречены в Казахстане [табл. II; 32; 49, стр. 18—19].

Следует отметить, что для исследуемой группы тамг обнаруживается любопытная особенность: все они, как правило, имеют три разновидности тамги одного типа (см. табл. II, а, б, в), различающиеся разным количеством или расположением верхних или нижних ответвлений — «усов», отходящих от основного круга. Изучение всей серии тамг на монетах древнего Хорезма, чеканившихся в период от конца II в. до н. э. или рубежа II—I вв. до н. э. до начала IX в. н. э., показало, что тамги с разным поворотом «усов» принадлежали скорее всего разным ответвлениям (семьям, родам?) правящей династии. Переход власти от одной группы к другой сопровождался чеканом с тамгой, имеющей два «уса» и как бы графически знаменующей объединение обеих «ветвей» династии. Подобное явление дважды отмечено в чекане Хорезма (в I и IV вв. н. э.), при этом один раз правитель, чеканивший монету с тамгой объединенного типа (табл. II, 8), на последующих выпусках ставит уже только свою тамгу (табл. II, 9). Три разновидности знаков выделяемой группы можно проследить довольно четко (табл. II). Следует лишь отметить что иногда в одном районе встречаются не все разновидности одного типа, но тогда они известны, как правило, из другого района. Можно высказать предположение, что три разновидности тамг каждого типа, одна из кото-

рых объединяет две другие, различающиеся, в свою очередь, лишь зеркальным изображением одной детали — «уса», могут отражать пережитки дуальной родо-племенной организации, где вариант *б* — объединяющая тамга — был изначально общеплеменным знаком, а варианты *а* и *в* — знаками двух фратрий.

Материалы из Цаган-гола позволяют нам по-новому поставить вопрос о происхождении той группы племен, которую мы условно именуем «юечжи дома Чжаову», и связи их со Средней Азией и сарматским миром.

В материалах из Юго-Западной Монголии мы, бесспорно, имеем тамги той же группы, что представлены на монетах Хорезма и Согда (см. табл. II), об этом говорит как наличие полностью тождественных знаков (тип IV, б, № 27, 28), так и ряда знаков (табл. II), близких тем, что известны среди среднеазиатских и сарматских памятников (см. табл. II и описание к ней). Кроме того, в цагангольских материалах есть знаки явно того же круга, которые можно рассматривать как производные от более простых тамг этой группы (табл. II, № 43—45, 51—53, 59). В табл. II для сравнения нами приведены кроме цагангольских знаков некоторые современные тамги из Монголии (№ 36, 37, 50), явно продолжающие древние традиции.

Как бы ни решался вопрос о точной хронологии тамг из Цаган-гола, у нас нет оснований относить их к тюркскому или более позднему времени. Это можно обосновать. Отмеченное выше сходство тамг Юго-Западной Монголии, Средней Азии и Северного Причерноморья вряд ли можно признать случайным, оно, несомненно, отражает родство племен (родов), их оставивших, а также, вероятно, и путь их расселения (передвижения).

В Северном Причерноморье знаки рассматриваемой нами серии называют *сарматскими*, так как они появляются там в связи с периодом усиленной сарматизации, когда у царей Боспора появляются имена Савромат и пр. На памятниках и предметах сарматской культуры подобные знаки появляются уже в III—I вв. до н. э. [49, стр. 17]. В Средней Азии первые тамги рассматриваемого круга (табл. II, 1—2, 7) появляются на монетах, чеканенных в подражание тетрадрахмам греко-бактрийских правителей Евтидема и Евкратида, которые датируются не позже I в. до н. э. [7, стр. 125—132].

Исторические источники не засвидетельствовали для конца I тысячелетия до н. э. и первых веков н. э. продвижения сколько-нибудь значительной группы племен из Северного Причерноморья через Среднюю Азию и Казахстан на восток. Нет таких данных и для расселения их из Средней Азии. Наоборот, античные источники, как и археология [46, стр. 210 и сл.], свидетельствуют о продвижении в последние века I тысячелетия до н. э. сарматских племен из Заволжья в Северное Причерноморье.

В Средней Азии есть все основания связывать появление тамг на монетах II—I вв. до н. э. с приходом сюда скотоводческих (кочевых) иранских племен в эпоху падения Греко-Бактрийского царства. По данным письменных источников (сводку их см. [19, стр. 341 и сл.; 30, стр. 131 и сл.]), в Средней Азии эти племена появились либо с востока, либо с севера (чаще всего из районов за Сырдарьей).

Таким образом, можно прийти к выводу, что тамги группы «юечжи дома Чжаову» (еще раз отметим, что мы условно сохраняем за ними это название), встреченные в Юго-Западной Монголии, Средней Азии, Центральном Казахстане и Северном Причерноморье, показывают путь продвижения группы кочевых племен от Монгольского Алтая и Джунгарии через Казахстан и Среднюю Азию в Восточную Европу.

Было бы очень заманчиво связать это продвижение племен с широким распространением в последние века до н. э. и особенно первые века н. э. в Средней Азии и сарматских районах курганных захоронений в подбоях с южной ориентировкой погребенного [11] (это районы Западной Ферганы, Согда, Хорезма, Северного Прикаспия и далее на запад [см. 2, стр. 17; 3, стр. 44 и сл.; 36, стр. 119; 37, стр. 181—187; 24, стр. 156 и сл.; 10; 44, стр. 73 и др.]).

Принадлежность сарматов, как и древних правителей Хорезма, Бухары и Согда, к иранской группе племен не оставляет сомнения в том, что племена группы «юечжи дома Чжаову» были иранскими. Цагангольский комплекс тамг, как уже отмечалось, выделяется среди известных материалов из Монголии. Он позволяет выдвинуть очень интересное для истории не только западных районов, но и самой Монголии предположение о наличии в ее юго-западных районах во второй половине I тысячелетия до н. э. группы иранских племен. Факт этот не должен вызывать удивления, так как анализ языков тохарского и сакско-хотанского, письменные памятники которых найдены в Восточном Туркестане, привел исследователей к выводу, что они связаны по своему происхождению с восточноевропейским ареалом индоевропейских языков, от которых отделились до V в. до н. э. [1, стр. 136—140].

---

[11] Напомним, что в курганных могильниках Южного Таджикистана, связываемых с племенами «кушанского» круга, двигающимися на юг в Индию, захоронения совершались тоже в подбоях, но ориентировка погребений — северная [26, стр. 80—87, 161—162].

«Большие юечжи» были тоже значительным иранским этническим массивом, располагавшимся в III в. до н. э. в Северо-Западном Китае.

В материалах, известных из районов к югу от Средней Азии, тамги интересующего нас круга встречены лишь в единичных случаях в монетном чекане правителей, происхождение которых от кочевников, пришедших из Средней Азии, вряд ли может подвергаться сомнению. Вариант тамги правителей Бухары встречается на монетах сакских царей Матхуры [60, стр. 29]; согдийско-самаркандского типа тамга (табл. II, 15) известна в хионитском чекане [8; 58, S 2). Менее определенно можно говорить о тамгах типа VIII (табл. II), но наличие тамги этого типа (VIII в.) на керамическом фрагменте из раскопок Кой-Крылганкалы в Хорезме, памятника, существовавшего с IV в. до н. э. до IV в. н. э. [20, табл. XXXIV, 52], явно указывает на более раннее появление этих тамг в Средней Азии, чем в чекане раннесредневековых правителей районов к югу от Гиндукуша [58, IV, табл. 17, № 104 и 61; 58, I, стр. 138, 165—166, 179, 184—185; 58, II, стр. 50].

В материалах из Монголии (преимущественно из того же юго-западного района) встречены и другие тамги, тождественные или близкие сарматским знакам Северного Причерноморья (см. рис. 8, табл. III). Этот факт, как нам представляется, подтверждает вывод о продвижении группы иранских кочевых племен в последней трети — конце I тысячелетия до н. э. из Монголии (скорее всего района Монгольского Алтая) через казахстанские степи и, вероятно, Среднюю Азию в степные районы Восточной Европы. Отсутствие других археологических материалов из Западной Монголии [12] не дает возможности детально обосновать это положение.

Интересно отметить, что, согласно исследованиям географов, районы, примыкающие с запада к Монгольскому Алтаю (Джунгария), по физико-географическим особенностям составляют единую зону с казахстанскими степями. Среди пустынной зоны Азии выделяется Джунгаро-Казахстанская область, простирающаяся от предгорий Алтая до Северного Прикаспия [40, стр. 15 и сл., там же литература]. Эта физико-географическая область по ряду существенных для хозяйства скотоводов признаков резко отличается от расположенной восточнее и южнее ее Центрально-Азиатской области пустынной зоны. На климат (и его увлажнение в первую очередь) здесь воздействуют разные по направлению ветры (циклоны североатлантического происхождения и восточнокитайский муссон), отличается в связи с этим и вегетационный цикл кормовых трав. Несомненно, что переселение скотоводов из одной физико-географической зоны в другую было сопряжено с большими сложностями, так как влекло, по существу, перестройку всего годового цикла хозяйства. Передвижение же в пределах одной зоны, безусловно, не наносило столь заметного ущерба хозяйству скотоводов. Не этим ли обстоятельством объясняются и пути передвижения тех групп иранских племен кочевников-скотоводов, о которых говорилось выше? Ведь по тамгам как будто бы засвидетельствовано продвижение их от самых восточных пределов Джунгаро-Казахстанской зоны пустынь — Монгольского Алтая — до самых западных — Северного Прикаспия — и далее в степи Восточной Европы и Причерноморья.

Возможно, что именно комплекс физико-географических особенностей и в связи с этим уклад хозяйства определили пути продвижения другой группы иранских скотоводческих племен—«Больших юечжи» — кушан — из района их первоначального обитания (между Дуньхуаном и горами Наньшань, согласно китайским источникам [5, стр. 151]), расположенного на границе двух пустынных зон — Центрально-Азиатской и Тибетской, именно в район древней Бактрии. Это не исключает, конечно, продвижения некоторой части кочевников из одного района в другой, что и произошло, очевидно, тогда, когда часть северной волны кочевников (условно назовем ее сарматской) осела в оазисах Средней Азии или на их окраинах и дала правящие династии Хорезму, Бухаре и Самарканду.

[12] В районе Монгольского Алтая известны курганные могильники, но они не подвергались раскопкам.

ОПИСАНИЕ К ТАБЛИЦАМ

ТАБЛИЦА II

I—VIII — типы тамг;
а, б, в — разновидности одного типа;
№ 1 — монета, чеканенная в подражание тетрадрахмам Евкратида. Предположительно чекан хорезмийской династии [7; 31; 29, стр. 167—168];
№ 2 а — монеты, чеканенные в подражание тетрадрахмам Евтидема Бухара — см. [29, 169];
б — Хорезм. Чекан царя Артава, не позднее начала III в. н. э. (не опубликован);
в — тамга на сосуде, найденном в Зауралье [43, стр. 193—196];
№ 3 [1]— № 37, 38;

[1] Для всех знаков из Северного Причерноморья дается номер из сводной таблицы в книге Э. И. Соломоник [49].

№ 4 — № 215;
№ 5 — № 78;
№ 6 — Цаган-гол;
№ 7 — Хорезм. Чекан безымянного царя. Не позднее начала I в. до н. э. [7, 125 и сл.];
№ 8 — Хорезм. Монеты I и IV вв. н. э.;
№ 9 — основной тип тамги в чекане царей Хорезма, известен с I до IX в. н. э.;
№ 10 — № 75;
№ 11 — № 216;
№ 12, 14, 23 — варианты тамги на монетах правителей самаркандского Согда (VII—VIII вв.) [47; 48];
№ 13, 22 — тамга правителей Бухары. Известна от III—IV до VIII в. н. э. по разным типам монетного чекана [56, стр. 212—222; 47, стр. 260—261];
№ 15 — чекан хионитов. S2 по Гёблю (см. в тексте);
№ 16 — знак на сосуде, найденном в слое Ак-тобе 2 (Чардара) на правобережье Сырдарьи к западу от Ташкента. Памятник датируется I — началом IV в. н. э. [25, 61, рис. 26, 1];
№ 17 — № 109;
№ 18 — № 85;
№ 19 — Цаган-гол [16, № 12, на рис. 6];
№ 20 — Цаган-гол [см. также 16, № 21, на рис. 6];
№ 21 — Цаган-гол;
№ 24 — чекан сакских правителей Матхуры (см. в тексте);
№ 25 — № 112;
№ 26 — № 84;
№ 27, 28 — Цаган-гол;
№ 29—31 — предположительно чекан Чача (Ташкентский оазис) III—V вв. н. э. (см. в тексте);
№ 32 — Центральный Казахстан (Калмык-Кырган), знаки на скале [49, стр. 18];
№ 33 — № 213;
№ 34 — № 85;
№ 35 — № 214;
№ 36, 37 — современные монгольские тамги [14, № 123, 124, 127, стр. 10—22; 62, рис. 38];
№ 38 — № 87;
№ 39 — № 86;
№ 40 — № 102;
№ 41 — Аймак Баян-Хонгор МНР, между Хангаем и Гоби-Алтаем [62, рис. 40];
№ 42 — Хорезм. Топрак-кала. Знак процарапан на хуме (не опубликован);
№ 43, 44, 45 — Цаган-гол;
№ 46 — Хорезм. Кой-крылган-кала. Знак на керамике (см. текст);
№ 47—48 — раннесредневековый чекан района Кабула (см. текст);
№ 49 — № 207;
№ 50 — Юго-Восточная Монголия (Дариганга), современная тамга [51, 64];
№ 51—53 — Цаган-гол;
№ 54 — Хорезм. Мелкий медный чекан. Время точно неизвестно, от конца III до VI в. н. э.;
№ 55 — № 91;
№ 56 — № 92;
№ 57 — № 205, 206;
№ 58 — № 89;
№ 59 — Цаган-гол [см. также 16, № 37].

ТАБЛИЦА III

1, 4, 5, 7, 8—18 — Цаган-гол [см. также 16, рис. 6];
2 — Баянхонгорский аймак [62, рис. 40];
3, 6 — Орхонгайский аймак, Хуни-гол [17, стр. 46];
19 — № 150;
20 — № 151;
21 — № 134;
22 — № 159;
23 — № 152;
24 — № 104;
25 — № 191;
26 — № 192;
27 — № 132;
28 — № 133;
29 — № 20;
30 — № 88;
31 — № 13;
32 — № 14;
33 — № 9;
34 — № 15;
35 — № 16.

---

1. Абаев В. И., Скифо-европейские изоглоссы, М., 1965.
2. Баруздин Ю. Д., Кара-Булакский могильник.— «Труды Института истории АН Киргизской ССР», вып. III, Фрунзе, 1957.
3. Баруздин Ю. Д., Брыкина Г. А., Археологические памятники Баткена и Лейляка, Фрунзе, 1962.
4. Баскаков Н. А., Ногайский язык и его диалекты, М. — Л., 1940.
5. Бичурин Н. Я., Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. II, М.— Л., 1950.
6. Будагов Л., Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. I—II, СПб., 1869—1871.
7. Вайнберг Б. И., Ранняя хорезмийская монета из собрания Самаркандского музея и некоторые вопросы истории докушанской хорезмийской чеканки,— ВДИ, 1962, № 4.
8. Вайнберг Б. И., Некоторые вопросы истории Тохаристана в IV—V вв. (в связи с запустением Кара-тепе),— «Буддийский культовый центр Кара-тепе в Старом Термезе», М., 1972.
9. Вайнберг Б. И., Монеты древнего Хорезма (рукопись монографии).
10. Вайнберг Б. И., Могильник Тумек-кичиджик в Северной Туркмении,— АО, 1972.
11. Волков В. В., К изучению бронзового века МНР,— «К вопросу о древнейшей истории Монголии. Studia Archaeologica», Улаанбаатар, 1962.
12. Волков В. В., Бронзовый и ранний железный век Северной Монголии, Улан-Батор, 1967.
13. Волков В. В., Колесницы древней Монголии,— «Studia Archaeologica», Улаанбаатар, 1972.
14. Гочоо, Малым им, тамганы тухай,— «Шинжлэх ухаан, техник», Улаанбаатар, 1958, № 4.
15. Дикова Н. Н., Бронзовый век Забайкалья, Улан-Удэ, 1958.
16. Доржсурэн Ц., Говь-Алтай Цагаан голын хадны зураг,— «Studia Archaeologica instituti historiae Academiae scientiarum republicae populi Mongoli», t. II, Улаанбаатар, 1963.
17. Доржсурэн Ц., «Шивээт улаан» гэдэг юу вэ,— «Шинжлэх ухаан, техник», Улаанбаатар, 1957, № 1 (47).
18. «Древнетюркский словарь», ред. Наделяев В. М. и др., Л., 1969.
19. «История таджикского народа», т. I, под ред. Б. Г. Гафурова и Б. А. Литвинского, М., 1963.
20. «Кой-крылган-кала — памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н. э. — IV в. н. э.», М., 1967.

21. Кызласов Л. Р., Этапы древней истории Тувы,— ВМУ, историко-филологическая серия, 1958, № 4.
22. Лившиц В. А., Луконин В. Г., Среднеперсидские и согдийские надписи на серебряных сосудах,— ВДИ, 1964, № 3.
23. Литвинский Б. А., Кангюйско-сарматский фарн, Душанбе, 1968.
24. Лоховиц В. А., Новые данные о подбойных погребениях в Туркмении,— «История, археология и этнография Средней Азии», М., 1968.
25. Максимова А. Г., Мерщиев М. С., Вайнберг Б. И., Левина Л. М., Древности Чардары (Археологические исследования в зоне Чардаринского водохранилища). Алма-Ата, 1968.
26. Мандельштам А. М., Кочевники на пути в Индию,— МИА, № 136, М.— Л., 1966.
27. Маннай-оол М. Х., Тува в скифское время, М., 1970.
28. Массон М. Е., Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии за 1930 и 1931 гг.,— «Материалы Узкомстариса», вып. 3., Ташкент, 1933.
29. Массон В. М., Редкая среднеазиатская монета из собрания Государственного Эрмитажа,— ВДИ, 1953, № 3.
30. Массон В. М., Ромодин В. А., История Афганистана, т. 1, М., 1964.
31. Массон В. М., Хорезм и кушаны (Некоторые вопросы хорезмийской нумизматики),— ЭВ, XVII, М. — Л., 1966.
32. Новгородова Э. А. Центральная Азия и карасукская проблема, М., 1970.
33. Новгородова Э. А., Новые памятники искусства древней Монголии,— «Studia Archaeologica», Улаанбаатар, 1972.
34. Новгородова Э. А., Оленные камни и некоторые проблемы древней истории Монголии,— «II Международный конгресс монголоведов», Улаанбаатар, 1970 (в печати).
35. Обельченко О. В., Куюмазарский и Ляпандакский могильники — памятники древней культуры Бухарского оазиса, АКД, Ташкент, 1954.
36. Обельченко О. В., Ляпандакский могильник,— ИМКУ, вып. 2, Ташкент, 1961.
37. Обельченко О. В., Погребение сарматского типа под Самаркандом,— СА, 1967, № 2.
38. Окладников А. П., Оленный камень с реки Иволги,— СА, 1954, XIX.
39. Пекарский Э., Словарь якутского языка. Новосибирск, 1959.
40. Петров М. П., Пустыни Центральной Азии, т. I, М.— Л., 1966.
41. Полторацкая В. Н., Знаки на предметах из курганов эпохи ранних кочевников в горном Алтае,— «Археологический сборник ГЭ», Л., 1962, № 5.
42. Потанин Г. Н., Очерки Северо-Западной Монголии, вып. II, 1881.
43. Сальников К. В. Хорезмийская тамга в Зауралье,— ТХАЭЭ, т. I, М., 1952.
44. Синицын И. В. К материалам по сарматской культуре на территории Нижнего Поволжья,— СА, VIII, 1946.
45. Смирнов Я. И., Восточное серебро. Атлас серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной преимущественно в пределах Российской империи, СПб., 1909.
46. Смирнов К. Ф., Вопросы изучения сарматских племен и их культуры в советской археологии,— «Вопросы скифо-сарматской археологии (по материалам конференции ИИМК АН СССР, 1952 г.)», М., 1954.
47. Смирнова О. И., Монеты древнего Пенджикента,— МИА, 1958, № 66.
48. Смирнова О. И., Каталог монет с городища Пенджикент (Материалы 1949—1956 гг.), М., 1963.
49. Соломоник Э. И., Сарматские знаки Северного Причерноморья, Киев, 1959.
50. Сосновский Г. П., Плиточные могилы Забайкалья,— «Труды первобытного отдела ГЭ», Л., т. I, Л., 1941.
51. Сухебатор Г., О тамгах и имах табунов Дариганги,— «Studia ethnographia instituti historica Comiteti scientiarum et educationis Altae reipublicae populi Mongoli», t. I, fasc. VI, Ulanbator, 1960.
52. Толстов С. П., По следам древнехорезмийской цивилизации, М., 1948.
53. Толстов С. П., Древний Хорезм, М., 1948.
54. Членова Н. Л., Об оленных камнях Монголии и Сибири,— МАС, 1962.
55. Швецов М., Алтайские калмыки,— Сибирское отделение РГО, т. XXII, Омск, 1898.
56. Явич М. М., Замечания о неисследованном среднеазиатском алфавите,— ТОВЭ, т. IV, Л., 1947.
57. Dewall M., Pferd und Wagen un frühen China, Bonn, 1964.
58. Göbl R., Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnen in Baktrien und Indien, Bd I—IV, Wiesbaden, 1967.
59. Herzfeld E., Kushano-Sassanian coins,— MASI, Calcutta, 1930, № 38.
60. Jenkins G. K., Narain A. K., The Cointypes of the Saka-pahlava kings of India,— «Numismatic Notes and Monographs», 1957, № 4.
61. Jisl L. et Ser-od-jave Namsarai, Fouilles et decouvertes à l'etranger,— «Archeologide rozhledy», XVIII, Praha, 1966 (Separatum).
62. Lauer D., Archäologische Beobachtungeh aus Bajan Chongor-Aimak der Mongolischen Völksrepublik. Felszeichnungen und Inschriften,— «Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift», Berlin, Heft 1, 1972.
63. Lohuizen de Leew I. E., The «Scythian» period, Leiden, 1949.
64. Markwart I., Eranšahr, Berlin, 1901.
65. McGovern W. M., The early empires of Central Asia, New York, 1939.
66. Narain A. K., Indo-Greeks, Oxford, 1962.
67. Poucha P., Trinact tisic kilometru Mongolskem, Praha, 1957.
68. Rintchen B., Les dessigns pictographiques et les inscriptions sur les rochers et sur les steles en Mongolie, Улаанбаатар, 1968, t. XVI, fasc. I.
70. Tarn W. W., The Greeks in Bactria and India, Cambridge, 1951.
71. Zürcher E., The Yech-chin and Kaniska in the Chinese sources, XXIII, 77, 8a, DK 1960.

А. М. Беленицкий, Б. И. Маршак

ЧЕРТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОГДИЙЦЕВ VII—VIII вв. В ИСКУССТВЕ ПЕНДЖИКЕНТА

Памяти Бенджамина Роуленда

Отражение мировоззрения эпохи в памятниках искусства обычно изучается с точки зрения истории искусств, когда произведения живописи и скульптуры истолковываются с помощью письменных источников. Для домусульманской Средней Азии памятники искусства в связи со скудостью письменных источников сами приобретают решающее значение для исследования мировоззрения живших здесь народов.

Однако в большинстве случаев эти памятники характеризовали религиозные представления, причем чаще всего не специфически местные, а связанные с такой мировой религией, как буддизм. Были открыты и дворцы со скульптурным и живописным декором, но оставалось неясным, во-первых, насколько эти дворцы связаны с древневосточной, пережившей эллинизм традицией династийного искусства, а во-вторых, насколько в них отразились вкусы и воззрения широких кругов общества.

Памятником, который впервые познакомил нас с кругом интересов и представлений сравнительно широких слоев местного городского населения, стал древний Пенджикент, самый восточный из городов самаркандского Согда, на городище которого вот уже тридцать лет ведутся археологические раскопки.

Сейчас раскопками вскрыто более четверти всей территории древнего города, и поэтому появилась возможность судить о той обстановке, в которой создавались произведения искусства. Пенджикент был столицей небольшого согдийского княжества, владетель которого Деваштич в начале VIII в. стал настолько влиятельным, что сделал попытку овладеть престолом государя всего Согда. Город, как показали археологические работы, возник в V в. и переживал свой расцвет на рубеже VII—VIII вв. В VIII в. город перенес неоднократные нападения арабов и в 70—80-е годы этого века полностью опустел, чтобы позже возродиться уже на другой территории. Большинство стенных росписей Пенджикента относится к концу VII или началу VIII в., хотя некоторые из них датируются V—VI вв., а некоторые другие, возможно, относятся к началу второй трети VIII в.

Несмотря на свою небольшую площадь — около 13,5 *га* в пределах городской стены (без цитадели), Пенджикент был настоящим городом. Его территория была застроена кварталами двух- и трехэтажных домов, вплотную примыкавших друг к другу. Вдоль узких улиц раскопаны тянувшиеся рядами торговые и ремесленные заведения. Сейчас открыто более ста многокомнатных жилищ, принадлежавших древним пенджикентцам. Около трети из них, т. е. почти все дома состоятельных горожан, а не только жилища аристократов, имеют парадные залы с росписями и скульптурой. Раскопки показали широкое распространение монументального искусства, которое трудно было даже предполагать: не только храмы (их в Пенджикенте два), не только недавно открытый дворец государя, но и десятки частных жилых домов рядового городка оказались настоящими «музеями» согдийской живописи и скульптуры.

В доме знатного согдийца обычно было несколько помещений, украшенных живописью: это квадратный зал, ведущий к нему коридор, а также домашняя «капелла» с алтарем, пол которой был расположен несколько выше, чем пол зала и коридора (рис. 9). В расположении живописи была определенная система, которая лучше всего прослеживается в росписи квадратных залов. Прямо против входа, нередко в нише, помещали большую фигуру божества, иногда в сопровождении других божественных персонажей. Рядом с божеством были изображены стоящие или коленопреклоненные согдийцы — участники обряда. Если божество

помещалось на задней стене ниши, то эти фигуры могли быть и по ее боковым стенам. По сторонам всей центральной группы несколькими лентами высотой около 1 *м* шли росписи с батальными или пиршественными сценами, часто целые эпические повествования. Высота нижнего ряда росписи, проходившего и под фигурой божества, и под эпическими сценами, была не более 50 *см*. Эта полоса заполнялась орнаментом, однако нередко ее делили вертикальными полосами на прямоугольники, в которых помещали фигурные композиции иного характера, чем в верхних рядах: здесь обычны сказочные, басенные или жанровые сюжеты.

Убранство залов не ограничивалось живописью: по верху стен, видимо, размещались деревянные кариатиды, под потолком шел резной фриз с изображениями богов в декоративных арках, а сам потолок состоял из балок и досок, также украшенных резьбой.

В целом росписи и скульптура пенджикентского дома — это не только декор, не только произведения выдающихся художников, но и отражение взглядов владельца дома на мир и на свое место в этом мире. Входя в дом, гость видел перед собой божество, которому поклонялся хозяин дома (а это были разные боги в разных домах), видел изображения самого хозяина и его близких около божества. Менее знатные люди были нарисованы мельче, более знатные — крупнее. Так воспроизводилась иерархия этих людей в обществе и их место по отношению к миру богов. К сожалению, современный исследователь не может увидеть полностью картину, открывавшуюся глазам согдийцев.

В развалинах отдельных домов сохранились только части центральной композиции, обычно более всего разрушенной. Восстановить такую композицию как единое целое трудно. Приходится сопоставлять фрагменты росписей из разных зданий, что, безусловно, нивелирует их индивидуальные особенности. Сразу отметим, что изучение росписей еще не дает возможности реконструировать религию Согда. Однако оно позволяет выявить некоторые соотношения между изображениями, отражающие специфику мифологии, ритуалов, общественной жизни согдийцев. В этой статье для нас главное — выявление (и по возможности объяснение) соотношений, а не поиск иконографических прототипов, который часто ведет к подмене осмысления самих образов сведением их семантики к значениям прототипов в системе другой культуры. Как это обычно в исследованиях, построенных на основе археологических материалов, конкретность описаний будет контрастировать с обобщенным, предположительным характером выводов. Расшифровка содержания — длительный процесс, в ходе которого изучение соотношений образов и их места в репертуаре согдийского искусства — один из неизбежных этапов.

Наиболее древние сцены поклонения божеству открыты в северной капелле храма II, разрушенной в VII в. при перепланировке двора этого храма. Росписи относятся к двум строительным периодам (V — начало VI и VI в.). От первого периода сохранились остатки двух расположенных лицом друг к другу сцен поклонения [8А, стр. 58—61] — с богиней на львином троне и с богиней на троне с «сенмурвом». Обе богини со знаменем. Эти росписи были застроены стенами второго периода, к которому относится ниша с изображением четверорукой богини, сидящей на драконе. Образ богини со львом угадывается только по остаткам линий складок одежды, части трона и полотнища знамени, а у богини с «сенмурвом» художник наметил четыре руки и меч, но в окончательном варианте нарисовал две руки (со знаменем и музыкальным инструментом). Датировке помогает керамика V — начала VI в. в заполнении суфы второго периода.

Остановимся подробнее на росписях ниши. Ее стены сохранились далеко не полностью. Глубина ниши 1,50 *м*, ширина 1,1 *м*, открытая сторона обращена на восток. Северная боковая стенка при высоте 2 *м* сохранила живописный покров на высоту около 1,50 *м*, но с очень большими лакунами и выбоинами. Южная стенка сохранилась всего на 0,50 *м*. В лучшем состоянии оказалась западная стена, где была изображена центральная фигура, однако здесь полностью утрачен верх стены, на которой помещалась голова этой фигуры. Божество женское, четверорукое, изображено сидящим на спине фантастического животного. От плеч поднимаются языки пламени. Заметны остатки от нимба и от лент головного убора. Концы двух толстых черных кос спускаются на плечи к груди. На груди и руках богини богатые украшения. Многие из них выполнены золотой фольгой.

Кисти обеих правых рук не сохранились. П. И. Костров, сделавший прорисовку росписи, подметил небольшой фрагмент рисунка — сегмент кольца или шарика, по всей вероятности, конец жезла или другого предмета, который божество держало в правой нижней руке.

В нижней левой руке с золотым перстнем богиня держит конец накидки, в верхней левой руке — древко знамени. Полотнище его длинное, несколько расширяющееся книзу, украшено рядами разноцветных треугольников. К низу полотнища привешены бубенцы.

У фантастического животного, на спине которого сидит богиня, голова дракона с острыми клыками. Верхняя челюсть заканчивается коротким, спиралевидным, загнутым кверху хоботом. Над небольшими, прячущимися в складках кожи глазами густые черные брови. Опущенные книзу уши похожи на широкие стилизованные листья. Тело змеиное, свернувшееся кольцами. Оно заканчивается веерообразным хвостом. Чудовище лежит на овальном ковре, обрамленном красной каймой [85, табл. 1 — 3].

В изобразительном искусстве Средней Азии четверорукие женские божества представлены давно привлекавшими к себе внимание исследователей изображениями на группе серебряных чаш. Они держат в руках эмблемы луны и солнца. Сейчас не вызывает сомнения, что названные чаши — изделия среднеазиатских мастеров, изготовленные в Хорезме,— это следует из сохранившихся на них надписей хорезмийским письмом [20, 42—44; 3, рис. 50; 30, стр. 434—435]. Пенджикентские четверорукие божества (в том числе и описанное выше) свидетельствуют, что этот образ был хорошо известен и в Согде. Четверорукие божества также занимают определенное место в близкой по времени культовой буддийской иконографии Восточного Туркестана.

Останавливаться здесь на всей обширной литературе, посвященной их интерпретации, мы не можем. Однако несомненно, что иконография этих культовых образов зародилась в Индии, проникла в Среднюю Азию и Восточный Туркестан именно из этой страны. Вместе с тем прямой аналогии пенджикентской богине со всеми ее атрибутами в индийской иконографии мы не находим.

В недавно опубликованной статье Н. В. Дьяконовой и О. И. Смирновой ранее открытое в Пенджикенте изображение четверорукого женского божества интерпретируется как образ Нанайи [11]. Действительно, есть основания считать, что в Средней Азии, в частности в Согде, существовал культ этой богини. Однако новая находка осложнила вопрос об интерпретации.

Сравнивая иконографию ранее открытых хорезмийских и согдийских четверуруких божеств с богиней, о которой идет речь, обнаруживаем большие различия в атрибутах: у последней нет эмблем солнца и луны, кроме того, она сидит на драконе (усложненный образ индийского «макары»), а не на льве, как это обычно для среднеазиатских изображений четверукой богини. Многие детали связывают сидящую богиню со скульптурной панелью из того же объекта II, где изображен водный поток, в котором размещены различные существа, и в том числе «макара» [19, табл. XXVII—XXXII]. Представляется вероятным, что и в данном случае речь идет о божестве, связанном с водной стихией, и прежде всего с почитавшейся согдийцами рекой Зеравшан, протекающей у Пенджикента.

И глиняная скульптура, и живописное изображение водных божеств в Пенджикенте находят аналогии в двух недавно исследованных памятниках Хадды. Это Fish Porch, обнаруженный афганским археологом Мустаминди [31], где стены и пол покрыты глиняной скульптурой с изображением струй воды и плывущих в ней существ, а также и опубликованная Б. Роулендом капитель пилястра, на которой у ног богини представлены фантастические существа со змеиным телом, олицетворяющие местные реки [32]. Б. Роуленд убедительно объясняет иконографию этого божества эллинистической традицией изображения городских богинь, восходящих к статуе знаменитой Тюхе Антиохии, у подножия которой было изображено плывущее божество реки Оронт. При несомненном отличии в деталях иконографии семантика пенджикентского изображения представляется близкой к семантике рельефа из Хадды.

Вместе с тем пенджикентская четверорукая богиня не может быть полностью понята, так как не сохранились ее голова и корона, а также две правых руки, в которых, как можно полагать, находились эмблемы, раскрывавшие смысл всего изображения.

Не вдаваясь в рассмотрение вопроса о значении нового изображения, отличающегося рядом деталей от ранее открытых, следует лишь добавить, что, как показывает их сравнение, одного признака — четверорукости — недостаточно для отождествления с определенным божеством, поскольку теперь мы знаем уже два разных образа с этим признаком.

На боковых стенах ниши, в глубине которой находилось изображение богини, были представлены шесть мужских фигур, по три с каждой стороны. Ни одна из них не сохранилась полностью. Только на северной боковой стене контуры прослеживаются до уровня шеи. Ниша была заложена кладкой из необожженного кирпича уже в VII в., во время постройки стены двора храма II. По своим техническим особенностям и по деталям костюма поклоняющихся богине согдийцев эта живопись археологически датируется не позже начала VII в. Она напоминает росписи храма II, сравнительный архаизм которых отмечал уже М. М. Дьяконов [12, стр. 128—129]. Детали одежды и оружия находят аналогии в сасанидском искусстве и отчасти в ранних росписях Кызыла (а не в более поздних пенджикентских

изображениях второй половины VII и начала VIII в.). Видимо, V—VI вв. — наиболее подходящая дата и для остального декора храма II.

Ниша относилась к боковой капелле храма. Похожая композиция была характерна и для его главного зала [12, табл. XVII]: фигуры мужчин на пилонах у входа в целлу, где когда-то стояли статуи богов, — не «стражи», как это ранее предполагали, а донаторы. На простенках в обоих случаях помещены по три стоящие фигуры, из которых ближайшая к божеству гораздо меньше остальных. На росписи главного зала видно, что в руке одного из персонажей типичный согдийский жертвенник.

В Пенджикенте открыты и более поздние композиции такого же рода. К VII в., по-видимому, относятся две сцены поклонения одному и тому же божеству с синим телом. Общая датировка сцен подтверждается чрезвычайно сходными фигурами молящихся и особенно их прическами и покроем костюмов, несколько отличающимся от обычного для других росписей Пенджикента, но похожим на костюм из Балалык-тепе [1]. Открытая в 1952 г. композиция [19, табл. IX] обнаружена в раннем доме квартала (объект VI), к которому пристраивались соседние дома. Композиция, открытая в 1962 г. на VII объекте [5, стр. 37, рис. 8], находилась в помещении, перестроенном из остатков более ранней городской стены V—VI вв. Можно предполагать, что оба фрагмента несколько старше других росписей VI и III объектов.

Фигура божества лучше видна на фрагменте, открытом на объекте VII (рис. 10). Полуобнаженный мужчина с тигровой шкурой на бедрах изображен в бурном движении, от повязок на его руках отходят развевающиеся ленты. На груди виден шнур с бубенцами. Положение ног и корпуса несколько напоминает «позу стрелка из лука» в индийском искусстве, но здесь, вероятно, эта поза передает лишь фигуру танца. Голова окружена нимбом, от плеч отходят языки пламени. Черты лица с крутым изгибом бровей и синий цвет обнаженного тела характерны для иконографии некоторых божеств Индии. Жезл у правого локтя похож на трезубец, но плохая сохранность живописи не позволяет настаивать на этом отождествлении. У ног божества скорее всего стилизованные листья аканта.

Сходство с иконографией Шивы бесспорно, хотя трудно подыскать в искусстве Индии прямой прототип для нашего изображения.

Шиваитские черты еще более определенны в изображении, открытом в 1967—1968 гг. на объекте XXII, в алтарной нише парадного зала дома, принадлежавшего представителю городской знати. Стена с росписью рухнула, и композицию приходится восстанавливать из отдельных фрагментов [1]. На небесно-синем фоне была изображена стоящая фигура трехголового и шестирукого божества (рис. 11). Все лица с тремя глазами. Среднее из них — мужское, но его правую сторону — женское лицо, а на противоположной стороне — синее демоническое лицо. Из плеч поднимается пламя. Оплечья одежды в виде голов разных животных, из пасти которых как бы выходят рукава. Из атрибутов хорошо видны трезубец, меч и рог, в который трубит женская голова.

По правую сторону стоящего божества помещена сидящая фигура богини, окруженная ореолом из ветвящихся языков пламени. Богиня сидит на складном табурете с пересекающимися ножками. Табурет украшен протомами крылатых львов. На синем фоне изображены также второстепенные персонажи, выполненные в более мелком масштабе. Насколько можно судить по фрагментам, это были рыба, «нага» с человеческим телом и змеиным хвостом и орел, несущий в когтях женщину. Последнее изображение напоминает сюжеты известного сасанидского блюда, золотого кувшина из Надь Сент-Миклоша и нескольких памятников исламского искусства X—XII вв.

Трехголовый бог находит аналогии в шиваитской иконографии, заставляя вспомнить в первую очередь так называемого Шиву Элефантины [25, стр. 123]. В живописи очень сходный образ трехголового божества имеется на фрагментах стенных росписей и на иконах Восточного Туркестана. Особенно близко к нашему изображение на иконе VIII в. из Дандан-Уйлика в Хотане, изданной М. А. Стейном [34, табл. LX, D. VII; ср. 35, табл. V, Bal. 0200]. Здесь, однако, бог сидит на троне в виде двух быков, его тело синее, а на бедрах шкура тигра. В руках у него ваджра, плод и, насколько можно различить, эмблемы луны и солнца. На другой хотанской иконе трехголовый и девятиглазый бог сопровождается своей шакти [34, табл. LXII, D. X. 8]. Еще на одной из хотанских икон у трехголового бога другие атрибуты, а эмблемы солнца и луны переданы женскому четверорукому божеству, тогда как ваджру держит мужское божество с тремя глазами и двумя руками [34, табл. LXIV, D. X. 3].

О богине с эмблемами солнца и луны в руках, сидящей на троне в виде льва, хорошо известной по хорезмским серебряным чашам и по пенджикентским росписям [12, табл. XX — XXV], уже упоминалось выше. Возникает вопрос, не считалась ли эта богиня в Согде, как и в Хотане, супругой бога, которого изображали трехликим и многоруким, и нельзя ли тогда

[1] Оригинал в настоящее время реставрируется, на рисунке 11 воспроизведена схематическая прорисовка части композиции.

считать другим иконографическим вариантом того же божества богиню, которая в росписи объекта XXII помещена рядом с трехликим богом? Примечательно, что престол этой богини украшен протомами крылатых львов.

Не исключено, что навеянные иконографией Шивы образы танцующего и трехглавого божества в Пенджикенте оба относятся к какому-то одному богу. Если справедливо предположение, что хотанские и согдийские изображения близки не только иконографически, но и по содержанию, то за отождествление богов будут общие признаки образов пенджикентского танцующего и хотанского трехликого божеств — синее тело и тигровая шкура на бедрах. Однако индийские иконографические параллели не дают еще оснований для отождествления самих божеств, тем более что многие детали чужды индийским прототипам. Все, что мы знаем о религии Согда, не позволяет считать согдийцев шиваистами.

Хотанские иконы с изображениями похожего на Шиву бога почитались буддистами. На оборотной стороне одной из тех икон, в композицию лицевой стороны которой включен трехголовый бог, находилось изображение Будды. Но в хотанских иконах, по установившемуся в науке мнению, как-то отразились и небуддийские верования местных иранцев.

По-видимому, согдийцы, как и другие иранские народы, в течение долгого времени не имели устойчивой письменной и иконографической религиозной традиции. Не случайно до нас дошли тексты на согдийском языке с буддийскими, христианскими и манихейскими сочинениями, но нет текстов, относящихся к национальной религии Согда. Не случайно, видимо, и то, что богатая иконография согдийских и хорезмийских культов VI — VIII вв. находит гораздо больше аналогий за пределами Средней Азии, чем в ранних местных памятниках. Многочисленные согдийские терракоты первых веков нашей эры не имеют ничего общего с иконографией монументального искусства VI — VIII вв., которая однако близка к иконографии терракот раннего средневековья.

В условиях конкуренции с буддизмом, манихейством и христианством — религиями с развитым культовым искусством — местные жрецы в IV — VI вв. могли приспособить индийские образы для передачи своих религиозных представлений. Уже в IV в. сасанидские правители бывших кушанских владений в Бактрии, сохранив кушанское изображение Шивы на своих монетах, заменили легенду: «вместо имени божества vəsa „Шива", как на позднекушанских монетах, среднеперсидская легенда знаками кушанского письма borzoondo yozdo „высокий (великий) бог"». По мнению В. Г. Луконина, «Шива на кушано-сасанидских монетах понимался как Ахура Мазда», что стало возможным именно из-за отсутствия исконной иконографии иранских божеств [15, стр. 20, 26].

Однако если при дворе сасанидских наместников в Бактрии IV в. и существовало такое понимание одного типа изображений Шивы, то в Согде VII в. понимание других типов изображений Шивы могло быть отличным. Изображения богини с предстоящими [12а, стр. 171—174, рис. 13] и четы богов (Шива и Парвати?) на троне в виде быка [12б, стр. 13], обнаруженные советской экспедицией на городище Дальверзин в Северном Афганистане, показывают, что на территории Бактрии в IV — V вв. не только на монетах, но и в живописи применялась иконография, во многом связанная с индийской, но, с другой стороны, похожая и на раннюю согдийскую V — VI вв. Значение связей Согда с Тохаристаном и Ираном в кушано-сасанидский и эфталитский периоды для сложения раннесредневекового согдийского искусства, безусловно, было очень велико, однако, возвращаясь от искусства к культам, снова приходится отметить, что нам все еще слишком мало известно о верованиях согдийцев, несомненно отличавшихся от сасанидского зороастризма, чтобы определять имена богов по их изображениям.

Индийские влияния своеобразно преломлялись в согдийской среде. В. А. Лившиц, любезно ознакомивший нас со своей еще не опубликованной работой, недавно прочитал согдийскую надпись, нанесенную тушью на одежде трехглавого бога из Пенджикента. Таким образом, ему впервые удалось сопоставить изображение и имя божества: wšprkr (или wyšprkr) надписи — согдийская передача санскритского Вишвакарман, буквально «творец всего». Это имя встречается в согдийских буддийских и в одном манихейском текстах. Как отмечает В. А. Лившиц, в согдийской версии Вессантара-джатаки упоминается трехликий Вишвакарман, что соответствует живописному изображению. Явно небуддийская иконография Пенджикента заставляет считать, что в данном случае индуистское божество, видимо, через буддизм было включено в местную религиозную систему. На этом пути как будто изменилась под воздействием новых условий и его иконография, включившая признаки образа Шивы.

Обзор памятников культового искусства, недавно открытых в Пенджикенте, показывает, что в начале средних веков местная религия Согда обладала богатой и детально разработанной иконографией. На данном этапе можно утверждать, что в состав пантеона входили бо-

жества стихий, божества небесных светил. Безусловно, большую роль играл культ предков, о котором хорошо известно и по письменным источникам.

К сожалению, сами культовые памятники дают нам слишком мало материала об иерархии богов. Только в нескольких случаях совместно изображены два божества. Для изучения согдийского пантеона важны росписи Шахристана [15а], которые показывают, что согдийское население Уструшаны почитало тех же богов, что и пенджикентцы. В одном зале Шахристана были нарисованы четверорукая богиня на льве и трехглавый бог, тогда как в Пенджикенте такие изображения найдены только в разных жилищах. Эта новая находка подтверждает, что божества из росписей пенджикентских домов входили в один пантеон.

Трехликий wyšprkt шахристанской живописи возглавляет целое войско, сражающееся с полчищем демонов, тогда как индуистский и буддийский Вишвакарман — это прежде всего божественный строитель.

Напротив входа в зал находилась огромная фигура мужского божества на троне с опорами в виде коней. Другие божества, в том числе богиня на льве, показаны в меньшем масштабе. Наоборот, в Пенджикенте в одном из залов (объект XXVI, раскопки 1972 г.) эта богиня была изображена на середине стены и в большем масштабе, чем другие боги, один из которых — на троне с двумя конями. В обоих случаях, видимо, отражается не иерархия богов в пантеоне, а предпочтение того или иного божества в домашнем культе разных семей. Однако Шахристан дает с эмблемой солнца (аналогичная сцена в 1974 г. найдена в Пенджикенте) и материалы по иерархии божеств. Там один из богов на колеснице, запряженной, как у бамианского «Митры», крылатыми конями, приближается к едущей ему навстречу четверорукой богине, сидящей на льве. В сторону этого бога обращена рука богини. На хорезмийской чаше богиня тоже едет на льве, но здесь перед ней (снова со стороны эмблемы солнца) коленопреклоненная фигурка. На чаше поза этой фигуры явно свидетельствует о поклонении, а такая же поза бога в сходной композиции поэтому может говорить о более низком месте этого бога по сравнению с богиней на льве в иерархии согдийских божеств.

Наблюдаются как будто некоторые изменения обряда поклонения (или манеры его изображать). В сценах с сипетелым божеством в отличие от еще более ранних росписей храма II молящиеся изображены коленопреклоненными, и, кроме того, наряду с мужчинами показаны и женщины. На фрагменте из объекта VII (рис. 10) жертвенник держит в руке коленопреклоненный юноша. Этот юноша и другой юноша с пучком ветвей (?), помещенный напротив него, введены внутрь арки, изображающей нишу со статуей божества, подобную нишам храма. Пространство здесь передано весьма условно. Юноша, который стоит *перед* нишей, показан позади ноги статуи бога, помещавшейся в нише. Это, возможно, объясняется тем, что художник не смел заслонять даже небольшую часть изображения божества фигурой человека. Кроме обоих юношей к той же сцене относятся показанные на боковой стене музыкант и какая-то знатная женщина (?) в плаще, украшенном знаками в виде трезубца. В открытой в 1952 г. росписи парадного зала 8 из жилого дома квартала VI нет ниши, даже рисованной, все молящиеся изображены на той же стене, что и объект поклонения, который, однако, выделен мандорлой. Хорошо видны дары в руках женщин. В обеих росписях фигуры, расположенные дальше от божества, переданы в более крупном масштабе.

В зале 7 жилого дома квартала III [12, табл. XXVI, XXVIII], в помещении 10 первого храма [12, табл. VII, VIII], а вне Пенджикента — в Восточном зале дворца бухарских правителей в Варахше в росписях рубежа VII — VIII вв. жертвенники изображены уже установленными [23, табл. XIV, XV]. Перед огнем в одинаковых позах коленопреклоненные мужчины с чашей в левой руке и с напоминающим ложку предметом в правой, протянутой к огню руке. В парадном зале 7 живопись плохо сохранилась. Видно только, что объектом поклонения было божество, сидевшее на троне в виде льва.

Во дворце Варахши мужское божество было представлено крупномасштабной фигурой, сидящей на троне, опирающемся на две статуи крылатых верблюдов [2]. Около трона, с его левой стороны, показан маленький коленопреклоненный музыкант — почти такой же, как в сцене поклонения из объекта VII Пенджикента. В храме, в помещении 10, жертвенник стоит перед дверью в помещение 10а, расположенное в глубине, в котором, видимо, и был когда-то изображен объект поклонения.

Эти три сцены относятся к разным по их месту в общественной жизни культам: к обрядам, совершавшимся в боковой капелле, пристроенной к городскому храму, в доме городского аристократа и во дворце государя. Каждый из этих памятников представляет собой как бы запись отношений между людьми и бо-

[2] В своей книге В. А. Шишкин объясняет фигуру на троне как изображение государя [23, стр. 159]. Однако аналогичные композиции из Пенджикента дают основания видеть в этой фигуре изображение божества и соответственно понимать сцену как культовую.

гами, а также запись отношений между людьми, участвовавшими в обряде.

В жилых домах Пенджикента, к сожалению, сохранились только фрагменты композиции. В Варахше у жертвенника сидит мужчина в богатой одежде с мечом и кинжалом, позади него — женщина, а за ней — две фигуры меньшего роста, видимо, дети этой четы. Головы мужчины и женщины окружены нимбами. По другую сторону жертвенника, у подножия трона божества, изображен музыкант (?) с неясным изображением инструмента у левого плеча. У него нет меча, но есть кинжал. Масштаб этой фигуры меньше, чем масштаб фигуры мужчины. За головой мужчины помещен крылатый верблюд, несущий кольцо (?) с длинными лентами. Видимо, это символ покровительства со стороны бога, который был изображен сидящим на троне, украшенном крылатыми верблюдами. На ножке жертвенника есть еще одно изображение этого же бога, но в другом иконографическом варианте — в арочном обрамлении и на престоле в виде лежащего верблюда. Скорее всего мы видим здесь семью правителя Бухарского оазиса, причем дата росписи делает вероятным предположение, что фигура женщины — это портрет знаменитой бухарской хатун, о которой сообщают арабские и персидские историки. Бог, атрибутом которого был крылатый верблюд, вероятно, покровитель бухарского владетеля, сидевшего на троне в виде верблюда, упоминаемом в «Суй-шу».

Следует отметить, что памятники, свидетельствующие о почитании этого бога, обнаружены и в Пенджикенте, и даже в согдийской колонии в Семиречье на городище Ак-Бешим [26, табл. 66, 102; 13, стр. 201—209, рис. 29; 39/1] [3].

Таким образом, особое почитание какого-то божества отдельной семьей или общиной не исключает существования его общесогдийского культа.

В росписи Варахши показано, что наиболее постоянный атрибут одного и того же божества, сохраняющийся при изменении иконографии,— связанное с ним животное, а это, в свою очередь, подкрепляет отождествление богини, сидящей на льве, и богини на табурете с протомами львов. Связь трехголового бога с несколькими видами животных может восприниматься как указание на универсальность этого божества, объединявшего также, подобно Зрвану, мужское и женское начала.

То, что в разных домах Пенджикента были изображены сцены поклонения разным богам, показывает, что частные семьи, как и династии, имели своих богов-покровителей. Бедные люди, дома которых не были расписаны, могли приобретать небольшие иконы, которые в VI в. часто делали терракотовыми (это благодаря прочности материала позволило им сохраниться в климатических условиях Пенджикента, где дерево и ткань истлевают почти бесследно). Среди терракотовых икон есть и изображения бога с фигуркой верблюда в поднятой руке, сидящего на троне в виде верблюда.

Иконки оттискивались с помощью штампа и иногда раскрашивались. Они производились серийно, и обычно на них нет изображений заказчиков. Но на одном из образков Афрасиаба (древнего Самарканда) [18, стр. 59, рис. 10] по сторонам богини помещены коленопреклоненные фигуры мужчины и женщины, лица и одежды которых настолько лишены индивидуальных признаков, что любая чета, которая приобрела бы икону, могла считать эти изображения своими «портретами». Афрасиабский образок относили к кушанскому периоду, и действительно, его круглая форма напоминает кушанский медальон из Халчаяна, но многие детали, и особенно изображенные на афрасиабской иконе жертвенники, во всем подобные пенджикентским, заставляют датировать ее не древнее IV в.

Связь определенного божества с отдельной семьей или даже с отдельным человеком про-

[3] В Пенджикенте в 1970 и 1972 гг. в росписях двух соседних домов (объект XXIV) были обнаружены изображения четы божеств, сидящих вместе на широком троне с опорами в виде верблюда и горного барана. В одной композиции [8а, стр. 62] на той части трона, которая опирается на фигуру верблюда, сидит бог с эмблемой солнца на одежде, а на стороне с фигурой барана — богиня в одежде, украшенной эмблемой луны. В зале того же дома около голов пирующих согдийцев помещены зооморфные символы, в том числе несколько крылатых верблюдов и крылатый горный баран, все с хвостами драконов. Этой чете богов, судя по знакам светил, также приписывается космическое значение. В другом случае (объект XXIV, помещение 13) нет таких эмблем, но зато добавлены две как бы парящие в воздухе небольшие мужские фигуры, держащие меха, из которых клубятся облака. В поднятых руках сидящих на троне божеств — плоские подносы со статуэтками животных, из которых удается определить стоящего верблюда на подносе мужского божества.

На Афрасиабе найдено живописное изображение божественной четы с чашами в руках [22, стр. 20]. Над чашами не пламя, как это предполагалось, а, как это стало видно на реставрированном фрагменте стенописи, такие же статуэтки животных, причем над чашей мужского божества снова помещен верблюд.

Чета, изображенная на бронзовом рельефе из Ак-Бешима, сопровождается фигуркой лежащего верблюда, игравшей, видимо, роль важного символа.

К сожалению, пока нет совместного изображения обоих богов или обеих богинь на одной композиции, трудно судить, были ли в согдийской религии две четы божеств, или это разные ипостаси одной божественной пары. Как показывает, например, Авеста, одно божество может быть связано с несколькими видами зверей. В иконографии образ зверя был важнейшим различительным признаком, но мы не знаем уровень этого различия в согдийском религиозном мышлении.

слеживается в среднеазиатском искусстве не только в сценах поклонения. На росписи помещения 26 объекта VI кроме богини, сидящей на троне в виде льва и держащей в руках диски луны и солнца, есть еще две небольшие фигуры. Под диском луны помещен воин в одеянии из шкуры леопарда, а под диском солнца — воин в одеянии из шкуры тигра [19, табл. 30]. В Фундукистане открыта фреска с изображениями двух воинов с эмблемами солнца и луны. Воин с эмблемой луны одет в кафтан из шкуры леопарда и сапоги из шкуры тигра. Около него изображен крылатый лев [28, рис. H2, стр. 195, 199].

Второй снизу ярус живописи зала 41 объекта VI в Пенджикенте посвящен подвигам героя, одетого в кафтан из шкуры леопарда и шаровары из шкуры тигра. Около головы героя трижды показан крылатый лев с хвостом дракона, слетающий к нему с неба [4, стр. 209—213; 26, табл. 136—137]. В согдийском отрывке о Рустаме упоминается его одежда из шкуры леопарда [36, стр. 134], на персидских миниатюрах Рустам обычно одет в кафтан из тигровой шкуры. В Пенджикенте и в Фундукистане другие воины той же композиции одеты в тяжелые доспехи, тогда как воин в леопардовом кафтане, вероятно, считался неуязвимым и без брони. Герой росписи зала 41 объекта VI, видимо, Рустам; напомним, однако, что в «Шах-наме» в роли его небесного покровителя выступает Симург. В середине композиции стенописи зала 41, насколько можно судить по сохранившемуся фрагменту с троном в виде льва (рис. 12), находилось крупномасштабное изображение той же богини, которая была написана в помещении 26 [4].

Таким образом, допустимо предположение, что богиню, держащую в руках солнце и луну, на росписи помещения 26 сопровождали герои, находившиеся под ее покровительством.

В Тохаристане, и в частности в Фундукистане, витязь в леопардовой шкуре, возможно, считался как-то связанным с Махом — мужским божеством Луны, известным по кушанским монетам. Мах изображался с таким же полумесяцем за плечами, как у фундукистанского воина. На лицевой стороне многих эфталитских монет вычеканены профильные изображения, сочетающие суженные вверху очертания головы, тяжелый подбородок, прямой наклонный ус и высокую бровь с изломом, т. е. те черты, которые отличают «Рустама» от других пенджикентских персонажей, с характерным для фундукистанского витязя полумесяцем за плечами [27, эм. 49—53, 56, 63 и т. д.]. Согдийские художники едва ли могли избрать для своего героя монетный портрет эфталитских князей. Более вероятно, что для лицевой стороны части эфталитских монет (нередко анонимных) использовали иконографию эпического героя, когда-то владевшего доставшимися эфталитам землями. Таким героем был прежде всего Рустам. На некоторых поздних монетах эфталитского круга изображали даже одного из самых одиозных персонажей эпоса — легендарного предка царей Кабула (а по женской линии и Рустама) тирана Заххака с его змеями, выросшими из плеч [27, эм. 243].

Оставляя пока в стороне вопрос, на каком материале сложилась иконография героев, вернемся к представлениям древних пенджикентцев об отношениях богов и людей, насколько эти представления можно реконструировать по остаткам росписей. В том же зале 41 в ярусе росписей, проходящем над регистром «Рустама», были изображены подвиги другого героя, около головы которого парил уже не львиный дракон, а дракон с протомой грифона [4, стр. 209, рис. 18], выше шел еще один плохо сохранившийся ярус росписей. Здесь прослеживаются несколько человеческих фигур и, кажется, контуры обнаженной ноги какого-то танцующего божества, изображенного в более крупном масштабе, чем люди. Насколько можно судить по размерам этой ноги, высота верхнего ряда изображений была гораздо выше, чем у ярусов с эпическими сценами. Видимо, на этом уровне были изображены боги, не имевшие особо сильной связи с владельцами дома. Над живописью шел когда-то рельефный деревянный фриз, который в этом зале не сохранился. Обугленные фрагменты такого фриза были открыты в погибшем от пожара помещении 11 объекта (здания) VII. По низу фриза шли один за другим крылатые львы — существа одновременно земные и небесные, видимо связанные с богиней, в руках которой показаны эмблемы солнца и луны. Выше находилась аркада, причем в каждую арку было помещено изображение одного из небесных богов. Изображения были небольшими, и фриз, если он обходил вокруг всего зала, первоначально включал в себя десятки таких рельефов. На сохранившемся фрагменте легко опознается изображение бога Солнца на колеснице (рис. 13). У него перед грудью прослеживаются контуры лука, повернутого горизонтально, как у царя-стрелка известной фрески в Какраке.

Возможно, что изображение бога Солнца является ключом к пониманию всего фриза, в котором особую роль играли изображения олицетворенных небесных светил. Олицетво-

[4] Изображение льва в росписи помещения 26 стало заметным в ходе реставрации.

рения планет Марса и Сатурна известны по рельефам на согдийских оссуариях [9, стр. 44; 26, табл. 78]. Живописный фриз с шествием реальных и фантастических оседланных животных, остатки нижней части которого обнаружены в Варахше [23, табл. II — IX; 26, табл. 141], видимо, тоже отражает стремление представить весь пантеон. К сожалению, сохранность фриза не позволяет судить, были ли там изображены и сами боги. В Пенджикенте шествие одних только крылатых львов дополнено аркадой с образами многих богов.

Культовые сцены в живописи Пенджикента нередко перерастали в своего рода групповые портреты. Это изображения процессий, движущихся к месту, где будет совершен обряд (такие процессии мы знаем по росписям храма II [см. 12, табл. XV — XVIII]), а также картины обрядовых пиров. Изображения пиров особенно ярко характеризуют общественное положение их участников.

Искусство Пенджикента показывает нам главным образом представителей высших слоев согдийского общества, включавших сословие знатных землевладельцев, известных арабо-персидским авторам под названием дехкан, и богатое купечество, а также жречество. Для представителей этих групп населения было важно зафиксировать свое положение в обществе, свое социальное лицо, что нашло отражение в точности передачи художниками сословных атрибутов и места каждого персонажа в той или иной церемонии.

В помещении 10 объекта I, т. е. в боковой капелле храма, изображены не только приносящий жертву жрец и его прислужники, но и пирующие знатные согдийцы с цветущими ветками и чашами в руках [12, табл. VII — X]. Около головы каждого — прямоугольное поле, в котором прослеживаются остатки согдийской надписи и летящее фантастическое существо. Кажется, эти существа — разные у каждого персонажа, но плохая сохранность росписей не позволяет утверждать это. Ранговые различия особенно четко видны на этой росписи. Жрецы изображены в большем масштабе, чем служки. Пирующие, в свою очередь, больше жреца. Жрец вооружен одним кинжалом, его помощники безоружны. Только кинжалом вооружен также музыкант, сидящий у жертвенника в росписи Варахши. Пирующие, как и правитель Варахши, вооружены кинжалом и мечом, но и эти представители воинского сословия не равны между собой. Фигуры слева от двери скромнее одеты и чуть меньше по масштабу, чем три фигуры на восточной стене, из всех пирующих выделяется богатой одеждой и особым кулахом, высоким головным убором, один вельможа. Возможно, что вся роспись фиксирует иерархию двора пенджикентского владетеля. Вельможа в кулахе и многоцветном кафтане мог быть самим правителем княжества. В найденных в 1968 г. во дворце на цитадели фрагментах росписей вокруг точно такого же высокого кулаха повязывают диадему с полумесяцем и крыльями по сторонам от него, т. е. царскую корону того типа, который в VI — VII вв. выработался у эфталитов под сасанидским влиянием. Из документов с горы Муг известно, что владетель Пенджикента Деваштич в течение трех лет считал себя царем Согда, до того именуясь лишь «господином Пенджикента» [14, стр. 90—91, 110]. В Варахше правитель также изображен без короны. И он был только «господином Бухары», но не имел титула MLK', как царь Согда.

На объекте XVI в богатом жилище в помещении 10 был открыт большой фрагмент росписи с изображением пирующих, около голов которых также находились прямоугольные поля с надписями, от которых, однако, остались только следы [26, табл. 143—145]. Разнообразные одежды пирующих особенно богаты. Тщательно переданы художником малейшие детали орнаментированных шелковых тканей, наборных поясов с позолоченными бляхами, кинжалов, золотых чеканных чаш и т. д. Но, несмотря на все их богатство, изображенные здесь люди не были представителями воинской знати: у них, как и у жрецов, есть только кинжалы, но нет мечей. Зато у каждого в отличие от жрецов был подвешен к поясу небольшой черный кошелек. Чувствуется, что эти отличия в костюме не случайны. Из документов с горы Муг мы знаем, что согдийцы делили гражданскую общину на три сословия: знать, купцы и работники [14, стр. 94—95, 100]. Вероятнее всего, в росписи объекта XVI в отличие от объекта I изображены именно пирующие купцы. Помещение 10 было своего рода капеллой одного из самых больших домов Пенджикента.

Такие капеллы с постоянным пристенным алтарем, напоминающим камин, имелись во всех богатых домах. Если в залах объект поклонения изображался вместе с молящимися, которые совершали жертвоприношения на переносных жертвенниках, то в капеллах изображения богов, как правило, не встречаются. Можно думать, что алтари были связаны с семейными культами.

В помещении 10 на выступе стены у алтаря изображен старик, опирающийся на посох, кинжала у него нет. Не исключено, что это жрец. Рядом с выступом помещен человек в плаще с каймой из полихромного шелка и темно-красной подкладкой, надетом поверх не

менее роскошного кафтана. У него и у остальных семи пирующих есть кинжал, но только на нем надет плащ. Как и в боковой капелле храма I, изображение того, кто одет богаче других, помещено ближе к алтарю. Однако здесь алтарь не нарисованный переносный жертвенник, а реальное постоянное сооружение из сырцового кирпича.

Украшенная живописью домовая капелла была обнаружена в 1965 г. на объекте XXI, самом большом из открытых в Пенджикенте аристократических домов. На стене около алтаря здесь были помещены батальные сцены, а напротив алтаря изображен балдахин, под которым сидят знатный согдиец и его супруга (рис. 14). Около балдахина нарисованы стоящие воины с мечами и кинжалами у пояса, а за ними — танцовщицы с длинными косами. Знатный согдиец — старик с окладистой бородой и длинными лежащими по плечам прядями волос. Поворот его головы и жест правой руки с поднятым указательным пальцем свидетельствуют, что старик обращается к своей жене с какой-то речью. Ее поднятая к уху ладонь передает внимание, с которым она слушает его слова. Сцена в целом кажется живой и непосредственной, но мужская фигура, если присмотреться к ней внимательно, оказывается составленной из нескольких плохо связанных друг с другом частей: голова несколько мала для плеч и корпуса, корпус непропорционален ногам, переход от показанных в фас ног к показанной в профиль талии прорисован весьма неловко. Руки и корпус как будто перенесены с изображения всадника (например, «Рустама» после победы над драконом). Наружный контур бедра и голени более похож на контуры ног у коленопреклоненных фигур, чем у фигур, сидящих со скрещенными ногами. Поза женщины сложнее, но здесь нет таких неувязок в композиции. Обе фигуры (особенно женщина) напоминают скульптурный портрет княжеской четы из Фундукистана [28, рис. 189—194]. Пенджикентский портрет несколько менее совершенен по композиции, но зато более динамичен. Согдийский художник не работал с натуры, но он стремился, комбинируя части разных канонических образцов, несколько отойти от стандартов.

Был ли это портрет заказчиков — владельцев дома? Такое предположение возможно, но нельзя исключить и другой вариант. Обе фигуры помещены напротив алтаря. Сложенное из сырцового кирпича возвышение (суфа) обходит вдоль стен и делает выступ около этого места (см. рис. 2, помещение № 4). В залах такой выступ суфы находится перед изображением божества на троне. Здесь ни масштаб, ни иконография изображений не позволяют видеть образы богов, но, с другой стороны, маловероятно, что владелец дома поместил свой портрет на том месте, где должен находиться объект почитания. Поэтому скорее здесь в семейном святилище мы видим изображения почитаемых предков. Это могли быть, например, умершие родители владельца, основавшие дом. По некоторым археологическим наблюдениям, между постройкой дома и нанесением этой росписи прошло около двух десятилетий.

Знатный вельможа объекта XXI одет скромнее, чем купцы. Надо, впрочем, отметить ковер из полихромной танской ткани, на котором сидят вельможа и его жена.

Если в империи шахиншахов Ирана искусство в своих основных памятниках предстает перед нами как официальное искусство династии Сасанидов, то в Согде, где не было централизованной монархии, существовало репрезентативное искусство таких ячеек общества, как отдельные семьи знати и купечества, а также целые городские общины без принципиальных различий между росписями в частных домах и во дворцах правителей. Оссуарии из некрополя Токкалы — скромного поселка северной окраины Хорезма — с их росписями, на которых изображен обряд оплакивания [10, стр. 85—112], показывают, что такое искусство проникало и в народную среду Средней Азии.

Полного цикла сцен со всеми церемониями, имевшими место в религиозной и общественной жизни Согда, дошедшие до нас памятники искусства еще не дали. Парадоксально, что наиболее цельное представление о таком цикле дает памятник, связанный с согдийцами, жившими далеко от своей родины. Это каменное погребальное сооружение, состоящее из пьедестала, украшенного статуями и рельефами, а также прямоугольных плит, карнизов и двух боковых пилонов ворот, украшенных только рельефами [33]. Все эти части, хранящиеся в разных музеях, были найдены в Северной Хэнани неподалеку от Чжандэфу. Подлинную дату рельефов (третья четверть VI в.) и их связь с согдийцами установила Г. Скалья в 1958 г., хотя из согдийского искусства ей были известны лишь оссуарий из Бия-Наймана и несколько терракотовых статуэток. Сейчас широко известны многие произведения согдийского искусства, и все они подтверждают правильность определения Г. Скалья.

Рельефы плит и пилонов выполнены местным мастером, но по согдийским образцам. На пилонах ворот была изображена процессия вооруженных мечами людей, во главе которых идет какой-то вельможа в похожем на шлем головном уборе; фигура вельможи выполнена в более крупном масштабе, чем остальные.

За ним следуют две пары людей с обнаженными головами и еще два человека, также в шлемоподобных головных уборах, но меньшего масштаба, чем первый вельможа. Далее идут еще пятеро людей с обнаженными головами. Позади ведут пару оседланных коней. На торцовой стене пилона со стороны прохода композиция заканчивается сценой жертвоприношения. Перед пенджикентского типа жертвенником, на котором горит огонь, стоит жрец с высоким посохом. Рот жреца прикрыт особой повязкой, меча у него нет.

На плитах рельефы разделены на три поля, в среднем — процессия всадников и пеших с флагами и музыкальными инструментами. По высоте композиция среднего поля делится на горизонтальные пояса, каждый из которых занят рядом фигур со ступнями ног, помещенными на одном уровне. На каждом рельефе один из всадников выделен тем, что над его головой держат зонт. На боковых полях внизу показаны пешие участники процессии, направляющиеся к дверям какой-то галереи. Некоторые из них ведут в поводу коней и держат зонт, один несет блюдо с подношениями. Средняя часть бокового поля занята изображением павильона или виноградной беседки, внутри которой идет пир. Скрестив ноги (или подогнув одну ногу под себя), сидит с чашей вина хозяин пира, окруженный коленопреклоненными (точнее, сидящими на собственных пятках), а также стоящими и идущими к нему мужчинами и женщинами свиты. В свите много музыкантов и людей, несущих кувшины и подносы с угощениями или какими-то другими дарами. Над крышей павильонов летят птицы, головы которых окружены нимбом, а на шее — ленты.

Интересно, что в иконографии тех общественных церемоний, которые представлены на рельефах, нет никакой буддийской специфики, хотя, по мнению Г. Скалья, это буддийский памятник.

Канон изображений был связан не с ритуалом какой-то конкретной религии, а с обычаями, следы которых отмечаются в среднеазиатской этнографии. Процессия всадников и пеших, жрецы с переносным жертвенником, оседланный конь, которого ведут в поводу, есть и на росписи храма II Пенджикента, где роль собственно религиозной иконографии довольно скромна. Для художника и для зрителя отношения между участниками обряда, отражающие общественное положение людей, были важны и сами по себе, независимо от религиозного содержания ритуала.

Поминальные обряды, изображенные на каменных рельефах погребального сооружения, по своим видимым проявлениям не отличаются от процессий, жертвоприношений, торжественных приемов и пиров, которые устраивались по другим поводам. Поминальный характер обряда и пира, изображенных в помещении 10 храма I, где, как мы уже говорили, можно предполагать изображение правителя Пенджикента и его двора, устанавливается, хотя и предположительно, по ветвям с желтыми цветами в руках и на головных уборах пирующих. В недавнем прошлом таджики некоторых горных районов, сохранившие в своем быту много обычаев доисламской Средней Азии, втыкали желтый цветок в чалму умершего, если умерший был молод. Причем желтый цветок считался знаком печали. Не только пиры, но и пляски входили в погребальный обряд, так же как они входили и в другие церемонии. Об этом свидетельствуют прежде всего изображения пирующих с цветами в руках и танцовщиц на стенках оссуариев.

Процессия и торжественный прием — сюжеты росписей VII в., недавно открытых на Афрасиабе в Самарканде [22, стр. 12—22; 17, рис. 11; 12]. Стиль этих росписей отличается от обоих стилей живописи Пенджикента. Их композиция и некоторые особенности иконографии находят параллели в каменных рельефах. Здесь тоже ряды фигур расположены один над другим так, что ноги коней верхнего ряда помещены над головами персонажей нижнего ряда. И здесь есть люди с повязкой около рта, есть оседланный конь, есть павильон, к которому подходит процессия, а на другой стене, в сцене приема, в нижней части композиции стоят с дарами в руках или идут друг за другом, направляясь в глубину изображенного пространства (т. е. зрительно поднимаясь к сидящим в коленопреклоненной позе участникам обряда, показанным в верхнем ряду), представители разных народов, прибывшие к государю Самарканда. Некоторых из них можно узнать по характерным костюмам и типу лица, других — по согдийским надписям, поясняющим живопись. Судя по фрагментам, на Афрасиабе были и изображения воинов в доспехах. В надписи от имени одного из послов упоминается, что он осведомлен о богах Самарканда. Возможно, что вся композиция была посвящена не царскому приему посольств, а церемонии в храме с участием иноземных послов. Верх середины сцены не сохранился, между тем именно здесь были основные персонажи, к которым обращены остальные фигуры. В Пенджикенте это место, середина стены над выступом суфы, почти во всех залах было отведено для изображения божеств с предстоящими.

Убранство дворца должно было показать как гостям, так и потомкам место его хозяина в мире, которое определялось по отношению

к богам и людям, к сородичам и чужестранцам, к чтимым героям прошлого и современникам. Знаменитый рассказ «Тан-шу» о здании в городе Кушании на Зеравшане, на северной стене которого были изображены императоры срединного государства, на восточной — ханы тюрок и владетели Индии, а на западной — государи Ирана и Византии, частично находит материальное подтверждение в Красном зале Варахши с фигурами индийских царей, сидящих на слонах [23, табл. II — X]. Правитель Кушании совершал обряд преклонения перед росписями этого здания. Стремление к точной передаче физического типа и одежды иноземцев видно в изображениях как танских чиновников в Пенджикенте [6, стр. 94, рис. 6] и на Афрасиабе, так и индийских брахманов в Пенджикенте [19, табл. XIII — XV]. Для согдийцев — народа, который был знаменит своей торговой и колонизационной деятельностью,— естествен такой интерес к чужестранцам.

Мир, представленный на согдийских росписях, имел не только пространственное, но и временное измерение. Если в династийном искусстве прошлое — это деяния предков царя, то городское искусство Пенджикента чаще искало «образцы доблести» в литературных эпических произведениях, как оригинальных, так, видимо, и переводных. Наряду с современниками художники изображали героев прошлого, которых показывали богоподобными. Выражалось это по-разному: бо́льшими масштабами фигур, нимбами вокруг головы, языками пламени у плеч или особым типом лица, восходящим к иконографии грозных божеств. Есть много градаций этих признаков, которые создают постепенный переход от образа божества к образу простого человека. Некоторые из таких признаков есть у изображений современных художнику государей, но более характерны они для эпических композиций. В Пенджикенте в сводчатых помещениях 55 и 42 объекта VI, которые принадлежали к тому же жилищу, что и зал 41 с росписями, посвященными подвигам «Рустама», на всю высоту их боковых стен под сводами и на торцовых стенах были изображены фигуры спешившихся воинов высотой около 2,5 *м* [8, стр. 105, рис. 15].

Иконография героев здесь отличается от той, которая принята в зале 41. У лучше других сохранившейся фигуры воина на северной стене (рис. 15) не меньше атрибутов божественности, чем у такого бесспорного изображения бога, как танцующий синий «Шива»: над плечами героя поднимаются языки пламени, голова окружена нимбом. В то же время поза воина, который делает выпад мечом, придерживая ножны левой рукой, его доспехи из прошнурованных стальных пластинок, ожерелье в виде головы дракона, шлем с наушниками, кольчужная сетка на затылке и на предплечьях, наборный пояс, кинжал — все эти особенности достоверно и подробно передают облик согдийского воина, который мы знаем и по росписям залов, где, однако, у воинов нет нимбов и пламени за плечами.

Воин из сцены поединка на восточной стене того же помещения 55 направил копье в своего противника, но сам он поражен стрелой, которая пробила ему грудь и вышла из спины. Сердце воина нанизано на древко стрелы. Победа стрелка из лука над воином с копьем в руках — эпизод какого-то сказания, которое было популярно в Согде. Этот эпизод известен по рельефу серебряной чаши, найденной в селении Кулагыш, и по росписям помещения 1 объекта VI в Пенджикенте, где он входит в цикл из нескольких сцен, иллюстрирующий целую эпопею.

На южной стене помещения 55 была дверь; рядом с нею в том же масштабе, что и фигуры на восточной и северной стенах, о которых уже шла речь, изображена женщина с мечом в руке и кинжалом у пояса [8, стр. 106, рис. 16]. Одета женщина в платье с пышными складками. За проходом на той же стене, но на ее противоположной поверхности, обращенной в соседнее помещение 42, в таком же крупном масштабе изображен поединок воинов в тяжелом вооружении. Один из этих воинов, сражающийся мечом,— молодая женщина с волосами, заплетенными в две длинных косы. Вероятно, это та же амазонка, что и в помещении 55. Здесь снова мы сталкиваемся с сюжетом, который засвидетельствован в Пенджикенте дважды.

В 1964 г. на объекте XXI были открыты росписи главного зала — помещения 1. Второй снизу регистр живописи был посвящен битве с амазонками [86, табл. 29—32]. В мировом эпосе известно немало женщин-воительниц. Характерен этот мотив и для эпического творчества народов Ирана и Средней Азии. Можно привести немало примеров из «Шах-наме», тюркского эпоса «Огуз-наме», каракалпакской эпопеи «Кырк-кыз», узбекской поэмы об Алпамыше и т. д.

На росписи объекта XXI, к сожалению, сохранилась только нижняя половина композиции, изображавшей сражение всадников и всадниц. Мы видим лежащих под ногами скачущих коней убитых и раненых, беспомощные позы которых переданы разнообразно и с сочувствием. Среди поверженных есть и женщины. Одна из них уже мертва, она упала навзничь, голова ее закинута назад; другая, раненная, пытается опереться на локоть; третью несут на ковре два пеших воина. Освобожден-

ное от доспехов полуобнаженное тело с кровавой раной на груди и бессильно лежащие руки, контрастирующие с сильными руками воинов, которые держат ковер за углы, прекрасно передают основную идею амазонкомахии в классическом изобразительном искусстве: сожаление о красоте, погубленной грубой силой, и одновременно восхищение идущими навстречу гибели амазонками.

В согдийском искусстве мы видим не только воспевание побед, без которого не может быть героического эпоса, но и прославление доблестной смерти, свойственное самым возвышенным из эпических произведений. Согдийцы, собиравшиеся на пир в зале с эпическими росписями, видели на стенах вокруг себя воплощение идеала воинской доблести и самопожертвования.

Но в некоторых залах, например в зале 41 объекта VI, украшенном росписями с подвигами «Рустама», и в зале 1 объекта XXI, где были размещены росписи с амазонками, внимательный гость увидел бы внизу стен отчасти заслоненные сосудами с вином и корзинами с фруктами росписи, отражающие совсем другие этические критерии, которые, по-видимому, не входили в официальную мораль. Нижний ярус росписей иллюстрирует хитрость, недоверчивость и осторожность, которые, несомненно, помогали согдийцам в их деловой жизни. Краски здесь гораздо скромнее, чем в верхних ярусах, одежда передана обобщенно, масштаб изображений гораздо меньше, чем наверху. Есть и композиционные отличия: для каждого небольшого рассказа, иногда даже для отдельного эпизода отведено прямоугольное поле, ограниченное не только горизонтальными, но и вертикальными рамками. Далеко не все сюжеты этих росписей могут быть определены, но ясно, что в упомянутых залах представлены иллюстрации к двум знаменитым сборникам притч: басням Эзопа и «Панчатантре». В открытом в 1964 г. помещении 1 объекта XXI изображен сюжет басни Эзопа о гусыне, которая несла золотые яйца [24]. В рамку включены три эпизода (рис. 16). Справа показан сидящий мужчина, который держит в руке золотое яйцо. Рядом — еще несколько таких яиц. Перед мужчиной стоит гусыня (или, скорее, утка). В центре композиции человек режет птицу, чтобы достать все то золото, которое в ней есть. Слева он сидит, грустно опустив голову и приложив руку ко лбу,— размышляет о своей неудаче, поскольку золота в птице не оказалось [8б, табл. 33, 34].

Неподалеку от этой сцены на той же стене проиллюстрирована притча из «Панчатантры» о льве и зайце. Перед сидящим львом изображен заяц, который, подняв лапу, обращается к льву (рис. 17) [5]. За спиной зайца снова показан лев, который прыгает куда-то вниз головой. (По притче, заяц ловким обманом освободил зверей от льва, которому каждый день приводили на съедение какое-нибудь животное. Когда очередь дошла до зайца, он пошел без провожатого и сказал льву, что он не тот заяц, который был назначен на съедение, а другой, провожатый. По дороге им якобы встретился другой лев, отнявший предназначенного на съедение зайца. Заяц обещал показать льву его соперника, а затем подвел его к водоему и показал отражение в воде. Приняв свое отражение за конкурента, лев прыгнул в воду и утонул.)

В зале 41 объекта VI в живописи нижнего яруса также имеются сюжеты из «Панчатантры». В частности, здесь представлен и основной сюжет первого раздела «Панчатантры» о шакале, поссорившем друживших между собой льва и быка.

Интереснейшая проблема для историка культуры Средней Азии — вопрос о том, что иллюстрировали художники Согда: устные рассказы или литературные произведения. Светская литература Согда известна по небольшим отрывкам из эпоса о Рустаме, эзоповских басен и притч из «Панчатантры» [29]. Одна из притч известна по предисловию сасанидского переводчика Барзуе к «Калиле и Димне», но не по индийской «Панчатантре». Все эти литературные произведения, хотя и по другим, чем в согдийских текстах, эпизодам, опознаются в росписях Пенджикента. Такое совпадение данных текстов и живописи, относящихся к светской культуре, особенно подчеркивает поразительное несоответствие между согдийскими религиозными текстами, связанными с мировыми религиями, и своеобразной пенджикентской культовой иконографией. На согдийской почве с ее богатыми местными традициями встретились мудрость Запада и мудрость Востока. В религиозной жизни христианство соседствовало с буддизмом, в литературе — классические басни Эзопа с притчами «Панчатантры». Особенно популярны были индийские сюжеты сказок и басен, поэтому много раз появляется в росписях нижнего яруса образ индийского аскета.

Возможно, что стенные росписи Пенджикента в ряде случаев отражают раннюю традицию иллюстрирования книг, о которой мы знаем по остаткам манихейских книг из Восточного Туркестана и по литературным свидетельствам. В древнейших рукописях «Калилы и Димны», относящихся к XIV в., имеются ил-

[5] Прилагаемый рисунок 17 — лишь схема композиции. Оригиналы еще проходят реставрацию.

люстрации к тем же эпизодам, что и в росписях Пенджикента. Судя по предисловию Ибн ал-Мукаффы, жившего в VIII в., переводчика этого сборника на арабский язык, книга уже тогда имела иллюстрации.

Сюжеты пенджикентской живописи гораздо разнообразнее того репертуара, о котором можно судить по сохранившимся отрывкам произведений литературы. В композициях нижнего яруса встречаются и фривольные сцены (полуголый босой юноша, опрокинув светильник, убегает от ложа, на котором под одеялом лежит женщина [6]), и фантастические сюжеты (охота на семиглавого волка, появление дриады из ствола срубленного дерева [см. 7, стр. 58—61]), и сюжеты бытовых сказок (судья-аскет, перед которым находятся эталоны мер: линейка, кувшин, весы-безмен — разбирает спор двух тяжущихся, причем первый из них передает судье что-то похожее на слиток золота или золотую монету [см. 8б, табл. 15]).

Эпическое творчество согдийцев также не исчерпывается сказаниями о Рустаме, которые были известны и другим иранским народам. В 1966—1967 гг. на объекте XXII в том же помещении, где в нише напротив входа был открыт образ трехглавого бога, на стенах по сторонам ниши обнаружена полоса росписей, связанных с эпосом (рис. 18). Два воина — один в кольчуге, а другой в кафтане поверх кольчуги — вступили в поединок. Из последовательных сцен росписи видно, что они дважды сталкивались на конях, затем на коне остался только воин в кольчуге, а его противник попытался продолжить бой пешим, но удар копьем в грудь помешал ему вытащить меч. Воин в кафтане упал, а воин в кольчуге спешился и пытается связать своего противника, несмотря на то, что ему на спину с крыши замка сбрасывают камни. На крыше показаны две человеческие фигуры, из которых одна похожа на женскую. В воротах замка вместо изображения створок ворот помещена многострочная надпись, поясняющая изображение. В. А. Лившиц, который работает над расшифровкой этой надписи, допускает, что она представляет собой отрывок стихотворного текста. Имена героев не находят аналогий в иранском эпосе. Архитектура замка очень близка к архитектуре реальных зданий Средней Азии VII — VIII вв., а также и к изображению крепости на знаменитом серебряном блюде со сценой осады [16, табл. 20]. Роспись объекта XXII может служить еще одним подтверждением принятой в советской науке среднеазиатской атрибуции блюда.

Обилие точных деталей при особенно тщательной передаче оружия и предметов роскоши, замедленность действия и повторы сходных ситуаций в иллюстрациях к эпосу контрастируют со скупостью деталей и общим лаконизмом иллюстраций к басням и притчам. Живопись здесь полностью сохраняет особенности литературных жанров, а преобладание в росписях эпических мотивов показывает нам иерархию этих жанров в Согде. Гедонистическая лирика в ранней новоперсидской литературе выступает как в виде отрывков, включенных в эпопеи, так и самостоятельно. В более древней согдийской живописи мы находим в нижнем ярусе зала 41 объекта VI рядом с иллюстрациями к сказкам и притчам несколько композиций, на каждой из которых показаны беседующие юноша и девушка [4, стр. 215, рис. 21]. Эти композиции, как и аналогичные им по общей схеме росписи более поздней персидской керамики XII — XIII вв., не иллюстрируют конкретное сказание, но отражают любовную тему обобщенно. Небольшие фигурки музыкантш и танцовщиц на фризе из помещения 42 объекта VI [6, стр. 91, рис. 5] находились над огромными изображениями сражающихся воинов, о которых шла речь выше. В системе росписей помещения 42 особенно ясно видна подчиненная роль лирических мотивов в искусстве Согда. Есть и другие примеры мелкомасштабных изображений, которым не придавалось значения в общей композиции зала. Таковы, в частности, динамичная сцена танца из помещения 11 объекта VII и сцена «спортивной борьбы» из объекта XVII (рис. 19).

Живопись Пенджикента отражает не только и не столько ритуалы определенного культа или этикет двора местных правителей, сколько духовные запросы горожан (в том числе их литературные интересы и проникнутую обрядовой торжественностью общественную жизнь). Отсюда такой интерес к изображениям донаторов в храмах и в домах, отсюда и повествовательность живописи с ее преимущественно светским характером, с ее четко выраженной иерархией жанров. Росписи дворца и храмов предстают в Пенджикенте как закономерные варианты более широкого культурного явления — искусства согдийского города.

В этой статье, посвященной новым памятникам, открытым в Пенджикенте, нам хотелось показать, как по мере роста числа найденных произведений намечается переход от изучения отдельных частностей к более общему пониманию согдийской системы представлений о мире и о человеке, системы, которая отразилась в росписях домов и храмов.

[6] Такого рода сцены очень редки в строгом репертуаре пенджикентских росписей. Трактовка этой сцены как эпизода из «Шах-наме» не соответствует изображенной ситуации [см. 12, табл. XXX].

1
3. Альбаум Л. И., Балалык-тепе, Ташкент, 1960.
. Бадер О. Н., Камская археологическая экспедиция,— КСИИМК, 55, М., 1954.
4
. Беленицкий А. М., Древний Пенджикент (основные итоги раскопок 1954—1957 гг.),— СА, 1959, № 1.
6
. Беленицкий А. М., Об археологических работах Пенджикентского отряда 1958 г.,— «Труды Института истории АН ТаджССР», т. XXVII, Душанбе, 1961.
7
. Беленицкий А. М., Результаты работы Пенджикентского отряда в 1957 г.,— «Труды АН ТаджССР», т. 103, Душанбе, 1959.
8. Беленицкий А. М., Результаты раскопок на городище древнего Пенджикента в 1960 г.,— «Труды Института истории АН ТаджССР», т. XXXIV, Душанбе, 1962.
8а. Беленицкий А. М., Маршак Б. И., Стенные росписи, обнаруженные в 1970 году на городище древнего Пенджикента,— «Сообщения Государственного Эрмитажа», вып. XXXVI, Л., 1973.
8б. Беленицкий А. М., Монументальное искусство Пенджикента. Живопись. Скульптура. М., 1973.
9. Борисов А. Я., К истолкованию изображений на Бия-Найманских оссуариях,— ТОВЭ, т. II, Л., 1940.
10. Гудкова А. В., Ток-кала, Ташкент, 1964.
11. Дьяконова Н. В., Смирнова О. И., К вопросу о культе Наны (Анахиты) в Согде,— СА, 1967, № 1.
12. Живопись древнего Пенджикента, М., 1954.
12а. Кругликова И. Т., Сарианиди В. И., Древняя Бактрия в свете новых археологических открытий,— СА, 1971, № 4.
12б. Кругликова И. Т., Раскопки советской археологической экспедиции в Северном Афганистане,— «Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР», Ташкент, 1973.
13. Кызласов Л. Р., Археологические исследования на городище Ак-Бешим в 1953—1954 гг.,— Тр. КАЭЭ, т. II, М., 1959.
14. Лившиц В. А., Юридические документы и письма (Согдийские документы с горы Муг, вып. II), М., 1962.
15. Луконин В. Г., Кушано-сасанидские монеты,— ЭВ, вып. XVIII, 1967.
15а. Негматов Н. Н., О живописи дворца афшинов Уструшаны (предварительное сообщение),— СА, 1973, № 3.
16. Орбели И. А., Тревер К. В., Сасанидский металл, М.— Л., 1935.
17. Пугаченкова Г. А., Самарканд, Бухара, М., 1968.
18. Пугаченкова Г. А. и Ремпель Л. И., Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана, Ташкент, 1960.
19. Скульптура и живопись древнего Пенджикента, М., 1959.
20. Смирнов Я. И., Восточное серебро, СПб., 1909.
21. Труды Таджикской археологической экспедиции ИИМК АН СССР, Таджикского филиала АН СССР и Гос. Эрмитажа, т. I,— МИА, № 15, М., 1950.
22. Шишкин В. А., Афрасиаб — сокровищница древней культуры, Ташкент, 1966.
23. Шишкин В. А., Варахша, М., 1963.
24. «Aesopica», ed. by B. E. Perry, 1952, № 87.
25. Banerjee J. N., The Development of Hindu Iconography, Calcutta, 1956.
26. Belenitski A., Asie Centrale. Ed. Nagel, Paris — Genève, 1968.
27. Göbl R., Documente zur Geschichte der iranischen Hunnen, Wiesbaden, Bd I—IV, 1967.
28. Hackin J., Le monastère boudhique de Fondukistân,— MDAFA, vol. VIII.
29. Henning W. B., Sogdian Tales,— BSOAS, 1965, XI, 3.
30. Livshits V. A., The Khwarasmian Calendar and the Eras of Ancient Chorasmia. Acta antique Ac. sc. Hungarica, t. XV, fasc. 1—4, Budapest, 1968.
31. Mustamindi Sh., The Fish Porch, Kabul, 1968.
32. Rowland B., The Tyche of Hadda,— «Oriental Art», 1966, XII, 3.
33. Scaglia G., Central Asians on a Northen Ch'i Gate Shrine,— «Artibus Asiae», 1958, vol. XXI, pt 1.
34. Stein M. A., Ancient Khotan, vol. II, Oxford, 1907.
35. Stein M. A., Andrews H., Wall-Painting from Ancient Shrines in Central Asia, London, 1948.
36. «Textes sogdiens, édites par E. Benveniste», Paris, 1940.

О. Г. Большаков

ХРОНОЛОГИЯ ВОССТАНИЯ МУКАННЫ

Восстание Муканны, одно из крупнейших событий в истории Средней Азии VIII в., долгое время не привлекало внимания исследователей[1]. Впервые оно было детально рассмотрено в работе Г. Садиги (1938 г.) о религиозных движениях в Иране во II—III вв. хиджры [23, стр. 165—186]. В советской историографии его изучение началось, по существу, со статьи А. Ю. Якубовского, вышедшей в 1948 г.[2] [11, стр. 35—54] (работа Г. Садиги не была ему известна). В отличие от Г. Садиги А. Ю. Якубовский обратил особое внимание на социальные корни восстания и конкретные исторические причины, обусловившие его характер и размах. Но сам ход восстания был освещен хуже, чем у Г. Садиги, так как А. Ю. Якубовский опирался в основном на сведения Наршахи, а важнейшие источники — сочинения Бал'ами и Ибн ал-Асира — остались неиспользованными[3].

Большинство наших историков, касавшихся этого восстания после А. Ю. Якубовского, основывались на его работах [см. 8, стр. 443—444; 6, стр. 116—119]. Только его ученица Т. Кадырова обратилась к источникам и, привлекши Бал'ами и Ибн ал-Асира, дала более полную картину событий [7, стр. 117—132]. Правда, и она использовала не все доступные источники, а главное — оказалась в плену противоречивых сведений средневековых историков.

Впрочем, отсутствие четкой хронологической основы характерно для всех исследований восстания Муканны. Меньше всего грешит этим Г. Садиги, но и у него встречаются некоторые несоответствия.

Остановимся на последовательности событий периода восстания в изложении Т. Кадыровой. Подготовка восстания — с 769 г. Бегство Муканны из Мерва в Мавераннахр. Смещение ал-Мансуром Хумайда и назначение Абу Ауна Абд ал-Малика[4] — 775 г. Назначение Джабриила б. Яхйи наместником Самарканда — 775 г. Захват Самарканда Джабрилом. Присылка Абу Ауном подкреплений во главе с Укбой[5]. Сражение под Термезом. Захват восставшими Чагианиана и Нахшаба. Гибель брата Джабриила — Йазида. Смерть ал-Мансура — 159/775 г. Смещение Абу Ауна и вторичное назначение Хумайда. Борьба с «людьми в белых одеждах» под Наршахом — апрель 776 г. Прибытие в Мавераннахр Му'аза б. Муслима[6] с войском — 776 г. Восстание Йусуфа ал-Барма — 776—777 гг. Захват Самарканда повстанцами. Прибытие Му'аза б. Муслима в Мерв — 777—778 гг. Сражение под Самаркандом. Отставка Му'аза. Взятие Са'идом ал-Хараши Самарканда после двухлетней осады. Назначение наместником Мусаййаба б. Зухайра — начало 780 г. Покорение долины Кашкадарьи Са'идом ал-Хараши и Мусаййабом. Начало осады крепости Муканны. Наступление зимы. Назначение Са'ида ал-Хараши главнокомандующим и отъезд Мусаййаба в Мерв. Сдача брата Муканны. Сдача гарнизона внешней крепости. Самоубийство Муканны — 167/783 г.

При внимательном чтении этого перечня событий нетрудно заметить ряд несообразностей, которые автор никак не оговаривает. Ху-

[1] Сведения о нем имеются у Брауна [15, стр. 318—323]; два десятка строк уделил ему и В. В. Бартольд в «Туркестане» [2, стр. 257—258], больше не возвращавшийся к этой теме.

[2] Текст этой статьи почти буквально повторен в [5, стр. 174—177, 192—203]. До этого в 1944 г. вышла брошюра С. Айни [12], но она имела популярный характер и не оказала влияния на последующие исследования восстания Муканны.

[3] Первая половина «Зайн ал-ахбар» Гардизи [37], содержащая систематические и достоверные сведения о восстании, была издана только в 1954 г., через год после смерти А. Ю. Якубовского.

[4] У Т. Кадыровой — Абу Айун [7, стр. 119].

[5] У Т. Кадыровой — Укаба [7, стр. 122].

[6] У Т. Кадыровой (как и у А. Ю. Якубовского) — Мааз.

майд б. Кахтаба не был смещен ал-Мансуром, как утверждает Т. Кадырова, а умер наместником в ша'бане 159/25.V—22.VI. 776 г., т. е. через полгода после смерти ал-Мансура, и оставил своим преемником сына [18, стр. 221; 19, стр. 463; 37, стр. 99]. Абу Аун не мог быть наместником в 775 г., так как его назначил уже ал-Махди [7]. Явной ошибкой кажется двукратное упоминание прибытия Му'аза с войском в Мавераннахр: то в 776, то в 777—778 гг.[8] Этих хронологических ошибок достаточно, чтобы подвергнуть сомнению весь порядок изложения событий восстания Муканны.

Установить истинное расположение событий во времени можно только путем критического сопоставления всех доступных нам в настоящее время источников. До сих пор только Г. Садиги пытался серьезно анализировать источники, содержащие сведения о восстании Муканны. Он выделил три основные исторические традиции (A, B, C) и одну смешанную. За основу отнесения источников к той или иной традиции было взято имя Муканны (Ата, Хаким, Хашим) [23, стр. 167—169]. Эта классификация оказалась неудачной, так как Бал'ами и Наршахи, сведения которых, по словам самого Садиги, восходят в общему источнику, оказались в разных группах, а совершенно независимые друг от друга ал-Джахиз («Байан ва табйин»), Наршахи и ал-Хоризми («Мафатих ал-'улум») — в одной.

Заслуга Г. Садиги в том, что он выявил почти все известные в то время источники, сейчас мы можем добавить к ним только «Зайл ал-ахбар» Гардизи, сведения которого в основном совпадают с тем, что известно по Ибн ал-Асиру, но несколько подробнее; главное у Гардизи — синхронизация некоторых событий, позволяющая заново пересмотреть данные других авторов.

Все известные нам источники по содержанию (не по происхождению) сведений о восстании можно разделить на три группы: 1) только упоминающие восстание; 2) интересующиеся только личностью Муканны и его вероучением; 3) содержащие сведения о ходе восстания.

Число источников первой группы трудно точно установить, да они и не заслуживают специального внимания, хотя их сведения порой помогают датировать некоторые моменты восстания. Вторая группа также довольно многочисленна: ал-Джахиз («Байан ва табйин»), Мутаххар ал-Макдиси, ал-Бируни («Асар»), ал-Багдади («Фарк»), ал-Исфараини, Низам ал-Мулк, аш-Шахристани, Ибн ад-Да'и, Ауфи («Муджмал»), Бар Гебрей («Мухтасар»), Ибн Халликан, Абу-л-Фида («Мухтасар»)[9]. Сведения большинства этих авторов повторяются, так как они либо берут их из общего источника, либо заимствуют друг у друга. Г. Садиги удалось наметить несколько линий заимствования: 1) Ибн Халликан ⟶ Абу-л-Фида; 2) ал-Макдиси ⟶ Бар Гебрей; 3) ал-Багдади ⟶ ал-Исфараини ⟶ Ибн ад-Да'и ⟶ аш-Шахристани ⟶ Хамдаллах Казвини [23, стр. 168].

Авторов второй группы интересовало прежде всего вероучение Муканны, притязание на божественность и лжечудеса, применявшиеся им для укрепления веры его последователей. Почти все уделяют внимание самоубийству Муканны, но только ал-Багдади сообщает некоторые подробности о ходе восстания.

Все сведения о ходе восстания мы получаем из сочинений шести авторов третьей группы: ал-Йа'куби («Булдан»), ат-Табари, Наршахи, Бал'ами, Гардизи и Ибн ал-Асира, а по существу — из сочинений четырех последних, так как ат-Табари чрезвычайно краток. Начало восстания он относит к 161/777-78 г.:

«Среди того, что произошло в этом году, было выступление Хакима ал-Муканна в Хорасане в одной из деревень Мерва. Как сообщают, он говорил о переселении душ, относя это к себе. Он ввел в заблуждение множество народу, усилился и перебрался в Мавераннахр. Для борьбы с ним ал-Махди послал несколько военачальников, и среди них Му'аза б. Муслима, который был тогда наместником Хорасана, а с ним Укбу б. Муслима, Джабриила б. Йахйу и Лайса, *мавлю* ал-Махди. Потом ал-Махди поручил войну с ним одному Са'иду ал-Хараши, придав ему этих военачальников. И начал ал-Муканна собирать продукты, готовясь к осаде в замке около Кеша» [13, стр. 484].

Гибель Муканны ат-Табари относит к 163/779-80 г.:

«Среди того, что произошло в этом году,— гибель ал-Муканны. Дело было так: Са'ид ал-Хараши осадил его под Кешем, и стало ему тяжко в осаде. Когда он почувствовал свою гибель, то выпил яду и напоил им своих жен и близких, умер сам, и, как сообщают, умерли

[7] Абу Аун был наместником Хорасана и до этого, со 146/763-64 г. примерно до октября 766 г., Халифа б. Хайят [19, стр. 463] помещает его непосредственно перед Хумайдом, но, по сведениям Хамзы ал-Исфахани [18, стр. 221] и Гардизи [37, стр. 97], между ними были другие наместники, правившие недолго и поэтому зафиксированные не у всех историков. Восстание же Муканны началось явно позднее 766 г.

[8] Согласно всем источникам, Му'аз б. Муслим был назначен наместником в конце 777 г. и прибыл в Мерв в начале 778 г.

[9] Муканна упоминается и у более поздних авторов (например, у Ибн Халдуна и Хондемира), но сведения их заимствованы из перечисленных источников.

все они. Мусульмане вошли в его крепость, отрубили ему голову и послали ее ал-Махди, который был тогда в Халебе» [13, стр. 494] [10].

Остальные авторы этой группы говорят о восстании значительно подробнее, являясь основными источниками наших сведений о нем. К сожалению, наиболее ранние и подробные сочинения Наршахи (943-44 г.) и Бал'ами (963 г.) подверглись сильной переработке и дошли до нас в искаженном виде. В «Истории Бухары» самому Наршахи принадлежит, по-видимому, только рассказ о событиях в Бухарском оазисе, происходивших на его родине в Наршахе и соседнем Бумиджкете [11]. Его переводчик и редактор Кубави счел это недостаточным и добавил сведения, заимствованные из «Хӑаза'ин ал-'улум» Нишабури и книги некоего Ибрахима о Муканне [12]. Впоследствии сочинение не раз сокращалось и переделывалось, так что утратились границы вставок, да и сам текст оказался местами изуродованным. Так, самое начало раздела о Муканне состоит из обрывков; сархангом Абу Муслима оказывается то Муканна, то его отец; в нескольких местах нарушена логика изложения. Состояние текста заставляет нас осторожно использовать содержащиеся здесь сведения, тем более что их уникальность затрудняет проверку достоверности [13]. Наиболее достоверной и оригинальной частью главы является рассказ о событиях в Бухарском оазисе. Вторая половина главы, как и ее начало, компилятивна и искажена сокращениями, с той только разницей, что большинство содержащихся в ней сведений встречается в других источниках.

В «Истории Табари» Бал'ами глава о восстании Муканны относится к добавлениям переводчика. Источник, из которого заимствованы эти сведения, точно неизвестен, можно только предполагать, что его использовал также Кубави [14]. Состояние текста Бал'ами характеризовать труднее из-за отсутствия критического сводного текста. Многочисленные рукописи сочинения (они имеются во всех более или менее крупных коллекциях персидско-таджикских рукописей) дают массу вариантов, до сих пор никем полностью не учтенных [15].

Интересующий нас раздел имеется не во всех рукописях [16]. Наиболее распространенный его вариант представлен в литографированных индийских изданиях, а также рукописями ИВАН СССР В 4485 и Д 82. Самый полный вариант, насколько нам известно, дают ркп. ИВАН СССР С 432 и Д 223, ркп. ИВАН УзССР № 6095 [9, № 3467] и рукопись Национальной библиотеки в Вене Mxt 374 [23, стр. 164].

В первом варианте начало раздела (*фасл*) явно искажено неумелым сокращением [28, стр. 741; 29, л. 677а; 30, л. 260а; 32, л. 467б; 33, л. 383б]. Оно начинается с назначения Джабриила б. Йахйи наместником Хорасана (так!) и прибытия его в Согд для подавления восстания. «Потом, когда Абу Муслим был убит, Абу Джа'фар [ал-Мансур] выбрал человека, который был великим *сархангом* и витязем, по имени Джабриил б. Йахйа, и послал его в Хорасан ... потом оттуда он направился в Самарканд и Бухару, а в Хорасане оставил заместителя по имени Абд ал-Малик... а Самарканд в то время находился в руках Муканны, который был царем Согда».

Разрыв во времени между гибелью Абу Муслима (755 г.) и назначением Джабриила наместником Самарканда (776 г.) слишком велик, чтобы эти события можно было объединить в одной фразе [17]. В венской и ташкентской рукописях, судя по ссылкам, также отсутствуют какие-либо сведения о первом периоде восстания (до прибытия Джабриила б. Йахйи). Зато о военных действиях под Самаркандом и в долине Кашкадарьи Бал'ами рассказывает подробнее, чем кто-либо другой. К сожалению, ни одно из описываемых им событий не датировано. Единственное соотнесение двух событий — начало осады крепости Муканны Му'азом б. Муслимом и восшествие на престол ал-Махди — является явным анахронизмом. Поэтому важно датировать их при по-

---

[10] Текст ат-Табари почти полностью совпадает с ал-Йа'куби [14, стр. 303—304], но мы привели текст ат-Табари, так как в нем события датированы по годам.

[11] Насколько можно судить по сохранившемуся тексту «Истории Бухары», Наршахи не выходил за рамки истории Бухары и подчиненной ей области, выходы за ее пределы связаны только с лицами бухарского происхождения.

[12] Об этих авторах см. [2, стр. 85]. Кубави называет среди авторов использованных им сочинений также ат-Табари и Наршахи [17, стр. 64], но установить какую-нибудь связь сведений «Истории Бухары» с текстом ат-Табари или его предполагаемой пространной версии не удается.

[13] Подробнее об этом ниже, стр. 95 лев.

[14] Г. Садиги считает, что этим источником было упомянутое Кубави «Ахбар-и Муканна» некоего Ибрахима, написанное по-персидски и переведенное впоследствии на арабский язык ал-Бируни [1, стр. 217]. Г. Садиги [23, стр. 164—165] отождествляет его автора с Ибрахимом б. Мухаммедом, знатоком истории и учения секты абумуслимийа, упоминаемым Ибн ан-Надимом [21, стр. 345].

[15] Например, в ИВАН СССР — 7 рукописей, в ИВАН УзССР — 11. О двух редакциях этого труда см. [4, стр. 46—52].

[16] Он отсутствует, в частности, в рукописях, положенных в основу перевода Зотенберга [16].

[17] Быть может, здесь как-то отразились сведения о назначении Джабриила наместником части Хорасана вместе с Хазимом б. Хузеймой в 759 г. после казни Абд ал-Джаббара. Сообщение об этом сохранилось, насколько нам известно, только у Халифы Ибн Хаййата [19, стр. 463]. Но если даже это так, то и тогда текст нельзя не признать испорченным.

СОПОСТАВИМЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНИИ МУКАННЫ

Наршахи	Балʿами	Гардизи	Ибн ал-Асир
Участие в мятеже Абд ал-Джаббара. Тюрьма. Возвращение в Мерв			
Начало пропаганды в Согде. Восстание в Субахе		Захват Кеша, Навакета, Санггардака и крепости в Сийаме	Захват Кеша, Навакета, Санггардака и крепости в Сийаме
Приказ об аресте Муканны, бегство его в Мавераннахр			
Восстание в Бумиджкете. Выступление наместника Бухары против восставших		Восстание «сафиддждамеган» в Бухаре при Хусайне б. Муʿазе в 157 (159)/774 г.	
Ал-Махди отправляет Джабриила в Согд. Взятие Наршаха	Ал-Мансур отправляет Джабриила в Согд. Бухарцы его приветствуют	Ал-Махди отправляет Джабриила в Согд. Взятие Бумиджкета	Ал-Махди отправляет Джабриила в Согд. Взятие Бумиджкета
Разгром Джабриилом войск Муканны. Вступление в Самарканд	Часть самаркандцев поддерживает Джабриила. Поражение муканновцев. Вступление Джабриила в город	Прибытие Джабриила в Самарканд и убиение предводителя восставших согдийцев	
	Сражения под городом и поражение военачальника Муканны	Смерть Хумайда. До конца 159/18.X.776 г. управляет его сын	
		Назначение Абу Ауна[1] (середина сафара 160/начало декабря 776 г.)	Назначение Абу Ауна. Безуспешная борьба с восставшими
	Прибытие Харидже с 10 000-ным войском под Самарканд. Посылка Абу Ауном Укбы. Подложное письмо. Отступление Укбы		
	Сражение под Термезом. Осада Чаганиана. Осада восставшими Нахшаба. Гибель Хамдже у сел. Мудин (?). Гибель брата Джабриила. Карлуки помогают Муканне занять Самарканд		
Назначение Муʿаза в 161 г. х. Тюрки угоняют баранов ал-Харани	Назначение Муʿаза. Сражение под Пайкендом. Ссора Муʿаза и ал-Харани из-за баранов	Назначение Муʿаза. Прибыл в Мерв после рабиʿ II 161/января 778 г.	161 г. х. Поход Муʿаза против муканновцев
	Разгром Харидже. Вступление Джабриила в Самарканд	Разгром Харидже под Самаркандом	Разгром сторонников Муканны

Продолжение

Наршахи	Балʿами	Гардизи	Ибн ал-Асир
	Переговоры с Муканной. Начало осады. Халифат ал-Махди. Зима		
Осада крепости 14 лет(!). Строительство домов по приказу ал-Хараши	Передача командования войсками Саʿиду ал-Хараши. Неудачный штурм. Зима. Строительство домов		Передача командования войсками Саʿиду ал-Хараши
	Сдача братом Муканны Навакета с 30 000 женщев		
Военачальник Муканны сдает внешнюю крепость с 30 000 гарнизона	Убиение Харидже. Сдача Сархамы с 30 000 войска. Вступление мусульман во внешнюю крепость	Голод в крепости. Переговоры с ал-Хараши. Сдача 30 000 гарнизона	Переговоры с ал-Хараши. Сдача 30 000 гарнизона
Назначение Мусаййаба. В Бухаре в раджабе 163/12. III—10. IV 780 г.		Прибытие Мусаййаба в Мерв в джумаде I 166 г. х.	
			Мусульмане во главе с Раджа преодолевают ров цитадели
Муканна отравил всех жен, сам бросился в огонь. Одна из жен, оставшаяся в живых, открыла ворота	Муканна отравил всех жен, сам бросился в огонь. Одна из жен, оставшаяся в живых, открыла ворота	Муканна отравил всех жен, отравился сам и просил друзей сжечь его тело	Муканна отравил всех жен, отравился сам. Ал-Хараши отправил его голову ал-Махди в Халеб в 163/779-80 г.

мощи других источников [28, стр. 744; 29, л. 679а; 31, л. 325а] [18].

Таким источником являются «Зайн ал-ахбар» Гардизи и «Камил» Ибн ал-Асира. Текст соответствующих частей этих сочинений почти идентичен, насколько вообще можно говорить об идентичности текстов на разных языках и к тому же в сочинениях, построенных по разному принципу [19]. У Гардизи события восстания датируются периодами правления наместников Хорасана, у Ибн ал-Асира — погодным изложением [20].

Разложив сведения наших четырех основных источников на эпизоды и сопоставив их, мы получаем таблицу, позволяющую наглядно представить состав сведений этих авторов, синхронизировать их и частично датировать (см. таблицу на стр. 93—94).

Эта таблица при всей ее наглядности не снимает ряда вопросов, к тому же за ее пределами остаются сведения многих других авторов, то подтверждающие имеющиеся в ней даты, то противоречащие им. Поэтому рассмотрим датировку основных событий восстания в хронологическом порядке.

Начало политической деятельности Муканны связывается с наместничеством Абд ал-Джаббара (141/758—142/759 гг.) [21]. Сведения о том, что Муканна был его везиром, вызывают сомнения. Прежде всего, у наместников не было везиров, можно было бы говорить

[18] Ал-Махди, как известно, стал халифом в октябре 775 г., а Муʿаз, судя по вполне достоверным источникам, прибыл в Мавераннахр в начале 778 г. [18, стр. 222; 37, стр. 99]. Ту же дату, что у Исфахаши, приводит Наршахи [17, стр. 69—70].

[19] Прямых указаний на их общий источник не имеется, но, судя по другим частям этих сочинений, им была «История правителей Хорасана» ас-Саллами [2, стр. 66—67; ср. также 10].

[20] Этот принцип проведен им не слишком строго. В частности, о гибели Муканны, которую сам автор относит к 163 г., сообщается вместе с событиями 161 г. (видимо, чтобы не разрывать рассказ) [20, стр. 34].

[21] По сведениям ал-Исфахани [18, стр. 220], после смерти Абу Дауда Халида б. Ибрахима 23 рабиʿ I 140/15. VIII. 757 г. Хорасаном в течение года и месяца, т. е. до сентября 758 г., правил Абу Исам, которого сменил Абд ал-Джаббар. Разгром войск Абд ал-Джаббара Гардизи [37, стр. 97] относит к 6 рабиʿ I 142/6. VII. 759 г.

о каком-то заместителе или главе канцелярии, но таковой назван у Гардизи — это некий Муʿавия; дабир, который вел все дела Абд ал-Джаббара, оставался при нем до последнего момента и вместе с ним подвергся отсечению рук [37, стр. 96—97]. Кроме того, сомнительно, чтобы человек, занимавший высший пост при мятежном наместнике и не изменивший ему, отделался бы тюремным заключением, как Муканна.

И уж совсем неправдоподобным кажется решительное утверждение Т. Кадыровой, что Муканна был идейным вдохновителем мятежа Абд ал-Джаббара [7, стр. 117—118]. Это неприемлемо даже в качестве гипотезы, так как претендентом на халифат, которому присягнул Абд ал-Джаббар, был Беразбанде, сын Нероза, выдавший себя за праправнука Али — Ибрахима б. Абдаллаха [37, стр. 96] [22]. К тому же, если бы Муканна был духовным вождем восстания, то его бы, несомненно, казнили.

Как нам представляется, Муканна действительно принимал участие в событиях 758—759 гг., но не как руководитель восстания и пророк, а как последователь Ибрахима, так как первоначально Муканна придерживался зайдитских взглядов [23], а потом стал ризамитом [27, стр. 243].

В «Истории Бухары» арест Муканны не связывается с восстанием: «Он стал претендовать на пророчество и некоторое время это делал, и Абу Джаʿфар Даваники послал к нему человека, и тот перевез его из Мерва в Багдад, где его на несколько лет заточили в тюрьму» [17, стр. 64].

Отсюда как будто следует, что Муканна объявил себя пророком (или имамом, преемником Абу Муслима, что было бы естественно ожидать от ризамита) *после* мятежа Абд ал-Джаббара, за участие в котором наказан не был. Возвращение в Мерв и начало новой проповеди (на сей раз он объявил себя воплощением божества и призывал к отказу от предписаний ислама) Наршахи датирует очень широко: временем правления Хумайда б. Кахтабы (с шаʿбана 150/20.VIII — 17.IX 768 г. [18, стр. 221]) [24].

Наибольший отклик учение Муканны нашло в Согде. Начало восстания в Согде также неизвестно, но к весне 776 г. Навакет (Наукади Курайш?), Субах, Санггардак и некоторые замки под Кешем оказались в руках восставших [17, стр. 65—66; 20, стр. 26; 37, стр. 99], так что Муканна мог бежать туда, узнав о приказе Хумайда арестовать его. Произошло это не позднее мая 776 г. [25].

В то же время «люди в белых одеждах» подняли восстание в Наршахе и Бумиджкете [26]. Военные действия наместника против них начались в раджабе 159 г. х. (25.IV — 24.V. 776 г.). Джабриил б. Йахйа, проходивший с войском через Бухару на подавление восстания в Согде, был вынужден оказать ему помощь и задержаться здесь на четыре месяца [17, стр. 67—68]. Таким образом, в Согд Джабриил прибыл не раньше сентября.

Дальше идет недатированный период восстания—до назначения Муʿаза б. Муслима наместником. Как-то разграничить события почти полутора лет помогает упоминание Абу Ауна Абд ал-Малика. По словам Балʿами, к нему обратился за помощью Джабриил после того, как Муканна, обеспокоенный поражением своих сторонников под Самаркандом, послал туда своего самого способного военачальника, Харидже, с десятитысячным войском [28, стр. 741—742; 29, л. 677б; 30, л. 260б; 33, л. 383б]. Абу Аун прибыл в Мерв в качестве наместника 2 декабря 776 г. [27]. Следовательно, прибытие Укбы, посланного Абу Ауном в ответ на просьбу о помощи, не может быть раньше января — февраля 777 г.

777 год был годом наибольших успехов восставших. Они контролировали всю долину Зеравшана выше Бухарского оазиса и почти всю долину Кашкадарьи (за исключением нескольких городов), далее на юг влияние Муканны распространялось до Термеза, где правительственным войскам было нанесено поражение [30, л. 260б; 35, л. 392б, стр. 123; 23, стр. 173], после которого Джабриил б. Йахйа оказался в Мавераннахре без поддержки крупных правительственных сил извне и в конце концов вынужден был оставить Самарканд [28, стр. 742—743; 33, л. 384; 30, л. 261б; 29, л. 678а и др.].

С какой-то степенью вероятности мы можем еще датировать попытку Хамдже захватить Нахшеб. По словам Балʿами, нахшебцы, малые и великие, поклялись обороняться до последнего, а богачи роздали запасы продоволь-

[22] О восстании Ибрахима б. Абдаллаха и его гибели в 145/162-63 г. см. [13, стр. 282—318].

[23] По словам Ибн ал-Асира [20, стр. 26], он не признавал смерти Йахйи б. Зайда.

[24] Т. Кадырова без всяких доказательств относит начало проповеди Муканны к 769 г. [7, стр. 119].

[25] Хумайд умер в начале шаʿбана 159/конце мая 776 г. [18, стр. 221].

[26] У Наршахи Бумиджкет (Нумиджкет) упоминается один раз — как место, где началось восстание [17, стр. 66]; ответные действия наместника и все дальнейшие события связываются только с Наршахом. Гардизи [37, стр. 99] и Ибн ал-Асир [20, стр. 26] называют только Бумиджкет, хотя описываются те же события, что и у Наршахи (гибель 700 повстанцев, убийство Хакима Бухари). Видимо, как часто можно наблюдать в средневековых сочинениях, название близлежащего города заменило название селения.

[27] В понедельник в середине сафара 160 г. х. [37, стр. 99]; по Исфахани [18, стр. 222]— в середине сафара.

ствия, чтобы в городе не было голода [28]. Такая ситуация наиболее вероятна в конце весны — начале лета, когда запасы зерна подходят к концу. Но поручиться за такую датировку, конечно, невозможно.

Успехи восставших в этом году в значительной степени объясняются тем, что в то же время наместнику Хорасана пришлось бороться с Йусуфом ал-Бармом (хариджитом или хуррамитом), восстание которого охватило Мерварруд, Таликан и Гузганан, его отряды доходили даже до Балха [24, стр. 478—479; 14, стр. 303—304; 13, стр. 470; 37, стр. 99] [29]. Восстание было подавлено еще при Абу Ауне, так что новый наместник Хорасана, Му'аз б. Муслим, прибывший в Нишапур в феврале 778 г., смог сосредоточить свое внимание на делах Мавераннахра. Его поход из Мерва через Амуль в Бухару скорее всего приходился на март — апрель, наиболее удобное время для движения войск через пустыню (в мае вся трава сгорает). В Бухаре Му'аз задержался, чтобы собрать местные войска и вспомогательные отряды рабочих, подготовить осадную технику [17, стр. 70]. В «Истории Бухары» указывается совершенно фантастическая численность войска — 570 000 человек, на самом деле оно вряд ли превышало 0,1 этого числа [17, стр. 70] [30].

С прибытием армии Му'аза дела восставших резко ухудшились. После разгрома Харидже под Самаркандом город перешел в руки Му'аза (или Джабриила б. Йахйи). Теснимые со всех сторон, повстанцы стекались в крепости — резиденции Муканны [31] [37, стр. 100; 20, стр. 34; 28, стр. 743; 29, лл. 678б — 679а; 30, л. 26а, б; 33, л. 348б]. К осени в его руках остались только эта крепость, горные районы и какая-то часть Кешского оазиса. Му'аз пытался склонить Муканну к сдаче и возвращению в лоно ислама, но тот отверг предложение, то ли надеясь на неприступность крепости, то ли не доверяя обещанию помилования [28, стр. 743—744; 29, л. 679а; 30, л. 262б; 33, л. 384б].

Бал'ами сообщает немало деталей периода осады крепости, но эти сведения не дают четкой картины [28, стр. 744; 29, л. 679; 30, лл. 262б—263б; 33, лл. 384б — 385б]. По ним можно установить, что к концу 778 г. восставшие удерживались на небольшой территории вокруг Кеша и крепости Муканны, которая называлась Навакет, либо была расположена у Навакета [32]. На зиму Му'аз ушел в Мерв, Джабриил и ал-Хараши оставались в Самарканде. Активные действия возобновились весной 779 г. Их успеху препятствовала вражда между Му'азом и Са'идом; последний писал халифу письмо за письмом, прося освободить его от подчинения Му'азу, и наконец добился своего [28, стр. 744; 29, л. 679а; 30, л. 262б; 33, л. 385а; 20, стр. 34]. Тогда-то, вероятно, Му'аз подал в отставку. Бал'ами связывает это со

---

[28] Этот эпизод есть во всех рукописях: نخشبیان همواره خورد ویزرگ بیعت کردند وتوانگران خواربار بیرون افکندند از بیم قحط وهمواره بحرب بیرون آمدند وحرب اندر گرفتند وحمجر دانست که چیزی نتواند کردن Т. Кадырова интерпретирует события под Нахшебом таким образом: «По словам Бал'ами, жители Нахшаба без боя присоединились к Джамхуру. Дихканы, собрав имущество, пытались бежать из города, но восставшие преградили им путь. За стенами города началось жестокое сражение» [7, стр. 123]. Ни в литографии, ни в одной из ленинградских рукописей, ни, наконец, в венской рукописи [23, стр. 173] не говорится о том, что муканновцам удалось захватить Нахшеб.

[29] Случайная ошибка В. В. Бартольда, написавшего, что восстание произошло в Бухаре [2, стр. 256], до сих пор — в силу авторитета В. В. Бартольда — сбивает с толку многих исследователей. В действительности же у ал-Йа'куби [24, стр. 478], на которого ссылается В. В. Бартольд, написано: وخرج يوسف البرم وهو رجل من موالى ثقيف ببخارا «И восстал Йусуф ал-Барм — человек из мавали [племени] сакиф в Бухаре». Следовательно, нет никаких оснований притягивать это восстание к району Бухары. Чтобы увязать утверждение В. В. Бартольда со сведениями источников, локализующих восстание в Таликане и Гузгане, Т. Кадыровой пришлось предполагать два восстания: сначала в Сеистане, откуда Йусуф после поражения бежал в Бухарский оазис. Прибытие его туда будто бы совпадало с событиями под Наршахом, которые, как мы видели, происходили гораздо раньше. После этого Йусуфу ал-Барму снова приходится переправляться через Амударью, чтобы, в соответствии с данными источников, быть взятым в плен и казненным в Багдаде [7, стр. 125—129]; автор этих строк, основываясь на сообщении ал-Йа'куби, будто восстание Йусуфа ал-Барма предшествовало восстанию Муканны, неверно датировал начало последнего [8, стр. 443].

[30] По сведениям Бал'ами, авангард Му'аза под командованием Са'ида ал-Хараши состоял из 4000 человек, под Пайкендом Му'аз нанес поражение тюркам, имея в своем распоряжении также 4000 человек. Армия Харидже, главная сила Муканны, так досаждавшая Джабриилу, достигала всего 15 000 человек [37, стр. 100]. Видимо, с обеих сторон действовали силы, не превышающие в общей сложности 40 000—50 000 человек. Багдади [27, стр. 244] называет цифру 70 000 человек.

[31] По мнению Т. Кадыровой, Му'аз потерпел неудачу в сражениях этого года и просил об отставке, а Са'ид ал-Хараши смог взять Самарканд после двухлетней осады [7, стр. 130].

[32] В ркп. ИВАН С 432 это название встречается четырежды: Муканна, узнав о поражении Харидже под Самаркандом, کشیان را همه زن و مرد بگرفت بقلعه نواکد (л. 262а); брат Муканны ушел с кешцами, укрылся в крепости بوکز (л. 262б), но далее (л. 263а) она названа بوکب, что после перестановки точек соответствует написанию نوکت; наконец, Са'ид ал-Хараши после гибели Муканны از نوکث با ظفر وغنیمت بار گشت (л. 263б). Эту крепость упоминают Ибн ал-Асир [20, стр. 25] и Гардизи [37, стр. 99].

смертью ал-Мансура и восшествием на престол ал-Махди [28, стр. 744; 29, л. 679а; 30, л. 262б; 33, л. 385а], но это, как мы уже говорили, явный анахронизм.

Са'ид решил взять крепость штурмом, но осажденные отбили его. Только после того как сдался на милость победителей гарнизон Навакета во главе с братом Муканны [30, лл. 262б — 263а; 33, л. 385а; 35, л. 393б; 34, л. 360; 36, л. 428; 7, стр. 132, прим. 61][33], появилась возможность плотно обложить крепость Муканны. Осаждающие построили в лагере зимние помещения и стали готовить осадное снаряжение.

Дальнейшие события излагаются в нескольких версиях. По Бал'ами, трое храбрецов проникли в крепость и убили Харидже, командование перешло к Сархаме, который вступил в тайные переговоры с Са'идом и сдал ему внешнюю крепость, всего сдалось 3300 или 3000 человек, получивших помилование. Муканна, оставшийся в цитадели с горсткой верных людей, отравил своих жен, зарубил любимого гуляма и сам бросился в огонь. Одна из жен Муканны, спасшись от гибели, открыла ворота цитадели [34].

Согласно ал-Багдади, тридцатитысячный гарнизон внешней крепости сдался только после того, как мусульмане ворвались в крепость [27, стр. 244].

Наиболее близкой к истине представляется версия Гардизи и Ибн ал-Асира: в крепости начался голод, доходивший до людоедства, гарнизон вступил в тайные переговоры с Са'идом и, получив обещание помилования, сдался (30 000 человек), Муканна с двухтысячным отрядом остался в цитадели, окруженной огромным рвом. Мусульмане под предводительством Раджа, сына Му'аза, преодолели его и подошли вплотную к стенам цитадели, тогда-то Муканна отравил свое ближайшее окружение и покончил с собой [37, стр. 100; 20, стр. 34].

Уже в глазах современников гибель Муканны была окружена романтическим ореолом. Многие средневековые авторы говорят о том, что он бросился в раскаленную печь и сгорел дотла, чтобы утвердить в своих последователях веру в его вознесение на небо (Бал'ами, Наршахи, Багдади, ал-Ауфи [26, стр. 334]). Видимо, версия о такой смерти Муканны была заимствована из легенд, сложившихся о нем у его последователей.

Существует и другая традиция — что он отравился вместе со всеми [14, стр. 304; 13, стр. 494; 22, стр. 97][35], но, как говорит Гардизи, завещал своим друзьям сжечь его тело [37, стр. 100], что они, вероятно, и попытались сделать, но безуспешно: ворвавшиеся в крепость победители нашли обгоревшее тело, отрубили голову и послали ее халифу.

Дата гибели Муканны до сих пор не установлена. Большинство исследователей останавливаются на 166/782-83 г. [11, стр. 54; 23, стр. 179; 3, стр. 168; 7, стр. 132; 6, стр. 119], одной из дат, приведенных Наршахи. Но историки-хронисты сообщают о гибели Муканны под 163/779-80 г. [19, стр. 469; 13, стр. 494; 25, стр. 244]. Эта дата подтверждается, во-первых, сообщением Гардизи, что известие о победе над Муканной новый наместник Хорасана Мусайяб б. Зухайр получил во время похода в Хорасан на помощь Са'иду [37, стр. 100].

Согласно Наршахи, Мусайяб прибыл в Бухару в раджабе 163/12.III—10.IV 780 г. [17, стр. 70]. По Бал'ами, Мусайяб получил известие о победе после прибытия в Бухару [30, л. 263б], дату он не приводит. Во-вторых, хронисты сообщают, что известие о гибели Муканны застало ал-Махди в Халебе (или Иерусалиме) [13, стр. 494; 25, стр. 244], когда он возвращался от границ Византии, проводив ар-Рашида в поход. Историки могли ошибиться в указании года гибели Муканны, но привязка даты к пребыванию Махди в Халебе и Иерусалиме не оставляет сомнений в ее справедливости.

Следовательно, Муканна погиб в промежутке между раджабом и предпоследним месяцем 163 г. [36], т. е. между апрелем и августом 780 г., и все восстание укладывается в четыре с небольшим года (не считая периода проповеди до восстания в Мавераннахре). Возможно, что семь лет восстания, о которых говорят некоторые средневековые авторы, включают период проповеди, и эту цифру можно считать более или менее точной. Сведения о большей продолжительности восстания (14 лет) не имеют под собой оснований.

Восстание Муканны ставит перед исследователями множество проблем, в первую очередь о его социальном характере, который, на наш взгляд, до сих пор решается слишком прямолинейно и умозрительно, по рассмотрение этой проблемы выходит за рамки данной статьи.

---

[33] Имя брата Муканны Т. Кадырова читает Кабзам [7, стр. 132], в [33]: قيرم ، قيرم خوشام ; [30] قيزم.

[34] Близкая версия уНаршахи [17, стр. 72— 73].

[35] Ибн Халликан, ал-Бируни и Ибн ал-Асир приводят обе версии.

[36] Последний месяц не следует учитывать, так как нужно было время, чтобы известие дошло от Кеша до Халеба.

1. Абурейхан Бируни (973—1048), Избранные произведения, т. I, Ташкент, 1957.
2. Бартольд В. В., Соч., т. I, М., 1963.
3. Гафуров Б. Г., История таджикского народа в кратком изложении, т. I, М., 1955.
4. Грязневич П. А., Болдырев А. Н., О двух редакциях «Та'рих-и Табари» Бал'ами,— СВ, 1957, № 3.
5. «История народов Узбекистана», т. I, Ташкент, 1950.
6. «История таджикского народа», т. II, кн. 1, М., 1964.
7. Кадырова Т., Из истории крестьянских восстаний в Мавераннахре и Хорасане в VIII — начале IX в., Ташкент, 1965.
8. «Очерки истории СССР», т. II. Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на территории СССР. III—IX вв., М., 1958.
9. «Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР», т. V, Ташкент, 1960.
10. Фролова О. Б., Источники летописи Ибн-ал-Асира (XIII в.) в разделах, посвященных истории народов СССР, АКД, Л., 1964.
11. Якубовский А. Ю., Восстание Муканны — движение людей в «белых одеждах»,— СВ, 1948, V.
12. Айни С., Исьёни Мукашои, Сталинобод, 1944.
13. Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at Tabari, ed. M. J. De Goeje, Lugduni Batavorum, ser. III, 1879.
14. BGA, vol. VII (Ja'qūbī, Kitāb al-buldān, ed. M. J. de Goeje), Lugduni Batavorum, 1892.
15. Browne E. G., A literary history of Persia from the earliest times until Firdawsi, vol. I, London, 1902.
16. Chronique de Abou-Djafar-Mohammed ben Djarir-ben-Jezid Tabari, traduite sur la version persane par H. Zotenberg, vol. IV, Paris, 1874.
17. Description topographique et historique de Boukhara par Muhammad Narchakhy, publ. Ch. Schefer, Paris, 1892.
18. Hamzae Ispahanensis annalium libri X, ed. I. M. E. Gotwaldt, t. I, textus arabicus, Petropoli—Lipsiae, 1844.
19. The history of Khalifah ibn Khayyat by Aby Amr Khalifah ibn Khayyat Shabab al-Usfuri, vol. 2, ed by Akram Diya al-Umari, Nagav, A. H. 1378 — A. D. 1967.
20. Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur, ed. C. J. Tornberg, vol. VI, Lugduni Batavorum, 1871.
21. Kitab al-Fihrist, hrsg. von G. Flugel, Bd I, Leipzig, 1871.
22. Le livre de creation et de l'histoire par Motahhar ben Tahir el-Maqdisi, publ. et trad. par Cl. Huart, t. 6, Paris, 1919.
23. Sadighi Gh. H., Les Movements religieux iraniens au II^e et au III^e siècle de l'hégire, Paris, 1938.
24. Ibn Wadhih qui dicitur al-Ja'qūbī Historiae, ed. M. Th. Houtsma, Bd 1—2, Leyden, 1883.
25. تاریخ الموصل تالیف ابی زکریا یزید ...الازدی ، بتحقیق علی حبیبة ، القاهرة ، ۱۳۸۷ھ. — ۱۹۶۷م.
26. مجمل التواریخ والقصص تالیف محمد عوفی در سال ۶۲۰. بتصحیح ملك الشعراء بهار بهمت محمد رمضانی، طهران، ۱۳۱۸ هجری شمسی.
27. کتاب‌الفرق بین الفرق لابی منصور عبد القاهر... البغدادی، القاهرة ، ۱۹۱۰م.
28. تاریخ طبری که منسوب به ابو جعفر ... الطبری‌ست وابو علی... البلعمی فارسی نامود [للهنو ۱۸۹۶] .
29. تاریخ طبری ркп. ИВАН СССР, № В 4485.
30. تاریخ طبری ркп. ИВАН СССР, № С 432.
31. تاریخ طبری ркп. ИВАН СССР, № Д 83.
32. تاریخ طبری ркп. ИВАН СССР, № Д 182.
33. تاریخ طبری ркп. ИВАН СССР, № Д 223.
34. تاریخ طبری ркп. АН УзССР, № Уз 331.
35. تاریخ طبری ркп. АН УзССР, № Уз 6095.
36. تاریخ طبری ркп. АН УзССР, № Уз 9470.
37. زین الاخبار از ابو سعید گردیزی... باتصحیح ومقدمه وفهرستها وحواشی سعید نفیسی ، طهران ، ۱۳۳۳ شمسی.

Г. В. Шишкина

СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА ДРЕВНЕГО САМАРКАНДА

В шахристане средневекового Самарканда, по сведениям источников X в., было четверо ворот. Ибн ал-Факих и Мукаддаси перечисляют названия ворот, а ал-Истахри и Ибн Хаукал сообщают, кроме того, и их ориентацию [17, т. I, стр. 316; т. II, стр. 366, 492; т. III, стр. 287; т. V, стр. 322]. Исследователи, сообразуясь с источниками и особенностями рельефа, не всегда одинаково размещают ворота на карте городища Афрасиаб. Наиболее уверенно определяются южные (Кешские, или Большие) ворота, поскольку на юге в рельефе городища читается только одна такая точка, куда пучком сходятся основные дорожные и водные магистрали города (рис. 20). Топография остальных трех ворот уже не столь очевидна, о чем свидетельствует разнобой при попытках ее определить [1].

Работа осенью 1968—1971 гг. на краю городища севернее Восточного угла соборной мечети (раскоп 41/XVI) [2] и зачистки осенью 1971 — весной 1972 г. на территории раскопа 6 [3], начатые с целью изучения городских укреплений и стратиграфии прилегающих к ним участков города, дали неожиданный материал к истории северных городских ворот.

Остатки и следы наиболее древних крепостных сооружений, грунтовых дорог и связанных с ними городских ворот зафиксированы на раскопе 6.

В древности поверхность здесь прорезал в меридиональном направлении большой овраг, что отразилось на конфигурации крепостных сооружений. Ложе оврага на значительную высоту было засыпано лессом и использовано под серпантинный спуск, отрезок которого вскрыт весной 1972 г. Серпантин связан с выявленным ранее участком грунтовой дороги, южный край которой уничтожен в результате поздних строительных работ, а вдоль северного края проходит тропа, прилегавшая к крепостной стене 1 (рис. 21, А, Б, В). Незначительные остатки пахсовой кладки 1 сохранились на специально подрубленном, невысоком (0,30—0,60 *м*) лессовом останце шириной 1,62 *м*. На прилегающую к стене снаружи террасу (берму), вероятно, с целью укрепления основания стены одновременно с ее возведением была положена пахсовая полоса шириной 1,6 *м* (рис. 22, в).

Дальше на восток стена 1 прослежена под более поздними кладками в виде пахсы, лежащей на материковом лессе или на тонкой рыхлой прослойке, укрепленной десятисантиметровым слоем пахсы (в пункте с высотной отметкой для основания стены 870, рис. 21, Б). Вдоль северо-восточного отрезка стены 1 тоже проходит дорога, но уже с наружной стороны (рис. 21,Б, дорога 1А). Наметился поворот дороги, указывающий на то, что здесь также существовал серпантинный спуск. Два серпантина заставляют предположить и двое ворот, место которых определяется достаточно уверенно. Повороты двух серпантинов лежат в 10 *м* друг от друга, а их уровни разнятся на 2,20 *м*. Расстояние между воротами 1 и 2 настолько невелико (около 85 *м*), что, несмотря на одинаковое стратиграфическое положение стен и сходный керамический материал из перекрывающего слоя, их вряд ли можно счи-

[1] О. Г. Большаков [2, стр. 174, схема] размещает Железные и Бухарские ворота так же, как В. Л. Вяткин, но переносит Китайские в понижение юго-восточнее цитадели, где у В. Л. Вяткина ранние ворота, не входящие в число четырех [4, стр. 11]. На плане городища, представленном в капитальном этнографическом труде [9, стр. 61], Наубехарские ворота оказались на северо-западе (на месте Бухарских), а Бухарские — на юго-востоке от цитадели (вместо Китайских, по О. Г. Большакову). У В. А. Шишкина Наубехарские ворота сдвинуты к югу, в центр западной части городской стены [15, стр. 7, схема]. В статье Н. Б. Немцевой [11, рис. 9] северные ворота локализованы на основании археологических работ, хотя это и не оговорено автором.

[2] В работах принимали участие в 1969 г. Л. В. Павчинская и Я. Амиров, в 1970 г.— К. Алимов, Е. Лушникова и Р. Равшанов.

[3] Участок исследовался с 1959 по 1966 г. С. К. Кабаповым и М. И. Филанович, в 1968—1970 гг.— Ю. Ф. Буряковым и У. Алимовым.

тать одновременными. Вероятно, они функционировали последовательно; это подтверждается сравнительно недолгим существованием серпантина I, вскоре перекрытого завалами городских стен. Видимо, первый спуск из укрепленного города вышел из строя, что легко могло случиться на лессовых обрывах, да еще «реставрированных» насыпями.

На раскопе восточнее (41/XVI) стена раннего периода стоит на культурном слое 0,20 *м* в древней низине и представляет собой пахсовую обкладку естественного холма (рис. 22,1), на вершине которого возведены основные фортификационные сооружения. Несмотря на подстилающий стену культурный слой, она может быть синхронной древнейшей стене 1 раскопа 6, так как теперь очевидно, что городище обживали еще до возведения первых городских укреплений. На раскопе 6 между стеной и обрывом на материковом лессе расчищены остатки построек из пахсы с двумя последовательными (сильно обгорелыми) уровнями полов. По-видимому, вслед за периодом жизни здесь ремесленников (?) последовал этап запустения; тогда появилась грунтовая могила, часть которой сохранилась на самом обрыве городища [4].

Следующий период в фортификационном строительстве города представлен кладками со стороны внутреннего фасада стены на раскопе 41/XVI в уже упомянутой низине. Сохранился массив кладки из продолговатого (35 × 25 × 10 *см*; 46 × 25 × 8 — 10 *см*; 50 × × 30 × 10 *см*) сырцового кирпича (рис. 22, 2; уровень основания 15,90 *м*), и видимо, ремонтная кладка из квадратного кирпича (34—40 × 34—40 × 11 *см*) с забутовками (строительный мусор, керамика, обломки зерноторок), заполняющими пространства между отдельными рядами или монолитными участками кладки (рис. 22, 3; керамику из забутовок см. на рис. 23, 1—6, 11)[5]. Судя по общему уровню основания кладок из продолговатого и квадратного кирпича, промежуток времени между их возведением не был значительным (хотя и успел привести к изменениям в строительном материале).

На раскопе 6 получены свидетельства того, что кладки из кирпича обоих форматов отражают большие строительные работы на крепостных сооружениях, а не частичные ремонты. Стена 1 на участке меридионального направления (рис. 22, Б; отметка 870) скрыта мощными завалами, ниспадающими на полотно дороги I в месте поворота к спуску. Завалы содержат обломки сырцового кирпича, размеры которого удалось выяснить: 5 (?) × 24,5—28 × × 9—11 и 32 × 32 × 10; 41 × 41 × 13,5 *см*. Здесь, как и на раскопе 41/XVI, подтверждается близость во времени сооружений из продолговатого и квадратного кирпича — они оказались сброшенными в один отвал. Появление же одновременно с ними новых ворот (3) и дороги II, связанных со стеной 1 (рис. 21, Б), позволяет предположить, что последняя служила основанием для кирпичных стен 2 и 3.

Представление о ранних этапах развития города на холмах Афрасиаба пополнилось результатами зачистки стенки оврага близ мазара Ходжа-Данияр [6]. Несколько ниже дна оврага обнаружилась древняя ложбина, с востока ограниченная лессовым обрывом, вдоль которого пролегала грунтовая дорога. Крутой спуск в ложбину, видимо, пытались сгладить насыпью из крупной гальки, где встретились фрагменты керамики с ребром в придонной части. После того как на грунтовой дороге над галечной насыпью (несмотря на все еще сильный уклон) скопились чешуйчатые наслоения, лессовый обрыв был укреплен кладкой из сырцового кирпича 50 × 30 × 10 *см*, дорога же сохранила прежнее направление. Лессовый обрыв с прилегающей к нему кладкой расположен довольно близко к краю городища и совпадает с ним по направлению, так что поблизости могли находиться городские стены, вдоль которых и пролегала дорога. Но место это примечательно и тем, что выше располагаются одна над другой еще несколько дорог, имеющих одно и то же, перпендикулярное краю городища направление. Обилие разновременных дорог, подводящих к самой крепостной стене, указывает на существование в этом пункте в течение длительного времени городских ворот. Как выяснилось, топография северных ворот (41/XVI) была устойчивой с ранних периодов жизни города. Возможно, что и восточные ворота возникли значительно раньше, чем можно судить по вскрытым пока дорогам (VIII—X вв.). В таком случае параллельная стене древняя дорога тоже вела к близлежащим воротам, куда могла свернуть по ложбине.

---

[4] Сохранилась восточная часть погребения с черепом. Точно выяснить стратиграфию его трудно, так как слои обрушились. Видимо, перекрыто слоями какой-то дороги или тропы, а затем и кладками (не позднее III в. до н. э.).

[5] Работы осеннего сезона 1970 г., расширившие исследуемую площадь, позволили уточнить и дополнить представление о строительных этапах ранних городских стен. Так, пахсовая и из продолговатого кирпича кладки оказались разновременными, а массив, принятый ранее за завал, оказался забутовкой в конструкции «третьей» стены [16, стр. 102—107].

[6] Работы проводились Ю. Ф. Буряковым, Э. Ю. Буряковой и Л. В. Павчинской.

Может быть, ко времени появления на севере городища первых стен (3) из квадратного кирпича близка кладка из сырцового кирпича 32—36 × 32—36 × 8—11 *см* (см. таблицу), несколько лет назад еще доступная обзору в срезах холма на юго-восточном краю городища (со стороны еврейского кладбища). Над этой кладкой лежал фрагмент днища крупного сосуда, сформованного в чаше, с резким ребром при переходе к цилиндрическому тулову, а в промазке между кирпичами найден манжетовидный венчик сосуда. В одном уровне с кладкой на протяжении более 10 *м* прослежен (не обязательно синхронный ей) уровень, перекрытый золой, откуда Н. Б. Немцева извлекла фрагменты керамики с ребром в придонной части, манжетовидные венчики и восстанавливаемый целиком сосуд на широком, заглаженном, слегка выпуклом днище, резким изгибом переходящем в тулово, зауженное в нижней трети и расширяющееся к устью [7].

Время, к которому следует отнести кладки стен 2 и 3, уточняет постройка пахсовой стены 3А с внутренним коридором (вскрыта на раскопе 6), которая стоит непосредственно на холме, образованном упомянутыми завалами стен 2—3. На полу коридора здесь найдено скопление керамики, датируемой не позднее IV в. до н. э.

С возведением стены 3А ворота в этом районе города перестали функционировать, поскольку стена перекрыла и ворота 3 вместе с дорогой II—III, и дорогу IA. В дальнейшем узел дорог сплетается у края городища, на месте раскопа 41/XVI. В связи с этим дорогу IIIA (восточную) (рис. 24), полотно которой лежит на прослойках из насыпного лесса и незначительном культурном слое, следует связывать с новыми воротами 4.

Перечисленные перемещения ворот, сопровождавшиеся устройством новых серпантинных спусков, строительство или ремонты городских стен приходятся на один период, характеризуемый единым керамическим комплексом (см. рис. 23). Долгая история всех этих сооружений свидетельствует о длительности самого периода, но, поскольку керамический материал из сопутствующих слоев слишком скуден и малоизучен, нет достаточных оснований для отнесения начальной даты дальше середины I тысячелетия до н. э. (см. таблицу).

О следующем периоде реконструкции городской стены дает представление кладка из сырцового кирпича 36 × 36 × 17—20 *см* исключительно хорошей для Афрасиаба сохранности (рис. 25). Судя по многочисленным ремонтам и четырех-, пятиметровой толще культурного слоя, перекрывшего стены 4—4А, этот период охватывает значительный отрезок истории фортификационного строительства города. Тем не менее в укреплениях, расчищенных на сравнительно большой площади раскопа 6, этот строительный период не отражен и зафиксирован пока только в раскопе 41/XVI. Новая кладка (4) облегала лессовый, частично материковый, частично насыпной холм (рис. 22, 10) и только выше 4—5 *м* от своего подножия переходила в монолитную стену 4.

Конфигурация стены в плане повторяет уже известную нам по западному участку (раскоп 6), и ее особенности также объясняются существованием серпантинного спуска от городских ворот. Такое допущение оправдывается направлением дорог, перпендикулярных к фасадам стен и расположенных к ним достаточно близко, чтобы предположить поворот ложа дороги вдоль стены. Наличие здесь древних городских ворот подтверждают и сохранившиеся участки более поздних серпантинов.

Дороги IV—IVA, связанные с соответствующими стенами, позволяют определить место ворот (рис. 22, 4А, 9; рис. 24, IVA), которые, незначительно перемещаясь, оставались в пределах этого участка города до конца обитания на территории Афрасиаба. Дорога IVA пролегает в неглубокой (1 *м*) ложбине, образовавшейся от постепенного опускания ложа дороги в процессе ее функционирования. Слоистые накопления с чередованием очень плотных светлых (накопления сухого сезона) и темных (чешуйки грязи) прослоек, которые и определяют дорогу, составляют 0,5—0,75 *м*. Направление исследованного отрезка СЗ — ЮВ указывает, что дорога подходила сюда с юга, где проходил и более поздний путь между цитаделью и территорией, занятой впоследствии соборной мечетью.

Время функционирования стен 4—4А и сопутствующих им дорог IV — IVA определяется типичным для периода Афрасиаб II керамическим материалом из подстилающих слоев и слоев, перекрывающих их. Учитывая, что в керамике еще не видно признаков перехода к следующему периоду Афрасиаб III, а также принимая во внимание длительность датируемого этапа (на что указывают многочисленные ремонты и мощность дорожных накоплений), следует полагать, что верхняя граница его едва ли выходит за пределы III в. до н. э.

Полотно следующей по времени дороги V зафиксировано на небольшом участке (рис. 24).

[7] Два подобных сосуда найдены А. И. Тереножкиным в пункте 35 близ Шахи-Зинда. Наиболее близки им сосуды из комплексов Яз-II и Яз-III (8, табл. XXXVI, 1, табл. XLII, 7) и Кюзели-гыра (3, рис. 4, 9, 10). Керамику из Зольника см. [10, рис. 3, 1, 4, 8, 10, 11].

близкая ей дорога VA прослежена на протяжении пяти метров. Эта дорога связана с новым значительным по масштабу строительством стены, остатки которой выявлены близ края городища (рис. 22, 5). Отличной сохранности стена в 130 *м* западнее раскопа 41/XVI (раскоп 6, рис. 21А) дала возможность составить представление об этом периоде строительства городских укреплений Самарканда. Такие особенности стены, как внутренний коридор, устланный досками (рис. 22, д), пахсово-галечное основание (рис. 22, 11) и одинаковое положение основания стены относительно слоев периодов Афрасиаб II и III, позволили связать между собой оба далеко отстоящие друг от друга участка укрепления. С. К. Кабанов, исследовавший стену на раскопе 6, определяет время ее сооружения II в. до н. э., не исключая возможности и более ранней даты [5, стр. 79—87; 6, стр. 183—187], что подтверждается и наблюдениями на раскопе 41/XVI.

Ко времени, близкому возведению стены 5, возможно, следует отнести кладку на юго-восточной стороне городища, сохранившуюся на высоту до 20 *м* от подошвы. Кладка из сырцового кирпича 35—36 × 35 × 11—15 *см* с камышовыми прослойками через каждые три ряда кирпича. На высоте около 10 *м* в стене проходит коридор (материал из соответствующих слоев отсутствует).

Работами на раскопе 41/XVI выявлены шестнадцать разновременных дорог, подходивших сюда из разных частей города. Грунтовые, гравийные, мощенные осколками керамических сосудов и рваным сланцем, пересекая друг друга, наслаиваясь одна на другую, они сходятся у самого края городища, где начинался серпантинный спуск с 10—20-метровой высоты (для разных периодов высота различна из-за понижения поймы р. Сиаб) к подножию афрасиабского холма (рис. 24).

Верхняя, самая ранняя из дорог — грунтовая, по времени она совпадает с последним периодом жизни города перед монгольским нашествием. Несмотря на трудность датировок при большом перепаде и пересечении уровней дорог, по меньшей мере четыре из них (рис. 24, IX, X, XI, XII) уверенно могут быть отнесены к IX—X вв.— по сопровождающему их скудному материалу и по способу мощения рваным камнем, распространенным в то время.

Поскольку здесь выявлены дороги с серпантинным спуском (следовательно, должны существовать и ворота) периода, к которому относятся сообщения арабских географов, идентификация ворот с северными — Бухарскими — не вызывает сомнения.

Относительно размещения Наубехарских ворот окончательно подтвердилось предположение В. Л. Вяткина, когда зачисткой 1970 г. была выявлена перпендикулярно направленная к городской стене дорога, сначала долго функционировавшая как грунтовая, затем мощенная сланцем (IX—X вв.) и опять грунтовая [8] (рис. 20) [9]. Здесь все совпадает с дошедшими до нас сведениями — и ориентация, и замечание Ибн Хаукала о высоком расположении ворот (чего нельзя сказать о вновь открытых северных и восточных воротах). Северные (Бухарские) ворота стоят на возвышенности, и от них спуск осуществлялся по «многочисленным ступеням», тогда как восточные (Китайские) расположены настолько низко (5—6 *м* над подошвой холма, на расстоянии 60 *м* от русла Сиаба), что «ступеней» для спуска не требовалось. Противоречие со свидетельством Ибн Хаукала, по которому высоко стоят именно Китайские ворота, едва ли существенно: автор, даже побывавший в Самарканде, при составлении труда мог допустить подобную ошибку.

Однако в связи с названиями ворот, представленными у Ибн ал-Факиха и частично отличающимися от названий, перечисленных другими источниками, возникают трудности с идентификацией. Усрушанские ворота обычно совмещаются с Бухарскими, что вполне допустимо, а Железные — с не упомянутыми Ибн ал-Факихом Наубехарскими. Ряд соображений не позволяет согласиться с последним отождествлением.

В «Кандии Малой» Железные ворота упоминаются в связи с мечетью VIII в., позднее названной именем Хызра, откуда автор советует начинать путь к гробнице Кусама ибн Аббаса [7, стр. 260]. В местности Баб ал-Хадид (Железные ворота) вакфом XI в. помещается «машад» и рядом с ним медресе Тамгач-хана Ибрагима [18, стр. 331] [10]. В отрывке из сборника юридических документов, переведенном А. А. Семеновым, определенно говорится о том, что медресе Тамгач-хана построено близ «машада» Кусама в Самарканде в местности Баб ал-Хадид и что ему (как это явствует из публикации) завещан вакф в середине месяца раджаба 458 г. [13, стр. 26], одновременно с другим вакфом в пользу больницы. Следовательно, речь идет об одном и том же медресе, и вопрос о расположении Железных ворот ста-

[8] Работы велись под наблюдением Р. Равшанова. Вслед за В. Л. Вяткиным здесь помещал ворота М. К. Пачос [12, рис. 1]. Разведками Ю. Ф. Буряковa весной 1970 г. обнаружена дорога, мощенная сланцем, проходившая параллельно так называемому первому обводу городской стены и пересекавшая двойную стену в направлении к Наубехарским воротам.

[9] Фотографии к статье выполнены Е. Н. Юдицким.

[10] У автора перевода на французский неверно: вместо *хадид—джадид* (новый). На ошибку в названии ворот указал О. Г. Большаков [2, прим. 13].

Северные ворота (номера в хронологическом порядке)	Раскоп 6 на севере Афрасиаба		Раскоп 41 XVI на севере Афрасиаба		Раскоп близ мазара Ходжа-Данияр		Датировка
	Стены	Дороги	Стены	Дороги	Стены	Дороги	
В—1	1 — пахсовая на материке	I — вдоль стены 1; часть серпантина; чешуйчато-слоистых накоплений 0,05—0,10 *м* на материке				I — на насыпной гальке вдоль лессового обрыва	Середина I тысячелетия до н. э.
В—2	1А — пахсовая на материке, местами на рыхлой прослойке	IA — вдоль стены 1А; наслоений 0,05—0,07 *м* на материке					
В—3	2 — кирпич-сырец в завалах 5?×24—28×9—11 *см*	II — прослежена на 40 *м* к югу, ок. 0,10 *м* дорожных наслоений на культурном слое 0,10—0,20 *м* толщиной	2 — из кирпича-сырца 50×30×10, 35—46×24—25×8—10 *см*	II — вдоль стены 0,10—0,15 *м* дорожных наслоений на культурном слое 0,15—0,30 *м*	2 — обкладка лессового обрыва кирпичом 50×30×10 *см*	II — над дорогой I вдоль кладки	V(?)—IV вв. до н. э.
	3 — кирпич-сырец 41×41×13,5; 32×32×10 *см* в завалах	III — на месте дороги II	3 — кладка с забутовками; кирпич 34—41×34—41×10—11 *см*				
	3А — пахсовая с коридором	IIIA — вдоль стены 3А; дорожных наслоений 0,07—0,10 *см*					
В—4			4 — 4А из кирпича-сырца 36×36×15—20 *см*	IV—IVA — наслоения до 0,75 *м* толщины			Конец IV—III вв. до н. э.
	5 — из кирпича-сырца 35—36×15—16 *см* с коридором, устланным досками; пахсово-галечное основание		5 — внутристенный коридор устлан досками; пахсово-галечное основание	V — наслоения дороги до 0,80 *м* толщины			III—II вв. до н. э.

новится ясным. За последние годы Н. Б. Немцевой открыта по соседству с «машадом» часть монументального здания XI в. Можно предполагать, что это и есть упомянутое медресе [11].

Можно добавить еще один штрих о связи названия построенных здесь же ворот Ахаиниц (Железные) тимуровского города с традиционным названием местности. В пользу приведенного отождествления ближайших к комплексу Кусама ибн Аббаса южных (Кешских, Больших) ворот с Железными свидетельствует предание о сооружении на их месте ворот с железными створками, после того как во время мятежа сгорели деревянные [1, стр. 15].

Убедительное тождество Кешских и Железных ворот заставляет видеть ошибку в сообщении Ибн ал-Факиха, поскольку им вместе с Железными упомянуты и Кешские ворота.

Археологические работы последних лет позволили конкретизировать сообщения арабских географов, и если считать бесспорными сведения о наличии только четырех ворот во внешней стене шахристана Самарканда, то все они наконец прочно заняли свое место на карте городища [11].

[11] Уже после написания статьи автору стала доступна работа А. И. Тереножкина [14, стр. 90—99], в которой затронуты вопросы хронологии некоторых стен Афрасиаба. К сожалению, работа насыщена неточностями, искажающими представление о периодизации, построенной на основе, предложенной в 1948 г. самим А. И. Тереножкиным, не учитывающей реаультаты новых исследований на городище Афрасиаб. Не может быть принята новая дата — V в. до н. э. [14, стр. 97 и сл.] — для стены 5, открытой С. К. Кабановым (раскоп 6), поскольку описание ее стратиграфического положения неверно, см. [6, стр. 186]. Слои периода Афрасиаб III не перекрывают стену, а прилегают к ее плоскости. Руины стены на высоте 2—2.5 *м* от основания перекрыты слоем конца периода Афрасиаб III, уже отмеченного изменениями в формах керамики (к этому периоду относится материал из ямы, обнаруженной в кладке стены 5). Такую же хронологическую последовательность дает раскоп 41/XVI, где полотно дороги V, соответствующей стене 5, нарушено ямой, заполненной керамикой того же позднего этапа Афрасиаб III.

Анализ особенностей комплекса керамики периода Афрасиаб II не позволяет вывести его за пределы последней четверти IV в. до н. э. Именно к этому периоду Афрасиаб II, стратиграфически предшествующему стене 5, относятся стены 4—4А с многочисленными ремонтными кладками. Лишь более ранние стены 2, 3, 3А могут быть отнесены к V—IV вв. до н. э.

Совершенно неприемлем вывод А. И. Тереножкина о начале упадка жизни города во II в. до н. э. [14, стр. 98]. Это было время наивысшего расцвета древнего Самарканда, что отразилось и в грандиозном фортификационном строительстве, и в характере керамики, и в мощности культурных наслоений.

1. Бетгер Е. К., Извлечение из книги «Пути и страны» Абу-л-Касима ибн Хаукаля,— «Труды САГУ, Археология Средней Азии», вып. IV, Ташкент, 1957.
2. Большаков О. Г., Два вакфа Ибрагима Тамгач-хана в Самарканде,— «Страны и народы Востока», вып. X, М., 1971.
3. Воробьева М. Г., Керамика Хорезма античного периода,— ТХАЭЭ, Т. IV, М., 1959.
4. Вяткин В. Л., Афрасиаб — городище былого Самарканда, Ташкент, 1927.
5. Кабанов С. К., Ареал и эволюция двух древних керамических форм,— СА, 1964, № 3.
6. Кабанов С. К., Изучение стратиграфии городища Афрасиаб,— СА, 1969, № 1.
7. Кандия Малая, пер. В. Л. Вяткина,— СКСО, вып. VIII, Самарканд, 1905.
8. Массон В. М., Древнеземледельческая культура Маргианы,— МИА, 73, М.— Л., 1959.
9. Народы Средней Азии и Казахстана, т. I, М., 1962.
10. Немцева Н. Б., Стратиграфия южной окраины городища Афрасиаб,— «Афрасиаб», вып. I, Ташкент, 1969.
11. Немцева Н. Б., Медресе Тамгач Богра-хана в Самарканде,—«Афрасиаб», вып. III, Ташкент, 1974.
12. Пачос М. К., К изучению стен городища Афрасиаб,— СА, 1967, № 1.
13. Семенов А. А., К вопросу о датировке Рабат-и Малик в Бухаре,— «Труды САГУ», нов. сер., XXIII, гуманитарные науки, кн. 4, Ташкент, 1951.
14. Тереножкин А. И., Вопросы периодизации и хронологии древнейшего Самарканда,— СА, 1972, № 3.
15. Шишкин В. А., Афрасиаб — сокровищница древней культуры, Ташкент, 1966.
16. Шишкина Г. В., Древнейшая оборонительная стена Самарканда,— ОНУ, 1970, № 9.
17. BGA.
18. Khadr M., Deux actes de waqf d'un Qarahanide de l'Asie Centrale,— JA, vol. CCLV, 1967.

III

РАЗВИТОЕ И ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

А. М. Прибыткова

О МЕТОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЗОДЧИХ

Метод проектирования, которым пользовались зодчие Средней Азии, подвергся рассмотрению в архитектурной науке в последние десятилетия, и прежде всего привлекло к себе внимание пропорционирование зданий. В более ранних публикациях вопрос о пропорциях построек в той или иной степени затрагивался, но, как отмечает М. С. Булатов, сделавший обзор этих работ, он не сопровождался исследованием рабочего метода зодчих [3, стр. 48], т. е. разработки замысла, способа пропорционирования, средств реализации проекта.

В настоящее время в ряде работ советских историков архитектуры, посвященных построению архитектурной формы и пропорционированию, все чаще освещается метод работы средневековых архитекторов [1; 2; 3; 4; 5; 9; 10]. В результате анализа обмерных чертежей определяются способы пропорционирования, в частности распространение пропорционирования посредством квадрата и его производных [1; 2; 3; 5]. Хотя вопрос о способах пропорционирования далеко еще не разработан, очень важно, что он занял место среди других теоретических проблем изучения среднеазиатской архитектуры.

Однако в данной статье автор касается другой стадии работы зодчего — переноса плана со всеми его данными на место разбивки здания, что, как и пропорционирование, не могло осуществляться без чертежей. Доказательством этого служит факт существования архитектурных чертежей среднеазиатского мастера XVI в. (они хранятся в ИВАН УзССР). На чертежах изображены (если пользоваться современной терминологией) типовые планы различных зданий на квадратной сетке [6]. Размеры помещений и все элементы здания — проемы, выступы, ниши, толщина стен — подчинены величине клетки, которая, следовательно, служила модулем. Наличие этих чертежей решает вопрос о предварительном вычерчивании плана и о модульности в архитектуре Средней Азии.

Сложные и хорошо скомпонованные планы на чертежах XVI в., прекрасная техника черчения — все говорит о высокой строительной культуре старых мастеров. Несомненно, практика использования таких чертежей была длительной. Можно предполагать, что задолго до XVI в. появились чертежи на модульной сетке, необходимые для разработки плана и переноса его в натуру.

Архитектор К. С. Крюков проанализировал 50 памятников архитектуры Бухары и других городов периода IX—XVII вв. и выявил наличие модульной сетки в основе планов этих сооружений [7]. Несомненно, для проектирования и строительства зданий в других областях Средней Азии также использовалась модульная сетка.

Аналогичная работа выполнена архитектором Л. Г. Мамиконовым по памятникам Азербайджана [8].

Если в X—XI вв. не было еще такой техники черчения, какую видим на чертежах XVI в., то модульные чертежи все же должны были быть. Модульная сетка, клетка которой условно принимается равной какой-либо мере длины, служила рабочим чертежом, по которому и происходила разбивка здания на месте. Модульная сетка могла быть использована и для высотных размеров интерьеров и фасадов [8].

Для реализации творческого замысла нужны были и другие чертежи. Некоторые орнаментальные композиции могли быть выполнены лишь при наличии чертежей фасада в натуральную величину полностью или частично, что, вероятно, осуществлялось на какой-нибудь площадке. В орнаментальных обрамлениях порталов тот или иной узор — восьмиконечная звезда, розетка и др.— повторялся целое число раз и в высотных и в горизонтальных частях. Их размер и количество устанавливались заранее. При повторяющемся узоре (например, восьмиконечные звезды в обрамлении портала

Рабати-Малика), по-видимому, ограничивались чертежом одного элемента в натуральную величину. Когда обрамление состояло из нескольких панно, как в мечети Магоки-Аттари, вычерчивались отдельные панно. Только предварительным вычерчиванием объясняется правильность и законченность их орнамента. Иногда в композицию орнамента включалась надпись. Ее полоса, должно быть, вычерчивалась в натуральную величину на шаблоне для работы каллиграфа и резчика.

Чертежи фасадов были особенно необходимы при облицовках. Об их наличии свидетельствуют такие наглядные примеры.

Главный фасад южного мавзолея в узгенском погребальном комплексе сплошь облицован терракотовыми плитами с резным орнаментом в виде полос, в числе которых есть и надпись (рис. 26). Орнамент занимает всю высоту полосы, не нарушаясь в стыках плиток, которые разрезались на слегка окрепшей глине в местах орнамента, удобных для швов, например, по высоким буквам. Плиты имеют размер в зависимости от их места в орнаментальной композиции в сторопе до 50—55 *см*. Колонны портала состоят из отдельных цилиндрических блоков, покрытых резьбой не прерывающегося на стыках узора.

Показательна боковая грань (Б) портальной ниши, расчлененная на три панно, объединенные орнаментированной рамкой (рис. 27). Верхнее панно заполнено одной плитой с изящной надписью, перевитой ветками и цветами (рис. 28).Среднее панно облицовано шестью терракотовыми плитами с мелким рёшетчатым узором, который не прерывается в сопряжениях плит. Нижнее квадратное панно состоит из одной плиты с двухплановой резьбой: геометрическая композиция с восьмиконечной звездой в центре на фоне мелкого растительного узора. На охватывающей все панно рамке повторяется стилизованный растительный узор. Рамка составлена из плит, в швах которых безупречно соединяется узор. Все плиты имеют размеры, заранее для них определенные, поэтому при облицовке они точно встали на свои места без нарушения орнамента. В углах рамки и в местах пересечения ее горизонтальных и вертикальных элементов плиты имеют особую Г-или Т-образную форму, устраняющую возможность осадки одних относительно других и несовпадения орнамента. Такая форма плит также подтверждает факт предварительной раскладки необожженных плит на расчерченном фасаде и резьбы орнамента непрерывно на всех плитах.

Соединения плит без искажения рисунка орнамента возможны только в том случае, если портал был вычерчен в натуральную величину, подготовлены полосы глины, выполнена резьба, нарезаны плиты, которые пссле обжига использованы на своих местах.

Приведем еще любопытный пример. Главный фасад мавзолея Фахр ад-Дина Рази в Ургенче лопатками расчленен на прямоугольники с арочными нишами. Тимпаны и щипцы арочных ниш заполнены терракотовым резным орнаментом, выполненным особым приемом (рис. 29). Можно полагать, что по намеченным размерам и членениям фасада была сделана раскладка сырцового кирпича, на него нанесли слой глины около 3 *см*, по которому орнамент прорезан насквозь, перпендикулярно к плоскости фасада. Некоторые элементы орнамента (стебли и надписи) имеют толщину в несколько миллиметров при глубине до 3 *см*. В сыром состоянии терракота была прорезана также по швам предварительной раскладки фасада и вместе с кирпичом отправлена на обжиг. Надрезка по швам явственно видна на терракоте (рис. 30).

Терракота превосходна по рисунку, но сложна по выполнению, и поэтому такой способ остался уникальным. Для нас этот способ изготовления терракоты интересен потому, что убеждает в предварительном расчерчивании фасадов.

Чертежи планов были нужны не только для пропорционирования или построения архитектурных форм, компоновки орнамента, но и для решения других вопросов. Известный памятник Старого Термеза — Кырк-кыз имеет сложный, очень продуманный план с множеством помещений, который невозможно было разбить на месте по памяти. План решен таким образом, что помещения группируются. Две из групп окружены с трех сторон обводными коридорами, не имеющими своего выхода на фасад. Задача освещения этих помещений решена путем устройства проемов вверху стен в коридор, в наружной стене которого точно напротив этих проемов есть подобные же, или световые отверстия выведены в соседние помещения, таким же или иным способом получившие свет. Количество таких световых проемов в здании не менее 125. Их размещение носит характер преднамеренности. Они были обдуманы и где-то помечены, в простейшем случае — на степах в процессе их возведения, т. е. на натуральном чертеже. Необходимость в чертежах очень ощущалась и стимулировала их появление и развитие.

Арки выкладывались по кружалам, которые изготовлялись на специальных площадках, где, несомненно, предварительно была построена и вычерчена кривая арки в натуральную величину. Строителям для производства работ все время приходилось подготовлять чертежи.

Они владели необходимыми для этого знаниями прикладной геометрии. Достаточно посмотреть на кривые арок, сводов и куполов, на прекрасно вычерченные геометрические фигуры в орнаментах, на построение гирихов, как выявляются знания зодчих, эстетическое понимание поставленной задачи, вся профессиональная оснащенность, которая была залогом создания выдающихся памятников архитектуры.

1. Афанасьев К. Н., Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими, М., 1961.
2. Булатов М. С., О некоторых приемах пропорционирования в архитектуре Средней Азии,— ИООН АН ТаджССР, вып. 3, Душанбе, 1953.
3. Булатов М. С., Построение архитектурной формы мавзолея Саманидов,— «Искусство зодчих Узбекистана», вып. I, Ташкент, 1962.
4. Булатов М. С., Арочно-сводчатые формы в зодчестве средневекового Самарканда,— «Из истории искусства великого города», Ташкент, 1972.
5. Булатов М. С., Мавзолей султана Санджара,— «Архитектурное наследство», вып. 17, М., 1964.
6. Баклаков Н. Б., Архитектурные чертежи узбекского мастера XVI в.,— «Сообщения института истории и теории архитектуры», вып. 4, М., 1944.
7. Крюков К. С., Модуль в памятниках среднеазиатского зодчества.— «Архитектурное наследство», вып. 17, М., 1964.
8. Мамиконов Л. Г., Модуль в композиции дворца ширваншахов в Баку,— «Архитектурное наследство», вып. 17, М., 1964.
9. Филимонов В. М., Основы проектирования монументальных зданий в Средней Азии X—XV вв.,— «Сборник научных трудов ТашЗНИИЭП», вып. 6, Ташкент, 1964.
10. Филимонов В. М., Новые данные о мавзолее Кусам-ибн-Аббаса,— «Зодчество Узбекистана», вып. II, Ташкент, 1970.

О. Ф. Акимушкин, А. А. Иванов

К ЧТЕНИЮ НАДПИСЕЙ С ИМЕНАМИ МАСТЕРОВ НА МАВЗОЛЕЯХ ШАХ-И ЗИНДА

Находясь в Самарканде в сентябре 1969 г., авторы этих строк несколько раз внимательно осматривали комплекс мавзолеев Шах-и зинда. Путеводителем нам служили книги Г. А. Пугаченковой [17; 18].

Особое внимание привлекли прежде всего подписи мастеров на некоторых усыпальницах — мавзолее Шади-мульк, безымянном мавзолее (так называемом Али Несефи), мавзолеях 1405 г. и ходжи Ахмада. Наш интерес к ним еще более усилился, когда мы, к своему удивлению, обнаружили, что наше чтение подписей мастеров расходилось (и иногда весьма существенно) с приведенным в работах Г. А. Пугаченковой.

Обратившись уже позднее, в Ленинграде, к научной литературе по этому вопросу, мы увидели значительное расхождение в чтении одних и тех же имен у разных исследователей. Пока мы собирались изложить свои соображения об этом вопросе, вышла в свет статья проф. В. А. Шишкина, где впервые рассматриваются все сохранившиеся надписи на мавзолеях Шах-и зинда, дается их чтение в арабской графике и переводы [25]. Однако и эта статья не сняла наших вопросов о чтении подписей мастеров. Поэтому мы и решили изложить свои наблюдения.

1. *Мавзолей Шади-мульк*

Построен старшей сестрой Тимура Кутлуг Туркан-ака для погребения ее дочери Улджай Шади-мульк, скончавшейся 20 джумада II 773/29 декабря 1371 г. [1]. Сам мавзолей был сооружен несколько позднее, хотя и раньше, чем был построен примыкающий к нему с юга мавзолей Амир-заде, где похоронен какой-то человек, скончавшийся в шаввале 788/26 октября — 23 ноября 1386 г., а также раньше, чем умерла Кутлуг Туркан-ака (в 1383 г.) [15, стр. 48].

В отделке этого мавзолея приняли участие три мастера: а) устад Шамс ад-Дин, формула подписи عمل استاد شمس الدين «сделал [2] мастер Шамс ад-Дин». Надпись помещена на сталактитах над входом, она достаточно четкая и не вызывала сомнений и разночтений [26, стр. 35; 27, стр. 280; 9, стр. 83, 15; 19, стр. 112; 21, стр. 275; 17, стр. 46; 20, стр. 254; 16, стр. 125; 18, стр. 51; 25, стр. 21, 60; 33, стр. 119, 135; 34, стр. 209; 5, стр. 25], споры велись о происхождении мастера, но об этом речь пойдет далее; б) на этих же сталактитах находится подпись второго мастера, имя которого читали как Бар ад-Дин [15, стр. 49; 19, стр. 112; 17, стр. 46; 21, стр. 275, 584 (?); 16, стр. 125; 20, стр. 254; 18, стр. 51; 5, стр. 25; 25, стр. 23, 60; 34, стр. 209]. На сталактите видно следующее: عمل استاد بر الدين [3] «сделал мастер Бирр ад-Дин», а не просто «работа Бареддина» [15, стр. 49].

Здесь возникает вопрос о точном чтении лакаба (почетного прозвища) мастера — «Бар ад-Дин» (Бареддин) или «Бирр ад-Дин».

Поскольку в статье М. Е. Массона этот лакаб «Бар ад-Дин» (Бареддин) не переведен, то смысл его остается нам несколько неясным («Шамс ад-Дин»=«Солнце веры» вполне понятен). Арабского слова «бар» (ибо в лакабах, как правило, содержатся арабские слова) нам не удалось подобрать. Остается допустить, что М. Е. Массон читал первое слово лакаба как персидское «бар»—грудь [4], что соответствовало

[1] Непонятно, почему перевод даты у В. А. Шишкина не верен [25, стр. 18], так как 20 джумада II 773 г. х. = 29 декабря 1371 г., а не 1372 г., та же ошибка и в статье М. Е. Массона [15, стр. 47].

[2] Арабская графика позволяет читать первое слово и как глагол, и как имя (масдар первой породы). Обычно его переводят как «сделал», хотя перевод «работа», как это у М. Е. Массона [15, стр. 49] и В. А. Шишкина [25, стр. 21], тоже допустим.

[3] Воспроизведение см. [30, табл. 66]; в статье В. А. Шишкина надпись не воспроизводится, хотя ссылка на рисунок есть [25, стр. 21].

[4] Вполне возможное допущение, поскольку М. Е. Массон читал в имени мастера на бронзовом кот-

бы распространенному лакабу «Садр ад-Дин»— «грудь веры». Но все дело в том, что подобные смешанные лакабы нам не встречались, и эта точка зрения требует, видимо, весьма серьезного обоснования.

Поэтому мы предлагаем с учетом арабских графики и языка чтения «Бирр ад-Дин»—«доброта веры» (хотя допустимо и «барр» — «материк, суша»). Такой лакаб нам тоже не встречался, но все же он следует общему правилу образования лакабов (вторая возможность — «Барр ад-Дин» — представляется менее вероятной).

в) Остается подпись третьего мастера, расположенная в небольшом картуше на базе трехчетвертной колонки на арке портала справа. Именно она вызывала споры, связанные с происхождением мастера (его нисбой).

А. Ю. Якубовский предложил читать содержащееся здесь имя как Зайн ад-дин Тебризи [5] [26, стр. 35; 27, стр. 280], что вызвало возражение М. Е. Массона, предложившего чтение «работа Зайнеддина сына Шемседдина Бухари» [15, стр. 50] (надо отметить, что чтение имени «Зайн ад-Дин Бухари» приводил Б. Н. Засыпкин в 1948 г. [6]). Эта подпись впервые была воспроизведена в статье В. А. Шишкина [25, рис. 9], мы также ее приводим (рис. 31). Сам же В. А. Шишкин принял чтение М. Е. Массона, которое является сейчас наиболее распространенным [25, стр. 23, 61; 19, стр. 112; 17, стр. 46; 21, стр. 275; 20, стр. 254; 16, стр. 125; 18, стр. 51; 5, стр. 25; 33, стр. 135; 34, стр. 209].

Возвращаясь к предшествующим чтениям, следует отметить, что А. Ю. Якубовский опускал два слова (в нижней части и нижнем левом углу). В чтении М. Е. Массона тоже опускаются три знака в правом нижнем углу и добавляются слова, ибо в арабской графике чтение М. Е. Массона должно выглядеть так: عمل زين [الدين] [بن] شمس بخارى [7].

Первые три слова сомнений не вызывают, отметим только, что в слове زين — «зайн» буква «пун» слишком открыта и скорее походит на «ра» или «за». Но лакаба с таким набором букв мы предложить не можем. Поэтому остается «зайн» — «украшение», достаточно часто встречающийся компонент почетного прозвания.

Слова «ибн»—«сын» в самой надписи нет. Можно рассматривать эту надпись в целом как арабо-персидскую, так как нисба «Бухари» написана без определенного артикля. Тогда отношение родства можно было передать через персидский изафет: «Амал-и Зайн ад-Дин-и Шамс [ад-Дин] Бухари» [8]. Но, повторяем, и в этом случае приходится добавлять слово «ад-Дин», три знака в правом нижнем углу никак не читаются, а два знака (по крайней мере) около левого края картуша принимаются за один — букву «йа», хотя и сильно искаженную.

В связи с этим мы предлагаем новое чтение, где все слова и буквы, помещенные в этом картуше, получают истолкование: عمل زين الدين شمس تبريز فخار «Амила Зайн ад-Дин Шамс-и Табриз, фаххар»—«сделал Зайн ад-Дин — солнце Тебриза, гончар».

Слово в левом нижнем углу, которое М. Е. Массон считал за нисбу мастера «Бухари», хотя четкого конечного «йа» в картуше не видно, нельзя читать так, поскольку первая буква его закруглена и имеет даже небольшую выемку внутри (эта деталь не получается на фотографии). Поэтому буква может быть «фа» (или «каф»), но не «ба», так как подставка для «ба» выглядела бы как подставка для буквы «йа» в словах «зайн» и «дин» (без закругления). В связи с этим вариант «фаххар» (или «фахар») предпочтительнее.

Знаки справа и слева от слова «фаххар» достаточно четко складываются в «Тебриз», особенно три первых, но два последних несколько искажены, вероятно, из-за недостатка места [9].

Отсюда становится ясным, что в рассматриваемой подписи мастера не содержится нисбы «Бухари», хотя и новой нисбы тоже не получается, так как нет конечного «йа», но слово «Тебриз» все же читается.

Термин «фаххар» встречается довольно редко в районах распространения персидского язы-

ле из мавзолея ходжи Ахмада Ясеви тоже смешанный персидско-арабский лакаб «Сарвар ад-Дин», что ошибочно [10, стр. 307—308].

[5] В конце 20-х годов было опубликовано чтение этой подписи как «Амали усто Зейнуддин шах Седдин», которое мало чему соответствует [24, стр. 52].

[6] «Прекрасный мавзолей построен мастерами из Бухары Шамсиддином и Зайнуддином». Никаких пояснений к такому чтению не приведено (9, стр. 83).

[7] В. А. Шишкин приводит эту надпись в арабской графике, но почему-то слово «ибн» не заключает в квадратные скобки (25, стр. 61).

[8] Такие надписи мастеров с двумя лакабами все же встречаются, хотя и редко: см. бронзовый инкрустированный серебром кувшинчик 910/1505 г. из Берлинского музея — мастер ʿАла ад-Дин-и Шамс ад-Дин Мухаммад ал-Бирджанди [31, стр. 71]; и бронзовый кувшинчик с серебряной инкрустацией 889/1484 г. из Британского музея — мастер Джамал ад-Дин-и Шамс ад-Дин [28, стр. 193.]

[9] Такие почетные прозвища, где первым словом идет «Шамс» — «солнце», встречаются неоднократно, например: Шамс-и Тебризи — наставник поэта Джалал ад-Дина Руми; Шамс-и Фахри — автор сочинения по лексикографии; Шамс-и Байсонкури — прозвание знаменитого каллиграфа XV в. Мухаммада ибн Хусама Тебризи, главы китабхане Байсонкура-мирзы; Шамс-и Суфи — прозвание каллиграфа Шамс ад-Дина Хатаби, или такие, как Шамс ал-Хафиз — прозвание каллиграфа, или Шамс ал-Мунши — прозвание Мухаммада ибн Хиндушаха Нахчивани, автора сочинения «Дастур ал-катиб фи та'йин ал-маратиб».

ка[10], по всей видимости, он более характерен для арабских районов, поскольку его чаще всего дают арабские словари.

От чтения М. Е. Массона, видимо, следует отказаться, тем более что нисбы «Бухари» в последней подписи мастера не наблюдается.

Теперь мы подошли к вопросу о происхождении мастеров, принимавших участие, по всей видимости, в отделке мавзолея Шади-мульк. В формулах подписей первых двух никаких указаний на их происхождение нет, поэтому нет оснований считать Шамс ад-Дина мастером из Тебриза [27, стр. 280; 8, стр. 154]. Выходцем из Бухары этого мастера считал только один Б. Н. Засыпкин [9, стр. 83], остальные исследователи, касавшиеся в своих трудах этого мавзолея, полагали, что Шамс ад-Дин, равно как и Бирр ад-Дин, был уроженцем Самарканда, поскольку эти авторы разделяли устаревшую точку зрения, согласно которой мастер, в чьей подписи не указана нисба, был уроженцем той местности, где создавался тот или иной памятник. Эта точка зрения не находит подтверждения в ряде новых работ. Например, известный историк архитектуры Ближнего Востока Л. С. Бретаницкий пишет: «Мнение М. Е. Массона, что „проставление нисбы в родном городе на Востоке не было принято", не находит подтверждения на некоторых памятниках Азербайджана» [1, стр. 427]. К последнему добавим, что наши наблюдения над колофонами рукописей показывают, что какой-либо закономерности в употреблении нисбы в зависимости от того, переписал ли мастер-каллиграф рукопись в родном городе или нет, не наблюдается [11]. В этой связи мы не видим сколько-нибудь серьезного основания рассматривать этих мастеров как выходцев из Самарканда.

По нашему мнению, третий мастер был тебризцем по происхождению, как это следует из его подписи (в нашем чтении). Разумеется, в в данный момент трудно судить о том, как оказался в Самарканде «Зайн ад-Дин — солнце Тебриза, гончар», поскольку никакими сведениями о нем мы не располагаем. Естественно, его не могли привести с собой из Тебриза в Самарканд воины Тимура, раз строительство мавзолея было закончено до того, как Тимур впервые захватил Тебриз и вывез оттуда представителей разных ремесел (1386 г.). Остается предположить, что Зайн ад-Дин появился в Самарканде самостоятельно. Наше предположение допустимо в немалой степени хотя бы потому, что исследователи ближневосточной и среднеазиатской архитектуры уже давно весьма определенно указывают на сходство и связи в архитектурном декоре памятников Азербайджана и Купя-Ургенча [2; 3, стр. 86—87]. Наконец, эту посылку можно было бы проверить и опытным путем, используя для этой цели методику, выработанную Н. С. Гражданкиной и основанную на физическом и химическом анализе состава изразцов [7]. Предлагаемые нами чтения (как мы пытались показать выше) целиком используют все знаки и лигатуры подписей мастеров без каких-либо добавлений или конъектур, хотя не снимают всех сомнений и, более того, ставят новые культурно-исторические вопросы.

2. *Безымянный мавзолей*

Точная дата постройки неизвестна, однако не без оснований считают, что мавзолей был сооружен в 70—80-х годах XIV в. В связи с тем что время не донесло до нас имени погребенного в нем лица, в научной литературе он чаще называется как мавзолей «мастера Али Несефи». На внутренних сторонах полуколонок портала справа и слева частично сохранились подписи одного мастера-строителя, как это принято считать в научной литературе [19, стр. 113; 17, стр. 40; 21, стр. 285; 20, стр. 254; 16, стр. 125; 18, стр. 46; 25, стр. 32, табл. IX; 5, стр. 25; 34, стр. 209]. Действительно, на правой полуколонке (1) имеется надпись, которую читают как «работа мастера Али Несефи», а на левой полуколонке (2) портала —«работа мастера Али...». Весьма вероятно, что специалисты, обращавшиеся в своих трудах к этому памятнику архитектуры, видели в этих надписях подпись одного и того же мастера. И только В. А. Шишкин, никак не аргументируя своего мнения, говорит о двух мастерах-строителях [25, стр. 32].

Однако при чтении первой надписи у нас возникли сомнения в правильности понимания имени мастера как «'Али» (рис. 32). Дело в том, что надпись исполнена в почерке *рика'*, для которого соединение верхних концов букв «алиф» и следующего непосредственно за ним «лам» обычно: оно регламентируется правилами

---

[10] Нам известен только один случай — некий بابا فخاری‌نور بخشی بن محمود فخار «Баба Фаххари Нурбахши ибн Махмуд фаххар», живший не позже первой половины XVI в. [39, стр. 138]. Кази Ахмад упоминает каллиграфа Хусейна Фаххара Ширази. Более он нам не встречался, и остается неясным его отношение к гончарному ремеслу [12, стр. 83].

[11] См., например, Аберкух и Аберкухи, 807/1405 г. [23, т. II, № 564]; Аберкух и Аберкухи, 821/1418 г. (ЛО ИВАН, С-778); Бухара и Бухараи, 1063/1653 г. [13, т. II, № 536]; Йезд и Йезди, 1041/1631 г. (рук. Матенадарана, № 508); Кашан и Кашани, 1074/1665 г. (рук. Матенадарана, № 505); Кония и Конийави, 700/1300 г. [32, № 31]; Тебриз и Тебризи, 933/1527 г. [14, № 26]; Тебриз и Тебризи, 935/1529 г. [14, № 75]; Хамадан и Хамадани, 713/1313 г. [37, стр. 80]; Шираз и Ширази, 897/1492 г. [35, стр. 60]; Шираз и Ширази, 967/1560 г. [36, № 148] и т. д. Мы привели далеко не все известные нам примеры.

этого почерка. Следовательно, порядок букв в этом слове не «ʿайн», «лам», «йа», а другой — «ʿайн», «алиф», «лам» и «мим» (со слабовыраженной головкой и обычным для *рика*ʿ росчерком конечного «мим»). Итак, мы предлагаем следующее чтение: عمل استاد عالم نسفی, т. е. «сделал мастер ʿАлим Несефи». Любопытно, что три косые черты, поставленные в этом картуше, производят впечатление огласовок для слов «ʿАлим» («фатха» над «ʿайн» и «кесра» под «лам») и «Несефи» («кесра» под «йа»).

На левой полуколонке подпись ныне уже не имеет начала, и в ней читается только «мастер Али», а также видны два (?) слова, пока не поддающиеся расшифровке (рис. 33). В этой подписи как слово «устад», так и слово «ʿАли» читаются без видимых затруднений.

Теперь становится совершенно очевидным (о чем и говорят две надписи на полуколонках портала), что этот мавзолей сооружали или принимали основное участие в его строительстве два мастера. Одного из них звали ʿАлим Несефи, второго —ʿАли... (возможно, в будущем удастся прочитать его профессиональное звание, так как на писбу неразобранные слова начертанием не похожи).

3. *Мавзолей 808/1405-06 г.*

Как справедливо указал В. А. Шишкин, нет серьезных оснований называть этот памятник мавзолеем Туман-Ака [25, стр. 38—39] [12]. На левой стороне портала сохранилась подпись мастера (рис. 34). Удивительно, что эта надпись, выполненная каллиграфическим *сульсом*, вызвала самые разнообразные чтения — толкования как имени, так и роли этого лица при сооружении здания: шейх Мухаммад ибн Ходжабек Тебризи — каллиграф или мозаичист [19, стр. 113; 21, стр. 303; 17, стр. 36; 22, стр. 60; 1, стр. 327; 34, стр. 210], шейх Ибн Мухаммад Хаджи Бендкори ал-Табризи — строитель [16, стр. 127], шейх Ибн Мухаммад хаджи Бендкори ал-Тугрази [5, стр. 25], шейх бини Ходжа Мухаммед-Бендкори Тугрази — каллиграф [18, стр. 41], шейх Мухаммад сын Ходжи Бандгараи Тугра-бази — каллиграф [25, стр. 37, табл. XIV], шейх Мухаммед, сын ходжи орнаменталиста Тугрописца из Тебриза,— строитель [6, стр. 182].

Однако на самом деле в подписи мастера все написано несколько по-другому: خط شیخ محمد بن حاجی بندگیر الطغرائی [ابرغ]زی, т. е. «Письмо шейх Мухаммада ибн Хаджи Бандгира ат-Тугра'и s Та[бри]зи» [13].

За исключением трех выбитых букв в слове «Табризи», вся надпись сохранилась хорошо. Из нее вполне очевидно, что указанный мастер был только каллиграфом, а не керамистом, строителем или мозаичистом и он подготовил эскизы надписей, воспроизведенных впоследствии на этом памятнике.

Именно потому, что он был каллиграфом и происходил из семьи потомственных тебризских мастеров *калама*, пять источников донесли до нас некоторые сведения биографического порядка как о его отце, так и о нем самом.

Надпись на мавзолее 1405 г. дает нам имя отца интересующего нас каллиграфа — Хаджи Бандгир [14]. Му'ин ад-Дин Натанзи во второй редакции своего труда, оконченного в 1414 г., говорит о Хаджи Бандгире как о выдающемся мастере *калама* времени Султан-Увейса Джалаира (1356—1374) [42, стр. 166]. Автор «Зафар-наме» отмечает самого каллиграфа — шейх Мухаммад [43, стр. 950].

Последующие авторы, писавшие через 140—200 лет после окончания строительства мавзолея 1405 г., в своих сообщениях под именами Хаджи Мухаммад Бандгир и шейх Мухаммад Бандгир приводят данные как об отце, так и о сыне, которые в настоящий момент строго отделить одно от другого не представляется возможным [15].

---

[12] К моменту постройки этого здания Туман-Ака была жива: известно, что в 1411 г. она была в Герате у Шахруха [11, стр. 200, прим. 2]. Н. Ханыков, не указывая источника своих сведений, сообщает, что Туман-Ака приказала в 844/1440—41 г. (!) построить в Кухсане медресе с мечетью [24а, стр. 116).

[13] Покойный Фикри Сельджуки опубликовал аналогичное чтение этой надписи в 1969 г., за исключением писбы, которую он читал с определенным артиклем «ат-Табризи» [40, стр. 91]. Ясно, что теперь замечание В. А. Шишкина: «Проскользнувшие неоднократно в литературу указания, что в надписи содержится писба „Табризи", явно ошибочны» [25, стр. 37] — не может быть принято.

[14] К сожалению, значение термина *бандгир* остается для нас непонятным. Второй случай его употребления отмечен только на штуковом михрабе мечети в Мараңде, который выполнил Низам Бандгир [4, стр. 38].

[15] См.: а) Дуст-Мухаммад Херави [38, стр. 194], сочинение окончено в 952/1545-46 г.: шейх Мухаммад Бандгир — ученик и племянник ʿАбдаллаха Сейрафи по материнской линии; б) Хафиз Хусейн Кербелаи Тебризи [41, стр. 369—371], сочинение окончено в 975/1567-68 г.: Хаджи Мухаммад Бандгир — ученик ʿАбдаллаза Сейрафи, похоронен в одной ограде вместе с учителем, надписи его работы на стенах медресе Казийе-йи Чахар-минар в Тебризе (ср. Кази Ахмад, первая редакция сочинения, список Эдвардса в ЛО ИВАН, л. 15а; в) Кази Ахмад в первой редакции сочинения называет Хаджи Мухаммада Банддуза (список Гос. музея искусства народов Востока [12, стр. 71] и список Эдвардса), а по Хайдарабадскому списку второй редакции отмечается, что шейх Мухаммад Бандгир поступил на службу к Тимуру в 788/1386 г., и далее в этом же разделе, без какой-либо оговорки, сообщается, что Хаджи Мухаммад Бандгир был учеником ʿАбдаллаха Сейрафи и получил от него разрешение на право подписи своих работ [29, стр. 63].

4. *Мавзолей ходжи Ахмада*

Точная дата постройки неизвестна, обычно завершение строительства относят к 60-м годам XIV в. В строительных работах принимал участие мастер Фахр-и Али [26, стр. 32; 19, стр. 113; 17, стр. 33; 18, стр. 36; 5, стр. 25; 25, стр. 41; 34, стр. 209]. Формула подписи: عمل فخر علی.

Надпись помещена на одном из облицовочных изразцов по левую сторону портала мавзолея. Чтение каких-либо сомнений не вызывает, однако отсутствие писбы в подписи этого мастера отнюдь не дает никаких оснований считать его выходцем из Самарканда (см. об этом выше).

В 1970 г., после почти 80-летнего изучения комплекса Шах-и зинда, благодаря усилиям В. А. Шишкина увидел свет корпус сохранившихся надписей этого великолепного архитектурного ансамбля.

Первый и основной шаг сделан, но работа не закончена, так как потребуется немало усилий для осмысления и уточнения чтений тех или иных надписей корпуса, столь тщательно собранного В. А. Шишкиным.

1. Бретаницкий Л. С., Зодчество Азербайджана XII—XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока, М., 1966.
2. Бретаницкий Л. С., К вопросу взаимосвязи в средневековом зодчестве Азербайджана и Средней Азии,— «Доклады АН АзербССР», т. IV, № 7, Баку, 1948.
3. Бретаницкий Л. С., К проблеме взаимосвязей и стилистической общности культур народов Переднего Востока (О связях архитектуры Азербайджана и Средней Азии),— НАА, 1970, № 6.
4. Бретаницкий Л. С., Саламзаде А., Зодчие и мастера архитектурного декора средневекового Азербайджана,— «Искусство Азербайджана», V, Баку, 1956.
5. Булатов М. С., Зодчий и эпоха,— ОНУ, 1969, № 8—9.
6. Булатов М. С., Долинская В. Г., Пропорции рукописных книг Среднего Востока XV—XVI вв.,— «Из истории искусства великого города (К 2500-летию Самарканда)», Ташкент, 1972.
7. Гражданкина Н. С., Производственные связи хорезмийских и ирано-азербайджанских керамистов в XII в. и следы их влияния на формирование архитектурного фаянса в Средней Азии, Поволжье и на Северном Кавказе,— «Краткие тезисы докладов к конференции „Ближний Восток, Кавказ, Средняя Азия. Проблема взаимосвязи культур в эпоху средневековья". 20—25 марта 1972 года», Л., 1972.
8. Денике Б. В., Архитектурный орнамент Средней Азии, М.— Л., 1939.
9. Засыпкин Б. Н., Архитектура Средней Азии, М., 1948.
10. Иванов А. А., К чтению надписи на котле мастера Абд аль-Азиза (письмо в редакцию),— СА, 1971, № 1.
11. Иванов А. А., Печать Гаухар-Шад,—«Страны и народы Востока, вып. X. Средняя и Центральная Азия. География, этнография, история», М., 1971.
12. Кази-Ахмед, Трактат о каллиграфах и художниках, М.— Л., 1947.
13. «Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР», т. II, Душанбе, 1968.
14. «Каталог Всесоюзной выставки искусства эпохи Тимуридов», Самарканд, Ташкент, 1969.
15. Массон М. Е., О происхождении мавзолея Туркан-Ака в Самарканде,— «Материалы по истории и теории архитектуры Узбекистана», вып. I, 1950.
16. Пугаченкова Г. А., Мастера среднеазиатской архитектуры IX—XVII вв.,— «Искусство зодчих Узбекистана», III, Ташкент, 1965.
17. Пугаченкова Г. А., Самарканд, Бухара, изд. 1, М., 1961.
18. Пугаченкова Г. А., Самарканд, Бухара, изд. 2, М., 1968.
18а. Пугаченкова Г. А., Страница из истории тимуридской культуры (Мавзолей Гаухар-Шад в Кухсане),— НАА, 1968, № 4.
19. Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И., Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана, Ташкент, 1958.
20. Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И., История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века, М., 1965.
21. Ремпель Л. И., Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и теория построения, Ташкент, 1961.
22. Саркисов Н. А., Мастера керамического декора Азербайджана в зодчестве Средней Азии,— «Ученые записки Азербайджанского политехнического института», сер. X, № 2 (4), Баку, 1964.
23. «Собрание восточных рукописей Узбекской ССР», т. II, Ташкент, 1954.
24. Соколова Н. М., Орнаментика мазаров Туркан-ака и Ширин-бек-ака (К вопросу о стиле),— «Труды секции истории искусств Российской ассоциации научно-исследовательских институтов», V, М., 1930.
24а. Ханыков Н., Экспедиция в Хорасан, М., 1973.
25. Шишкин В. А., Надписи в ансамбле Шахи-зинда,— «Зодчество Узбекистана. Материалы и исследования, вып. II. Ансамбль Шахи-зинда», Ташкент, 1970.
26. Якубовский А. Ю., Самарканд при Тимуре и Тимуридах, Л., 1933.
27. Якубовский А. Ю., Мастера Ирана и Средней Азии при Тимуре,— «III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. Доклады», М.— Л., 1939.
28. «British Museum quarterly», vol. XXXIV, 1970, № 3—4.
29. «Calligraphers and painters. A treatise by Qadi Ahmad, son of Mir-Munshi (circa A. H. 1015/A. D. 1606), translated from the Persian by V. Minorsky», Washington, 1959.
30. Hrbas M., Knobloch E., The art of Central Asia, London, 1965.
31. Kühnel E., Islamische Abteilung,— «Berliner Museen», LVI. Jahrgang, Heft 3, Berlin, 1935.
32. «Levinus Warner. and his Legacy. Three centuries Legatum Warnerianum in the Leiden University Library», Leiden, 1970.
33. Mayer L. A., Islamic architects and their works, Geneve, 1956.
34. Meinecke M., Zur Entwicklung des islamischen Architekturdekors im Mittelalters,— «Der Islam», 1971, Bd. 47.

35. Robinson B. W., A Descriptive catalogue of the Persian paintings in the Bodleian Library, Oxford, 1958.
36. Robinson B. W., Persian Miniature Painting from the collections in the British Isles, London, 1967.
37. Wiet G., Exposition d'art persan, Caire, 1935.
38. بیانی مهدی — احوال وآثار خوش نویسان . نستعلیق نویسان — بخش اول — انتشارات دانشگاه تهران — ش ۱/ ۱۰۵۴ — تهران — ۱۳۴۵
39. تذکرة الاولیاء محرابی کرمانی یا مزارات کرمان — تصنیف در نیمهٔ اول قرن دهم هجری قمری — تهران—[s.a.]
40. سلجوقی فکری — تعلیقات دیباچهٔ دوست محمد هروی — مجلهٔ آریانا — سال ۲۷ — شماره اول— کابل ۱۳۴۷ ، ص۸۱—۹۲
41. کربلائی تبریزی حافظ حسین معروف به ابن کربلائی — — روضات الجنان و جنات الجنان — جزء اول — تهران — ۱۳۴۴
42. نطنزی معین‌الدین — منتخب التواریخ معینی (تالیف ۸۱۶ و ۸۱۷ هجری قمری) — تهران ۱۳۳۶
43. ظفر نامه ، تالیف شرف الدین علی یزدی، تاشکند ، ۱۹۷۲

И. Ф. Бородина

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА МАВЗОЛЕЯ ГУРИ-ЭМИР В САМАРКАНДЕ

Художественная и историческая значимость мавзолея Гури-Эмир обусловила большой и непреходящий интерес к нему исследователей. Ему посвящены страницы во всех обобщающих трудах по архитектуре Средней Азии. Однако интерьер мавзолея во всем комплексе различных аспектов — архитектурных и декоративных — еще не рассматривался, хотя некоторые вопросы убранства и нашли отражение в литературе [1; 3; 5; 7; 8].

Серьезное исследование интерьера мавзолея стало возможно только после установки в нем лесов, что позволило посредством визуального обследования, зондажей, химических анализов штукатурок и красок выявить творческие методы мастеров средневековья, их художественные и технологические приемы, применявшиеся материалы, а также установить историю создания и поновлений декора.

При необычном для среднеазиатских монументальных сооружений XIV — XV вв. внешнем виде с восьмигранным призматическим нижним объемом, завершенным цилиндрическим барабаном и уникальным по форме яйцевидным внешним куполом, архитектура интерьера выдержана в схеме, ставшей в Мавераннахре к началу XV в. традиционной. На стены опирается ярус тромпов, создающий через шестнадцатигранник переход к окружности внутреннего купола (рис. 35). Однако строители ввели некоторые дополнения, направленные на увеличение внутреннего пространства, а также применили композиционные приемы, способствующие восприятию интерьера как более высокого. В конце XIV в. наблюдается стремление зодчих увеличить площадь за счет устройства ниш по осям стен. В Гури-Эмире ниши достигают предельных, допускаемых конструкциями ширины (4,3 *м*) и глубины (2,8 *м*). (В мечети Биби-ханым попытка расширить ниши привела к трещинам в стенах и арках во время строительства.) Эти ниши придали внутреннему плану вид креста и намного увеличили площадь.

Высота интерьера — 23 *м* при длине стены четверика 10 *м*. Соотношение длины, высоты стен и всей высоты помещения — 1 : 1,1 : 2,3. Архитектоника и декоративная композиция иллюзорно еще больше увеличивают стройность пропорций интерьера. Ниши высотой 9 *м* доходят почти до самого верха стен, как бы разделяя их на два угловых массивных, но сильно вытянутых вверх устоя с пропорциями 1 : 3,35, которые зрительно переносятся на весь четверик.

В декоре интерьера мавзолея Гури-Эмир нашли отражение характерные для рубежа XIV — XV вв. композиционные приемы. Каждый из объемов, ограничивающих внутреннее пространство, трактуется как самостоятельный, со своей орнаментальной композицией, построение которой неразрывно связано с характером украшаемых частей, их площадью, высотой расположения, с их архитектурными особенностями.

Убранство интерьеров во времена Тимура отличалось большой помпезностью, насыщенностью узорами и цветом, созданием сплошного декоративного покрытия. Этот же принцип характерен и для мавзолея Гури-Эмир. Многочисленные обрамления ограничивают архитектурные плоскости. Однако художники отказались здесь от мелких, чисто декоративных членений на отдельные панно, что часто встречается в зданиях того времени — в мавзолеях Ширин-бика-ака, Туман-ака и даже мечети Биби-ханым.

Для декора интерьера мавзолея Гури-Эмир использованы, кажется, все имевшиеся в арсенале художников средства: резьба по камню и дереву, сталактиты и витражи, но главное положение занимают сине-золотые росписи. Ими покрыты все плоскости от низа стен до вершины купола. Росписи выполнялись клеевыми красками по сухому ганчевому грунту и рельефам из папье-маше. Мастера применяли минеральные красители: синий — натуральный

ультрамарин, зеленый — медная зелень типа малахита или хризоколы, красный — красная охра с примесью киновари; желтая охра, черный — жженая кость, белый — ганч [1].

Штукатурка под росписями многослойная. На кирпичную кладку наносился толстый (до 3 *см*) черновой слой ганчхока (смесь ганча, глины и песка), затем чистовой из гульганча (ганч высокого качества мелкого помола) толщиной 1—2 *см* [2], поверх которого выполнялась тонкая (до 1—2 *мм*) затирка-грунт под роспись. Однако, хотя штукатурная основа готовилась, казалось бы, очень тщательно, мастера не предусмотрели прочного скрепления отдельных ее слоев между собой и особенно двух последних. При быстрой схватываемости ганча нижний слой штукатурки уже затвердевал, и наносившийся на его гладко затертую без насечек поверхность следующий слой не получал с ним достаточного сцепления. Поэтому в мавзолее Гури-Эмир, как и в других сооружениях Средней Азии этого времени, наблюдается расслоение штукатурки, вспучивание и особенно сильные осыпи верхнего слоя — грунта, который уносит и живопись. Росписи были выдержаны в сине-золотой гамме. Золото применялось листовое, с примесью серебра, оно накладывалось на грунт из местной оранжево-коричневой глины кизил-кессак.

В Средней Азии для большего рефлексирования золота поверхность, покрывавшаяся им, делалась выпуклой, рельефной или, наоборот, вогнутой, заглубленной в грунте. Чем крупнее был орнамент, тем выше делался рельеф или глубже прорези; только на очень мелких деталях золото наносилось на ровную поверхность.

В Гури-Эмире применены все разновидности основания для позолоты, причем для рельефной основы использованы различные материалы и соответственно технология.

Для рельефов второй раз в истории архитектуры Средней Азии (после мечети Биби-ханым) в основном применено папье-маше. Оно выклеивалось в формах, очевидно ганчевых, из 7—8 листов местной хлопковой бумаги на крахмалистом растительном клее. В подлинных папье-маше встречаются листы бумаги, уже бывшей в употреблении,— куски шаблонов с проколами для припороха. Это свидетельствует о том, что использовалась обычная недорогая бумага, бытовавшая в то время, раз она шла для припорохов строительных надписей. Мастера учитывали предшествующий опыт и совершенствовали технологию. Так, в мечети Биби-ханым выклеивали отдельно рельефы каждого элемента орнамента, из которых узор собирался уже на поверхностях в интерьере. (Например, изготовлялись фрагменты стеблей, а из них монтировались переплетающиеся стебли на куполе.) В Гури-Эмире подобный орнамент из переплетающихся стеблей на куполе был разделен на раппорты, которые выклеивались целиком. Каждый раппорт включает рельефную часть и плоскую между плетениями узора, которая в дальнейшем расписывалась так же, как и вся фоновая поверхность купола. Процесс монтажа таких рельефов стал быстрее и проще. Лицевая сторона папье-маше грунтовалась ганчем, а под золото — кизил-кессаком, золотилась и расписывалась.

Применение папье-маше для создания рельефной поверхности под золото было разумным и экономичным. Сырья было достаточно, ибо в то время Самарканд славился на Востоке своей бумагой [2, стр. 62], которую он экспортировал. На отводных от Сиаба арыках были расположены многочисленные бумажные мельницы и склады материала для выделки бумаги [4, стр. 22]. Техника изготовления — из склеенных листов бумаги — была, очевидно, заимствована у мастеров-переплетчиков рукописных книг.

Медальоны из папье-маше достаточно эластичны, поэтому им не нужно было придавать заранее изгиб, соответствующий кривизне украшаемой поверхности. Это делалось при установке их на место. Крепление папье-маше простое — коваными гвоздями, которые не были видны снизу. Создание рельефного орнамента из другого материала, например ганча, потребовало бы большей затраты труда и времени при резьбе прямо на поверхности, при отливке же медальонов осложнило бы их монтаж на месте. Помимо того, нагрузка на сравнительно легкий внутренний купол значительно увеличилась бы.

Кроме папье-маше в незначительном количестве для основы под золото использовались ганчевые рельефы, оклеенные бумагой. (Они встречены также в декоре мечети Биби-ханым и мавзолея Туман-ака в ансамбле Шахи-Зинда.) В форму, выложенную листом, очевидно влажной бумаги, смазанной клеем, заливался раствор из тонкомолотого гульганча. Такая техника применялась в основном для изображения куфических надписей. Бумага, служа лицевой поверхностью всего изображения, скрепляла воедино рельефные буквы

---

[1] Качественный химический и спектральный анализы пигментов, золота, а также лабораторные исследования бумаги, клеев и штукатурок выполнены Всесоюзной центральной научно-исследовательской лабораторией по консервации и реставрации музейных художественных ценностей Министерства культуры СССР.

[2] Только на куполе обнаружены два чистовых слоя вместо одного.

надписи. Бумага грунтовалась, и орнамент золотился и расписывался красками.

Принцип размещения декора в интерьере мавзолея традиционен для памятников Средней Азии: три полосы надписей, размещенные над панелью, по верху стен и на 16-граннике между парусным ярусом и куполом, как бы разграничивают эти различные части, каждая из которых обладает индивидуальными композиционными особенностями.

Первоначальная панель неизвестна, существующая выполнена во времена Улугбека из плит натечного ониксовидного известняка зелено-желтого оттенка. Плинтус под ней сложен из блоков светло-серого известняка и украшен резным орнаментом из четырехлепестковых розеток и вытянутых медальонов. Широкий бордюр с простым геометрическим рисунком из чередующихся шестиугольников и продолговатых шестиугольных фигур членит панель на отдельные зеркала высотой 100 *см*. Этот узор выполнен в виде высеченных углубленных бороздок.

Таким же образом зеркала панели внутри разделены на шестиугольники со стороной 10 *см*. В торцах ниш размещалось по одному большому зеркалу по бокам проема, а на остальных простенках — по три зеркала. Внешние углы панели закреплены трехчетвертными колоннами с резными базами и капителями. Панель была украшена росписью. Во все углубления между шашками и на бордюре были вставлены граневые полоски из темно-зеленого, почти черного змеевика. Отдельные разрозненные фрагменты их и фрагмент, сохранившийся на месте в западной нише, обнаружены М. Е. Массоном в 1924 г. [6, стр. 100]. На граненых полосках остались следы росписи — золотой зигзагообразной линии с лепестками в просветах между зигзагами. Позже Л. И. Альбаум во время археологических работ нашел среди фрагментов панели куски бордюра и шашку с сохранившейся росписью [1, стр. 135, рис. 2]. Орнамент продолговатой фигуры бордюра состоял из пяти медальонов — крестообразного центрального и по бокам от него ромбовидного и трилистника. Медальоны заполнены синей краской с проработкой узора внутри них золотом. Шашки панели до сих пор сохраняют следы центральной розетки из шести золотых трилистников. Они были обведены и соединены линиями, а по краю шашек шел бордюр из синих линий и трилистников, направленных вершинами к центру.

Трехчетвертные колонки также сохранили следы росписи. Лучше всего они видны сейчас на северной колонке западной ниши. Сине-золотые овальные медальоны располагались в шахматном порядке. Широкая золотая полоса оконтуривала медальоны и соединяла их по вертикали в цепочку.

Над панелью находятся высеченные в мраморе сталактитовый карниз и фриз с арабской надписью (рис. 36). Поверхность мрамора покрыта тонким слоем шпаклевки и по ней расписана. На сталактитах изображены мелкие золотые медальоны, обведенные ультрамарином. Буквы надписи вызолочены по кизил-кессаку, а углубления между ними густо заполнены изображением синих веток с листьями, выполненными одним мазком кисти.

Над надписью по всему периметру интерьера, включая и ниши, проходил орнаментальный пояс, узор которого состоял из квадратов папье-маше, поставленных на угол, окруженных синей росписью. Во времена Улугбека эти квадраты из папье-маше были сняты, остатки краски закрыты новым грунтом, по которому выполнили синим мелкий геометрический рисунок.

Стены украшены громадными панно с крупным звездчатым гирихом (рис. 37а). Их четыре — по одному в каждом углу мавзолея. Такое квадратное панно сразу охватывает боковые части (от ниши) двух смежных стен, перегибаясь в углу. Бордюр, обрамляющий композицию только по краю и не разрезающий ее по линии угла, подчеркивает, что это одно панно. Таким образом, боковые части стен объединены орнаментом в массивный устой. Вверху всех стен (на высоту 1,2 *м*) линии гириха заглублены в штукатурке. В фигурах гириха в этой же технике сделана куфическая надпись (дважды повторяется имя «Мухаммад»); углубления покрыты кизил-кессаком, позолоты на нем не обнаружено. Ниже, на большей части панно, орнамент уже не прорезан, его разбивка выполнена чисто живописными средствами. Все фигуры гириха, включая верхнюю часть панно, закрыты папье-маше, на шестиугольных элементах которых в рельефе изображена та же надпись.

Плетения гириха, включая и части с углубленной разгранкой, скрытой папье-маше, заполнял живописный орнамент: на белом грунте синие спирали или веточки с листьями такие же, как на мраморной надписи. Чередование рисунков бессистемно, они произвольно сменяют друг друга. Очевидно, эти узоры не были рассчитаны на восприятие их как самостоятельных. Они мыслились мастерами как создание прозрачного синего фона, сплошная окраска его была бы грубой, тем более что фон в фигурах папье-маше тоже был синим. Различие в технике изображения гириха дало повод художнику Г. Н. Никитину, занимавшемуся исследованием росписей Гури-Эмира, выдвинуть точку зрения о выполнении этого декора в раз-

ное время. По его мнению, гирих сначала был сделан в углубленной технике. Затем при каком-то очень большом ремонте он был сбит, за исключением верхних частей, оставленных как образец для живописной разбивки [8, стр. 92—93].

При исследовании в натуре в 1953 г. и позже нигде не обнаружено стыка разных штукатурок. Можно лишь предположить, что художники, начав украшать стены одним способом, затем отвергли его как недостаточно эффектный. В результате стены были украшены гораздо более выразительно, так же как и купол.

Относительно росписи плетений гириха Г. Н. Никитин ошибочно предполагал, что «веточки» принадлежат более раннему периоду, а спирали относятся уже ко времени первого поновления декора интерьера [8, стр. 93]. При исследовании этих росписей в 1953 г. и позже было обнаружено, что оба орнаментальных мотива лежат на одном слое грунта, бессистемно сменяют друг друга и одновременны. Сверху они были покрыты тончайшей белой ганчевой затиркой (как бы побелены), из-под которой просвечивали. На затирку нанесен новый рисунок, идущий по оси полос: свободная линия — прочерк кистью,— разделенная крестиками или точками. Манера исполнения, простота орнамента и идентичность его росписям в восточной галерее 1424 г. при мавзолее Гури-Эмир, медресе Улугбека и в других сооружениях первой половины XV в. дают возможность утверждать, что это поновление относится ко второй четверти XV в.

Это положение подкрепляется состоянием первоначальной росписи к моменту нанесения затирки: она была хорошей сохранности, краска еще не была распылена. Ультрамарин, как показало наблюдение за росписями Средней Азии, хуже других красок сохраняет связующие свойства; от времени он становится рыхлым, вздувается и отлетает от поверхности. Первоначальная роспись лент гириха в мавзолее Гури-Эмир до затирки ее еще не успела обветшать, она подвергалась процессу разрушения уже под слоем записи. Ультрамарин разрыхлился и немного отстал от основы, поэтому первоначальный орнамент вместе с закрывающей его побелкой приобрел едва ощутимую рельефность. При расчистках и снятии ремонтной ганчевой пленки обнаружилось отставание ультрамарина от поверхности. Конечно, если бы краска уже в момент поновления была в подобном состоянии, она бы не сохранилась при побелке. Значит, между первоначальным выполнением гириха и частичным его поновлением прошел сравнительно небольшой срок. Эти два фактора — состояние первоначальной живописи в момент ремонта и стиль вторичной росписи — дают возможность с полной уверенностью установить дату поновления гириха — время правления Улугбека.

Стрельчатые ниши четверика завершаются декоративными сталактитовыми полукуполами (рис. 38). Вертикальные плоскости сталактитов украшены мелкими золотыми ромбами, образующими шестиугольники с золотым пятном в центре, и синими спиралями; треугольные — золотыми цветами на синем фоне. В верхней половине ниш под росписью просматривается похожая орнаментная разбивка, но со звездочкой в центре фигур. Прописан узор только жидким слоем кизил-кессака, без нанесения на него золота и клеящего состава. Он доходит внизу примерно до одного уровня (очевидно, до очередного настила подмостей при строительстве). В южной нише рисунок выполнен только в восточном углу и внезапно обрывается по вертикальной линии так, что у некоторых сталактитов им покрыта только одна половина. Как и в гирихах на стенах, здесь налицо авторское изменение в процессе работ первоначально задуманного. В нижних 3—4 рядах сталактитов обнаружены записи. Рисунок повторен, иногда он совпадает с первоначальным, иногда сбит по отношению к нему. Сначала сделан контур лепестков шестиугольников тонкой черной чертой, а затем лепестки окрашены охрой, позолоты нет; внутри фигур, как и прежде, написаны синие спирали. Манера выполнения и колорит свидетельствуют о времени Улугбека.

На софитах ниш укреплены цепочки чередующихся больших и малых квадратов, изготовленных в технике ганчевых рельефов с бумагой на поверхности. На них куфическими буквами изображены слова «Мухаммад» и «Аллах» (рис. 38).

Тимпаны ниш украшает крупный стилизованный растительный орнамент с распространенной для Среднего Востока композицией (рис. 39). На диагональной оси стебель с листьями и цветами образует овальный медальон. Крупные элементы узора углублены в штукатурке и вызолочены, фон синий.

Фриз с надписью вверху стен три раза переписывался. По мнению Г. Н. Никитина, нижняя из надписей имела сверху и снизу бордюры, вторая была без бордюров и ее белые буквы, лежавшие на синем фоне, занимали всю высоту пояса; эта надпись аналогична надписи в мечети Биби-ханым [8, стр. 93—94]. Восемь зондажей, заложенных на различных участках всех стен, дали возможность установить последовательность нанесения надписей и их датировку. Первоначальная надпись не имела бордюров (Г. Н. Никитин считал ее вторич-

вой). Детали растительного орнамента, оплетающего белые буквы, были заглублены в штукатурном грунте (как и на тимпанах ниш четверика) и окрашены красной краской, очевидно служившей грунтом под золото, фон синий. Вторичная надпись с бордюрами и буквами желтого цвета нанесена на первую без промежуточной грунтовки; просто первая надпись была записана поверху. Запись, судя по стилю и колориту, была выполнена во времена Улугбека. Последняя верхняя надпись относится, очевидно, к XVII в.; она представляет суру Корана.

Для убранства купола и парусного яруса, как и в гирихах стен, были применены рельефы из папье-маше, вызолоченные и расписанные. Сомкнутые своды тромпов украшены орнаментальной композицией из сочетания крупных звезд и растительных элементов (рис. 40). Все детали орнамента были вызолочены, оттенены красной обводкой и синей каймой, а фон расписан ультрамариновыми спиралями.

В центре треугольных «парусов» укреплен квадрат с изображением куфическим шрифтом слова «Мухаммад», а вокруг него в шахматном порядке чередуются мелкие восьмилепестковые розетки и крестовины на фоне спиралей.

В слегка углубленных нишах парусного яруса по обеим сторонам окон были прибиты теперь не сохранившиеся изображения букетов в вазах, форма которых восстанавливается благодаря окружавшему их бордюру. Ваза невысокая, с круглым туловом на низкой подставке и расширяющимся кверху горлом, букет в ней в форме узкого острого листа. Поле вокруг вазы сплошь заполнено шестилепестковыми розетками из папье-маше на фоне из синих спиралей.

На 16-гранике между куполом и парусным ярусом шестнадцать раз повторяется сура Корана. Буквы надписи белые, фон синий, надпись по стилю датируется временем Улугбека и прописана по первоначальной такой же по краскам; однако разбивка букв и орнамента двух слоев не совпадает.

Снизу и сверху фриз окаймлен узкими бордюрами с повторяющейся формулой «Султан Мухаммад», расшифрованной С. Б. Невзпером. Это единственное упоминание в интерьере имени царевича, для которого строился мавзолей.

Декор купола композиционно представляет собой переплетающиеся побеги, которые расходятся от 32-конечной золоченой звезды в его зените. Орнаментация купола размещена на строгой геометрической сетке (рис. 41). Для этого вся поверхность купола разделена примерно на равные части (от 47 до 52 *см*) 32 линиями, прочерченными строителями по чистовой штукатурке острым инструментом, расходящимися от лучей звезды к низу купола. На каждом из «радиусов» было размещено цепочкой 14 элементов из папье-маше. В промежутках между основными «радиусами» нанесено еще 32 дополнительных, на которых папье-маше крепилось в шахматном порядке по отношению к элементам основных «радиусов». Одинаковые по форме, орнаменту и размеру, папье-маше образуют горизонтальные пояса. Делать какую-либо горизонтальную разбивку не было надобности, так как медальоны каждого горизонтального пояса одинаковы, выполнены по единой форме.

Шесть рядов медальонов папье-маше ниже звезды (три основных и три промежуточных) по форме резко отличаются от остальных и создают громадную розетку, украшающую верх купола. Такая композиция нередка на Востоке. Подобный пример находим в росписи купола мавзолея Ширин-бика-ака; особенно часто украшение купола большой розеткой встречается в хорасанских памятниках, где она обособлена от остальной орнаментации купола. В Гури-Эмире розетка только как бы намечена и тесно связана с нижерасположенным узором. Рапорты-медальоны папье-маше разных горизонтальных поясов очень близки по форме и напоминают трилистник. Размеры их увеличиваются в каждом находящемся ниже поясе, слегка варьируется и форма. Каждый медальон обрисовывают четыре рельефных стебля, переплетающиеся вверху, в середине и внизу медальона (рис. 42). При закреплении папье-маше на куполе верхний угол нижнего медальона накладывался на прикрепленный выше так, что рельефные стебли совпадали. Иногда угол одного из медальонов просто вырезался. В результате получалось изображение непрерывных, ветвящихся, переплетающихся стеблей, бегущих от низа купола к его вершине.

Все рельефные части папье-маше были вызолочены по кизил-кессаку, плоские — загрунтованы ганчем. Поверхность по золоту расписана ультрамарином, которым выполнен фон, а рисунок оставлен золотым — это мелкие цветы, полосы, трилистники, розетки. Золото накладывалось небольшими кусочками, неплотно прилегающими друг к другу, просветы красноватой подкладки кизил-кессака придавали ему большую живость и теплоту. Для этого же все золотые детали рисунка обведены по контуру красной узкой чертой; внутри они тонко проработаны черным.

Плоские части папье-маше и поверхность купола между медальонами расписаны одинаково — синими мелкими спиралями (2—2,5 *см* в диаметре) по белому грунту; они выглядят единым фоном, на котором вьется сине-золотой

рельефный растительный орнамент; папье-маше как материал не воспринимается.

После крепления на место папье-маше, поскольку края медальонов иногда обрезаны неровно, контуры их подчеркивались черной полосой, которой мастер как бы поправлял очертания образующих стеблей. Нередко край кисти с черной краской проходил и по поверхности грунта, оставляя на ней след. Это привело Г. Н. Никитина к ошибочному выводу, что весь рисунок сначала рисовался на поверхности купола, а потом по нему вырезались бумажные шаблоны основных орнаментальных фигур [8, стр. 87—88]. На месте были обнаружены такие медальоны, по которым видно, что кисть одновременно скользила и по поверхности купола, и по папье-маше. Далеко не везде на куполе есть следы этой черной описи (когда она не выходила за пределы папье-маше). Когда она есть, то непременно внешний ее край неровен от следа кисти, а внутренний четко обрезан медальоном. Кроме того, следы черной описи бессистемны, разбросаны, ни на одном «радиусе» рисунок не прорисован полностью. Это обязательно должно было встретиться хотя бы на двух (основном и промежуточном) «радиусах», орнамент которых затем повторен на куполе еще 31 раз, если, как предполагал Г. Н. Никитин, рисунок сначала рисовался на месте, а затем уже переводился на шаблоны для изготовления папье-маше.

Несомненно, что первоначально весь орнамент повторяющихся двух «радиусов» (или, вернее, трех, так как они более полно дают представление о композиции декора в целом) должен был быть нарисован. И легче это было сделать на бумаге, взяв основные размеры — высоту «радиусов» и ширину между ними — с купола. Очевидно, изображение было в натуральную величину, что давало возможность более точно проработать детали основного рисунка и исключало неточности. При этом места пересечения переплетающихся стеблей и высота медальонов могли быть определены путем простого деления длины «радиуса». По такому проекту делались шаблоны, а затем формы для выклейки папье-маше. Но, конечно, орнамент в натуральную величину рисовался первоначально не на куполе, а на бумаге, ибо, во-первых, мастерами выполнялась бы совершенно лишняя работа — вторичная перерисовка орнамента, во-вторых, на куполе нигде не обнаружено узора такого рода.

После тщательного исследования декора мавзолея выявилась история его создания. Композиция в целом, орнаментальные разбивки на всех частях, кроме двух поясов надписей и полосы узора над панелью, первоначальны. К этому времени относится и вся роспись с использованием как папье-маше, так и углублений орнамента для позолоты (тимпаны, надписи). Ошибочным оказалось представление Г. Н. Никитина об истории декора интерьера, относившего прорезную подготовку под позолоту вверху гирихов и на тимпанах и вторичную улугбековскую надпись вверху стен к одному первому периоду существования интерьера [8, стр. 92—93].

Сочетание различной по технике подосновы для золотых орнаментов было распространено во времена Тимура. Это наблюдается и в мечети Биби-ханым, где соседствуют папье-маше, углубленные в штукатурке узоры, ганчевые отливки, оклеенные бумагой. Прорезные членения вверху гирихов, как и неоконченный звездчатый орнамент на сталактитах в нишах, на которых была сделана лишь подготовка под золото, могут свидетельствовать только об изменении по ходу работ творческой мысли мастеров, об авторском переосмыслении задуманного.

Крупный ремонт в интерьере был сделан во времена Улугбека, вероятнее всего, что он совпадал с установкой новой панели. Тогда же были переписаны орнаментальный фриз над панелью, обе живописные надписи (вверху стен и под куполом), узоры на плетениях гириха, подновлены рисунки на сталактитах ниш. Всем этим поновлениям свойственны характер исполнения, орнаментика и колорит росписей второй четверти XV в.

По данным архитектурных исследований, проведенных И. Е. Плетневым, в ансамбле Гури-Эмир Улугбеком осуществлялось крупное строительство [9]. В это же время могли и подновляться росписи.

Позже, предположительно в XVII в., была выполнена новая надпись по верху стен и грубо подправлены окаймления тимпанов четверика. Поновления XV в. касались в основном орнаментов, заполняющих фон, и ни в коей мере не нарушали первоначальный замысел своих предшественников.

Убранство интерьера мавзолея дополняли деревянные двери с прекрасной тонкой резьбой и инкрустацией перламутром и серебром, а также цветные узорчатые витражи в окнах из красного, синего, голубого, зеленого, вишневого, фиолетового и желтого стекла [5, стр. 151—156]. На полу мавзолея стоят надгробия соответственно захоронениям, расположенным в склепе. Знаменитое черно-зеленое нефритовое надгробие Тимура, украшенное резьбой, как и белая мраморная резная решетка, ограждающая площадь с надгробиями, поставлено при Улугбеке.

Большая заслуга создавших мавзолей Гури-Эмир мастеров, имен которых нам, к сожале-

нию, не сохранила история, состоит в умелом гармоничном сочетании декора с архитектурой интерьера, с его конструктивным остовом. Мастера четко разделили весь интерьер на несущие, работающие части и на части, не принимающие нагрузки сверху, подчинив этому убранство.

Очень удачным можно считать объединение боковых частей смежных стен грандиозными панно. Крупный рисунок их, равномерное распределение орнамента по всей поверхности усиливают впечатление одинаковой прочности, монолитности стен. Благодаря такой композиции угловые участки стен выглядят действительно мощными устоями, принимающими тяжесть перекрытия и по строгим линиям геометрического орнамента передающими ее вниз. Ниши имеют самостоятельное композиционное решение, ибо это до некоторой степени независимые от четверика объемы. Также не несут тяжести купола и тимпаны ниш. Вот почему их было можно украсить легким и изящным растительным орнаментом. Он крупный, но соразмерный самим тимпанам и интерьеру в целом. Снизу различие двух расположенных рядом орнаментов дает понять различное назначение этих конструктивных элементов здания.

Несомые части конструкций — купол и парусный ярус (зрительно последний выглядит несомым из-за своей небольшой по отношению к четверику высоты) — украшены одинаково: золотым изящным растительным и геометрическим орнаментом на легкой, как бы выбрирующей поверхности голубого фона. Может показаться нелогичным, что на большой высоте (23 *м*) мастера выписывали тонкие спирали, рисунок которых не мог быть виден снизу. Но в мавзолее становится ясно, что такое заполнение фона было рассчитано совершенно на другой и более впечатляющий эффект, чем прочтение деталей орнамента. Спирали и не выглядят самостоятельным узором, они создают фон. Если бы просветы между рельефным золотым рисунком были окрашены в один сплошной колер, то купол стал бы несравненно более тяжелым и мрачным. Подсознательное восприятие то синих, то белых спиралей (так как промежутки фона между синими спиралями читаются как белые) создает необычайно красивый эффект легкой, как бы воздушной поверхности. А тонкие золотые орнаменты на рельефных стеблях, хорошо видимые снизу, как стало ясно после реставрации купола, придают декору еще большее изящество.

Свет в интерьере был как естественный, так и искусственный. Стены освещались сквозь окна в нишах и двери, тромпы и купол — окнами, пробитыми в парусном ярусе. Но мелкие, цветные, различной толщины стекла в окнах, вероятно, не пропускали достаточно света даже днем [5, стр. 151—156]. В стреле арки каждого тромпа и в центре купола вмуровано по кольцу, на которые, очевидно, вешали источники искусственного света. Это могли быть люстры, в которые вставлялись свечи. В XV в. в Средней Азии употребление свечей вместо чирагов (светильников) стало распространенным. В гробнице Ахмеда Ясеви в г. Туркестане уцелели бронзовые подсвечники (два хранятся в Гос. Эрмитаже). На одном из них имеется дата: 1397 г. [10, стр. 283].

Впечатление у зрителя, вошедшего под свод мавзолея, огромно по силе. Устремленные ввысь конструкции, мощный рисунок на стенах, мягко мерцающие золотые орнаменты на голубом воздушном фоне вверху открываются взору. Для украшения интерьера, грандиозного по своему художественному воздействию, мастера использовали набор орнаментов, уже известных в XIV в. Все рисунки можно разделить на три группы: эпиграфика, гирихи, стилизованные растительные узоры. Однако при такой традиционной орнаментике росписи Гури-Эмира глубоко индивидуальны и уникальны. В этом и проявилось мастерство художников, которые, имея в своем арсенале сравнительно небольшое количество орнаментальных схем, создали из них уникальные рисунки. Принцип построения, схема брались только за основу, а весь узор, детали, мелкое заполнение художники рисовали от руки. Потому-то и нет в Гури-Эмире двух совершенно одинаковых тимпанов, медальонов на куполе или парусах, розеток на панели.

Росписи выполнены крупными цветовыми пятнами. Даже мелкие детали нанесены сочно. Колорит очень броский и контрастный — золотой рисунок и синий фон, сплошной или орнаментальный. Эта гамма выдержана от низа стен до вершины купола. Художники почти отказались от других красок. Правда, в надписях еще использованы белая, желтая и черная краски, а в деталях тимпанов — зеленая, но они тонут в общей гамме.

Росписи выполнены с большим профессионализмом, порой одним ударом кисти (веточки в плетениях гириха и между букв мраморной надписи, мелкие листья и цветы на тимпанах), одним росчерком (спирали), но очень точно и правильно создана при этом красивая форма детали. Росписи мавзолея, контрастные, яркие, насыщенные позолотой, являются характерным детищем эпохи.

Пропорциональность, гармония архитектуры и декора, блестяще выполненное убранство, монументальность делают интерьер Гури-Эмира интереснейшим и уникальным памятником мировой культуры.

1. Альбаум Л. И., Панель Гуримира,— «Труды САГУ», нов. сер., вып. 61, кн. 6, Ташкент, 1953.
2. «Бабур-наме», Ташкент, 1958.
3. Бородина И. Ф., Интерьер памятников архитектуры Самарканда рубежа XIV—XV вв.,— ИОН АН ТаджССР, вып. 2 (17), Сталинабад, 1958.
4. Вяткин В. Л., Материалы к исторической географии Самаркандского вилаета,— СКСО, вып. VII, Самарканд, 1902.
5. Давидович Е. А., Цветное оконное стекло XV в. из Самарканда,— «Труды САГУ», нов. сер., вып. 61, кн. 6, Ташкент, 1953.
6. Массон М. Е., Результаты археологического надзора за ремонтно-исследовательскими работами Самкомстариса на мавзолеях Гур-Эмир и Ак-Сарай в Самарканде в 1924 г.,— «Известия Средазкомстариса», вып. I, Ташкент, 1926.
7. «Мечети Самарканда. Гур-Эмир. Альбом», вып. I, СПб., 1905.
8. Никитин Г. Н., Живописное убранство мавзолея Гур-Эмир,— «Материалы и исследования по истории и реставрации архитектурных памятников Узбекистана», Ташкент, 1967.
9. Плетнев И. Е., Ансамбль Мухаммед-Султана в Самарканде,— Сборник научных трудов ТашЗНИИЭП, вып. VI, Ташкент, 1964.
10. Якубовский А. Ю., Мастера Ирана в Средней Азии при Тимуре, М.— Л., 1939.

Е. А. Давидович

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЗНАЧЕНИИ ТЕРМИНА *МИРИ* В ДЕНЕЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ XV—НАЧАЛА XX в.

Вопросом происхождения и значения термина *мири* в монетном деле специально никто не занимался. Некоторые соображения о значении этого термина в XIX в. (основываясь на свидетельстве четырех авторов, хотя источники более многочисленны) высказала Р. З. Бурнашева. Отметив противоречивость известий источников, когда, «по определению одних авторов (К. Ф. Бутенев и корреспондент „Туркестанских ведомостей" за 1875 г.), „мири" выступает только как счетная единица, а по другим (В. В. Вельяминов-Зернов, А. А. Кун) в ней можно видеть старинные шахрисябзские серебряные монеты, т. е. реальную денежную единицу», Р. З. Бурнашева не исключает, что шахрисябзские низкопробные серебряные монеты действительно назывались термином *мири*, но допускает возможность «идентифицировать „мири" с удержавшимися в обращении последними джанидскими теньгами» [2, стр. 7—8].

Приведем некоторые, наиболее существенные сведения из источников XIX в. Самый ранний из известных нам — N. Furdoonjee (1838 г.). Согласно его данным, *мири* — это серебро весом 11 гран, *танга* — это серебро весом 48 гран, 4 *мири* равняются одной *танге* [14, стр. 898].

К. Ф. Бутенев (1842 г.) сообщал, что в Бухарском ханстве при торговых расчетах кроме реальных монет используют еще и счетную единицу *мири*, «что, собственно, значит четверть и говорится для означения четверти тяньги, то есть одиннадцати пули, и весьма редко при этом к слову мири прибавляют название тяньги; также для означения двадцати двух пули или половины тяньги употребляют выражение д у-м и р и, т. е. две четверти или половина. Но, означая четверть или половину тилла, всегда говорят м и р и-т и л л а или д у-м и р и-т и л л а» [4, стр. 155—156]. Иначе говоря, термином *мири* обозначалась четвертая часть основного номинала, и в этом значении термин *мири* мог употребляться применительно и к золоту и к серебру, хотя с серебром был связан прочнее. При этом *мири* — не реальная монета, а счетная единица.

В. В. Вельяминов-Зернов (1859 г.) приводит несколько иные данные: «В настоящее время в большом ходу в Бухаре: новыя из желтой меди б а л х с к и я п у л и и старинныя из красной меди с примесью серебра ш е г р и с е б з с к и я м и р ы. 4 миры равняются танге» [5, стр. 417] [1]. Здесь *мири* — реальная монета из сплава меди с серебром. Однако основное значение термина сохраняется: *мири* — это $^1/_4$ другой монеты — основного номинала.

Другие известные нам свидетельства XIX в. не вносят ничего нового. Приведем только существенное замечание В. Клема (1887 г.) о том, что *мири* — это «теньгаи сиях» («черная танга»), а «теньга — серебряная монета (96-й пробы) содержит 4 мире...» [9, стр. 6].

Необходимо упомянуть еще лишь данные Д. И. Логофета в его работе 1909 г., так как они показывают, что в начале XX в. *мири* в монетной системе все еще существовала и попрежнему являлась четвертью танги. О последнем Д. И. Логофет прямо не говорит, но «медная монета мири» у него приравнена к 4 коп., а серебряная танга — к 15 коп. [11, стр. 105].

Сейчас представляется возможность выделить одну группу монет, называвшихся *мири*, и обосновать приложение к ним этого названия. В 1966 г. Юлдашев доставил в Институт истории АН ТаджССР клад низкопробных серебряных монет (КП-616). Он сообщил, что такие монеты обращались в Бухарском ханстве до конца его существования и назывались *мири*. Отец Юлдашева хорошо знал и помнил эти монеты: он говорил, что они равнялись четверти бухарской танги.

Все монеты клада очень потерты, лишь на немногих сохранились остатки картушей да очень небольшие фрагменты надписей. Такие

[1] О шахрисябзских монетах подробнее см. у А. А. Куна [10, стр. 32—33].

же монеты имеются в ряде музеев СССР, большинство из них не было даже определено из-за плохой сохранности. Произведенная нами реконструкция формы картушей и основных надписей [6, стр. 50 и табл. 7] позволяет теперь легко распознавать их: это танги Мухаммад-Рахим-хана (1753—1758) [2]. Следовательно, согласно сообщению Юлдашева, танги Мухаммад-Рахима обращались еще в начале XX в., т. е. более полутора столетий. Такая длительность обращения монет сама по себе сомнений не вызывает, ибо аналогичные примеры для Средней Азии известны. В частности, близкие по времени низкопробные серебряные танги Субхан-Кули-хана (1680—1702) обращались более ста лет [7, стр. 247—248].

Почему танги Мухаммад-Рахима, отчеканенные в середине XVIII в., в XIX и начале XX в. превратились в *мири* и были приравнены к четверти танги? Расчет показывает, что эта метаморфоза не случайная и не произвольная.

В 1199/1784-85 г. была проведена важная реформа, кардинальным образом преобразовавшая монетное дело в Бухарском ханстве. Перед реформой торговлю обеспечивали низкопробные монеты, чеканенные в конце XVII и на протяжении XVIII в. Одна из сложностей денежного обращения заключалась в том, что на рынке одновременно ходили монеты разной пробы и каждый вид таких монет имел различный курс в золоте. О реформе 1199 г.х. заявили сами монеты: их вес, размер, проба, надписи, изменения в технике чекана [3]. В данной связи важны вес и проба: указной вес пореформенных монет был приравнен к весовому дирхему в $^{7}/_{10}$ мискаля, т. е. 3,36 *г*. Проба была назначена высокая, что подтверждает пробирование [6, стр. 165] ранних пореформенных монет с именем Абулгази (проба 950). Высокой, очевидно, она оставалась и в XIX в., если верить информации Т. С. Бурнашева (1794—1795 гг.) [1, стр. 82], К. Ф. Бутенева (1842 г.) [4, стр. 154], В. Клема (1887 г.) [9, стр. 6] и др. Этому полностью соответствует проба серебряной танги, названная К. Ф. Бутеневым (93,5; в переводе на современную метрическую систему это равняется 975-й пробе). Данные химического анализа 14 танга, приведенные Р. Бурнашевой [3, стр. 117, прим. 15], несколько иные: 80—90% чистого серебра. Не рассматривая здесь во всем объеме вопрос о пробе, ремедиуме пробы и уровне очистки металла в XIX в., важно подчеркнуть, что сами бухарцы, о чем пишет К. Ф. Бутенев, считали свои монеты чистыми. Значит, при последующих расчетах мы можем исходить из того, что в серебряных тангах конца XVIII и XIX в. при указном весе 3,36 *г* и при несколько меньшем их реальном весе чистого серебра было или считалось более 3 *г*. Следовательно, в монетах *мири*, если они были приравнены к четверти танги не произвольно, должно было быть или считалось 0,8—0,9 *г* серебра.

Танги Мухаммад-Рахима (середина XVIII в.) чеканены по весовому стандарту в один мискаль, т. е. их указной вес был равен 4,8 *г*. Химический анализ его монет показал, что серебра в них было около 30%, т. е., если отправляться от указного веса, 1,44 *г*. Но реальный вес этих монет в силу продолжительности их обращения намного ниже указного. Нам известны два клада монет Мухаммад-Рахима (оба в коллекции Института истории АН ТаджССР) и некоторое число таких же его монет из разных музеев. Вес изучен методом гистограмм. Средний вес монет первого клада (КП-77) — 3,7 *г* [4], т. е. серебра в этих монетах в среднем 1,11 *г*. Средний вес монет второго клада (КП-616) — 2,4 *г*, т. е. серебра в этих монетах в среднем 0,72 *г*. Если отбросить случайные и единичные отклонения, то вес всех известных нам монет Мухаммад-Рахима окажется в пределах 1,09 — 3,90 *г*, что в среднем дает 2,5 *г*, т. е. 0,75 *г* чистого серебра. Все средние цифры — 0,72; 0,75; 1,1 *г* серебра — и есть примерно четверть количества серебра в пореформенных тангах Джапидов и Мангытов.

Следовательно, отношение между пореформенными высокопробными тангами конца XVIII—XIX в. и очень низкопробными и потертыми тангами Мухаммад-Рахима середины XVIII в. базировалось в XIX — начале XX в. на очень реальном отношении в тех и других

[2] На двух монетах клада следы других картушей. Среди таких низкопробных монет эти картуши еще не были зарегистрированы. Поскольку надписи стерты, принадлежность этих двух монет не ясна. Но проба та же, что у монет Мухаммад-Рахима.

[3] Сам факт проведения этой реформы, ее причины и содержание впервые были установлены нами [6, стр. 157—168]. Мы думаем, что Р. З. Бурнашева, позаимствовав проанализированное нами содержание реформы 1199/1784-85 г., изложила его от своего собственного имени [2, стр. 5—6] просто по недосмотру. В другой работе Р. З. Бурнашева еще раз вернулась к этой весьма сложной и многогранной реформе [3, стр. 116—117] и при описании одной из ее сторон (весового стандарта новых серебряных монет) сослалась на нашу книгу, все остальные стороны реформы по-прежнему неудачно изложив так, что это выглядит как результат ее собственных исследований. Правда, Р. З. Бурнашева предложила новую дату проведения этой реформы — 1200/1785 г. Но эта дата игнорирует ранние пореформенные монеты 1199 г. х., поэтому нашу дату ее начала и декретирования — 1199/1784-85 г. — мы считаем более правильной.

[4] Это очень высоковесные экземпляры среди дошедших монет Мухаммад-Рахима; значит, клад сложился относительно рано или владелец специально подбирал полновесные монеты этого государя.

чистого серебра. Поскольку в реальных монетах Мухаммад-Рахима, продолжавших обращаться в XIX — начале XX в., серебра было примерно в 4 раза меньше, чем в пореформенных тангах, они и получили название *мири*, так как этот термин прочно обозначал именно одну четверть основного номинала.

Возникает вопрос: после реформы 1199/1784-85 г. из низкопробных монет XVII—XVIII вв. сохранились в обращении и получили курс и название *мири* только монеты Мухаммад-Рахима или джанидские низкопробные тоже? Назначение реформы 1199/1784-85 г. было таково, что последовательное ее осуществление должно было предусмотреть запрет дальнейшего обращения разных низкопробных монет предшествующего времени. Этому не противоречит сохранение в обращении монет Мухаммад-Рахима. В середине и во второй половине XVIII в. при Джанидах Бухарским ханством фактически управляла семья, происходившая из племени мангытов: сначала Мухаммад-Хаким, потом его сын Мухаммад-Рахим, затем дядя последнего Даниял-бий и наконец Шах-Мурад, сын Даниял-бия. Шах-Мурад низложил последнего Джанида, с него начинается не только фактическое, но и официальное существование новой династии — Мангытов. Но еще до того Мухаммад-Рахим в 1753—1758 гг. управлял Бухарским ханством без подставных Джанидов [13, стр. 119—123]. Именно он был первым мангытом, который и золотые и серебряные монеты чеканил от своего собственного имени. Поэтому Мангыты, окончательно уничтожив династию Джанидов, могли из морально-этических и политических побуждений сохранить в денежном хозяйстве своего государства монеты с именем Мухаммад-Рахима.

Судьба же джанидских низкопробных серебряных монет в государстве Мангытов еще не ясна [5]. В этой связи обращает внимание следующий факт. Нам известны два клада монет Мухаммад-Рахима, сложившиеся, судя по потертости монет, на разных отрезках времени, но оба — не ранее XIX в. [6]. Это было бы легко объяснимо, если бы все низкопробные серебряные джанидские монеты после реформы 1199/1784-85 г. были запрещены и быстро исчезли из обращения, а танги Мухаммад-Рахима, которые ко времени реформы еще, конечно, имели хорошую сохранность, поэтому легко отличались от запрещенных джанидских монет, были разрешены для дальнейшего обращения. Впоследствии, по мере стирания и потери веса, они были приравнены к четверти пореформенной танги и названы *мири*.

Если же допустить, что низкопробные джанидские танги продолжали легально обращаться и в XIX в., то для объяснения однородного состава кладов Мухаммад-Рахима придется признать, что население в XIX в. каким-то образом умело среди разных низкопробных потертых монет предшествующего времени распознавать потертые танги Мухаммад-Рахима.

Оставляя вопрос о джанидских тангах открытым, мы имеем пока возможность определенно заключить, что низкопробные серебряные монеты Мухаммад-Рахима, чеканенные в середине XVIII в., в XIX — начале XX в. назывались *мири*, считались за четверть высокопробной пореформенной танги и соответствовали этому равенству средним количеством в них чистого серебра.

Каково же происхождение термина *мири*, почему это совершенно «немонетное» слово стало названием монеты и почему оно стало обозначать монету достоинством только и именно в четверть основного номинала?

Раннее известное нам упоминание термина *мири* применительно к монетам принадлежит Клавихо [8, стр. 327, 316], послу кастильского короля ко двору Тимура: «Другие товары были тоже так дешевы, что за одно мери, которое стоит полреала, давали полторы фанеги [7] ячменю». В другом месте Клавихо отмечает: «...их монета называется танга, и каждая танга равняется двум серебряным реалам». Отсюда следует, что *мири* при Тимуре — реальная серебряная монетка, составляющая четвертую часть танги — основного серебряного номинала.

Для конца XV или начала XVI в. термин *мири* зафиксирован в монетных надписях. На кафедре археологии Средней Азии Ташкентского университета хранится клад медных монет XV — начала XVI в., найденный в долине Ангрена. На медных монетах этого клада много надчеканов. На 82 монетах — маленький надчекан: надпись عدل بك میری в фигурной рамке. Надчекан не имеет даты, но время его производства довольно точно можно ограничить. Сделан он не ранее 902/1496-97 г. и не позже 910/1504-05 г.: первая дата есть на нескольких надчеканенных монетах, а вторая — на другом надчекане, который был сделан позже и перебил надчекан с термином *мири*.

Сопоставление данных XV и XIX — начала XX в. о значении термина *мири* в монетном деле дает основание следующим образом рекон-

---

[5] Р. З. Бурнашева уверенно пишет, что они сохранились в обращении [2, стр. 8], но факты, на которые опирается этот вывод, еще не опубликованы.

[6] В первом кладе других монет нет. Монеты второго в основной массе совершенно стерты, но определимые экземпляры принадлежат именно Мухаммад-Рахиму.

[7] Фанега — мера сыпучих тел в Испании [12, стр. 292].

струировать его происхождение. При Тимуре было установлено, что крупная серебряная монета равнялась четырем мелким. Так как Тимур носил скромный титул амира, то этот титул в форме относительного прилагательного и был присоединен к названию мелкой монетки, ее стали называть монетой *амири*, амирской. В устной речи первый звук эпитета изафетной конструкции стерся, *амири* превратилось в *мири* и еще при Тимуре получило самостоятельное существование в качестве народного названия серебряных монеток — четвертушек. При этом законсервировалось, что *мири* — именно и непременно четверть более крупной серебряной монеты, а впоследствии — четверть любой другой монеты вообще.

В XIX — начале XX в. термин *мири* употреблялся уже именно в этом общем смысле, хотя его происхождение и проглядывает в более прочной связи с серебром. В надчеканах конца XV — начала XVI в. на медных монетах термин *мири* означал, что надчеканенная монета равна четверти другой монеты: скорее всего четверти мелкой серебряной монетки или соответствующей ей счетной единицы [8].

Итак, относительное прилагательное *мири* из эпитета при названии мелкой серебряной монетки Тимура превратилось в термин — самостоятельное название для монет и счетных единиц, равных по своему достоинству четверти других, более крупных. И в этом новом качестве термин *мири* просуществовал более пяти столетий.

[8] В конце XV — начале XVI в. кроме основного медного номинала (в Средней Азии этого времени уже прочно именовавшегося медным динаром) чеканились его кратные, вплоть до $^1/_8$ части. Нельзя поэтому упускать из виду другое толкование: *мири* в надчеканах могло означать, что надчеканенная монета является четвертью основного медного номинала — медного динара. Это кажется менее вероятным потому, что правительство, понижая курс меди, терпело бы убытки.

1. Бурнашев Т. С., Путешествие от Сибирской линии до города Бухары в 1794 г. и обратно в 1795 г.,— «Сибирский вестник», ч. 2—3, СПб., 1818.
2. Бурнашева Р. З., Денежное обращение и монетное дело Бухарского ханства конца XVIII — начала XX вв., АКД, Л., 1966.
3. Бурнашева Р. З., Монеты Бухарского ханства при Мангытах (середина XVIII — начало XX в.),— ЭВ, XVIII, Л., 1967.
4. Бутенев К. Ф., Монетное дело в Бухарии,— «Горный журнал», 1842, ч. IV, кн. IX.
5. Вельяминов-Зернов В. В., Монеты Бухарские и Хивинские,— «Труды Восточного Отделения ИАО», ч. IV, СПб., 1859.
6. Давидович Е. А., История монетного дела Средней Азии XVII—XVIII вв., Душанбе, 1964.
7. Давидович Е. А., О среднеазиатских средневековых монетах в связи с датировкой археологических объектов,— «История, археология и этнография Средней Азии», М., 1968.
8. Клавихо, Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403—1406 гг., пер. И. И. Срезневского, СПб., 1881 (Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук, т. XXVII, № 1).
9. Клем В., Современное состояние торговли в Бухарском ханстве. 1887,— «Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии», вып. XXXIII, СПб., 1888.
10. Кун А. А., Очерки Шагрисябзского бекства,— «Записки РГО по отделению этнографии», т. VI, СПб., 1880.
11. Логофет Д. И., Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное положение, СПб., 1909.
12. Петрушевский Ф. И., Общая метрология, ч. I, СПб., 1849.
13. [Семенов А. А., в кн.:] «История народов Узбекистана», т. 2, Ташкент, 1947.
14. Furdoonjee N., Report on weights, measures and coins of Cabul and Buchara,— «Journal of the Asiatic Society of Bengal», vol. VII, 1838.

Л. Ю. Маньковская

К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕКОТОРЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ШАХРИСЯБЗА

Из наследия Кашкадарьинской области УзССР наиболее известны шахрисябзские памятники эпохи Тимура и Тимуридов [2; 7; 8; 9; 10; 21; 23]. По г. Карши, центру области, до недавнего времени существовала лишь публикация В. Л. Ворониной [6]. С выходом в свет обширной статьи Р. Р. Абдурасулева и Л. И. Ремпеля [1] Кашкадарьинская область предстала как хранилище большого малоизведанного фонда памятников зодчества XI—XIX вв., пока получившего в основном лишь первичные характеристики. Только история памятников Катта-Лянгара была детально охарактеризована М. Е. Массоном [20]. Наше обследование 1967—1968 гг. позволило зафиксировать новые объекты XVI—XIX вв. [11; 12; 13; 14; 15] и расширить представление о ранее выявленных.

Настоящая статья посвящена истории одного архитектурного комплекса, расположенного в г. Шахрисябзе, и определению места некоторых кашкадарьинских памятников в истории среднеазиатского зодчества.

Мавзолей Шамседдина Куляля и *макбарат* (усыпальница) потомков Улугбека — две разновременные постройки, поставленные вплотную друг к другу напротив соборной мечети Улугбека Кок Гумбаз в Шахрисябзе (рис. 43). Первый служит второму проходным помещением, так как все входы *макбарата* сейчас заложены. *Макбарат* потомков Улугбека, известный под названием Гумбази Сейидан, получил научное определение и датировку 1437-38 г. на основе исторической надписи в интерьере [21, стр. 63—64]. Было осуществлено изучение монументальной живописи интерьера [3]. Однако этапы строительства и перестроек этого конгломерата в целом пока не были выяснены.

Расчистка ремонтных штукатурок главного фасада мавзолея Куляля, произведенная в 1947 г. архитектором А. Н. Виноградовым, выявила сплошную облицовку пилонов портала кирпичной мозаикой со швом в технике эпохи Тимура и Тимуридов. «Жалкая руина» [9, стр. 265; 21, стр. 61], какой представлялся памятник до расчистки, оказалась остатком древнейшего в Шахрисябзе мавзолея. А. Н. Виноградов считал эту постройку камерой с двойными степами. С востока находилась *ханака* XVII в., разобранная на кирпич в 1954 г. (рис. 44). А. Н. Виноградов полагал, что стены мавзолея утолстили изнутри во время строительства соседнего *макбарата* потомков Улугбека (Гумбази Сейидан) [4; 21]. В углах стен на деревянных консолях сделали «паруса»; от купола и парусов следов не осталось, сохранились только консоли. В это же время *мазар* был облицован. Затем А. Н. Виноградов несколько изменил первоначальную гипотезу. *Мазар* Куляля — самое древнее сооружение ансамбля, построенное Тимуром после смерти шейха, в 1370 г. Оно сначала не имело отделки. Позднее, при Тимуре же, для укрепления старых стен изнутри встроили новые, возвели купол, украсили портал мозаикой [5, стр. 35]. Исследование покойного А. Н. Виноградова не было завершено им. Оставалось неясным, каковы конструкция первоначального перекрытия, опиравшегося на тонкие стены (0,5 *м*) — при столь солидном размере зала (7,5 × × 7,5 *м*), форма парусов, соотношение перестроек *мазара* с сооружением других памятников ансамбля в XV—XVII вв.

Мавзолей Куляля является прямоугольным в плане зданием с наружными размерами 12,1 × × 10,6 *м*. Главная ось его ориентирована на запад—восток. Стены квадратного помещения продолжены на запад, образуя пилоны портала (рис. 45). Над помещением имеется позднее балочное перекрытие. Стены покрыты грубой ремонтной штукатуркой, трещины и припухлости которой обнаруживают скрытые деформации и перестройки. В центре помещения, между двумя деревянными колоннами, стоит *сагана* с остатками на одной из боковых граней

резной мраморной облицовки времени Тимура [21, стр. 61, 82].

Макбарат потомков Улугбека асимметричен в плане, так как северная стена его, смежная с *мазаром* Куляля, тоньше южной. Размеры в плане снаружи — 8,5 × 10,5 *м*. На западе видны остатки пилонов портала. Камера квадратна, 5,5 × 5,5 *м*, с четырьмя глубокими нишами в стенах, прорезанными по центрам вертикальными проемами дверь-окно с плоскими перемычками. Над высоким четвериком выложен восьмигранный ярус арочных парусов, четко отграниченный горизонтальными тягами. Снаружи восьмигранник воспринимается как малый четверик со скошенными углами. Высокий внутренний купол скрыт в цилиндрическом барабане несохранившегося наружного купола. На барабане осталась облицовка кирпичной мозаикой с крупным швом между плитками, образующими традиционную куфическую надпись,— прием, присущий памятникам эпохи Тимура и Улугбека. Сейчас фасады мавзолея выложены черной кладкой, но еще в 20-х годах на портале видны были остатки облицовки.

По нашим замерам древняя кладка мавзолея Куляля выполнена жженым кирпичом с размерами по лицу 25—26, 5 × 5 *см*, на крепком *ганчхаке*; 10 рядов + 10 швов = 60 *см*. Кладка периода перестроек в южном проходе сложена кирпичом размерами 24—25 × 4,5 — 5 *см* на рыхлом *ганчхаке* (в швах ганч от штукатурки); 10 рядов + 10 швов = 82 *см*. Кладка соседнего *макбарата* потомков Улугбека сложена кирпичом 25,5—26 × 4,5 — 5,5 *см*, на *ганчхаке* с серой земляной основой и крупными редкими включениями толченого кирпича и гипса; 10 рядов + 10 швов = 72 *см*.

На всех четырех стенах *мазара* Куляля на расстоянии 140 *см* от углов на высоте 1,2 *м* от пола выступает на 7—10 *см* ряд торцов консольных балок, поддерживающих вышележащую кладку, возведенную заподлицо с балками. Кладка оштукатурена; у потолка штукатурный слой нависает. Настил из балок по низу стен нельзя трактовать иначе, чем устройство обычного отступа для установки облицовки панели — из камня или мозаики.

В то же время по сторонам от этой кладки в трещинах штукатурки улавливаются скрытые швы, отделяющие гладкую, без консолей и выступов, часть стены в центре каждой из сторон. Естественно предположить, что здесь скрыты четыре традиционные ниши по центрам сторон зала, глубина которых фиксируется разрезными швами в открытых проемах. Закладка ниш и была, вероятно, принята А. Н. Виноградовым за внутреннюю обстройку стен. Таким образом, первоначальные формы *мазара* Куляля нам представляются иными, чем этому исследователю (рис. 45). Ширина ниш составляла 4,6 *м*, т. е. около 2/3 ширины зала. Ширина ниш, бо́льшая, чем сторона вписанного в квадрат зала восьмигранника, известна для сооружений, перекрытых куполами на пересекающихся арках,— конструкция, распространенная в Средней Азии (в развитом виде) не ранее середины XV в., что для данного случая, видимо, отпадает. Расширение ниш известно и на некоторых памятниках XIV в.— при арочных (мавзолей Наринджан-бобо 1312 г., мечети в комплексе Биби-ханым 1399—1405 гг.) и при балочных парусах (мавзолей Биби-ханым в Самарканде, начало XV в.). Малая толщина стен может быть при безраспорной конструкции — балочных парусах, прикрытых из интерьера ганчевым сталактитовым декором[1].

В центре заложенной ниши восточной стены видны еще швы в кладке — заложенный проем шириной 155 *см*. Таким образом, налицо уже три этапа строительных работ в *мазаре*. Портальная ниша также сужена закладкой, в нее вставлена уникальная резная дверь, напоминающая такие шедевры прикладного искусства Средней Азии, как двери мавзолея Ходжа Ахмада Ясави в г. Туркестане (рис. 46). Дверь, по А. Н. Виноградову, перенесена в 1954 г. из разобранной *ханаки* XVII в., куда она, в свою очередь, попала из другого памятника. Проем в северной стене изнутри не просматривается, снаружи застроен *худжрами* двора. *Мазар* Куляля соединен с *макбаратом* потомков Улугбека только в южном проходе — дверью-окном с плоской перемычкой (рис. 47). Таким образом, *мазар* Куляля в первоначальном виде представляется отдельно стоящим, раскрытым проемами на все четыре стороны зданием.

В 1437—1438 гг. с юга к мазару была вплотную пристроена усыпальница потомков Улугбека. К этому времени относится, видимо, и облицовка портала *мазара* Куляля, поскольку на портале противоположной ему мечети Кок Гумбаз (1434-35 г.) выполнен кирпичной мозаикой точно такой же рисунок в виде цепочки восьмиконечных звезд. Выкладка основных синих линий *гирих* сделана и вертикальными, и горизонтальными плитками — прием, неизвестный в тимуровский период, когда все цветные плитки устанавливались вертикально на фоне горизонтальных неполивных кирпичиков. Очевидно в XVII в. при постройке с востока *ханаки*, в *мазаре* заложили все ниши и сузили портальный проем. Стены внутри оштукатурили. Тогда же заложили

[1] Балочные паруса в сохранившихся памятниках ныне известны не ранее 90-х годов XIV в.,— в мавзолее Ходжа Ахмада Ясави в г. Туркестане.

и двери в *макбарате* потомков Улугбека, и *мазар* Куляля стал проходным. Последний этап перестроек — устройство балочного перекрытия в *мазаре* Куляля вместо рухнувшего купола, закладка восточного проема в *ханаку*. Итак, в 70-х годах XIV в. был построен портально-купольный мавзолей Куляля с четырьмя нишами, раскрытыми вовне проемами; к 1437 г. относится пристройка с юга *макбарата* потомков Улугбека и облицовка его и *мазара* Куляля; в XVII в. была пристроена с востока *ханака*, заложены ниши в мавзолеях; к концу XVIII—XIX в. относятся устройство балочной крыши над *мазаром* Куляля и оштукатуривание главного фасада поверх облицовки.

Структура однокамерного портально-купольного мемориального сооружения была присуща среднеазиатскому зодчеству на всем протяжении развитого и позднего феодализма, от X до XX в. Устойчивая в своей основе схема прошла, однако, длительную эволюцию, вехи которой на переломном этапе отмечают рассмотренные нами памятники.

Мавзолеи Куляля и потомков Улугбека, как и мавзолей Мухаммад-Садыка в Катта-Лянгаре [1; 20], независимо от абсолютных размеров и деталей декора представляют единый тип продольноосевого здания с призматическим, прямоугольным в плане основанием, в торце которого образован портальный вход с глубокой арочной нишей, фланкированной пилонами. Над объемом призмы возвышаются лишь купол, перекрывающий квадратный, крестообразный за счет ниш зал, и верх *пештака* [2].

Рассмотренная нами группа в истоках имеет прототипы в Мавераннахре, в известном мавзолее Араб-ата в Тиме (конец X в.), Южном и Северном узгенских мавзолеях (XII в.). Заложенный в них принцип замкнутого однокамерного сооружения с одним входом без изменений в основной схеме прошел через все мавзолеи некрополя Шахи-Зинда в Самарканде (конец XIV — начало XV в.) независимо от эволюции их объемов и стиля декора [22] и был нарушен лишь однажды — в крупном мавзолее эмира Бурундука, где имеется добавочный боковой вход с юга. Процесс объемной эволюции портально-купольного мавзолея шел в это время параллельно с развитием других типов однокамерных мемориальных зданий — центрических, замкнутых, как мавзолей Калдыргач-бия в Ташкенте, и раскрытых на все стороны проемами, как мавзолеи Чупан-ата и Восьмигранник в Самарканде (30-е годы XV в.), купольных с выдвинутым порталом, раскрытых на четыре стороны (мавзолей Рухабад в Самарканде, 70-е годы XIV в.), а также многокамерных мавзолеев-комплексов, в которых раскрытие главного зала (*джамаатхана*) было возведено в принцип (мавзолей Ходжа Ахмада Ясави в г. Туркестане и др.).

Мавзолей Куляля, построенный в 70-е годы XIV в., т. е. одновременно с ранними тимуровскими мавзолеями в Самарканде, синтезировал в себе свойственные и им черты, объединив портально-купольную композицию замкнутой, как в Шахи-Зинда, схемы с открытым принципом, присущим мавзолеям с кубическим основным объемом, как мавзолей Рухабад, без архитектурного акцента на второстепенных входах.

Далее тему открытого портально-купольного мавзолея в иной пластической интерпретации воспроизвели в *макбарате* потомков Улугбека, закрепив таким образом эту линию, развившуюся позднее в более крупных зданиях мавзолеев-*ханака* XVI—XVIII вв., с лестницами или *худжрами* в угловых пилонах, с архитектурно выделенными второстепенными входами, с одним главным залом, служившим и усыпальницей, и *зиарат-хане*. Примеры центрических, продольноосевых и фронтальных композиций мавзолеев-*ханака* многочисленны; четкую прямоугольную форму основного объема в продольноосевой композиции имеют при этом мавзолеи Зайнаддин-бобо в Ташкенте, Абди-Бирун в Самарканде, два мавзолея-*ханака* в Иски-Лянгаре [15]; та же схема при кубическом объеме — в мавзолее Кызыл Мазар под Бекабадом [16]. И наконец, тот же тип здания с индивидуализацией пластической проработки, размеров и форм выполняет в конце XVI—XVII вв. функцию чисто культовую, примером чему служит *ханака* Ходжа Илим-Кан близ Китаба, напоминающая монументальные, более развитые по планировке *ханака* в Бухарском оазисе — Хакими-Муло-Мир в Рометане и Диван-беги в Бухаре.

Таким образом, шахрисябзские мавзолеи Куляля и потомков Улугбека стоят у истоков перерождения мемориального здания в чисто культовое, в *ханака*, каким оно стало по функции в позднефеодальный период. Однако тема замкнутого однокамерного мавзолея, пройдя свою кульминацию в конце XIV — начале XV в., продолжает бытовать в позднефеодальном зодчестве без дальнейшего развития типа, но с изменениями в проработке пропорций и пластики объемов. Иногда такие постройки напоминают крупные «продольноосевые» *ханака* с доминирующим в композиции порталом.

[2] Строго говоря, это подтип, так как композиция портально-купольных мавзолеев шла еще и путем формирования кубического объема с выдвинутым из него суженным порталом. Такие мавзолеи в Кашкадарьинской области не распространены, хотя существует ранний прототип их — мавзолей Исхак-ата в комплексе Хусам-ата в Фудина.

Таковы, например, наманганские мавзолеи Девона-бобо, Мавляна-бобо, Ходжа-Амин Кабры [18], хорезмийские мавзолеи Шаводы-Ходжа-бобо, Ших-Мавлон-бобо, Музраб-шах Хорезми, Исмаил-бобо и другие, с характерными для Хорезма вытянутыми вверх порталами с *реваками*, увенчанными пышной кирпичной *шарафой*, но без изменений в основном типе композиции [17]. В Кашкадарьинской области примером замкнутого позднего портально-купольного мавзолея является мавзолей Мухаммада Садыка, с доминирующим в композиции двойным куполом; затем следуют мелкие поздние мавзолеи Ташкента — Ибрагим-ата, Чупан-ата, Муин-халпа-бобо и Кушчи-мазар [19].

Так прослеживается ряд примеров применения универсальной пространственной структуры, удобной для выполнения совершенно различных функций, в соответствии с которыми схема разрабатывалась в конкретных габаритах и декоре — в духе своего времени, места, вкуса мастера и заказчика. Подобные явления отмечаются и в других типах зданий Кашкадарьи. Так, двухкамерная фронтальная мечеть XVI в. в Катта-Лянгаре имеет более древний прототип композиции — в идентичном по схеме расположения объемов мавзолее первой половины XIV в. Хазрати-Шейх в Каучипе [1, стр. 17].

Осмысление сущности этого архитектурного феномена, как и обратного ему явления — разрешения единых функциональных задач с помощью разных форм пространственных образований, возможно лишь в сфере общей теории формообразования в зодчестве.

1. Абдурасулев Р. Р., Рempель Л. И., Неизвестные памятники архитектуры бассейна Кашка-Дарьи,— «Искусство зодчих Узбекистана», Ташкент, 1962.
2. Бакланов Н. Б., Три сооружения Тимура,— «Труды Всероссийской академии художеств», т. I, М.— Л., 1947.
3. Бородина И. Ф., Интерьер мавзолея Гумбази-Сейидан в Шахрисябзе,— «Материалы и исследования по истории и реставрации архитектурных памятников Узбекистана», вып. I, Ташкент, 1967.
4. Виноградов А. Н., Отчет архитектурно-археологической экспедиции в г. Шахрисябз по обследованию и фиксации ансамбля памятников Кок Гумбаз и мавзолея Гумбази Сейидон,—Архив ГУОПМК, № 1496, Ташкент, 1947.
5. Виноградов А. Н., Научный отчет по обмерам, исследованиям и реконструкции ансамбля мечети Кок Гумбаз,—Архив ГУОПМК, № 1492, Ташкент, 1954.
6. Воронина В. Л., Неизвестные памятники Средней Азии,— «Материалы по истории и теории архитектуры Узбекистана», вып. I, М., 1950.
7. Воронина В. Л., Некоторые данные о памятниках зодчества Узбекистана,— «Архитектурное наследство», М., 1953, № 3.
8. Гулямов Я. Г., Склеп Джахангира в Шахрисябзе,— «Известия АН УзССР», 1949, № 2.
9. Засыпкин Б. Н., Памятники Шахрисябза,— «Вопросы реставрации», вып. 2, М., 1928.
10. Кабанов С. К., Руины дворца Ак-Сарай в Шахрисябзе,— «Труды Института истории и археологии АН УзССР», т. I, Ташкент, 1948.
11. Маньковская Л. Ю., Архитектурные памятники Кашка-Дарьи, Ташкент, 1971.
12. Маньковская Л. Ю., Два малоизвестных памятника гражданского зодчества Карши,— «Строительство и архитектура Узбекистана»,1968, № 5.
13. Маньковская Л. Ю., Научные отчеты об обследовании архитектурных памятников Кашка-Дарьинской области в 1967 и 1968 гг.,— Архив Института искусствознания им. Хамзы, № 506, *а*, *б*.
14. Маньковская Л. Ю., Неизвестные памятники XVI—XIX вв. в Кашка-Дарьинской области,— «Строительство и архитектура Узбекистана», 1969, № 11.
15. Маньковская Л. Ю., Неизвестные памятники Иски-Лянгара и Китаба,— «Строительство и архитектура Узбекистана», 1970, № 6.
16. Маньковская Л. Ю., Неизвестные мавзолеи Ташкентской области Кызыл Мазар и Гумбез-бобо,— ОНУ, 1970, № 10.
17. Маньковская Л. Ю., Неизвестные памятники архитектуры Хорезма,— «Строительство и архитектура Узбекистана», 1970, № 10.
18. Маньковская Л. Ю., Об изучении и охране архитектурного наследия Наманганской области,— «Строительство и архитектура Узбекистана», 1972, № 9.
19. Маньковская Л. Ю., Пулатов Х. П., К изучению архитектурного наследия Ташкента,— «Строительство и архитектура Узбекистана», 1972, № 6.
20. Массон М. Е., Катта Лянгар в области средневекового Кеша,— «Труды ТашГУ. Археология Средней Азии», VII, вып. 295, Ташкент, 1966.
21. Массон М. Е., Пугаченкова Г. А., Шахрисябз при Тимуре и Улугбеке,— «Труды САГУ», вып. 39. «Гуманитарные науки», кн. 6. «Археология Средней Азии», Ташкент, 1953.
22. Ноткин И. И., Развитие структуры однокупольного сооружения XIV — начала XV вв. в ансамбле Шахи-зинда,— «Архитектурное наследство», М., 1961 № 13.
23. Пугаченкова Г. А., К вопросу о реконструкции ансамбля Дорусиадат, тимуридской усыпальницы в Шахрисябзе,— «Материалы по истории и теории архитектуры Узбекистана», вып. I, М., 1950.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ГОРОДОВ

1. *К истории населения Самарканда*

Литература по истории Самарканда, довольно обильная, создавалась на протяжении долгого времени. В нее входят и сообщения путешественников, наблюдавших город своими глазами на разных этапах его жизни,— Клавихо, Филипп Ефремов, Н. Ханыков, А. Вамбери и др. [23; 18; 46; 9], и многочисленные статьи дореволюционного времени, среди которых важнейшими являются работы В. Л. Вяткина и его переводы двух сочинений местных авторов — это путеводители по самаркандским мазарам [11; 12; 13]. В советское время появились труды историков и археологов (В. Л. Вяткин, А. Ю. Якубовский, В. А. Шишкин, И. И. Умняков [14; 50; 48; 45; 26; 27; 28; 30]), а к юбилею Самарканда выпущены двухтомник «История Самарканда» и ряд других работ [22; 36].

Несмотря на многочисленность работ, посвященных Самарканду, далеко не все вопросы обсуждены и решены. В частности, очень слабо изучен один из важнейших вопросов жизни всякого города — вопрос о населении в плане истории его формирования и этнической характеристики. Даже для позднего времени, когда появились возможности всестороннего изучения этого вопроса, авторы работ чаще всего ограничиваются приведением некоторых статистических данных и их сводкой. Поэтому исследование истории населения Самарканда остается одной из первоочередных задач для занимающихся Средней Азией историков всех специальностей.

Как известно, особенностью городского населения в отличие от сельского является его смешанность, нестабильность. Оно все время пополняется за счет сельских жителей, прежде всего ближайшей сельской округи, нередко с течением времени включаемой в черту города, сельских жителей из других мест, выходцев из других городов и стран. Исторические условия и события оказывают сильное влияние на процесс сложения городского населения. В истории Самарканда, в частности, бывали периоды, когда, по свидетельству источников, состав его жителей претерпевал значительные изменения. Иногда старое население почти полностью уничтожалось, иногда в него вливались новые компоненты. Так, при взятии Самарканда войсками Чингисхана «30 000 ремесленников были отданы сыновьям и родственникам Чингисхана, столько же было уведено для осадных работ, остальные получили дозволение вернуться в город. После этого еще несколько раз уводили жителей из города, так что он почти полностью запустел» [4, стр. 481; 6, стр. 160]. При Тимуре, наоборот, в Самарканде поселили много новых жителей. Когда был полностью разрушен Ургенч, «все его жители были переселены в Самарканд» [6, стр. 160]. Известно, что Тимур переселял в свою столицу полезных ему людей, в первую очередь ремесленников, из всех стран, которые он завоевывал. При явном преувеличении имеющихся в восточных источниках сведений, особенно в отношении цифр, в результате походов и переселений изменения в составе населения города бывали очень значительными.

В данной работе рассматривается лишь один из этапов истории населения Самарканда: период разрухи и восстановления, который город пережил в XVIII в. В это время историческая обстановка в Средней Азии была очень неблагоприятной, особенно для средней и нижней частей долины Зарафшана. Ряд причин привел к нарушению нормальной жизни. Разруха достигла высшей своей точки к концу первой половины XVIII в., во второй половине началось медленное ее преодоление; к середине XIX в. пострадавшие области восстановили свою экономику и, вероятно, в меньшей степени свое население.

Всякие нарушения нормальной жизни страны особенно сильно отражаются на городах, для которых необходимы постоянные связи с сельскими районами, обеспечивающими их

продовольствием. Разруха XVIII в. быстро привела в упадок города, и больше всех пострадал Самарканд. Как говорит среднеазиатский историк того времени, там «и одной живой души не было» [52, л. 133а; 10, стр. 9].

Свидетельства письменных источников послужили основой для трактовки этого периода историками. По словам В. В. Бартольда, «бывшая столица Тимура совершенно запустела, а в 1740 г. ... в Самарканде совершенно не было жителей, кроме цитадели, где поселилось около 1000 семейств» [5, стр. 272]. В более поздней работе В. В. Бартольд высказался еще решительнее: Самаркапд «был совершенно разорен и на некоторое время даже перестал существовать» [7, стр. 223].

Другой авторитетный историк Средней Азии — П. П. Иванов писал, что к 1735 г. «в Самарканде совсем не осталось жителей» [22, стр. 94]. В. А. Шишкин отмечал, что «было время, когда в нем почти не осталось людей, и только лишь через значительный промежуток времени в Самаркандской цитадели поселилось вновь несколько сотен семейств» [48, стр. 27]. Надо сказать, что в последних исторических трудах разруха в Самарканде хотя и отмечается, но рисуется не так мрачно. Это соответствует сведениям, которые мы находим в мемуарах Филиппа Ефремова. Он побывал, вероятно, в конце 70-х годов в Самарканде и сообщил, что, «видно, город сей был прежде немалый, а ныне разорен и против прежнего в третью часть меньше» [18, стр. 36]. Так как раньше он Самарканда не видел, эту оценку он мог дать по незаселенной еще части городской территории. Конечно, к моменту его приезда в Самарканд часть города могла уже восстановиться, но, по-видимому, лишь в незначительной степени: в основном это произошло уже при Шахмураде, который до воцарения на престоле Бухары в 1785 г. был правителем (беком) Самарканда.

Наличие разных трактовок этого периода в истории Самарканда делает необходимыми дальнейшие исследования. Для установления исторической истины или хотя бы приближения к ней важно расширить круг привлекаемых источников. Наряду с письменными источниками, из которых особенно убедительны не нарративные (официальные акты), могут оказаться полезными и этнографические данные, исторические предания, сохранившиеся у населения. Необходимость использования этого источника была недавно отмечена М. Е. Массоном, который посетовал на недооценку содержащихся в преданиях сведений даже в отношении такого раннего периода, когда Самарканд в основном размещался на Афросиабе [30, стр. 11—12]. Тем более уместно опираться на предания при изучении сравнительно недалекого прошлого. Опыт показал, что зачастую в старожильческих семьях на протяжении одного-двух веков не утрачиваются передаваемые из поколения в поколение рассказы о прошлом семьи. Этот источник привлечен автором этой статьи и лег в основу его исследования. Предания записывались начиная с конца 30-х годов, более ранние записи дополнялись в течение 1965—1970 гг. В качестве сравнительного материала привлечены некоторые письменные источники как в переводах, так и в подлинниках.

Прежде чем переходить к рассмотрению вопроса о городском населении, необходимо сказать о структуре Самарканда, его членении на части. Так как жизнь горожан протекала в узких рамках квартальных общин или, в лучшем случае, была ограничена более крупными единицами, на которые делился город, этнографические сведения собирались путем обследования каждого квартала в отдельности и опроса его старожилов.

Самарканд сохранял древнюю традицию деления на четыре части, в свою очередь разделявшиеся на кварталы. Кварталы были основной структурной единицей феодальных городов, имея административное и социально-бытовое значение. Процесс развития города выражался в увеличении числа составлявших его кварталов, и бо́льшая или меньшая раздробленность города свидетельствовала о большем или меньшем развитии городской жизни. В Бухаре этот процесс привел к делению города на 217 кварталов [40, стр. 68], в Ходженте (ныне Ленинабад) — на 146 [44, стр. 25—26], в Шахрисябзе — на 52 [40, стр. 131 и план Шахрисябза]. В Ташкенте было около 250 кварталов [24, стр. 262—266; 25, стр. 7—15] [1]. Самарканд же в начале XX в. состоял из 85 кварталов. Но раньше кварталов было около сотни: еще 18 кварталов размещалось вокруг цитадели. При устройстве колониальными властями военной крепости они вошли в полосу отчуждения, дома были откуплены у жителей и разрушены —сохранился лишь один квартал, лежавший к северу от цитадели, который не попал в освобождаемый район.

Память о том, что в Самарканде было сто кварталов, живет и поныне. Эта цифра, несомненно реальная (хотя, возможно, и не точная), конечно, отражала число кварталов, которые образовались в течение периода, прошедшего после восстановления города, бывшего в разрухе в XVIII в. Сколько кварталов насчитывалось до запустения, сейчас установить уже

[1] Точное число кварталов Ташкента до сих пор не установлено.

невозможно. Хотя в письменных источниках предшествующего периода мы встречаем немало названий, но они не охватывают кварталов всего города в целом. Не удалось также установить названия кварталов, размещавшихся раньше вокруг цитадели и исчезнувших при устройстве крепости.

Анализ названий известных нам 85 кварталов показал, что среди них выделяются 16, которые прямо указывают на приход их жителей из других мест. Выяснилось, что у старожилов этих кварталов сохраняются передававшиеся из поколения в поколение предания о переселении в Самарканд их предков. Такие предания имеются также в пяти кварталах, названия которых не содержат указания на переселение. Еще четыре квартала носят названия пригородных селений. Собранные сведения показали, что их жители, по существу, были одновременно и жителями соответствующих селений: там они имели сады, в которых жили весь сельскохозяйственный сезон, т. е. почти полгода. Такой образ жизни вообще широко практиковался в большинстве среднеазиатских городов, в том числе крупных — таких, например, как Ташкент [1, стр. 176—177; 35, стр. 72—77]. Вследствие этого жителей указанных четырех кварталов нельзя ставить в один ряд с «переселенцами», хотя относительно двух из этих кварталов А. Д. Гребенкин говорит, что их жители «переселились в город лет 60 тому назад» [15, стр. 10], т. е. в начале XIX в., а возможно, и раньше. Как мы видим, это переселение было далеко не полным. Интересно отметить, что и по морфологии названия этих кварталов отличались от названий кварталов, заселенных пришельцами из других мест: в последних появляется суффикс «и» («яй» относительности), и таким способом образуется производное слово (в переводе «ташкентцы», «ургутцы»), а в первых такого окончания нет, и название квартала представляет собой простое повторение названия кишлака, как бы существующего в двух местах — в городе и в пригороде.

Таким образом, если не принимать во внимание эти четыре квартала, жители 21 из 85 самаркандских кварталов не принадлежали к исконному местному населению. Передавая предания о приходе сюда своих предков, информаторы связывали это с заселением города после запустения и приписывали инициативу Шахмураду. Его старания, направленные к восстановлению Самарканда (о чем известно и по письменным источникам), вероятно, относятся прежде всего к тому времени, когда он, еще при жизни своего отца, был назначен правителем Самарканда, его беком, почему среди самаркандцев его до сих пор называют не иначе как Шахмурад-беком. Не исключено, впрочем, что, сделавшись в 1785 г. бухарским эмиром, он продолжал заботиться о благоустройстве Самарканда — второго по величине и значению города ханства.

Приведем некоторые из записанных от старожилов-самаркандцев предания. Житель квартала Муборак, покойный мастер-строитель усто Шамси Гафуров, рассказал, что их предки, узбеки кырк-юзы, пришли сюда из-под Уратюбе по приказу Шахмурада. Сначала их разместили в том районе города, где находится квартал Кош-хауз (к северо-западу от Регистана). Это место им не понравилось: у них был скот, а там оказалось тесно и мало воды. Были и другие причины для недовольства. Когда об этом стало известно властям, переселенцам было предложено самим выбрать один из пустовавших районов города. Они облюбовали территорию к востоку от мечети Биби-ханым, где позже образовался их квартал Муборак. Переселенцы могли разместиться там довольно просторно; усто Шамси показал, каким был участок, занятый предками его семьи,— сейчас на этой территории располагается 15 домовладений.

По соседству образовался квартал, в котором поселились выходцы из кишлака Культепа, тоже Уратюбинского района. Они дали занятому ими кварталу имя своего родного кишлака, хотя и старое его название, Дари занджир, не было забыто. Культепинцев пришло много, они поселились частью в городе, частью же в кишлаке Койчорук (он вошел в колхоз «Победа»).

Картину города, каким его застали эти переселенцы, рисует рассказ престарелой жительницы этого квартала, которая слышала в свое время от старших, что их предки обосновались в Самарканде после того, как город совершенно запустел «во времена Дониёра Валлами» (видимо, имеется в виду Данияр-бек, отец Шахмурада). Здесь был тогда такой голод, что ели человечье мясо, для чего специально ловили пришлых людей, расставляя силки (тузок) в городских воротах. Все заросло колючкой, в городе развелось много шакалов, так что немногие приезжие, опасаясь их нападения, вынуждены были останавливаться со своими караванами внутри зданий медресе.

Ко времени Шахмурада относят свой приход в Самарканд и жители двух соседних кварталов этой же части города — Зомини и Ёмини. Как показывают названия кварталов и имеющиеся у их жителей исторические предания, эти кварталы заселены переселенцами из города Заамина и селения Ёмин, которое, по мнению самих ёминцев, находится где-то недалеко от Джизака. Сначала привели из Ёмина 15

семей, но к началу XX в. семей оказалось около полусотни. Пришельцы заселили территорию этих двух кварталов по своему выбору — им понравилось, что здесь протекал большой арык. Поселившись в Самарканде, они по-прежнему держали скот. Потом за воротами Каландархона купили землю, стали сеять там пшеницу и развели сады. К концу XIX в. в обоих кварталах было много ремесленников: ткачей, вырабатывавших бумажные ткани, и сапожников.

Наряду с ёминцами и зааминцами в этих кварталах жили отдельные семьи переселенцев из других мест: из Карши и из-под Каттакургана, откуда, видимо, пришли предки 10 семей узбеков-найманов, район поселения которых находился около Каттакургана. Все упомянутые переселенцы принадлежали к родо-племенным узбекам. Еще в предвоенные годы в семьях жителей этих кварталов, население которых уже перешло в основном на таджикский язык, со стариками говорили по-узбекски.

Также ко времени Шахмурада предание относит заселение расположенного в этой же части города квартала Мирзо Пулод. Свое название этот квартал якобы получил по имени шахмурадовского писца (мирзо), который поселился здесь одним из первых. Тогда же, вероятно, заселился находившийся неподалеку квартал Амиробод. Его название «Благоустроенный эмиром», имеющее аналогию среди кварталов Бухары [2], несомненно, дано в ознаменование устроительной деятельности какого-то эмира или, может быть, получения от него разрешения на поселение на этой территории. Как известно, титул эмира приняли только правители мангытской династии, и одним из первых эмиров был Шахмурад, во всяком случае, он был первым, имевшим непосредственное касательство к благоустройству Самарканда после разрухи.

В той же части города было еще несколько кварталов, заселенных потомками переселенцев. Предки жителей квартала Шахрисябзи, по преданию, заняли свою территорию тоже во времена Шахмурада. Они пришли по своей воле, хотя инициатива исходила от властей: селиться в опустевшем городе было предложено администрацией. Шахрисябзцы тоже принадлежали к узбекам с родо-племенным делением. Информатор был, например, из джалаиров, а его мать происходила из укрпшей. Жители этого квартала сохраняли в домашней жизни узбекский язык, хотя хорошо знали и таджикский. Жили в этом квартале и не шахрисябзцы.

Соседний квартал — Урмитани,— судя по названию, был заселен выходцами из Урмитана (в верховьях Зарафшана) — таджиками. Квартал этот исчез при реконструкции города, преданий о приходе в Самарканд урмитанцев записать не удалось.

Видимо, несколько позже пришли в Самарканд выходцы из Ташкента, осевшие в юго-восточной части города довольно компактной массой. Они образовали три квартала: Орифджонбой, Домулло Косим и Баланд Копрук,— известных под общим именем Тошканди («Ташкентцы»). Записанные от старожилов этих кварталов предания не связывают поселение здесь ташкентцев с именем Шахмурада. И расчет поколений, позволяющий приблизительно датировать это событие, свидетельствует, что оно могло произойти в начале XIX в. По семейным преданиям, записанным от двух «ташкентцев», сюда пришел прадед лица, родившегося в 1870 г., и прапрадед того, кто родился в 1906 г. Прапрадед нашего информатора — Арифджанбай — упомянут в «Самарие», причем отмечено, что он — ташкентец. Об этом говорится в связи с постройкой им новой мечети Дари занджир в 1250 г. (1834—1835 гг.) [12, стр. 168]. Конечно, постройка мечети должна была осуществляться им не в начале его пребывания на новом месте, а когда он там освоился, прочно осел и к тому же стал богатым человеком. Таким его рисует и семейное предание, согласно которому он был человеком заметным, вожаком группы переселенцев. Упоминание этого лица в «Самарие», сочинении, написанном в 30-х годах XIX в., подтверждает высказанные выше соображения, основанные на преданиях, сообщенных пожилыми людьми из «ташкентцев», о том, что их приход в Самарканд надо датировать началом XIX в. Возможно, впрочем, что это предание отражает историю прихода в Самарканд лишь той группы, которую возглавлял Арифджанбай. Другие переселенцы из Ташкента могли прийти и раньше.

Сначала переселенцев из Ташкента поселили на территории квартала Ходжа Зульмурод, но затем Арифджанбай присмотрел место поудобнее. Территория, на которой образовались три квартала Тошканди, тогда была заболочена, рос камыш, водились шакалы. Но там было много воды, что и привлекло переселенцев. И в этом предании также имеется рассказ о том, что караваны, приходившие тогда в Самарканд, останавливались внутри зданий медресе и от разводимых там костров на внутренних стенах медресе Тиллякори якобы поныне видны следы огня.

Причиной запустения города это предание считает большую эпидемию холеры или чумы (*вабо*), во время которой много жителей Самар-

[2] Квартал Амиробод в Бухаре был населен евреями, это была самая поздняя еврейская слобода, помещавшаяся около южной стены [42, стр. 167].

канда поумирало, другие бежали, бросив свои дома и имущество. Из страха перед болезнью долго никто не решался войти в опустевший город, наконец, один из правителей (информатор предполагал, что это мог быть эмир Насруллахан) сказал: «Неужели город Тимура со всеми его мечетями и медресе будет пустовать?» Было широко объявлено, что новым поселенцам предоставят налоговые льготы (*бодж-у хироджнамегиран*), и в Самарканд отовсюду стали приходить люди. В этом предании переселение ташкентцев представляется добровольным. Однако второй информатор из этой группы когда-то слышал от стариков, что их предки были сюда переселены (*кучма ходжалык карда*), а не пришли сами. Их переселяли не сразу, несколькими группами (*пеш-у акыб*), в разное время. Вероятно, эти различия в преданиях отражают историю поселения в Самарканде предков разных семей «ташкентцев».

В непосредственной близости к этим кварталам был расположен квартал Халифа Ялибек, второе название которого — Фони — свидетельствует, что здесь жили выходцы из Фана, с верховьев Зарафшана. Сейчас никого из их потомков в этом квартале нет, и обстоятельства поселения в Самарканде фанцев выяснить не удалось. Местоположение этого квартала заставляет думать, что заселение его территории также произошло при восстановлении города после разрухи. Предания «ташкентцев» свидетельствуют, что в начале XIX в. запустение города еще не было преодолено, в нем было много незаселенных мест.

С севера к этому кварталу примыкал квартал Ургути, занятый выходцами из крупного таджикского промышленного селения, расположенного в 45 *км* к востоку от Самарканда. Видимо, уже в советское время квартал разделился на два — Ургути-1 и Ургути-2. У жителей этих кварталов также имелось предание, что их предков привел сюда какой-то правитель, причем переселение было насильственным (*маджбур карда*), и что это было сделано вследствие того, что Самарканд запустел. Видимо, переселения из Ургута происходили длительное время, и последующие были добровольными, сюда приходили и по своей инициативе. Вероятно, некоторые семьи ургутцев поселились здесь не так давно, они еще не утратили память о том, что в Ургуте жили в квартале Торинджак. Ургут имел постоянные торговые связи с Самаркандом, приезжие оттуда по делам останавливались в своем караван-сарае (*сарои Ургути*).

Полоса кварталов, в которых были обнаружены предания о переселении в Самарканд, шла дальше — в северную и северо-западную часть города.

К югу от мечети Биби-ханым находится квартал Дахбеди, заселенный выходцами из селения Дагбид, расположенного в 13 *км* к северу от Самарканда. По преданию, «семь поколений тому назад» оттуда было переселено сначала 15 семей, потом пришло больше. В это же время была обжита территория кварталов Ходжанди и Кульобод. На этом месте было большое болото, которое им было приказано осушить и освоить для жилья. По преданию, земля давалась поселенцам бесплатно по определенной норме на семью. В этом же районе, несколько западнее, расположены три квартала Хавоси. Их название свидетельствует, что они были заселены пришельцами из Хаваса, степного района, расположенного недалеко от города Уратюбе. Разделение на три квартала произошло сравнительно недавно, раньше здесь был один большой квартал Хавоси, в котором потомки переселенцев из Хаваса занимали 80 домов.

Из этого же района происходили жители соседнего квартала Науканда, которые дали кварталу название прежнего места их жительства — селения Науканда. Они были узбеками-скотоводами, занимались этим и живя в Самарканде. Их скот пасся за воротами Пойкабак, около которых находился квартал, пастбищами служили земли кишлака прокаженных — Махаухона. Семейные предания и хавасцев и наукандинцев относят приход их предков в Самарканд ко времени Шахмурада.

Несколько иначе рисуется переселение из Хаваса в рассказе 84-летней жительницы квартала Хавас по имени Нарзи-хола. Она слышала рассказы о том, что их предки пришли из Хаваса потому, что там был сильный голод (*кахти*). Возможно, эти различия в преданиях объясняются тем, что предания принадлежат разным группам переселенцев из Хаваса, пришедшим в Самарканд в разное время и по разным причинам. Источником второго предания могли быть семьи, приселившиеся к тем, кто пришел сюда раньше, именно потому, что было известно о наличии в Самарканде «своих» людей.

Несомненно, восстановление Самарканда происходило не единовременно и даже, вероятно, не в короткое время. Этот момент хорошо отражают народные предания: бóльшая часть их говорит о переселении сначала немногих семей, к которым потом присоединились другие. Приход сюда большой группы ташкентцев и поселение их компактной массой, как и датировка этого началом XIX в., а не более ранним временем, доказанная приведенной выше ссылкой на «Самарию», с несомненностью свидетельствует, что по крайней мере эта часть города тогда еще не была заселена. Вероятно, далеко не сразу в городе, который наполовину

запустевал, могло найти пропитание и занятия большое число новых жителей.

Для понимания порядка восстановления города большое значение имеет характер расселения пришельцев. Те, кто сумел расселиться компактной группой, должны были застать свободную территорию, она должна быть в наличии и для приселения к ним в дальнейшем другой группы или новых поселенцев той же группы, которые приходили в Самарканд друг за другом (*пеш у акиб*). Так произошло приселение группы туркмен-эрсаринцев к жителям квартала Кульобод, сложившегося раньше, при осушении находившегося здесь болота, что произошло, видимо, в конце XVIII в. По преданию, существовавшему у туркмен, их предки пришли в Самарканд «сто лет тому назад», т. е. примерно в середине XIX в. Сначала здесь поселилось несколько семей, за ними потянулись и другие, так как в Самарканде для них нашлось подходящее занятие — кладка пахсовых стен, они были в этом специалистами [3]. Многочисленность этой группы, составлявшей почти половину населения квартала, говорит за то, что и в середине XIX в. здесь оставалась незаселенной довольно значительная территория.

К пришлым группам самаркандского населения относятся также ирани, которые были расселены как вне города, так и в самом городе. Они занимали часть квартала Ходжа Зульмурод, располагавшегося вокруг перекрестка, так называемого Чорраха, образуемого пересечением улиц, одна из которых вела к воротам Пойкабак, а другая — на базар у мечети Биби-ханым [4]. История прихода ирани в Самарканд в отличие от бухарских ирани не освещена источниками и пока слабо изучена на материале народных преданий — их записано слишком мало для такой разнородной, многочисленной группы, как ирани, расселенные в городе и, главное, в пригородах Самарканда. Для нашей темы интересны первые. Характер их расселения в городе, в квартале Ходжа Зульмурод, свидетельствует о том, что эта группа ирани, видимо, имела общую судьбу с другими переселенцами упомянутой части города. Припомним, что именно здесь были сначала поселены ташкентцы, а рядом, в квартале Кош-хауз, было дано место переселенцам из-под Уратюбе, которые потом отсюда ушли и образовали квартал Муборак. Следовательно, тогда эта территория не была занята, и поселение здесь ирани было, вероятно, одним из звеньев мероприятий по освоению новыми жителями этой части города. Сообщаемый письменными источниками факт увода жителей Мерва в Бухару и, вероятно, в Самаркапд Шахмурадом примерно датирует приход в Самарканд этой группы ирани его временем. О том же говорит и вся деятельность этого правителя по восстановлению Самарканда после разрухи.

В северо-западной части Самарканда был еще один квартал, название которого указывает на проживание там пришлого населения,— это квартал Кашкари («Кашгарцы»). Когда кашгарцы пришли в Самарканд и как велико было их число, выяснить не удалось, так как никого из их потомков сейчас там нет. Вряд ли их поселение в Самарканде стояло в связи с его заселением после разрухи. Правители приводили сюда подвластных им людей, нередко из захваченных ими районов. С войной между Бухарой и Кокандом был, вероятно, связан насильственный привод сюда людей из-под Уратюбе, как и переселение ирани из Мерва было обусловлено завоеванием и опустошением этого города. Кашгарцы находились в совершенно ином положении и, вероятно, пришли сюда по своей воле. Их группа могла быть немногочисленной: отличие их от коренного населения Самарканда было достаточной причиной для того, чтобы по ним назвать квартал, где они поселились.

В отличие от восточной и северной части города в южной и западной части мы не находим ни преданий о переселении, ни названий кварталов, указывающих на таковое. Жители расположенных здесь кварталов считают себя исконными самаркандцами, это таджики, такие же как жители всей сельской округи, простирающейся до границы степей. Видимо, здесь сохранились старые жители Самарканда, так или иначе пережившие разруху — либо оставшись в городе, либо покинув его лишь на самое короткое время.

Эти различия в судьбе жителей разных частей города при его упадке в XVIII в. выявлены на основании исторических преданий, записанных от старожилов самаркандских кварталов. Но эти предания донесены до нас через два столетия, поэтому очень важно подкрепить эти выводы сведениями, почерпнутыми из источников, более близких к тому времени. Но, как мы видели, нарративные источники оказались необъективными, их сведения сильно преувеличены и нуждаются в проверке. Более надежны данные, которые мы получаем в упоминаниях источниками прошлых веков конкретных кварталов. Такого рода данные были использованы автором этих строк при изуче-

[3] Им были обязаны своим появлением в окрестностях Самарканда защищенные высокими стенами усадьбы «курганча», в которых много общего с усадьбами туркмен и хорезмцев [49, стр. 65; 49а].

[4] Квартал Ворот перекрестка (Чорраха) упоминается в документах XVI в. [55, л. 134а].

ний кварталов Бухары, для которой благодаря обилию источников удалось установить среди названий кварталов конца XIX — начала XX в. много названий, не изменившихся с XVI, XVII и XVIII вв. Это доказало сохранение в жизни кварталов традиций, которые не прерывались в смутное время XVIII в., когда, по нарративным источникам, в Бухаре оставалось всего два населенных квартала.

По Самарканду такого богатства сведений нет, однако некоторые данные удалось получить. Ценнейшими источниками, в частности по истории кварталов Самарканда, являются сборник казийских документов, составленный в самом конце XVI в. [55; 31, стр. 6—7], и антология литераторов, которая была написана столетием позже — в конце XVII в., т. е. незадолго до смутного времени [54].

В документах сборника мы находим свыше сотни названий кварталов Самарканда, но к нашему времени из них сохранилось, частью в несколько измененной форме, только шесть: Кульбача, Бустони хон, Хаузи сангин, Мадрасайи Гури-Мир (в начале XX в. квартал Гури-Мир), Масчити кабуд (в начале XX в. бытовавшее в узбекской форме Кук масчит) и Квартал Ворот Хонако святого шейха Абулайса (в начале XX в. квартал Факих Абулайс) [55, лл. 132а, 151б, 133б, 127а, 127б, 128а, 146б]. Название Пули сафед, уже в XVII в. сделавшееся названием квартала и сохранившееся в этом значении до нашего времени, в XVI в. относилось только к мосту, квартал назывался по-иному [54, л. 155б, IV, л. 127б]. Малый процент названий, сохранившихся с XVI в., говорит о том, что кварталы Самарканда претерпели более значительные изменения, чем кварталы Бухары, где от XVI в. сохранились в употреблении 16 из 32 названий. Следует, однако, учесть, что по Самарканду не удалось составить полного списка названий кварталов XIX в.— остались неизвестными названия 17 кварталов, располагавшихся вокруг цитадели и исчезнувших при строительстве колониальными властями военной крепости. Среди них могло быть много старых названий, так как этот район в период разрухи не запустевал. Именно в этой — юго-западной и западной, — не запустевавшей, по нашим данным, части города находились почти все кварталы, названия которых обнаружены в сборнике XVI в. Лишь один квартал — Квартал Ворот Хонако святого шейха Абулайса — был расположен в восточной части. Об этом речь будет ниже.

Сочинение Малихо представляет собой антологию литераторов, в большинстве современников автора. Излагая их биографии (а среди них много самаркандцев), Малихо, сам самаркандец, иногда сообщает, из какого квартала то или иное лицо. Всего в этом сочинении встретилось 18 названий кварталов Самарканда, из них 13 исчезло из употребления, а пять сохранилось до наших дней. Примечательно, что и эти кварталы находились в западной и юго-западной части города: квартал Бустони хон расположен к западу от Регистана, кварталы Хаузи сангин, Пули сафед, Бульбуляк и Хон Саид имом — между воротами Сузангарон и Ходжа Ахрор.

Таким образом, письменные источники, относящиеся ко времени, предшествовавшему периоду запустения, донесли до нас названия девяти кварталов, сохранившиеся в это тяжелое время и дожившие до XX в. Это свидетельствует, что в той части города, где находились эти кварталы, традиция не была нарушена, следовательно, здесь оставались ее носители — старое самаркандское население. Как видим, письменные источники подтвердили те выводы, к которым мы пришли на основании этнографических данных.

Вернемся к Кварталу Ворот Хонако шейха Абулайса, позже — квартал Факих Абулайс, упомянутому в сборнике XVI в. Он находился в зоне, которая, по нашим данным, запустевала, и был здесь не единственным: рядом с ним обнаруживается группа кварталов со старыми названиями. На восток от квартала Факих Абулайс лежал квартал Шакарджиза, в котором можно видеть квартал «Джакардиза» (вероятно, Чакардиза), относящийся, по В. В. Бартольду, к XII в. На его территории находилось древнее кладбище, было много святынь, и среди них могила шейха Мансура Мотрити (X в.) [4, стр. 140 и 141, прим. 10], из чего видно, что кладбище образовалось еще тогда, когда город занимал в основном площадь Афросиаба. Кладбище должно было тогда находиться за городскими стенами.

На юге с кварталами Шакарджиза и Факих Абулайс граничил квартал Яланг-бий. Он носил имя известного исторического лица — правителя Самарканда XVII в. Ялангтуш-бия, который увековечил себя возведением двух величественных медресе — Ширдор и Тилля-кари. Что Яланг-бий и Ялангтуш-бий — одно и то же лицо, хорошо знают жители этого квартала, это подтверждает и «Самария», где этот квартал назван полным именем и титулом знатного феодала: квартал Ялангтуш-бий аталыка [12, стр. 190].

В Самарканде было не забыто старое название квартала Дари занджир, который после восстановления города был заселен выходцами из-под Уратюбе и переименован в Культепа — по названию кишлака, откуда происходили его новые жители. В «Самарие» говорится, что Дари

занджир — это название рабада жены Тимура [12, стр. 190]. Если это сообщение верно, то название Дари занджир могло сохраниться с очень раннего времени. Квартал Дари занджир, или Культепа, граничил с кварталами Шакарджиза и Факих Абулайс.

Ко времени, предшествующему разрухе, видимо, восходило и название квартала Козы Гафур, лежавшего к югу от квартала Дари занджир. В «Самарие» говорится о медресе Козы Гафур, которое «в эпоху упадка Самарканда разрушилось, и затем по распоряжению Сейида эмира Хайдара (т. е. в начале XIX в.) с южной стороны медресе были выстроены семь худжр» [12, стр. 173]. Это сообщение засвидетельствовало, что ни место медресе, ни его название, от которого, конечно, получил название и квартал, за смутный период не были забыты.

Ранним было также название квартала Махдуми Хорезм, который, как и квартал Козы Гафур, прилегал к кварталу Дари занджир с запада. Махдуми Хорезми был суфием, он умер в 835/1431-32 г. По «Самарие», он жил в Самарканде, с его именем связано известное место — Гори Ошикон — пещера, якобы, «выкопанная Махдуми Хорезми для собранных им суфиев» [12, стр. 167, прим. 35].

Таким образом, обнаруживается целая группа кварталов, расположенных по соседству друг с другом, которые, оказавшись в зоне запустения, по какой-то, пока не совсем ясной причине сохранили свои старые названия, засвидетельствованные для периода, предшествовавшего разрухе. Сохранение старых названий могло быть обусловлено особым положением этих кварталов вследствие популярности расположенных там святынь. Такие святыни имелись во многих из этих кварталов: мы уже говорили о древнем кладбище квартала Шакарджиза; в квартале Факих Абулайс святыней была находившаяся там могила, которую считали могилой Факиха Абулайса, а по «Самарие», там был похоронен его сын, Якуб Абулайс [12, стр. 190]. В квартале Дари занджир находился почитаемый мазар, мечеть этого квартала «была местом пребывания милостивых шейхов» [12, стр. 168]. Там, где таких святынь не было, как в квартале Яланг-бий, широкой известностью пользовалось лицо, по которому квартал получил свое название. Когда восстанавливались и вновь заселялись эти кварталы, могли быть восстановлены и их старые названия.

Но сохранение этими кварталами своих старых названий может, как в других случаях такого рода, рассмотренных выше, свидетельствовать о том, что эти кварталы не запустевали, в них остались прежние жители, исконные самаркандцы [5]. В пользу такого объяснения говорит компактное размещение этих кварталов. Если один-два квартала не могли существовать среди моря развалин и пустырей, то целая группа их на своей довольно обширной территории имела возможность поддерживать жизнь и обеспечивающую ее деятельность.

Какова бы ни была причина сохранения этой группой кварталов своих старых названий, этот факт является еще одним убедительным свидетельством, что даже в период запустения в Самарканде оставалось достаточно жителей, чтобы могли быть сохранены и переданы потомкам старые традиции.

Использованные нами этнографические источники позволили более углубленно и детально исследовать вопрос — историю городского населения, в данном случае населения одного из самых древних и широко известных городов Средней Азии. Привлечение сравнительного материала из письменных источников подтвердило те выводы, к которым можно было прийти на основании этнографических сведений и народных преданий.

Этнографический источник показал себя надежным,— конечно при условии его критического и правильного использования. Достоверность приведенных выше семейных преданий подтверждается правильностью датировки событий, связыванием их с именем правителя, который, как хорошо известно историкам, способствовал заселению Самарканда после разрухи. Отражая одно и то же событие, один период истории города, предания, сохранившиеся в разных семьях, нередко разного происхождения, имеют общие черты, их характеризует удивительное постоянство деталей, которые, однако, отличались некоторым своеобразием при передаче их разными информаторами. Поэтому сходство деталей не кажется порождением единой фольклорной традиции, видимо, в этих различиях отразились различия в восприятии одних и тех же событий и разными группами населения, и разными семьями.

Исторические предания, естественно, сохранялись прочнее всего не у тех, кто в смутный период оставался на месте, а у тех, чья жизнь в результате переселения пошла по иному руслу. В таких семьях предания бережно передавались из поколения в поколение, в этом видели залог сохранения связи с прежней родиной. Эта связь полностью не исчезала. Наиболее любознательные ездили туда посмотреть, где жили их предки, и иногда находили там

[5] Исключение представляет квартал Дари занджир, который запустевал и был заселен новыми жителями, в связи с чем его название изменилось.

родственников. Такую поездку совершил, например, ткач из квартала Культепа. Мне известен также случай, когда в среде потомков переселенцев из Шахрисябза связи с шахрисябзскими родственниками были восстановлены спустя 14 поколений.

Если для ранних этапов истории народные предания имеют сравнительно небольшую ценность и на поверку нередко под ними обнаруживается книжный источник, то для периода, отстоящего на две-три сотни лет, их ценность значительно выше. Практика показывает, насколько прочно они сохраняются и как невелик в них сказочный, легендарный элемент, какой свойствен преданиям о глубокой старине. Материалы народных преданий, подкрепленные изучением состава населения и особенностей его быта, оказались очень полезными для прояснения вопроса о судьбе населения Самарканда в период и после разрухи XVIII в. Они позволили уточнить конкретную обстановку того времени, критически отнестись к сообщениям письменных, нарративных источников — сочинений местных авторов. Основательность такого критического отношения подтвердилась косвенными данными, извлеченными из письменных источников, особенно из актового материала.

Предания не только уточнили степень запустения, но и выявили различия в судьбе разных частей города, показали, какие районы были заселены вновь и за счет кого пополнилось население города. Стало ясно, что в этот период среди жителей Самарканда значительно увеличился численно узбекский элемент, в основном за счет узбеков из родо-племенных групп (исключение представили только ташкентцы), но вместе с тем осталось много местного таджикского населения. Вопреки сообщениям письменных источников (для правильной оценки которых в распоряжении историков не было достаточно сравнительных материалов), значительная часть старого местного населения в рассматриваемый нами неблагоприятный период в истории Самарканда не ушла оттуда, не оставила своих домов и кварталов. Когда в процессе преодоления разрухи в Самарканд пришли новые жители, большинство по-прежнему составляло его старое население, в основном таджикское, такое же, как население прилегающей сельской округи, за пределами которой начинаются степные пространства и места поселения узбеков, в основном родо-племенных.

Это делает понятным, почему переселенцы-узбеки постепенно перешли в большинстве на таджикский язык, а не наоборот, почему Самарканд, главный город области, населенной в основном узбеками, сохранил таджикский язык и долго оставался одним из центров таджикской народности, таджикской национальной культуры. Это положение сохранилось и после национального размежевания, когда Самарканд вошел в состав Узбекистана, хотя с тех пор здесь стала развиваться и узбекская национальная культура, чему способствовало превращение Самарканда в город узбекских вузов и дальнейшее увеличение в составе его жителей узбекского этнического элемента.

2. *К вопросу о структуре среднеазиатского феодального города (исследование плана Бухары середины XIX в. из архива П. И. Лерха)*

Вопросы исторической топографии среднеазиатских городов, не раз являвшиеся предметом исследования таких ученых, как В. В. Бартольд, И. И. Умняков, М. Е. Массон, продолжают привлекать внимание историков. Это понятно: черты древней структуры и планировки городов полны глубокого исторического значения, они отражают этапы развития не только данного города, но и городской жизни вообще.

Большой интерес представляют собой планы городов, снятые в тот период, когда в их планировке сохранялись еще многие древние черты. Пока неизвестны планы городов Средней Азии, выполненные в средние века. Первые планы, составленные путешественниками-европейцами, появились только в начале XIX в. Но так как в этот период, вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции, в Средней Азии продолжал господствовать феодализм, города сохраняли, особенно в ханствах, свою древнюю планировку, сложившуюся исторически, на протяжении многих веков.

Больше, чем другие среднеазиатские города, оказалась изученной Бухара, по этому городу накоплено больше всего картографических материалов. Еще в 1820 г. ее план составил примкнувший к русской миссии немецкий востоковед Эдуард Эверсманн [51]. На этом плане мало топографических подробностей: на нем отмечены городские стены и ворота, два рынка, утренний и вечерний, большой минарет, медресе Кукалташ — и это почти все. Контуры города несколько вытянуты по меридиану, и в своем описании Бухары Эверсманн определил площадь ее как «несколько более длинную, чем широкую» [51, стр. 71]. Ее диаметр он считал в три-четыре версты.

В 1841 г. план Бухары выполнил для Н. Ханыкова П. Яковлев, который был и участником путешествия в Бухару 1820 г. На этом плане контуры города близки к квадрату, но тоже несколько вытянуты по меридиану, на план

нанесено гораздо больше данных: помимо стен и ворот показано 14 караван-сараев, 7 базаров, 6 кладбищ, 23 медресе, 10 крупных мечетей. Что особенно ценно, на плане изображены и окрестности города: пашни, сады, оросительные каналы, некоторые пригородные селения, сады эмира и знати [46].

Оба плана, таким образом, очень схематичны и неточны. Это понятно, так как в той исторической обстановке, характеризовавшейся крайней замкнутостью эмирата, малой доступностью страны для иноверцев, подозрительностью эмирских властей по отношению к людям неместным, снять план города было делом нелегким. Авторы обоих планов, конечно, не имели возможности не только производить какие-либо измерения, но и уточнять план хотя бы визуально.

В совершенно иных условиях создавался широко известный план Парфенова — Фенина, изданный Туркестанским военным округом в 1911 г. и снабженный обстоятельной экспликацией. Бухара к этому времени уже превратилась в вассальное ханство, было организовано русское политическое агентство, европейцы получили в Бухару свободный доступ. Снимавший этот план топограф Парфенов имел возможность тщательно выверить все элементы топографии на месте. Впоследствии план этот был неоднократно проверен на реальной территории города (В. А. Шишкиным, М. Саиджановым, Л. И. Ремпелем, О. А. Сухаревой). Было выяснено, что при некоторых мелких погрешностях план очень точен. Он лег в основу всех планов Бухары, издававшихся в различных исследованиях.

В 1923 г. при проведении врачебно-санитарных мероприятий Бухарским тропическим институтом под руководством известного паразитолога Л. М. Исаева был составлен на основании теодолитной съемки еще более точный план города вместе с его окрестностями. Он хранится в архиве Тропического института и до сих пор не издан. Его научная ценность помимо точности заключается в том, что на нем очень полно зафиксирована та Бухара, которая в таком виде уже не существует, что на этом плане нанесены и окрестности, чего нет на плане Парфенова — Фенина.

После Великой Отечественной войны, и особенно в 60—70-е годы, город коренным образом изменился. В результате реконструкции и строительства общественных и жилых зданий он вышел далеко за границы старых городских стен, которые после революции утратили всякое практическое значение и, не поддерживаемые постоянными ремонтами, стали быстро разрушаться. Хотя центр города, где находятся старые, имеющие художественную ценность памятники архитектуры, охраняется от кардинальных изменений, но теперь город стал иным. Остается очень мало возможностей изучения исторической топографии города в целом по натуре. Тем больший интерес вызывают новые источники, освещающие прошлое города, в частности его топографию и структуру.

Такой интерес имеет опубликованный историком А. Р. Мухаммеджановым до последнего времени не входивший в научный оборот план Бухары, обнаруженный востоковедом Р. Гафуровой в архиве И. И. Лерха. В отличие от всех других этот план сделан рукой местного человека, украшен изображением города, выполненным в стиле восточной миниатюры, и снабжен довольно многочисленными надписями на таджикском языке, содержащими частью пояснения к плану, частью различные сведения о Бухаре и бухарцах.

А. Р. Мухаммеджанов прочел и перевел все надписи, издал фотографию плана и составленный им на его основе вариант с надписями на русском языке, выполнил первичное исследование этого интересного документа. Это исследование, однако, не исчерпало вопроса. Прежде всего не завершено критическое рассмотрение плана, а значит, он не подготовлен для использования в научных целях. Его данные не сопоставлены достаточно полно с уже накопленными сведениями о топографии Бухары. С некоторыми положениями автора публикации нельзя согласиться, их надо проанализировать и дать им должную оценку. Наконец, следует показать, какие новые стороны или черты структуры феодального города раскрывает этот оригинальный план, в котором, видимо, отразились представления о городе самих бухарцев.

Одним из достижений А. Р. Мухаммеджанова является датировка плана. На плане нет указания, кто и когда его составил, и Мухаммеджанов датировал план, используя косвенные моменты. Анализ содержащихся в надписях на плане упоминаний о некоторых лицах и событиях позволили А. Р. Мухаммеджанову очень убедительно доказать, что план мог быть составлен между 1852 и 1858 гг. Последняя дата установлена временем выезда из Бухары Лерха, вывезшего при этом рассматриваемый план [32, стр. 41].

Менее удачно, на наш взгляд, определено имя составителя плана. А. Р. Мухаммеджанов приписал его известному бухарскому ученому и литератору Ахмаду Дониш (1827—1897) и сделал это с такой уверенностью, что без всяких оговорок в самом заглавии статьи назвал этот план «планом Ахмада Дониша». К мнению об авторстве Ахмада Дониша А. Р. Мухаммеджанов пришел на основании следующих до-

водов: «Таджикско-персидский язык плана свидетельствует о среднеазиатском происхождении его автора... Следует особо отметить детальную планировку арка. Это в какой-то мере доказывает, что автор документа участвовал в жизни эмирского двора». Так как Ахмад Дониш «был назначен... главным зодчим... отсюда понятно, что как придворный и главный архитектор он хорошо знал внутреннюю планировку арка...» «Общая картина города (имеется в виду изображение.— *О. С.*) и почерк показывают, что составитель плана был хорошим художником-пейзажистом и неплохим каллиграфом», «он владел именно теми тремя специальностями, которыми обладал Ахмад Дониш, бывший, по его собственным словам, и зодчим, и астрономом, и каллиграфом, и художником». Чтобы подкрепить свои предположения, А. Р. Мухаммеджанов сравнил почерк надписей на плане с автографами Ахмада Дониша и нашел, что они «не отличаются друг от друга» [32, стр. 41—42].

Несмотря на ценность некоторых сопоставлений А. Р. Мухаммеджанова, для окончательного решения вопроса об авторстве Ахмада Дониша их недостаточно. В Бухаре середины XIX в. он был не единственным, кто владел навыками, которые обусловили качество и характер выполнения плана, изображения и надписей. Обучение сыновей не только в мактабе, но и в медресе было в Бухаре принято, и существовало много грамотных людей, обладавших хорошим почерком, среди рядовых горожан (уровень жизни и культуры которых был в столице Бухарского ханства гораздо выше, чем в других местах). Хорошо грамотными были многие ремесленники наиболее развитых специальностей.

Чертить планы и рисовать умели, в частности, лучшие мастера-строители. Архитектор-искусствовед П. Ш. Захидов изучил вопрос о навыках их в составлении планов и опубликовал образцы работ мастеров-строителей из Бухары, в частности их рисунок фасада здания и два плана жилых домов, причем один из них с превосходно выполненными надписями [19, стр. 75—92].

Что касается планировки арка, то ее великолепно знали многие и не имевшие отношения к жизни двора, в частности ремесленники. Медники, ювелиры, золотошвеи, а раньше и ткачи должны были ежедневно являться в арк, где они работали в дворцовых мастерских [33, стр. 27; 41, стр. 53]. Особенно хорошо знали арк ремесленники строительных специальностей: не говоря о том, что они воздвигали там здания, они постоянно их ремонтировали, ежегодно ими производилась смазка глиной всех земляных крыш, начиная с парадных зданий наружной части арка и кончая крышами его внутренней, женской половины.

Решающим доводом в пользу авторства Ахмада Дониша могло быть установление тождества почерков. Однако это дело настолько специальное, что достаточно убедительный вывод может сделать только специалист-графолог, лишь он может надежно установить, что именно перед нами: одна рука или один тип почерка.

Однако в данном случае нет нужды прибегать к такой глубокой экспертизе. В тексте надписей обнаруживаются столь грубые ошибки в самом написании слов, что это говорит о недостаточной элементарной грамотности писавшего. В силу этого предположение об авторстве Ахмада Дониша, одного из самых образованных людей Средней Азии своего времени, отпадает само собой. Так, вместо تاریخ написано تعریخ, вместо شیر کیراه (название западных ворот и находящегося за ними селения) написано شرکراه, вместо سیراب («влажный») — سراب, вместо میروندبه‌قراکول («идут в Карокуль») — میروند در قراکول, вместо او را که دفن کردند («когда его похоронили») — او را که دفه کردن. Две последние ошибки отражают особенности простой разговорной речи бухарцев, говор которых отличается, в частности, заменой предлога направления «ба» предлогом местонахождения «дар» и отпадением в окончании третьего лица множественного числа глаголов конечного звука «д», вследствие чего эта глагольная форма совпадает с инфинитивом. В литературном языке это не принято ни сейчас, ни во времена Ахмада Дониша. Просмотр рукописей, на которые ссылается А. Р. Мухаммеджанов как на автографы Ахмада Дониша, показал, что в них таких или подобных ошибок в написании нет.

Если бы не эти ошибки, мы готовы были бы признать, что в Бухаре того времени трудно назвать более подходящее лицо в качестве составителя плана, чем Ахмад Дониш. Но ошибки налицо, и это делает несомненным, что план составил кто-то другой.

Заметив, что «по стилю чертежа и оформлению он довольно близок к документам европейской картографии» [32, стр. 32], А. Р. Мухаммеджанов высказывает, однако, предположение, что в основе этого плана лежит более ранний план, также местного происхождения, или что этот план выполнялся как оригинальный в качестве приложения к сочинению, которое автор плана якобы намерен написать в будущем [32, стр. 39]. Первое предположение аргументируется тем, что на плане «не фиксируется открытый участок города, расположенный в северо-восточной части городской территории и включавший в себя часть пригород-

ного селения Дилкушо». Объясняя это изменением топографии Бухары после перестройки городской стены в 1544—1545 гг., Мухаммеджанов делает малоубедительный вывод, что имелся более ранний оригинал плана. Но дело не только в неубедительности этого довода: установлено, что открытого участка, не защищенного стеной, здесь вовсе не было, недаром он не фиксируется ни на плане из архива Лерха, ни на одном из известных нам планов Бухары. А. Р. Мухаммеджанова, видимо, ввел в заблуждение тот факт, что Дилкушо есть и внутри и снаружи города. Дело в том, что, когда в XVI в. была воздвигнута новая городская стена, она разделила пригородное селение Дилкушо на две части, одна из которых вошла в городскую черту и превратилась в жилой квартал того же имени, а другая осталась за стеной как селение, которое стало называться Дилкушо наружный («Дилкушойи беруи»).

Для предположения о том, что план составлялся для будущего сочинения, есть некоторые основания: в одном из текстов на плане (по Мухаммеджанову, текст «А») говорится: بعضی لشکر کشی اهل ازبك وترکمان را من بعد در بقیهٔ دیگر بعرض خواهد رسید Выражение بقیه دیگر А. Р. Мухаммеджанов переводит как «в другом сочинении». Но слово بقیه вряд ли может быть употреблено как синоним слова «сочинение», оно имеет значение «остаток», «продолжение». Приведенный отрывок, не совсем ясный по смыслу, скорее может выражать намерение автора плана продолжить надписи на нем, в которых он обещает упомянуть или рассказать о походе узбеков и туркмен. Но если бы даже автор плана и хотел сказать о своем намерении в будущем написать историческое сочинение, совершенно невероятно, чтобы он начал работу с такого необычного для среднеазиатской культуры дела, как составление плана.

Конечно, найти ранний образец местной картографии весьма заманчиво, это было бы действительно открытием, так как до сих пор ни одного плана Бухары среднеазиатского происхождения для прошлых веков неизвестно. Но приведенные факты показывают, что предположение А. Р. Мухаммеджанова о местных традициях картографии не имеет под собой почвы. Видимо, недаром план из архива Лерха обнаруживает черты, которые ведут его родословную к европейской картографии.

Для выяснения происхождения и обстоятельств создания этого оригинального плана, конечно, очень важен факт обнаружения его в архиве Лерха, особенно при установлении того, что план был выполнен как раз в тот период, когда Лерх был в Бухаре. А. Р. Мухаммеджанов, использовав этот факт для датировки плана, не делает никаких выводов о том, как и почему именно тогда был составлен единственный известный нам план Бухары, выполненный местным жителем. Между тем это обстоятельство наряду с другими фактами — временем составления плана и его сходством с европейскими образцами при отсутствии местной картографической традиции — делает гораздо более обоснованным предположение, что план был составлен по заказу самого Лерха, который мог подробно проинструктировать исполнителя, опираясь на уже известные ему опубликованные планы Бухары.

В том, что Лерх мог заказать план, нет ничего невероятного. Мы знаем не один пример из тех же приблизительно времен, когда русские ученые вступали в непосредственную связь со знающими местными людьми и заказывали им выполнение тех или иных заданий по собиранию и письменной фиксации сведений о малоизвестной тогда стране. Наиболее известны и ценны в научном отношении «Записки Шемса Бухари», инициатором написания которых, а впоследствии их комментатором и издателем был русский востоковед В. В. Григорьев [16]. Недавно были опубликованы краткие тексты из архива другого востоковеда — А. А. Куна. Они содержат сведения общего характера о корпорациях хорезмских ремесленников [47]. Для местных людей эти сведения не могли представлять никакого интереса, тем более что в них много неточностей и ошибок. По-видимому, они были составлены по заказу Куна каким-нибудь грамотным хорезмцем, но, конечно, не ремесленником, чем и объясняются ошибки [6].

Характер и содержание поясняющих надписей на плане из архива П. И. Лерха показывают, что они рассчитаны не на бухарцев. Последним не нужно было бы объяснять, что значат шесты с хвостом яков на могилах,— это было в Бухаре известно с детства каждому. Но автор плана счел нужным не только подробно объяснить это, но и добавить, что «таково было правило бухарцев» [32, стр. 37, текст «Б»]. Также не надо было бы объяснять местным жителям, что «вода реки Зарафшан приходит в Бухару из Самарканда», как и роль деревянного каркаса зданий в специфических условиях Бухары с ее высоко стоящими грунтовыми водами.

---

[6] Ошибка, например, содержится в описании «способа проведения обряда медников» (*тарикайи расми мисгари*), в котором говорится о том, что обряд *арвохи пир* они «отмечают еженедельно по очереди» [47, стр. 64]. В действительности обряд *арвохи пир* при участии всех ремесленников совершался нечасто, так как он требовал больших расходов и организационных мероприятий [34, стр. 214, 327, 329, 334, 341, 349].

Рассмотрим этот план с точки зрения его содержания, сравнив его данные с тем, что уже прочно установлено наукой относительно топографии Бухары XIX — начала XX в. Оценку плана дал и Мухаммеджанов, подчеркнув его научный интерес и указав на некоторые недостатки и неточности. Он отметил большую схематичность плана, несоответствие его с действительными контурами городской территории. Искажение пропорций — сильную вытянутость по вертикали — А. Р. Мухаммеджанов объяснил стремлением подогнать очертание города к контурам бычьей шкуры, что якобы было сделано в соответствии с распространенной в Бухаре легендой. По этой легенде, которая была записана уже давно и не раз публиковалась, Хулагу-хан, захватив город, грозил гибелью всем его жителям. Их спас святой Имам Казыхан, испросив себе у победителя ту территорию, которую охватит бычья шкура. Но в этой легенде далее рассказывается, что святой перехитрил хана: он не покрывал территории города шкурой, а разрезал ее на тонкие ремешки и окружил ими город. Именно это говорится и в одной из надписей на плане [7]. Ясно, что после этого автору плана не было никакого смысла подражать в очертании города бычьей шкуре, он сам сообщил, что шкура, по легенде, не покрывала территории города. Искажение его очертаний на плане может объясняться скорее всего тем, что автор плана не был в состоянии охватить взглядом весь город в целом. Справиться с задачей вычертить план без съемки оказалось достаточно трудным даже для такого подготовленного исполнителя, каким был П. Яковлев. Вспомним, что у него, как и у Эверсманна, территория Бухары оказалась вытянутой по меридиану, правда, не в такой степени, как на плане из архива Лерха. Более поздние планы, при которых применялась инструментальная съемка, показали, что в действительности территория города была вытянута с запада на восток в отношении 2 : 3.

Кроме искажения контуров А. Р. Мухаммеджанов в числе неточностей плана отметил неправильности в расположении купольных пассажей — весьма приметных ориентиров для топографии Бухары, отклонение некоторых названий от установленных раньше и другие, менее важные ошибки, не имеющие принципиального значения, но тоже свидетельствующие, что на план без проверки полагаться нельзя. Вместе с тем А. Р. Мухаммеджанов не дал должной оценки ошибкам в одном из важнейших вопросов топографии феодальных городов — в расположении и названиях городских ворот.

Число и место городских ворот — это самый первый и очень важный вопрос исследования исторической топографии города. Ворота — один из самых стойких, прочно сохраняющихся элементов топографии. Их местоположение определялось издавна направлением основных дорог, ведших из города к тем местам, с которыми поддерживалась постоянная связь. Если ворота и переносились при перестройке городской стены, то только по той же дороге, удаляясь от центра города в моменты роста города и приближаясь к центру при сокращении его территории. По воротам, которые нередко упоминаются в исторических источниках, могут быть определены территория города и его границы в тот или иной период [8].

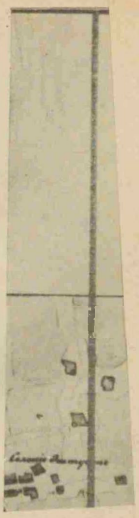
В отношении Бухары этот вопрос достаточно изучен. Число и порядок размещения ворот указаны в сообщениях авторов X в., они описаны путешественниками, нанесены на план столько раз, что в этом вопросе нет никаких сомнений. Так как городские ворота, поставленные при постройке новой стены в XVI в., функционировали вплоть до революции, их хорошо знает каждый бухарец. Поэтому трактовка вопроса о воротах Бухары в любом новом источнике по исторической топографии города является пробным камнем, по которому мы можем проверить достоверность и точность вводимых в научный оборот новых фактов.

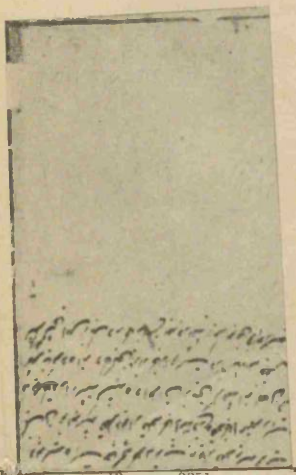
Если подойти с этим мерилом к плану из архива Лерха, сразу обнаруживаются весьма существенные отклонения от истины. В восточной стене ворот показано больше, чем было в действительности: помимо того что в ней оказались Самаркандские ворота (на самом деле находившиеся в северной стене), автор плана разместил здесь еще трое ворот, назвав их воротами Файзабад, Баховаддин и Карши. Первые два из употребленных им названий происходят от двух популярных в прошлом святынь-мазаров; оба находятся к востоку от города — первый ближе, второй несколько дальше. К обоим мазарам паломники ходили через Мазарские ворота, во вторых воротах здесь нужды не было [9]. Это показывает, что оба названия,

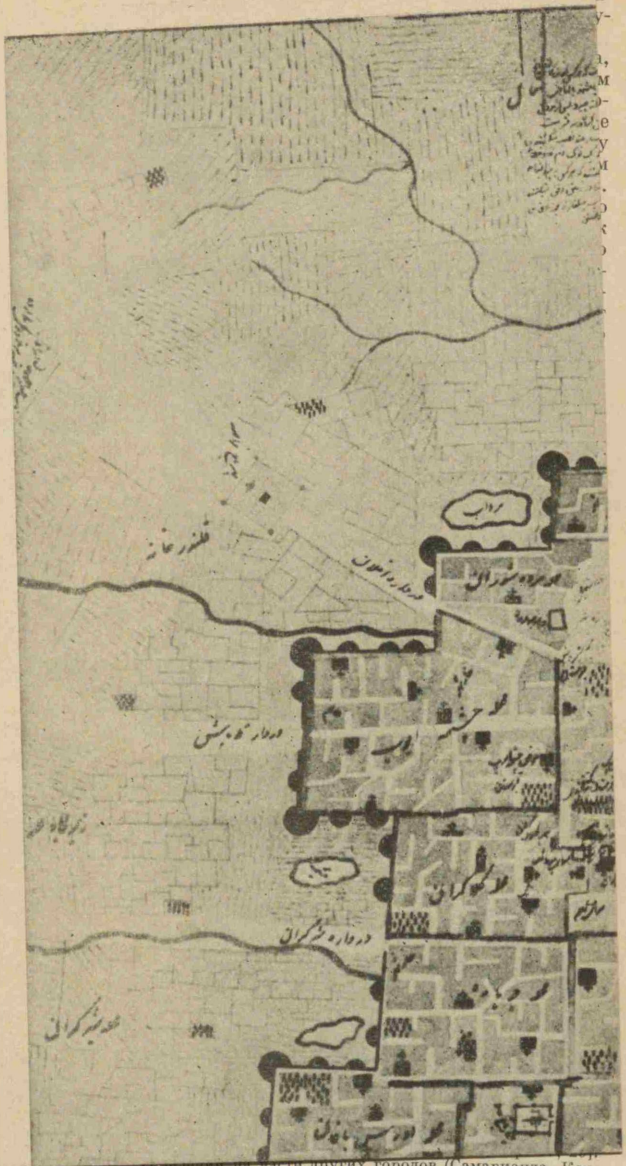
[7] Эта легенда была впервые приведена А. Борисом [8, стр. 429]. Ее приводит также А. А. Семенов [38, стр. 115], в несколько иной редакции. Имя Хулагу было им непонятно, оно передается как Хулак. Так же вслед за ним пишет и А. Р. Мухаммеджанов [32, стр. 36, прим. 15]. Эту легенду и поныне рассказывают в Бухаре, причем имя Хулагу произносится как Халоку и семантически связывается со словом *халок* — «гибель».

[8] По таким данным автором этих строк была определена граница Бухары до перестройки ее стены в XVI в. [40, стр. 46—50].

[9] Садриддин Айни, большой знаток Бухары, при описании гулянья, происходившего у мазара Файзабад, прямо говорит, что, направляясь туда, «вышли через

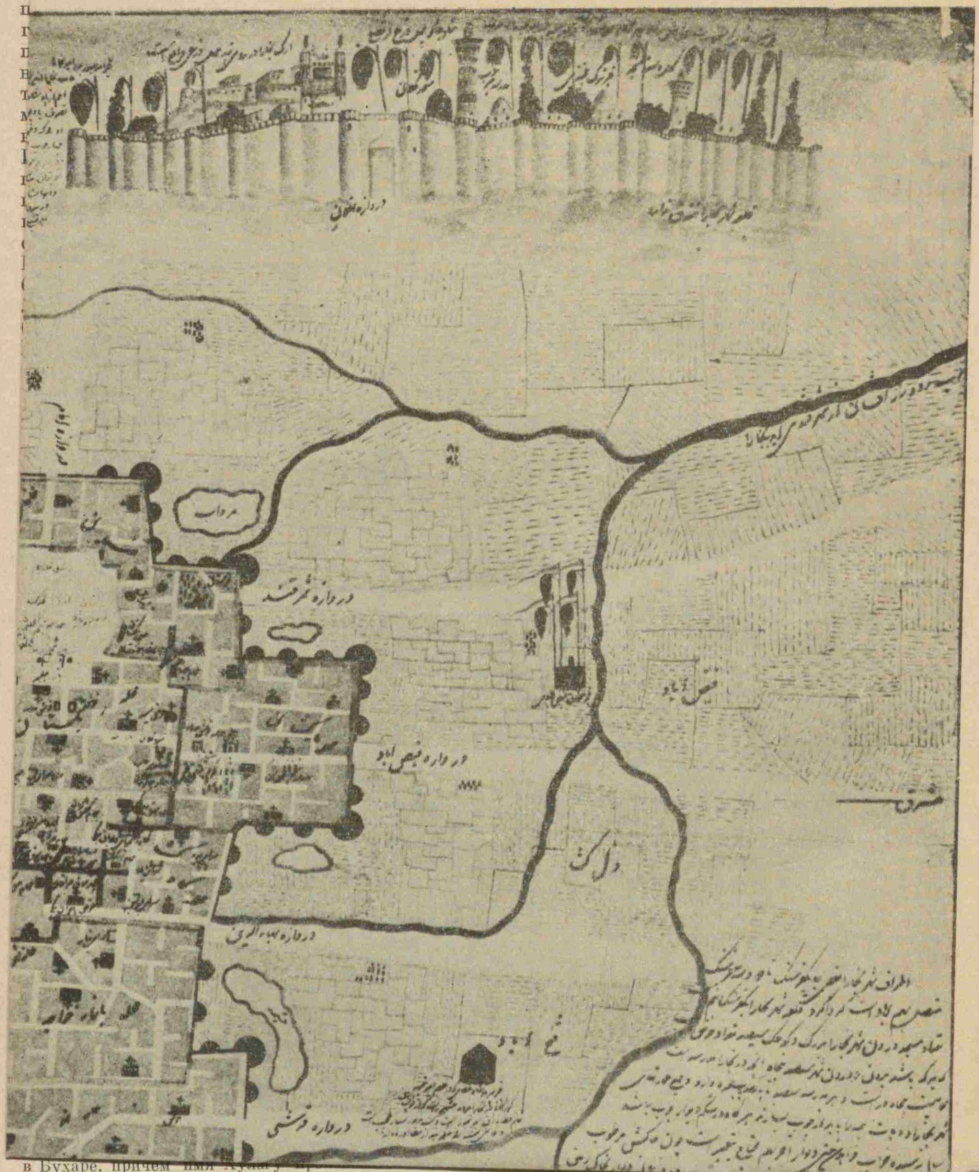






Накшбанда» [2, стр. 235].

...жениях на части других городов (Самарканда, Карши, Шахрисябза) см. [42, стр. 88—90].



в Бухаре, причем имя [illegible] локу и семантически связывается со словом *халок* — «гибель».

описании гулянья, происходившего [illegible] прямо говорит, что, направляясь туда, «вышли через

которые мы встречаем на плане из архива П. Лерха, могли относиться только к одним воротам. Название «ворота Файзабад» до сих пор зафиксировано не было, вероятно, оно употреблялось в очень узком кругу населения Бухары, возможно, среди жителей, в том или ином отношении связанных с этим мазаром. Обычно восточные ворота назывались Мазарскими (*дарвозайи Мазор*) или «Воротами благородной могилы» (*дарвозайи Мазори шариф*). Названия «ворота Баховаддин» среди бухарцев встречать не приходилось; его употребил на своем плане Эверсманн, у Яковлева оно встречается как название мазара («дорога в Богауддин»). Такое название в устах местного человека звучало бы странно. В Средней Азии даже старших по возрасту считается неуважительным называть их собственным именем, и многие мазары полностью утратили имя похороненного в них лица (в Бухаре — мазары Имом Козыхон и Эшони пир, в Маргелане — мазар Ходжамди кабри. Таких примеров можно привести множество). Если бы ворота, ведшие к мазару Ходжа Баховаддина Накшбанда, и назвал кто-нибудь именем святого, то не иначе, как сопроводив его титулом. Появление непочтительного «ворота Баховаддин» на плане, выполненном местным человеком, бухарцем, понять трудно: можно только предположить, что его подсказал исполнителю Лерх, заимствовав его с плана Эверсманна.

Так же как автор плана ошибся, показав отдельно ворота Файзабад и Баговаддин, он неверно счел два названия одних ворот — Каволя и Карши — за названия двух отдельных ворот. То, что оба эти названия относились к одним воротам, хорошо знали все пожилые бухарцы, так значится и на плане Парфенова — Фенина, где даны оба названия. Первое, старинное, но далеко не забытое в Бухаре, в полном виде звучало как Дарвозайи Каволяйи гадж, это название утвердилось за ними потому, что через эти ворота ездили к месторождению известняка, который добывался для выжигания алебастра. Селение Каволя показано на плане Яковлева недалеко от ворот, которые названы им «Каволя, или Каршинские».

Поместив ворота Файзабад и Мазар в качестве двух отдельных ворот в восточной стене, автор плана из архива Лерха был вынужден отодвинуть ворота Каволя (на плане — Каволяйи Махмуд) на юг, и они оказались у него на том участке южной стены, где в действительности были ворота Саллаххона. Поэтому последние были им сдвинуты к западу. А так как город в поперечнике оказался очень узок, двое других ворот, также находившихся в южной стене,— ворота Намозгох и Шайх Джалол — в ней не поместились и были вовсе опущены.

Все эти ошибки, допущенные автором плана, показывают, что в вопросе о воротах — одном из самых кардинальных для топографии феодального города — план не «открывает новые пункты», как выразился по данному вопросу А. Р. Мухаммеджанов, а при некритическом к нему отношении вносит путаницу и ошибки.

Однако все неточности этого оригинального плана не должны заслонять его ценности как первого образца картографии, выполненного местным человеком, и как своеобразного источника по исторической топографии Бухары. Одна его черта, по нашему мнению, представляет действительно большой научный интерес: это членение города на двенадцать крупных частей, которые на плане названы «махалла».

Термин *махалла*, зафиксированный (в частности, для Бухары) еще в X—XII вв., имел в разных местах и в разные периоды различное значение. В Бухаре того периода, к которому относится составление плана, он обозначал (как и в Самарканде) обособленные районы города или пригорода, занятые отличными от основного населения этническими группами, в то время как квартал-приход назывался (начиная с XVII в.) термином *гузар*. В других местах — Ташкент, города Ферганской долины и Северного Таджикистана — для квартала-прихода употреблялся термин *махалла*, а термин *гузар* обозначал маленькие межквартальные базарчики [10].

Структура городов, выражавшаяся в их членении на отдельные части, имела первостепенное значение для их внутренней жизни и отражала ее уклад. В последние века сохраняло значение деление на жилые кварталы, засвидетельствованное письменными источниками для далекого прошлого. Жилой квартал в большинстве городов Средней Азии совпадал с приходом и был невелик. Членение же на 2—4 крупные части, отмеченное во многих городах [11], в Бухаре не сохранилось, но, видимо, прежде тоже существовало. Выявляются следы еще одной структурной ступени — деление города на 12 частей. Оно было основательно забыто и его не обнаружили при опросах ни В. А. Шишкин, ни И. И. Умняков, ни автор этих строк. Оно-то и отразилось на плане из архива

ворота Мазор. От самых ворот прямо на восток шла большая дорога, которая вела к мазару Баховаддина Накшбанда» [2, стр. 235].

[10] Об этих терминах в различные периоды истории городов см. [43, стр. 103].

[11] Особенно много сведений о делении на четыре части Ташкента приводит П. А. Маев [24, стр. 17, 29]. О делении на части других городов (Самарканда, Карши, Шахрисябза) см. [42, стр. 88—90].

П. И. Лерха. Его следы отмечены в несколько ином значении и более ранними наблюдениями А. А. Семенова. По его словам, территория Бухары «делилась на две части линией, проходящей от Самаркандских ворот к воротам Саллаххона, т. е. в направлении с севера на юго-запад. Части эти назывались *сахмами* (سهم), каждый сахм делился на шесть частей, называвшихся *джарибами* (جريب), и имел своего начальника, называвшегося *бобо* (بابا), а каждый джариб был подчинен *дахбоши* (دهباشی), т. е. десятскому» [39, стр. 48].

Таким образом, А. А. Семенов рассматривает деление города на двенадцать частей лишь в связи с административным управлением эмирской Бухары. Выделение этих частей на плане из архива Лерха позволяет увидеть в этом нечто большее, чем организацию административного надзора. Видимо, за этим делением скрывается очень старая традиция, определявшая структуру древнего среднеазиатского города. Может быть, его следует связать с наличием у Наршахи двух терминов для частей города (которые переводятся обычно как квартал и улица) — это *махалла* и *ку*. Значение, которое придавал этим терминам сам Наршахи, не совсем ясно. Хотя в более поздних средневековых источниках они употреблялись как синонимы, можно предполагать, что у Наршахи они имели разное значение. Во всяком случае, именно термин *махалла* употреблен им в тех случаях, когда он говорил о кварталах, «отделенных и удаленных друг от друга, подобно селениям», или о делении города более древней эпохи на четыре части. Изучение следов древнего членения Бухары, позже утраченного, является неотложной задачей. Судя по тому, что на плане, вычерченном в середине XIX в., а позже в материалах А. А. Семенова его следы еще ощущаются, может быть, удастся найти среди самых пожилых бухарцев таких, которые будут способны своими воспоминаниями об этой традиции пролить хотя бы слабый свет на эту особенность структуры города.

Отметив ценность того факта, что на плане из архива Лерха отражена древняя особенность структуры города, не вскрытая другими источниками, нельзя не указать, что в названии и размещении этих частей многое вызывает сомнения, не подтверждается другими данными. Так, *махалла* Моркушон помещена на нем в северо-восточной части городской территории. В Бухаре имелся квартал-приход с этим названием, но он находился на юго-западе, около проспекта Хыёбон. Возможно, однако, что название «махалла Моркушон» никак не связано с названием квартала Моркуш, а является искаженным названием старых городских ворот Мардкушон, употреблявшимся в X в. и являвшимся, по предположению В. В. Бартольда, названием, исторически восходящим к Мардкушо [4, стр. 153], что существенно меняет его семантику (Мардкушан — «Убивающие мужчин», Мардкуша — «Открывающие мужчинам» или «Открываемые мужчинами»). Бартольд, правда, считает, что Мардкушанские ворота соответствовали воротам Саллаххона [4, стр. 154], однако О. Г. Большаков вносит поправку и высказывает мнение, что эти ворота соответствовали не воротам Саллаххона, а Калабадским, что подкрепляет наше предположение [6а, стр. 383, прим. 5—6].

Для северо-востока напрашивается другое название *махалла*, засвидетельствованное источниками средневековья и сохранявшееся до наших дней: здесь находился один из старейших бухарских кварталов — Калобод, названный, вероятно, по воротам Калобод, известным с X в. [4, стр. 153—154; 45, стр. 153]. Квартал Калобод упоминается в документах и сочинениях XV в. [52, стр. 40; 56, № 55]. Так как он сохранял это название вплоть до настоящего времени, его местоположение устанавливается совершенно надежно [40, стр. 54—55].

Не на месте показана и *махалла* Имом Козыхон: она помещена в северной части города, тогда как в действительности квартал с этим названием был расположен в восточной части, к югу от Мазарских ворот [40, план Бухары, стр. 96]. *Махалла* Мурдашуён неправильно показана около северной стены города, а *махалла* Чашма Аюб — прилегающей к ней с юго-запада: на самом деле к стене прилегал квартал Чашма Аюб, а квартал Мурдашуён лежал восточнее, на юг от площади Регистан, находясь далеко от городской стены.

Ошибок в таких вопросах, которые были для бухарцев совершенно очевидны, так много, что это вызывает недоумение: как мог допустить их автор плана, сам бухарец. Не только Ахмад Дониш, который, по предположению А. Р. Мухаммеджанова, составил этот план, но и рядовой житель города просто не мог не знать, куда через какие ворота надо идти. Удивительно, как бухарец мог назвать «Ворота благородной могилы» просто воротами Баховаддина. Почему на плане, составленном, несомненно, жителем Бухары, оказались все эти неточности, мы пока разгадать не можем. Может быть, ответ придет с дальнейшим изучением архива П. И. Лерха.

Можно согласиться с А. Р. Мухаммеджановым, что в опубликованном им плане до нас дошли элементы топографии недостаточно изученного города Бухары XVII — первой половины XIX в. Следует только добавить, что в той же мере город не только этого времени,

но и более ранней эпохи отражен также в планах, составлявшихся в 1910 и 1923 гг., так как в своих основных чертах Бухара сохраняла вплоть до реконструкции в послевоенное время ту топографию, которая сложилась при перестройке городской стены в XVI в., когда определилась последняя граница и в городскую черту были включены новые части, ранее бывшие пригородными селениями.

Но каково бы ни было происхождение плана, он, несомненно, несмотря на имеющиеся в нем ошибки и неточности, никогда не потеряет ценности источника по исторической топографии Бухары. Конечно, его ценность была бы много выше, если бы он был опубликован в свое время. К сожалению, Лерх не издал его. О причинах этого можно только гадать: возможно, он не считал план достаточно надежным или не имел материала, чтобы его должным образом комментировать.

К нашим дням план сохраняет интерес главным образом историографический. С тех пор было составлено несколько планов Бухары, более подробных и точных,— мы их характеризовали выше. Арк, показанный на плане, был детально изучен в 1940 г. М. С. Андреевым; он восстановил его планировку после того, как многие постройки уже разрушились, использовав сообщения тех пожилых бухарцев, которые до революции были постоянными посетителями арка и могли не только указать, где стояли не существовавшие в 1940 г. здания, но и дать сведения о назначении и использовании всех помещений [3].

Помимо определенной значимости плана для топографии Бухары, он может быть оценен и в другом аспекте: обнаруженный в архиве русского востоковеда, который, как показывают приведенные нами факты и соображения, мог быть инициатором составления плана, этот документ открывает любопытную страницу в истории культуры, отражая в той или иной степени связи с представителями среднеазиатских народов ученых, приезжавших сюда из России еще до присоединения к ней Средней Азии.

1. Азадаев Ф., Ташкент во второй половине XIX в., Ташкент, 1959.
2. Айни С., Воспоминания, М.— Л., 1960.
3. Андреев М. С., Чехович О. Д., Арк-кремль Бухары. Душанбе, 1972.
4. Бартольд В. В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия,— Соч., т. I, М., 1963.
5. Бартольд В. В., История культурной жизни Туркестана,— Соч., т. II, кн. I, М., 1963.
6. Бартольд В. В., История Туркестана,— Соч., т. II, кн. I, М., 1963.

6а. Бартольд В. В., Бухара,— Соч., т. III, М., 1965.

7. Бартольд В. В., История турецко-монгольских народов,— Соч., т. V, М., 1968.
8. Борнс А., Путешествие в Бухару, ч. III, М., 1849.
9. Вамбери А., Путешествие по Средней Азии, М., 1868.
10. Вороновский Г. Д., Гулшен уль-мулюк, АКД, Ташкент, 1949.
11. Вяткин В. Л., Материалы к исторической географии Самаркандского вилаета,— СКСО, вып. VII, Самарканд, 1902.
12. Вяткин В. Л., Самария. Перевод и примечания,— СКСО, вып. VI, Самарканд, 1899.
13. Вяткин В. Л., Кандия малая. Перевод и примечания,— СКСО, вып. VIII, Самарканд, 1906.
14. Вяткин В. Л., Афрасиаб — городище былого Самарканда, Ташкент, 1927.
15. Гребенкин А. Д., Таджики,— «Русский Туркестан», вып. 2, М., 1872.
16. Григорьев В. В., Записки Мирзы Шемса Бухари. Перевод и примечания В. В. Григорьева,— «Ученые записки Казанского университета», кн. I, Казань, 1861.
17. Добросмыслов А. И., Ташкент в прошлом и настоящем, Ташкент, 1912.
18. Ефремов Ф., Девятилетнее странствование, М., 1950.
19. Захидов П. Ш., Искусство проектирования народных зодчих Узбекистана,— «Искусство зодчих Узбекистана», Ташкент, 1962.
20. Иванов П. П., Очерки по истории Средней Азии, М., 1958.
21. «Из истории искусства великого города», Ташкент, 1972.
22. «История Самарканда», тт. I—II, Ташкент, 1972.
23. Клавихо Рюи Гонсалес, Жизнь и деяния великого Тамерлана. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403—1406 гг.,— «Сборник ОРИЯИС АН», т. XXVIII, № 1, СПб., 1881.
24. Маев П. А., Азиатский Ташкент,— «Материалы для статистики Туркестанского края», вып. IV, СПб., 1876.
25. Маллицкий Н. Г., Ташкентские махалля и мауза,— «В. В. Бартольду», Ташкент, 1927.
26. Массон М. Е., Культурно-исторические экскурсии по Самарканду, Самарканд, 1926.
27. Массон М. Е., Архитектурно-планировочный облик Самарканда времен Навои (вторая половина XV в.),— «Труды САГУ», нов. сер., LXXXI, Ташкент, 1956.
28. Массон М. Е., Самарканд эпохи Улугбека,— «Звезда Востока», Ташкент, 1948, № 5.
29. Массон М. Е., Прошлое Ташкента,— «Известия АН УзССР», Ташкент, 1954, № 2.
30. Массон М. Е., По поводу далекого прошлого Самарканда,— «Из истории искусства великого города», Ташкент, 1972.
31. Мукминова Р. Г., Ремесло в Самарканде и Бухаре XVI в., автореф. докт. дисс., Ташкент, 1972.
32. Мухаммеджанов А. Р., Историко-топографический план Ахмада Дониша,— ОНУ, 1965, № 5.
33. Пещерева Е. М., Бухарские золотошвеи,— МАЭ, вып. I, М.— Л., 1955.
34. Пещерева Е. М., Гончарное производство Средней Азии, М.— Л., 1959.
35. Рузиева М., О занятии земледелием жителей Ташкента (конец XIX — начало XX в.),— «Из истории культуры народов Узбекистана», Ташкент, 1965.
36. Саидкулов Т. С., Самарканд конца XIX — начала XX вв., Самарканд, 1972.

37. «Самарканд. Краткий справочник, составленный И. И. Умняковым и Ю. Н. Алескеровым», Ташкент, 1958.
38. Семенов А. А., Основание священной Бухары,— «Этнографическое обозрение», СПб., 1903, № 2.
39. Семенов А. А., Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени,— «Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии», вып. III, Сталинабад, 1954.
40. Сухарева О. А., К истории городов Бухарского ханства, Ташкент, 1958.
41. Сухарева О. А., Позднефеодальный город Бухара XIX — начала XX в., Ташкент, 1962.
42. Сухарева О. А., Бухара. XIX— начало XX в., М., 1966.
43. Сухарева О. А., О терминологии, связанной с исторической топографией городов Средней Азии,— НАА, М., 1965, № 6.
44. Турсунов Н., Ходжент и его население,— «Очерки из истории северных районов Таджикистана», Ленинабад, 1968.
45. Умняков И. И., К вопросу об исторической топографии Бухары,— «Сборник Туркестанского восточного института в честь А. Э. Шмидта», Ташкент, 1923.
46. Ханыков Н., Описание Бухарского ханства, СПб., 1843.
47. Шамансурова А., Интересные материалы о ремесленных организациях в Хиве XIX в.,— ОНУ Ташкент, 1965, № 10.
48. Шишкин В. А., Города Узбекистана, Ташкент, 1943.
49. «Этнографические очерки узбекского сельского населения», М., 1963.
49а. Писарчик А. К., Народная архитектура Самарканда, Душанбе, 1975.
50. Якубовский А. Ю., Самарканд при Тимуре и тимуридах в XIV—XV вв., Л., 1933.
51. Eversmann Eduard Reise von Orenburg nach Bukhara, Berlin, 1823.
52. كتاب ملازاده (литография) Новая Бухара, 1904 г.
53. كلشن الملوک [Сочинение Мухаммада Якуба Бухари], ркп. ИВАН УзССР, № 1507.
54. مذکر الاصحاب [Сочинение Мухаммеда Бади бин Мухаммад Шариф, известного под псевдонимом Малихо ملیحا], ркп. ИВАН УзССР, № 2727 («Собрание Восточных рукописей АН УзССР», т. I, стр. 133, № 320).
55. مجمۀ وثائق [Сборник казийских документов], ркп. ИВАН УзССР, № 1386.
56. Вакуфные грамоты из собрания Гос. архива УзССР, ф. 323, опись.

О. Д. Чехович

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ТАШКЕНТЕ XVIII в.

В XVIII в. Ташкент считался «вольным городом»[1]. Этот крупный торговый центр с принадлежавшей ему обширной округой в своих внутренних делах и во внешних сношениях не зависел от какой-либо деспотической монархии и только платил определенную дань казахским (или калмыкским) ханам.

Горожане Ташкента, во главе которых стояла группа богатых и знатных аристократов — ходжей, по своей воле «принимали» и «изгоняли» ханов, а подчас и убивали их, если они нарушали установленные для них пределы строго ограниченной юрисдикции. Ханы не имели в Ташкенте политической, административной и судебной власти. Правящие ходжи сами, независимо от ханов, вели переписку с иностранными державами, собирали городские налоги, судили горожан. Высшей судебной инстанцией был ахун — духовное лицо. Даже на периферии, в селениях и городках, подчиненных Ташкенту, ханы не имели права собирать налоги без представителей ташкентской городской власти. В Ташкенте ханы могли жить в отведенных им «замках», но не смели заходить в укрепленную цитадель и внутренний город, где помещались главный рынок, гостиный двор, высшая судебная палата и высший орган городского самоуправления. Внешний город с пригородами был разделен на четыре части, а внутри частей — на множество кварталов — *махалла*. Городская администрация ведала ирригацией, полицейскими, торговыми и ремесленными делами. Все мужское население было вооружено и участвовало в военных действиях, поочередно выставляя отряды от отдельных частей города.

Ханы были нужны Ташкенту лишь для того, чтобы обезопасить город от кочевников окружающей степи, через которую ташкентцы посылали торговые караваны, и избавиться от нападений на купцов, земледельцев, садоводов и пастухов за пределами города. Договоренность с казахскими ханами обеспечивала безопасность караванной торговли, пригородных пашен, огородов, садов и пастбищ горожан.

В конце XVIII в. Ташкент совсем подчинил себе окрестных кочевников, ликвидировал у них ханскую власть, предписал казахам определенные законоположения и заставил их платить городу натуральный налог скотом. Кроме того, их обязали выставлять отряды конницы в помощь городскому войску. Это было апогеем могущества Ташкентской феодальной республики и в то же время началом ее конца. Было создано постоянное войско, с помощью которого Юнус-ходжа, избранный ходжами при объединении четырех частей города, узурпировал власть и стал единоличным правителем. За это возмущенные горожане предали его во время войны с Кокандом.

Политическая самостоятельность горожан Ташкента XVIII в. окрепла в результате роста торговли и ремесла, общего экономического развития, наблюдавшегося здесь в течение ряда веков. Географическое положение Ташкента на границе с казахской степью сделало его опорным пунктом товарообмена с кочевниками, всегда нуждавшимися в продуктах земледелия и ремесла. Источники XV—XVI вв. отмечают огромное стечение народа и товаров на ташкентском базаре. В дальнейшем увеличился объем торговли с Россией. Завоевание Сибири, основание Оренбурга и Макарьевской ярмарки, обмен посольствами содействовали развитию караванной торговли и обогащению ташкентских купцов. Они-то и установили в городе порядки, выгодные им и удобные для торгово-ремесленного развития. Стоявшие у власти аристократы (ходжи) были одновре-

[1] «Вольным городом» называл Ташкент побывавший в Средней Азии в 1721—1724 гг. Николай Мипер, камердинер Флорио Беневени, посланного туда Петром Первым. Кроме Ташкента «вольными городами» он назвал Кашгар, Маргелан, Андижан, Балх и Бадахшан. О последних сказано, что они «под особыми ханами, которых-де ханов переменяют зело часто для того, что не наследные» [22, стр. 388—389].

менно и крупными землевладельцами, и богатейшими купцами, ежегодно снаряжавшими караваны в степь и в Россию.

Существование в Ташкенте XVIII в. городского самоуправления, независимого от ханской власти настолько, что оно, по существу, пользовалось всеми правами городской феодальной республики, до сих пор не было установлено. Высказывалось убеждение, что для городов Средней Азии и Востока вообще было характерно отсутствие такого рода городского самоуправления и что при феодализме там могла быть только одна форма государства — деспотическая монархия [см., например, 3а, стр. 475]. Однако наличие не монархического, а скорее республиканского политического строя в Ташкенте XVIII в., как и в государствах сарбадаров Себзевара и Самарканда XIV в., в средневековом Ани в Армении, в бухарском Искиджкате и других местах,— все эти факты заставляют сомневаться в обоснованности вышеприведенной точки зрения. По-видимому, в восточных странах, как и на Западе, при феодализме существовали обе формы государственного строя, упомянутые В. И. Лениным в лекции о государстве [10, стр. 76]. Дальнейшее изучение истории некоторых восточных городов указывает на единство исторического процесса социально-политического развития.

Ниже приводятся доказательства выдвинутых положений, история изучения вопроса и обзор источников.

История изучения Ташкента XVIII в.

(П. И. Рычков, А. И. Левшин, А. И. Добросмыслов, И. Г. Маллицкий, В. В. Бартольд, П. П. Иванов, М. Е. Массон, Ф. А. Авадаев, Ю. А. Соколов, Э. Ходжиев)

Истории Ташкента XVIII в. посвящено немало научных исследований, проводившихся в течение длительного времени, начиная с 1751 г., когда первый член-корреспондент Российской Академии наук П. И. Рычков написал «Топографию» [24] и «Историю» [23] Оренбургского края, включающие сведения и о Ташкенте.

Сведения о Ташкенте П. И. Рычков почерпнул главным образом из показаний поручика Карла Миллера, побывавшего в Ташкенте в 1739 г. [2], а также из расспросов других «бывалых там людей и от самих тех народов». Иногда он ссылается на «Дела» архивов, к которым имел доступ, так как служил в оренбургской Канцелярии в 1734—1777 гг.

П. И. Рычков первый обратил внимание на то, что многие города и села Южного Казахстана были подчинены Ташкенту. Он указал на сосредоточение в Ташкенте всей торговли обширного края, на вооружение ташкентцев-горожан, «ибо они — военные люди», и на тот важнейший факт, что правительство в Ташкенте «тутошние граждане содержали» сами.

Замечательное для своего времени сочинение А. И. Левшина [9а] было результатом многолетних и серьезных научных исследований. В 1819—1820 гг. А. И. Левшин изучал архив Азиатского департамента министерства иностранных дел в Петербурге. Следующие два года он провел в Оренбурге и в степях Зауралья, где вел переговоры с казахами, ездил к хану Младшего жуза. Всюду он собирал устные сведения, которыми проверял данные, почерпнутые в архивах. Свой научный метод А. И. Левшин сам характеризует в «Предисловии» следующими словами: «Главным правилом моим было ничего не выдумывать и не заменять недостатка положительных сведений мечтательными предположениями».

А. И. Левшин был первым, кто задумался над вопросом, почему казахи во второй половине XVIII в. не могли овладеть Ташкентом и не водворились в нем, хотя имели для этого как будто достаточные силы.

А. И. Левшин опубликовал показания вятского купца Шубая Арсланова о Ташкенте 1742 г.; он отметил важный факт оседания казахов и каракалпаков около Ташкента в 60-х годах XVIII в.; упомянул о ташкентском восстании 1784 г. и о предписании ташкентским правителем Юнус-ходжи особых правил казахам для разбирательства их внутренних распрей.

А. И. Добросмыслову принадлежат две работы по нашей теме. Первая из них — сборник материалов из архивов Тургайского областного управления [17, стр. 55—64]. Несмотря на слабость археографического метода, это издание внесло в науку ряд ценных источников и среди них необыкновенно интересную «Сказку приезжего из Ташкента» Нур Мухаммада Алимова, записанную русским чиновником в Уфе в 1735 г. Нур Мухаммад был прислан ташкентскими «градодержателями» для выяснения вопроса об условиях присоединения Казахстана к России. В своей «Сказке» он подтвердил сведения К. Миллера о внутреннем самоуправлении в Ташкенте и в г. Туркестане, о наличии в них городских «магистратов», не подчиненных ханской власти.

Ниже мы подробно рассмотрим содержание сведений, сообщенных К. Миллером, Нур Му-

[2] Сведения Карла Миллера, посылавшегося в Ташкент историком Татищевым, рассматриваются ниже. Они дошли до нас только в изложении П. И. Рычкова и Я. В. Ханыкова [см. 28, примечания, стр. 1—56].

хаммадом, Ш. Арслановым и др. Здесь же необходимо упомянуть вторую книгу А. И. Добросмыслова, на этот раз уже специально посвященную истории Ташкента [6]. К сожалению, в этой обширной компиляции все, что говорится о древней и средневековой истории, не имеет или почти не имеет научного значения. Цитируя вторично рассказ Нур Мухаммада, показания К. Миллера (по П. И. Рычкову), сообщения Ш. Арсланова (по А. И. Левшину), описания М. Поспелова и Т. Бурнашева (по Я. В. Ханыкову), А. И. Добросмыслов совершенно некритически повторяет своих предшественников. А. И. Добросмыслов писал, что якобы бухарский эмир Шах Мурад в 1795 г. завладел Ташкентом и ставил туда своих наместников с нукерами. П. П. Иванов после обстоятельной проверки пришел к заключению, что эти сведения (упоминающиеся также в работах В. Наливкина [21, стр. 73], А. Шишова [32, стр. 70], Н. Г. Маллицкого [12, стр. 82] и В. И. Массальского [15, стр. 610]) не подтверждаются ни ферганскими, ни бухарскими источниками [8, стр. 99]. На той же точке зрения стоял, видимо, и В. В. Бартольд, который нигде не говорит о власти Бухары над Ташкентом в XVIII в.

В рукописи «Та'рих-и джадиде-йи Ташкент» [20] [3], на полях листа 359б, говорится, что Юнус-ходжа, правивший в Ташкенте в 80—90-х годах XVIII в., «временами заставлял читать хутбу на имя Абу-л-Файз-хана, султана Бухары, а иногда становился врагом Бухары и переделывал хутбу и чекан [монет] на имя знатных хаканов Коканда». Грубый анахронизм (так как Абу-л-Файз был убит в 1747 г.) и все содержание глоссы, явно прококандского направления, заставляют сомневаться в достоверности этих сведений. А. И. Добросмыслов в своей книге по истории Ташкента заявляет, что Кусек-бек был наместником Джунгарии, тогда как из цитируемых им же показаний Шубая Арсланова ясно, что из Джунгарии был прислан другой человек «в товарищество упомянутому Кусек-беку». А. И. Добросмыслов без всякой проверки повторил вслед за русскими чиновниками XVIII в. обвинение Абу-л-Хайр-хана в беззастенчивой лжи, когда он в письме в Россию «замолчал о существовании в Ташкенте Джулбарс-хана» и писал «о каких-то своих приятелях, будто бы управляющих самостоятельно Ташкентом и Большой киргизской ордой». На самом деле письмо Абу-л-Хайра свидетельствует о сложной внутренней борьбе в Ташкенте, когда «градоправители», действительно самостоятельно правившие в Ташкенте, ориентировались на Абу-л-Хайра, решившего присоединиться к России, в то время как Джулбарс подчинился Джунгарии. А. И. Добросмыслов пустил в ход версию о том, что в Ташкенте «порядка в управлении не было (одно время в городе было даже четыре враждебных друг другу правителя) до тех пор, пока Ташкентом не стал заведовать хаким Юнус-ходжа». Между тем период «четырех хакимов», как мы покажем ниже, вовсе не был периодом анархии, в нем был свой, республиканский порядок, не исключавший, конечно, внутренней борьбы. Все дело в том, что республиканские порядки не нравились монархистам, им более по вкусу был другой порядок, установленный Юнус-ходжой, который уничтожил республику.

Н. Г. Маллицкий начал публиковать статьи по истории Ташкента с 1889 г. [11, 13; 12, стр. 10—21 и 76—91; 14, стр. 108—121]. Они основаны на собственных наблюдениях и результатах опроса старожилов, собранных за время длительной службы автора в Ташкенте. Прекрасное знание города и его населения, активные многолетние исследования Н. Г. Маллицкого дали в результате комплекс материалов и выводов, которые в дальнейшем повторялись всеми историками. Конечно, достоверность этих материалов неравноценна в разных частях: мы можем больше положиться на них в той части, которая касается XIX в. Особенно ценны описания ирригационной системы, архитектурных памятников, форм административного деления города, названия частей его, многих *махалла* и *мауза*, причем Н. Г. Маллицкий отметил, где были расположены те из них, названия которых имели в основе узбекские слова, и где те, названия которых образованы из таджикских слов.

По сведениям Н. Г. Маллицкого, в Ташкенте «ремесленники, сложившиеся в крепкие цеховые организации, земледельцы и торговцы сообща ведали общественные дела. В эту-то эпоху,— пишет он,— надо полагать, особенно укрепились и развились в Ташкенте, этом „Гамбурге" Средней Азии, по выражению русских официальных документов середины XIX столетия, те замечательные муниципальные нравы большого города, о которых говорят русские источники XVIII и XIX столетий» [12, стр. 82].

В другой статье Н. Г. Маллицкий пишет: «Во второй половине прошлого (т. е. XVIII.— *О. Ч.*) столетия Ташкент, фактически не зависевший ни от Бухары, ни от начинавшего усиливаться Коканда, управлялся ходжами».

[3] Ниже все ссылки делаются на старейшую рукопись № 7791 (возможно, автограф). Автор, близкий родственник одного из ташкентских правителей, написал свое сочинение во второй половине XIX в. О нем см. [4, стр. 81—82; 31, стр. 172—192].

Отметив, что ташкентцы сильно страдали от нападений кочевников и от внутренних междоусобий между горожанами, Н. Г. Маллицкий так сформулировал дальнейшее развитие событий в городе: «Дошло до того, что в четырех частях Ташкента — Бешагачской, Шейхантаурской, Сибзарской и Кукчинской — появились четыре отдельных правителя (*чор хаким*), которые враждовали между собою. Правитель Шейхантаурской части Юнус-ходжа отобрал у подвластного ему населения медную посуду и из этой меди отлил пушку. Благодаря этой единственной пушке он одержал над своими соперниками верх, и место решительной стычки на границе Шейхантаурской и Сибзарской частей получило название Джиан-го (следует: *джанггах*.— *О. Ч.*) — место битвы» [11, № 88].

Эти сведения без всякой проверки по другим источникам неоднократно повторялись последующими историками.

А. Диваев, опубликовавший рассказы старожилов, ошибочно перевел слово «даха» — «часть города», поняв его как «дих» — «деревня», «кишлак», и построил на этом целую теорию об образовании города из четырех отдельных кишлаков, что, конечно, могло произойти в эпоху, не охватываемую памятью старожилов. Интересны в этом предании сведения о том, что Юнус-ходжа в конце XVIII — начале XIX в. запрещал горожанам-ремесленникам ездить верхом по городу [5].

В. В. Бартольд неоднократно обращал внимание на своеобразные черты истории Ташкента XVIII в. В труде «История культурной жизни Туркестана» [2 , стр. 167—433], в специальной статье «Ташкент», написанной им для «Энциклопедии ислама» [3, стр. 501, 502], и в других работах В. В. Бартольд отметил ряд характерных фактов, отличающих политическую историю Ташкентского владения XVIII в., хотя и не сделал из них обобщающих выводов.

На основании бухарского источника XVIII в. «Убайдулла-наме» В. В. Бартольд установил, что уже в 1709 г. у власти в Ташкенте стояли ходжи — замкнутое аристократическое сословие, противопоставлявшее себя всему прочему населению, подобно тому как ранее Чингизиды противопоставляли себя другим — *карачу*. Дошедшие до нас письменные генеалогии ходжей, возводившие их происхождение к пророку Мухаммаду и некоторым местным святым, В. В. Бартольд считал поддельными. Тем не менее он признавал, что начиная с XVI в. это сословие играло важную политическую роль, особенно в Кашгаре, Фергане и Ташкенте.

В ряде работ В. В. Бартольд осветил историю джунгарских завоеваний 1723 г., когда часть Казахстана и вместе с ним города Туркестан и Ташкент попали под калмыкское иго, закончившееся лишь в середине XVIII в. [2, стр. 96—101, 2а, 526—527].

На основании среднеазиатских и русских источников В. В. Бартольд писал о восстаниях ташкентцев против хана Джулбарса в 1740 г. и против правителя Чингизида Бахадур-бека в 1749 г. Оба были убиты горожанами; после второго восстания ходжи разграбили имущество родственников убитого правителя [2, стр. 277].

В статье П. П. Иванова «Казахи и Кокандское ханство» [8, стр. 80—86] говорится, что ферганские источники впервые упоминают о Ташкенте только при описании последних лет XVIII в. Но приведенный самим же П. П. Ивановым рассказ Мухаммад Хаким-туры [19, стр. 363аб; 8, стр. 98—99] о правлении в Ташкенте Чингизида Бахадур-Фармана, после смерти которого власть перешла в руки ходжей, безусловно, относится к более раннему времени. Далее П. П. Иванов говорит о явно враждебных отношениях между Юнус-ходжой и оседлым узбекским населением Ташкента, о внутренних противоречиях между правившей группой ходжей и остальной массой жителей. В «Очерках по истории Средней Азии» (XVI — середина XIX в.) [9] П. П. Иванов, сосредоточив свое внимание на истории деспотических монархий — Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств, уделяет немало места истории Казахстана, но почти ничего не говорит о Ташкенте.

Работа М. Е. Массона «Прошлое Ташкента» посвящена археолого-топографическим и историко-архитектурным вопросам. Она касается главным образом древней и средневековой истории Ташкента. Вопрос о Ташкенте XVIII в. рассматривается в ней бегло, на основе уже известных источников; новые сведения о Тураджан-ходже, возглавлявшем борьбу Ташкента против казахского рода Дуглат в 1757—1758 гг., приводятся, к сожалению, без ссылки на источник [16, стр. 105—132]. Возможно, эти данные почерпнуты из сочинения Мухаммада Вафа Карминаги «Тухфат ал-хани» [19а, л. 160б].

В последнее время историей Ташкента занимались Ф. Азадаев [1, стр. 15—20], Ю. А. Соколов [25; 26] и Э. Ходжиев [29, стр. 63—65; 30, стр. 63—64]. Все они рассматривают период политической самостоятельности Ташкента при четырех хакимах как факт отрицательный, как проявление упадка и феодальной раздробленности в пределах одного города. Недостаточно критическое восприятие источников привело к созданию ряда маловероятных представлений о жизни города в XVIII в. Так, напри-

мер, Ю. А. Соколов пишет: «Наиболее важной особенностью Ташкентского владения являлось отсутствие обычного для ханства Средней Азии феодального совета при главе государства» [26, стр. 44—46].

Не говоря уже о том, что наличие феодального совета никак нельзя назвать обычным для ханств Средней Азии, в Ташкенте такой совет как раз существовал и состоял из представителей четырех *даха*. Безусловно, это были феодалы, ходжи, потомки династий Аштарханидов, Чагатаидов, Джучидов и др. Также нельзя согласиться с утверждением, что в Ташкенте не сложилось благоприятных условий для формирования местного феодального сословия (стр. 57), и домыслами Ю. А. Соколова, что якобы в XVIII в. «среди ташкентцев не оказалось общепризнанных вождей и деятелей, которые могли бы возглавить город. Ташкентское торгово-ремесленное сословие в неблагоприятных для него условиях прошлой истории города не успело еще достаточно развиться и не смогло создать в Ташкенте общегородской власти, подобной государственной организации русского Новгорода Великого (XII—XIII). Поэтому город вскоре раздробился на четыре владения, каждое с отдельным хакимом (правителем) во главе» (стр. 30—31).

Думается, что именно в Ташкенте торгово-ремесленное население имело более благоприятные условия и успело развиться до такой степени, что ограничило власть ханов и создало в XVIII в. феодальную республику. А деление на четыре части, подобные новгородским «концам», существовало в Ташкенте гораздо раньше, чем образовалось правление четырех хакимов.

Следует заметить, что некоторые историки, излагая предания о Ташкенте «со слов местных старожилов», явно недооценивают грамотность ташкентского населения. Так, Ю. А. Соколов пишет: «Как сообщили нам старожилы Ташкента, знавшие по рассказам своих дедов и прадедов о грандиозных строительных работах конца XVIII в.» (стр. 33), не учитывая, что рассказы эти могли быть почерпнуты из письменных источников — «Та'рих-и джадиде-йи Ташканд» и др. Также маловероятным кажется сообщение П. П. Иванова о сооружении «минарета из голов» повстанцев при Мухаммад-Рахим-хане в 1756 г., «воспоминания о котором до сих пор еще сохранились среди местных жителей, как это показали расспросы, произведенные на месте в 1939 г.» [9, стр. 103]. Зная на опыте, как часто, например, бухарцы рассказывают о Бухаре на основании Наршахи и других источников, совершенно на них не ссылаясь, мы можем предположить, что и в этих случаях иногда рассказывались не столько «воспоминания», сколько сведения из письменных источников.

Последняя по времени работа по истории Ташкента XVIII в.— наша публикация отрывка из сочинения Мухаммад Салиха Ташканди «Тарих-и джадиде-йи Ташканд» [31, стр. 172—192]. Это «Сказание», эпически повествующее о четырех хакимах и последующей узурпации власти Юнус-ходжой, заставляет по-новому взглянуть на ташкентское самоуправление в XVIII в. и служит отправным пунктом для настоящей работы.

Обзор источников

(«Убайдулла-наме» Мир Мухаммада Амина Бухари, «Сказка» Нур Мухаммада Алимова, сведения Карла Миллера, сведения Шубля Арсланова, «Мунтахаб ат-таварих» Хаким-хана Тюри, «Тарих-и джадиде-йи Ташканд» Мухаммад Салиха Ташканди, «Объявление» Дмитрия Телятникова, описание поездки Михаила Поспелова и Тимофея Бурнашева).

Бухарский источник начала XVIII в. «Убайдулла-наме» опубликован только в русском переводе А. А. Семенова. Ввиду важности содержащихся в нем сведений мы приведем здесь оригинальный текст, касающийся Ташкента 1709 г.

در همان کورنش[4] از جانب خواجگان صوبه تاشکند پایهٔ سریر خلافت مصیر خبر آمد که کفره شوم قلماق مانند سیل بر سر اول قزاق آمده تاخت نموده چون برق باد گشته بطرف یورت خویش مراجعت نموده است باوجود اینمراتب پادشاه عالم را چندانی اطمینان خاطر نبود لاجرم عبد الرحیم خواجهٔ برادر قرا بهادر خواجه سید اتایی را که فرقهٔ قزاق پیر خودرا دانسته اخلاص تمامی دارند وعدهٔ نقیبی بارگاه را باو داده بولایت تاشکند فرمود و بخانان قزاق و خواجگان تاشکند عنایت نامها و خلعتهای شایسته و اسپان تازی بمصحوب خواجه مشارالیه روانه نمودند و بدوازده روز مهلت داده خواجه را نیز بمراحم خسروانه مستظهر گردانید و خواجهٔ مذکور بنوید نقابت مسرور گردیده متعهد این خدمت شده در همان کورنش فاتحهٔ گرفته عزیمت مقصد تصمیم داد

«На этом самом приеме к престолу пребывания халифской власти было повергнуто известие от ходжей Ташкентского округа, что злополучные неверные калмыки, подобно разлившемуся потоку, устремились на казахские аулы и, блеснув [страшною] грозою, вернулись в свои становища. Несмотря на такое положение, у государя мира не было большой уверенности, [что калмыки не придут опять]. Естественно, что [государь], пообещавши звание *накиба* высочайшего двора Абдуррахим-

[4] Речь идет о ханском приеме в Самарканде, куда Убайдулла-хан отправился в мае 1709 г. [см. 27, л. 147б].

ходже, брату Кара Бахадура *сейид-атайи*, которого казахский народ признавал своим *пиром* и питал к нему полнейшее расположение, приказал [ему выехать] в *вилайат* Ташкент; казахским ханам и ташкентским ходжам с названным ходжою отправили милостивые [ханские] письма, халаты надлежащей ценности и арабских лошадей, дав срок 12 дней и обнадеживши ходжу своими [последующими] милостями. Названный ходжа, обрадовавшись перспективою [получить должность] *накиба*, принял на себя поручение государя и выразил твердое намерение достичь [поставленной им] цели». Перевод А. Н. Семенова см. [18, стр. 166—167].

Из этого отрывка видно, что Убайдулла-хан получил известие о появлении калмыков не от казахских ханов, а от ташкентских ходжей. Ответные письма были отправлены Убайдуллой и тем и другим. Таким образом, открыто признавалось самостоятельное значение и право ташкентских ходжей иметь непосредственные сношения с иностранным государем независимо от казахских ханов. При этом речь идет о ходжах всего ташкентского округа (*саубе-йи Ташканд*), а не только города Ташкента. Возможно, заключение В. В. Бартольда о том, что ташкентские ходжи имели власть в своем городе [2, стр. 277], можно было бы расширить в том смысле, что они управляли не только Ташкентом, но и окрестными селами, в то время как кочевниками правили казахские ханы.

Тот же источник — «Убайдулла-наме» — дает возможность сравнить положение ходжей в Ташкенте и в Бухарском ханстве. В то время как в Ташкенте ходжи стояли у власти, в Бухаре и Самарканде они, хотя и имели, очевидно, определенное влияние среди ремесленников и других слоев населения, все же должны были постоянно «припадать к стопам хана». Убайдулла-хан, например, мог при всех накричать на ходжу Ядгара, угрожая «вычеркнуть его имя из круга ходжей» [27, л. 160а6; 18, стр. 179], а в Ташкенте, наоборот, ходжи неоднократно выгоняли ханов.

Итак, «Убайдулла-наме» дает нам возможность заключить, что ходжи — правители Ташкента в 1709 г. обладали реальной властью в ташкентской области, легально вели переписку с иностранными государями независимо от казахских ханов и их положение в Ташкенте принципиально отличалось от положения самых высокопоставленных ходжей Бухарского ханства, которые находились в полной зависимости от ханской власти.

Как уже было сказано, «Сказка приезжего из Ташкента» Нур Мухаммада Алимова от 1735 г. опубликована А. И. Добросмысловым дважды [17, стр. 65—64; 6, стр. 53—55] и еще раз в крайне путанном изложении Х. Зияева [7]. Не имея возможности сличить в настоящее время эти публикации с оригиналом, мы воздерживаемся здесь от повторения всего этого обширного и крайне интересного документа и ограничимся приведением основных сведений, касающихся нашей темы.

В начале 1734 г., узнав о приезде в Казахстан посла русской императрицы Анны для принятия Младшего жуза в подданство России, находившийся в Ташкенте Джулбарс—хан Старшего жуза послал своих людей разузнать, на каких условиях присоединяется Младший жуз. Одновременно «градские держатели» города Ташкента независимо от хана тоже послали своих людей с письмом от ташкентского «магистрата», к которому была приложена «магистратская печать». В числе послов «магистрата» был и автор «Сказки» Нур Мухаммад, племянник одного из главных градодержателей — Ашербая. Его рассказ был записан в Уфе в 1735 г.

Факт отправки в Малый жуз и в Россию собственных посланников от «градодержателей» Ташкента представляет собой второе — после данных «Убайдулла-наме» — свидетельство о том, что ташкентские ходжи имели непосредственные сношения с иностранными державами. В другом месте Нур Мухаммад подчеркивает, что ташкентские градодержатели «посылают от себя в другие орды с ведома и без ведома ханов своих», т. е. обладают правом внешних сношений.

«Сказка» Нур Мухаммада подтверждает также, что Ташкенту принадлежала целая область по реке Чирчику, где «городов не малое число, укрепленных каменными стенами», в том числе Сайрам («город не малый»), Чимкент, Паркент, Заткент, Намданак, Хаджикент и др.

Ташкентские градодержатели имели полное право суда в отношении горожан по всем видам преступлений, ни в какой мере не деля его с ханами; Нур Мухаммад специально подчеркивает, что градодержатели «власть имеют казнить городских жителей, не спрашиваясь с ханом». К хану отсылали только провинившихся казахов.

Важнейшие дела разбирались трибуналом, состоявшим из десяти главных градодержателей, живших во внутреннем городе. Прочие, более мелкие дела, были подсудны старшинам, сидевшим у ворот города. Они «тут судят и всякую расправу делают, все на словах, сыскивая правды, а чего рассудить не могут, спрашиваются с первым духовным ахупом, который разбирает по Китабу, т. е. Корана по судным главам»,— рассказывает Нур Мухам-

мад. Таким образом, высшей апелляционной инстанцией в Ташкенте было духовное лицо — *ахун*, и какого-либо кодекса, кроме соответствующих глав Корана, Нур Мухаммад не называет. Никакого участия в судебном деле в Ташкенте ханы не принимали.

Отсутствие кодекса, «законоположения» отмечал и М. Поспелов [28, стр. 30].

Нур Мухаммад ничего не сказал о налогах с горожан-ташкентцев. По его словам, право сбора налогов с оседлых жителей области принадлежало хану, но под контролем «магистрата». После перечисления названий городов, принадлежавших Ташкенту, в «Сказке» Нур Мухаммада говорится: «И с тех со всех городов Жалбарс-хан берет ясак, т. е. подать, а больше раздает в пожить тем, кого из своих подданных любит или боится».

Из этого текста ясно, что в число городов, с которых Жалбарс-хан брал ясак, Ташкент не входил.

Далее, в специальном разделе о податях, сообщается следующее:

«Ханы казахские и их ближние люди, кто которым городом пожалованы, ясак берут с сартов, живущих в городах и в уездах, деньгами и товарами, а по скольку чего, о том не знает. Токмо в уезде от хлеба пятую, а инде и десятую долю, и скот — коров и овец. А к тем сборам определяют казахи своих сборщиков, а ташкентский „магистрат", также и туркестанский, дают от себя во все городы старшин, чтоб при них собирали и никаких обид не делали. Однако и казахи многих побивают до смерти, но на то несмотря, права своего не теряют, новых, выбирая, посылают, а об убитых от ханов никакой управы получить не могут».

По-видимому, хан располагал ограниченным правом на ясак с кочевого и оседлого населения ташкентской области и распоряжался этим правом по-феодальному, собирая налоги сам через своих сборщиков или жалуя право сбора налогов с той или иной местности своим близким и соратникам. Особенностью Ташкентского владения было то, что здесь сбор налогов во всех принадлежавших Ташкенту городках и селах проводился под контролем специально назначенных представителей ташкентского «магистрата», следивших, «чтобы никаких обид не делали». Здесь Нур Мухаммад затрагивает весьма важный вопрос и вводит нас в накаленную обстановку борьбы между горожанами и ханской властью.

В этой борьбе «казахи многих побивают до смерти». Не вполне ясно, идет ли речь о налогоплательщиках, с которых выколачивали подати, или о представителях «магистрата», препятствовавших несправедливым поборам. Как бы то ни было, обращает на себя внимание настойчивость, с которой городские власти отстаивали свои права против ханских сборщиков. Ничего подобного мы не наблюдаем в феодальных деспотиях, подобных Бухарскому ханству. Город Бухара мог получить тарханство — и фактически получил его в конце XVIII в., но при сохранении рабской покорности горожан своему хану. Принципиально иным было положение ташкентских горожан, завоевавших к XVIII в. значительную степень независимости, определенные права и отстаивавших их в ожесточенной борьбе.

Иное, чем в Бухаре, положение ханов в Ташкенте характеризуется Нур Мухаммадом и в другом месте; он говорит: «После калмыцкой войны Джулбарс-хан по-прежнему в Ташкенте припят, а Шемяка-хан в Туркестан принят ли, о том не ведает».

Стало быть, ташкентцы могли принять, а могли и не припять того или иного хана. Принимали же они ханов на определенных условиях, очевидных из вышеприведенного. Кроме того, Нур Мухаммад говорит, что казахские ханы имели особые дворы — «замки» в Ташкенте и в Туркестане, но редко в них жили — предпочитали кочевать среди казахов. Во внутренний город — «кремль ханов никогда не впускают,— говорит Нур Мухаммад,— да и сами ханы не входят, боясь, чтобы не засадили».

Во внутреннем городе, за особой крепкой стеной, находились главный рынок, магистратский суд, мечеть, школы и жилища высших духовных лиц и градодержателей. Главных градодержателей, по словам Нур Мухаммада, было всего десять; пять из них перечисляются поименно: Ашербай, Хапкильды-батыр, мулла Мех(м)ет-баки, мулла Аваз-Бакиджан, Турсуп-бай *чармгар* (кожевник).

Одну из главных ханских прерогатив — чеканку монеты со своим именем — ташкентцы тоже, видимо, отняли у своих ханов, так как монеты у них ходили старые, с именами прежних ханов. Слова Нур Мухаммада о том, что деньги не куют со времени калмыцкого нашествия и что не чувствуют в них нужды, так как меняют товар на товар, видимо, нужно понимать не в прямом смысле. Из его «Сказки» видно, что торговля росла: возле главного рынка в городе «недавно» сделаны складские амбары, где приезжие купцы складывают свои товары и живут сами.

Множество других рынков, специализированных по роду продаваемых товаров, перечень стран и городов, с которыми велась оживленная торговля (Бухара, Самарканд, Миянкал, Андху, Карши, Шахрисябз, Кулаб, Балх, Бадахшан, не говоря уже о России),— все это никак не свидетельствует о таком упадке торговли, при котором деньги были бы не нужны.

Впрочем, в «Сказке» Нур Мухаммада есть раздел, где говорится о цене товаров, которые могли бы подойти для продажи в Ташкенте. В этом разделе указываются цены в русских рублях, а также в шкурках корсаков и в кусках шелковых тканей, так что меновая торговля, очевидно, была в ходу.

Наши выводы из анализа «Сказки» Нур Мухаммада сводятся к следующему.

1) Горожане Ташкента имели высший правительственный орган из десяти «градодержателей», названный русским чиновником, записывавшим «Сказку» со слов Нур Мухаммада, по аналогии «магистратом».

2) Горожане могли «принять» хана, но на определенных условиях: он не должен был входить во внутренний город — резиденцию «магистрата», высшей судебной палаты, главного торга и пр.; сбор налогов с оседлых жителей области контролировался представителями «магистрата». Право суда хан имел только в отношении казахов. Ташкентцы и оседлые жители области были неподсудны хану.

3) Органы городского самоуправления пользовались правом внешних сношений, правом суда и правом контроля за налогообложением оседлого населения в области.

Отчет К. Миллера, составленный в 1742 г., о его пребывании в Ташкенте в 1739 г. до нас не дошел [28, стр. 46]. Показания Миллера от 3 июля 1739 г. цитируются П. И. Рычковым [23, стр. 40] и Я. В. Ханыковым. Главный пункт этих показаний кроме сообщений о величине города, его торговле и т. д. заключается в следующих словах: «Правительство в городе прежде тутошние граждане содержали, но потом усилились над ними Большой орды киргиз-кайсаки, и ханы той орды во оный город для житья часто приезжают. Ныне состоит тот город под игом зюнгорского владельца, который держит в нем своего управителя».

Из показаний К. Миллера, подтвержденных письмом толмача Мухаммада Нурлина, которое привез Д. Гладышев в 1741 г., известно, что до 1740 г. ханом Ташкента считался казахский хан Старшего жуза Джулбарс. После отъезда К. Миллера Джулбарс был убит в Ташкентской мечети восставшими горожанами.

Русский капрал Иван Чулпанов, вывезенный К. Миллером из Ташкента, где он находился в плену, сообщил 6 июня 1739 г.:

«Правители в том городе (Ташкенте) бывают по одному, по выбору всего города обывателей, как здесь бурмистры, которого обыватели яко главного начальника почитают и боятся. Он поступает с ними яко главный и по винам наказывает, и на дерева вешает, а письменных прав у них никаких нет и таковых дел, кто кого обидит, на письме не производят, но все словесно в том свидетелями разыскивают и потом виновных штрафуют; но токмо те правители более как года по три и по четыре не живут; и как когда такого правителя кто возненавидит, то убьет и убившего на место убитого выбирают» [28, стр. 54].

Из показаний К. Миллера и И. Чулпанова видно, что, несмотря на наличие казахского хана и калмыкского наместника, внутреннее управление в 1739 г. оставалось в руках горожан, выбиравших себе правителей и свергавших их.

Сохранилась копия показаний купца Шубая Арсланова, побывавшего в Ташкенте в 1742 г. [ЦГАДА, ф. «Сенатские книги», № 136, лл. 185—200]. Он называет «сидящего в том городе вместо хана из тутошних жителей Кусяк-бека», упоминает «гостиный двор, кой там имеется нарочно для приезжих». В бытность Арсланова в Ташкенте туда приехал «от калмыцкого владельца Галдан Церена определенный для правления того города в товарищество упомянутому Кусяк-беку Касым-хозя», родом из Самарканда, с отрядом калмыков.

Кокандский источник «Мунтахаб ат-таварих» (сочинение Мухаммада Хаким-тюри) сообщает, что в середине XVIII в. в ташкентской области правил Чингизид Бахадур-фарман, а после него власть перешла в руки ходжей.

در آن اوانکه بهادر فرمان که از خانان چنگیز بود در ولایت تاشکند فرمان فرمایی میکرد چون از دار فنا بدار بقا رحلت نمود حکومت ولایت تاشقند بدست خواجها افتاد هر کدام بتور خود کوس امارت میزدند بعد از محاربات بسیار بمدد خان خواجه به سیادت پناهی یونس خواجه قرار گرفت

«В те времена Бахадур-фарман из ханов Чингизидов правил вилайатом Ташкента, и когда он [Бахадур-фарман] переселился „из дома тленного в мир вечности“, управление Ташкентским вилайатом попало в руки ходжей. Из них каждый по-своему бил в барабан начальствования. После многих междоусобиц с помощью Хан-ходжи упокоились, [избрав правителем] убежище сейидства Юнус-ходжу» [19, л. 363а6; 8, стр. 98—99].

В. В. Бартольд, видимо, на основании другого источника говорит, что «в 1747 (1160) г. в Ташкенте упоминается хаким Бахадур-бек, вероятно из узбеков. По-видимому, он враждовал с ходжами: в 1749 г. он был убит, после чего ташкентские ходжи разграбили имущество его родственников» [2, стр. 277].

В 50-х годах XVIII в. в области Ташкента усилилось оседание кочевников-казахов. Примерно с 1760 г. сюда же перекочевала часть каракалпаков. К этому периоду относится завоевание Китаем Восточного Туркестана. Испуганные приближением китайских войск ташкентские и кокандские правители пригласили

на помощь отряд афганцев шаха Ахмада Дуррани. По некоторым сведениям, афганское войско действительно прибыло в Ташкентскую область и расположилось в местности между Ташкентом и Кокандом. После этого якобы китайцы ушли [9а, стр. 87—88, 237].

Опубликованное нами «Сказание о Ташкенте» [31, стр. 172—192], содержащееся в перечеркнутом виде в старейшей рукописи сочинения Мухаммад Салиха Ташканди «Та'рих-и джадиде-йи Ташканд» [20, лл. 354а—359а], представляет эпическое повествование об эпохе четырех хакимов и о переходе власти к Юнус-ходже. Этот источник позволяет уточнить наше представление о системе управления Ташкентом при четырех хакимах. Как видно из опубликованного текста, городом управляли четыре знатных горожанина, аристократы по происхождению, прослеживаемому вплоть до Ноя, Сама и Яфета через легендарных тюркских царей, затем через Чингиза, Тимура, Бабура, Юнус-хана, его брата Ахмада, по прозванию Алача (убийца), и Аулай-кули-хана.

В «Сказании» приводятся имена правителей трех частей Ташкента: Шейхантаурской частью правил Бабахан-тура Аулай-кули-ханид, Бешагачской — Раджаб-бек Аштарханид, Кукчинской — Мухаммад Ибрагим-бек Чагатаид, а в Сибзарской сидел не названный по имени правитель из потомков Джучи, старшего сына Чингиз-хана. Говорится, что они осуществляли управление страной (включая принадлежавшие Ташкенту районы кипчакской степи) совместно, по взаимному соглашению.

Таким образом, версия о независимости друг от друга четырех частей и бесконечных драках между ними, исходящая от историков прококандского направления, враждебных ташкентскому республиканскому строю, нашим источником не подтверждается.

Изображаемая во враждебных источниках многолетняя анархия не могла существовать уже потому, что Ташкент имел общий рынок, общий внутренний город, судебные и религиозные учреждения. И если часто возникали междоусобицы, то это были, вероятно, обычные при феодально-республиканском строе внутренние распри, в основе которых лежали не только местнические, но и классовые противоречия. Не удивительно, что историки-монархисты их высмеивали и преувеличивали.

Подтверждаются данные других источников о том, что ташкентские градодержатели управляли не только городом, но и своими подданными, жившими в подвластных городу районах кипчакской степи.

Подтверждаются сведения о вооружении народа в Ташкентской республике. «В те времена как на базар, так и на обрабатываемые поля и на охоту выезжали в полном боевом снаряжении, в кольчуге, шлеме, с копьем, клинком, саблей и ружьем при себе. Местом поединков и сражений, возникавших из-за благородного рвения к защите чести, был Джанг-гах. Иногда ссоры и драки возникали в разгаре базарной торговли, при купле-продаже баранов». Таково же было последнее побоище, в котором победу одержали шейхантаурцы. Причина этих междоусобиц лежала не в делении города на четыре самоуправляющиеся части и не в республиканском самоуправлении; характерный факт, что при отражении неприятеля горожане четырех частей выставляли войско в порядке установленной очередности, доказывает существование общегородских установлений, которым подчинялся весь город.

Из текста «Сказания» видно, что Юнус-ходжа не был правителем Шейхантаурской части, по крайней мере в период, непосредственно предшествовавший его выдвижению на пост правителя всего города. В избрании Юнус-ходжи и других сановников участвовали представители кочевой степи, приглашенные на курилтай, созванный горожанами. Характерно, что вельмож, избранных этим курилтаем, было опять-таки четыре: *аталыком* был избран Рустам-тура, *парвоначием* — Адил-тура, *сардаром* войска — Бабахан-тура и *хакимом* — Юнус-ходжа.

«Сказание» отчетливо освещает процесс узурпации власти Юнус-ходжой: он советовался о государственных делах со своими приближенными, вместо того чтобы считаться с мнением представителей городской аристократии. Правителями подвластных Ташкенту крепостей, командующими кочевниками-казахами рода санджакли, он назначил своих пятерых сыновей.

Но самым крупным злоупотреблением властью, особенно поразившим горожан, было то, что Юнус, не посоветовавшись с вельможами Ташкента и благородными эмирами страны, единолично решил вопрос о войне против Коканда и отправил посла к Алим-хану.

Когда эмиры страны и вельможи государства услышали о том, что произошло без совещания с ними, они собрались во дворец Дервишхани (очевидно, официальное место проведения общегосударственных совещаний), чтобы уговорить Юнуса отменить его воинственное решение. Но было уже поздно. Никого не слушая, Юнус-ходжа отправился в поход и потерпел жестокое поражение, которое произошло не без содействия ташкентцев, измена которых на поле боя совершенно ясно и недвусмысленно описывается в «Та'рих-и джадиде-йи Ташканд».

Ко времени правления Юнус-ходжи относятся еще три источника, опубликованные

Ю. А. Соколовым, Э. Ходжиевым и Я. В. Хапыковым. Первый из них — письмо Юнус-ходжи от 1792 г. русскому правительству, в котором он объявил, что весь Старший жуз Казахстана и Ташкентское владение покорились ему и он желает развивать торговлю с Россией. Подлинный текст письма (на узбекском языке) хранится в Архиве внешней политики России Архивного управления Министерства иностранных дел СССР (ф. «Ташкентские дела», оп. III/1, д. 2, л. 2). Из письма и печати, приложенной к этому письму, видно, что Юнус-ходжа называл себя ишаном Юнус-ходжой, сыном Хидайат-ходжи, и не претендовал на ханский титул. К сожалению, узбекский текст остался неопубликованным, а русский перевод XVIII в. издан в том виде, как он сохранился в архиве, со всеми архаизмами, ошибками и опечатками [30, стр. 63—64]. Факт подчинения Ташкенту Старшего жуза подтверждается всеми другими источниками, особенно отчетом М. Поспелова, о котором будет сказано ниже.

Также без всякой археографической обработки опубликован текст «Объявления» Дмитрия Телятникова от 1796 г., изданный сначала Ю. А. Соколовым [25, стр. 166—167] и затем в более полном виде Э. Ходжиевым [29, стр. 63—65]. Едва ли был прав Ю. А. Соколов, говоря, что к сообщениям Д. Телятникова мы можем относиться с полным доверием. Домысел Д. Телятникова о том, что звание ишана равносильно ханскому титулу, показывает, что он был введен в заблуждение ташкентскими дипломатами, старавшимися, конечно, преувеличить могущество своего правителя. Также недоразумением объясняется утверждение Д. Телятникова, что с каждой юрты кочевых казахов Юнус-ходжа требовал по одному барану,— все другие источники говорят, что одного барана брали с сотни их, а не с юрты. Существенная неточность допущена Д. Телятниковым и в определении числа жителей — в городе было 10 000 домов, а не всего населения; число одних только мужчин достигало, по сведениям М. Поспелова, приблизительно 40 тыс.

Таким образом, далеко не во всех своих частях «Объявление» Д. Телятникова заслуживает полного доверия. Тем не менее и в нем мы находим данные, которые не могли быть выдуманы и важны для характеристики Ташкентского владения. В частности, Д. Телятников говорит, что войско Юнус-ходжи было набрано из беглых людей разных наций и мест: калмыков, узбеков, кокандцев, ходжентцев и бухарцев, «из природных же ташкентцев весьма мало». Эта характеристика близка к показаниям М. Поспелова, которые будут приведены ниже, и позволяет установить важный факт — переход от системы вооружения народа к системе постоянного наемного войска, что произошло при Юнус-ходже. В дальнейшем Юнус-ходжа запретил горожанам-ремесленникам ездить по городу верхом; по сведениям, собранным А. Диваевым, подъезжая к городу, они должны были спешиваться и вести коня в поводу [5].

М. Поспелов и Т. Бурнашев, горные техники, побывавшие в Ташкенте летом 1800 г., составили обстоятельное описание города [28, стр. 1—56], хотя и более правдоподобное, чем «Объявление» Д. Телятникова, но тоже неравноценное в разных частях. Особенные сомнения вызывает историческая часть их описания, явно окрашенная антиреспубликанскими настроениями и гораздо менее точная, чем фактическое описание жизни города, которую М. Поспелов и Т. Бурнашев наблюдали сами.

Приведем отрывок их повествования:

«При начале вступления в свое звание нынешнего Ташкентского владельца Юнус-ходжи были еще двое спорящих о преимуществе занять место, каковое он себе присвоил. Все они подкрепляемы были народными партиями. Сие родило междоусобие в жителях. Они противопоставляли силу другой силе, во мнениях несогласной. Владельцы стремились к тому только, чтоб быть повелителями, и в одном городе Ташкенте имели свои укрепления, свое вооружение и своих подданных, действующих неприятельски с своими согражданами. От сего земледелие и скотоводство приходило в упадок; полезное заведение садов подвержено было разорению; вместо трудолюбивого в ремесле упражнения каждый выходил с оружием в руках и всегда видел жизнь свою в опасности. Соседние владения, особливо Кукандское, яко против сего и могущественное, пользуясь таковыми раздорами, присвоило себе ближайшие селения. Казахи Большой и Средней орды... взяли лучшие места сего владения как-то: город Чемегень (Чимкент) с окольными селениями, Туркестан и прочие. Напоследок все владение состояло из одного только города Ташкента, и того уже опустошенного. Недоставало малейшего времени, чтоб исторгнуть и оной от власти ссорящихся владетелей. Тогда, утомленные междоусобием, граждане вышли из заблуждения и с помощью ходженского владельца, благоприятствовавшего Юнус-ходже, свергнули иго прочих владетелей и, примирясь, составили паки одних граждан» [28, стр. 20—21].

В этом красноречивом повествовании перемешались реальные факты междоусобной борьбы между партиями вооруженного народа, притеснений, терпимых ими от соседних кочевников, и пр. с явными домыслами благомыслящего автора о том, например, как «утомленные междоусобиями граждане вышли из заблуж-

дения» и, «примирясь, составили паки одних граждан».

Существенный факт заключается в отраженном здесь переходе от республиканского строя с его борьбой мнений и партий к строю единоличного правления. В другом месте М. Поспелов пишет, что Юнус-ходжа пользовался неограниченной властью, но сохранялось значение «лучших ходжей», с которыми он иногда советовался. Учрежденное Юнусом постоянное войско «караказанов», судя по описанию М. Поспелова, использовалось в военное время по прямому назначению, а в мирное — в качестве даровых работников в хлебопашестве на землях самого Юнуса и других ходжей.

Описание М. Поспелова свидетельствует, что и в конце XVIII в., так же как это было в первой половине столетия, внутренний город был отделен от остальных частей высокими глинобитными стенами. Во внутреннем городе находились дома Юнус-ходжи и других высших «чиновников», а также монетный двор, ремесленные заведения и казармы постоянного войска «караказанов». В середине города был базар с его лавками, харчевнями, бойнями и т. д.

Юнус-ходжа как настоящий феодал владел собственными хлебородными имениями, обрабатывавшимися «караказанами», имел множество скота, вел торговлю через специально назначенных для этого людей и пользовался доходами с монетного двора. Бо́льшая часть населения, по словам М. Поспелова, занималась ремеслом; особенно развито было ткачество хлопчатобумажных и других материй; ощущался недостаток сырья, которое ввозилось из соседних стран.

Заключение

Приведенных фактов, по-видимому, достаточно для доказательства основного положения, выдвинутого в начале статьи, а именно что форма государственного управления в Ташкенте XVIII в. не была монархической. Действительно, в течение почти всей второй половины XVIII в. в Ташкенте не было никаких монархов. Что касается первой половины XVIII в., то источники разного происхождения и совершенно независимо друг от друга показывают, что числившиеся в то время при Ташкентском владении казахские (и калмыкские) ханы не пользовались такими основными прерогативами самодержавной власти, как внешние сношения от имени всего государства, чекан монет, право суда, административно-полицейского надзора, бесконтрольного налогообложения и военного командования вооруженными горожанами. Внутреннее самоуправление в четырех частях города, а также в подвластных Ташкенту селах и городках, объединявшее все торгово-ремесленное и земледельческое население обширной области, носило черты своеобразного феодально-республиканского строя.

Поскольку во главе ташкентского самоуправления стояли крупные торговцы и землевладельцы, принадлежавшие к аристократическому сословию ходжей, мы вправе назвать эту феодальную городскую республику аристократической. Элементы демократизма, ограниченные, по-видимому, правом (и обязанностью) граждан защищать владения города с оружием в руках, а также участием их в сверженни неугодных правителей, едва ли имели глубокое распространение во всей остальной политической и общественной жизни. Важную роль играли, вероятно, цеховые организации ремесленников, пока еще мало изученные. Для выяснения внутренней жизни ташкентских *махалла* нужен опрос старожилов (если мы уже не опоздали к ним обратиться). Провести по Ташкенту такие же детальные исследования, какие ведет по истории Бухары и Самарканда известный этнограф О. А. Сухарева, — неотложная задача историков Ташкента.

Письменные источники по истории Ташкента тоже еще не все привлечены. Прежде всего нужно подвергнуть источниковедческому анализу сочинение Мухаммад Салиха Ташканди «Та᾽рих-и джадиде-йи Ташканд». История текста этого источника не выяснена. Неизвестно, действительно ли рукопись ИВАН УзССР № 7791 является автографом во всех ее частях, откуда переписано зачеркнутое в ней «Сказание» о Ташкенте XVIII в., кто и когда вычеркнул этот текст и написал взамен на полях другой. Ввиду большого объема (2086 стр.) и ряда палеографических трудностей работа над этой рукописью могла бы вылиться в целую диссертацию. Необходимо также заново пересмотреть бухарские, кокандские и прочие летописи, собрать содержащиеся в них сведения о Ташкенте и сопоставить их с данными других источников.

Очень важно разыскать в архивах оригиналы мемуаров русских послов и путешественников, ездивших в Ташкент в XVIII в. Так как прежние издания их устарели, неудовлетворительны и стали крайне труднодоступны, нужно подготовить новые их издания.

Такую же основательную работу следовало бы провести и над китайскими хрониками, в которых содержатся сведения о Коканде, Андижане, Маргелане, Намангане, Ташкенте и Бадахшане.

Можно надеяться, что в процессе целеустремленных исследований отыщутся новые, до сих пор неизвестные источники, которые помогут нам получить более ясное представление о Ташкентской феодальной республике XVIII в.

1. Азадаев Ф., Ташкент во второй половине XIX в., Ташкент, 1959.
2. Бартольд В. В., История культурной жизни Туркестана,— Соч., т. II, ч. I, М., 1963.
2а. Бартольд В. В., Киргизы. Исторический очерк,— Соч., т. II, ч. I. М., 1963.
3. Бартольд В. В., Ташкент,— Соч., т. III, М., 1965.
3а. «Всемирная история», т. III, М., 1957, стр. 475.
4. Гулямов Я. Г., Новый источник по истории завоевания Туркестана русским царизмом,— «Известия Узбекского филиала АН СССР», 1941, № 4.
5. Диваев А., Предание о возникновении азиатского города Ташкента,— «Туркестанские ведомости», 1900, № 91.
6. Добросмыслов А. И., Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк, Ташкент, 1912.
7. Зияев Х., Ценные материалы по истории Ташкента,— ОНУ, 1971, № 4.
8. Иванов П. П., Казахи и Кокандское ханство,— «Записки ИВАН СССР», VII, М.— Л., 1939.
9. Иванов П. П., Очерки по истории Средней Азии (XVI — середина XIX в.), М., 1958.
9а. Левшин А., Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей, ч. 1—2, СПб., 1832.
10. Ленин В. И., О государстве,— Полное собрание сочинений, т. 39.
11. Маллицкий Н. Г., Несколько страниц из истории Ташкента за последнее столетие,— «Туркестанские ведомости», 1898, №№ 88, 90, 91.
12. Маллицкий Н. Г., Ташкент (исторический очерк),— «Известия Ташкентской городской думы», 1915, № 1—2.
13. Маллицкий Н. Г., Несколько страниц из истории Ташкента за последнее столетие. Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии, год III, Ташкент, 1898.
14. Маллицкий Н. Г., Ташкентские махалла и мауза,— «В. В. Бартольду — туркестанские друзья, ученики и почитатели», Ташкент, 1927.
15. Массальский В. И., Туркестанский край. Россия. Полное географическое описание нашего отечества, т. 19, СПб., 1913.
16. Массон М. Е., Прошлое Ташкента (археолого-топографический и историко-архитектурный очерк),— «Известия АН УзССР», 1954. № 2.
17. «Материалы по истории России. Сборник указов и других документов, касающихся управления и устройства Оренбургского края. 1735 и 1736 годы», т. II. По архивным документам Тургайского областного управления составил А. И. Добросмыслов, Оренбург, 1900.
18. Мир Мухаммед Амин-и Бухари, Убайдулла-наме, пер. с тадж. и прим. А. А. Семенова, Ташкент, 1957.
19. «Мунтахаб ат-таварих», ркп. ИВАН УзССР, № 592.
19а. Мухаммад Вафа Карминаги, Тухфат ал-хана, ркп. ИВАН УзССР, № 16.
20. Мухаммад Салих Ташканди, Та'рих-и джадида-йи Ташканд, ркп. ИВАН УзССР, № 7791.
21. Наливкин В., Краткая история Кокандского ханства, Казань, 1885.
22. Попов А. Н., Сношения России с Хивою и Бухарою при Петре Великом,— «Записки РГО», IX, СПб., 1853.
23. Рычков П. И., История оренбургская, 1730—1750, под ред. и с прим. Н. М. Гутьяра, Оренбург, 1896.
24. Рычков П., Топография оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником и Императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым, ч. I, СПб., 1762.
25. Соколов Ю. А., Первое русское посольство в Ташкенте,— ВИ, 1959, № 3.
26. Соколов Ю. А., Ташкент, ташкентцы и Россия, Ташкент, 1965.
27. «Убайдулла-наме», ркп. ИВАН УзССР, № 1532.
28. Ханыков Я. В., Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент в 1800 г.,— «Вестник РГО на 1851 г.», ч. I, кн. 1, СПб., 1851.
29. Ходжиев Э., Важный источник по истории Ташкента,— ОНУ, 1961, № 5.
30. Ходжиев Э., Неизвестное письмо ташкентского правителя Юнус-ходжи,— ОНУ, 1962, № 2.
31. Чехович О. Д., Сказание о Ташкенте,— «Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник 1968 г.», М., 1970.
32. Шишов А., Исторический очерк Ташкента. Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области, т. XI, Ташкент, 1904.

Е. А. Давидович, А. А. Егани,
О. Д. Чехович

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МЕТРОЛОГИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Первое практическое пособие по метрологии мусульманского Востока было составлено В. Хинцем и опубликовано в 1955 г. на немецком языке. В 1970 г. пособие по метрологии Востока вышло на русском языке. Оно содержит труд В. Хинца (с дополнениями и поправками) «Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему» и работу Е. А. Давидович «Материалы по метрологии средневековой Средней Азии». Оба автора в своих предисловиях отметили сложность изучения метрологии Востока, невозможность специальной проработки для этой цели *всех* источников и поэтому «необходимость объединения усилий разных специалистов для накопления материалов» [6, стр. 10; 2, стр. 78]. Призыв этот не остался без отклика, и издание пособия по метрологии Востока на русском языке, безусловно, пробудило интерес к этой важной вспомогательной исторической дисциплине. Полезные дополнения к работе В. Хинца уже опубликовал в 1972 г. Г. И. Джапаридзе [3]. Несколько дополнений к работе Е. А. Давидович содержатся в прилагаемой статье.

1) *Манн и шутурвар Бухары в XVI в.*

И. И. Умняков [5, стр. 8] первый обратил внимание на интересное свидетельство Хафизи Таныша в «Абдаллах-наме» относительно двух бухарских единиц веса: «Дело дошло до такого состояния, какого не запомнит ни один человек: один мен зернового хлеба по бухарскому весу стоил 250 ханских монет, а груз верблюда — тысячу ханских монет». Из этого свидетельства следует, что верблюжий вьюк был в четыре раза больше манна. Между тем анализ источников XVII—XIX вв. убедил в том, что в Бухаре того времени шутурвар равнялся десяти маннам по большому весу Бухары. Размер этих манна и шутурвара в XVII—XIX вв. тоже вычислен: манн = 25,6 *кг* (5120 мискалям по 5,0 *г*), а шутурвар — соответственно = 256 *кг* (51 200 мискалям по 5,0 *г*) [1, стр. 299—302; 2, стр. 87, 108].

Можно было поэтому предполагать, что либо Хафизи Таныш подразумевал совсем другой манн, либо в рукописи «Абдаллах-наме» или переводе И. И. Умнякова ошибка. И. И. Умняков пользовался рукописью А. А. Семенова, которая ныне хранится в Институте истории АН ТаджССР. Проверка по этой рукописи (см. ниже текст) показала, что перевод И. И. Умнякова точен, следовательно,

یکمن غله بسنک بخارا دویست پنجاه خانی شده باشد که شتر باری هزار خانی شود

речь могла идти о другом манне или ошибке в этой рукописи «Абдаллах-наме». Отрывок был проверен еще по двум рукописям, хранящимся одна в ИВАН ТаджССР (№ 778, л. 370а), другая в ИВАН УзССР (№ 2207, л. 266а). В обеих этих рукописях текст идентичен:

یکمن غله بسنک بخارا دویست پنجاه خانی‌شده باشد شتر باری دو هزار و پانصد خانی شود

Согласно этому тексту, верблюжий вьюк равен не четырем, а десяти маннам по бухарскому весу, т. е. в рукописи «Абдаллах-наме», принадлежавшей А. А. Семенову, действительно, ошибка, пропущено слово دو — «два».

Сведения Хафизи Таныша важны тем, что убедительно показывают: манн в 25,6 *кг* и шутурвар в 256 *кг*, использование которых прежде было выявлено только с XVII в., как теперь ясно, употреблялись и раньше, в XVI столетии.

2) *О мерах веса и поверхности в Ташкенте XIX в.*

Интересные, но не простые для истолкования сведения о мерах веса и площади сообщает Мухаммад Салих в своем труде «Та'рих-и джадида-йи Ташканд» — «Новая история Ташкента». Единственная известная сейчас рукопись этого сочинения хранится в Институте востоковедения АН УзССР (№ 7791). На л. 885б приведено

следующее сообщение о ташкентских единицах веса и площади:

آن آسیاها چنان بود که در یک شب و روز پنجاه من دهقانی بسنگ معروف این بلده که شصت چهار چا[ر]یک است هر چار[م]کی ششی نیمقداق و هر قداقی ی[م]ست پیسه و هر پیسه آن پنج مثقال شرعی و هر مثقال یکصد جومیانه شرعی است

В этом тексте фигурирует «дехканский манн по известному весу этого города» (т. е. Ташкента) как мера поверхности, а затем дана весовая расшифровка размеров этого манна, так как в основе своей манн — именно единица веса.

Манн Ташкента, согласно Мухаммад Салиху, равен 64 чарйакам. Чарйак — распространенная в позднесредневековой Средней Азии единица веса. В развитых системах веса многих среднеазиатских городов и областей чарйак составлял именно $^1/_{64}$ часть манна. Такое же отношение между манном и чарйаком (по другим источникам) было и в Ташкенте XIX в. [2, стр. 106—107]. Свидетельство Мухаммад Салиха — дополнительное и весьма авторитетное тому подтверждение.

Далее этот автор приводит систему деления манна и чарйака на меньшие единицы: кадоки, пайса и мискали. Но фрагмент текста относительно кадоков هرچا[ر]یکی ششی نیمقداق و هر قداقی بیست پیسه позволяет двоякое толкование (учитывая наличие ошибок во всем разбираемом отрывке). От разных толкований зависит как вся система, так и число мискалей в манне.

На первый взгляд кажется, что отрывок этот нужно понимать так: «Каждый чарйак [состоит из] шести полукадоков, а каждый кадок — [из] двадцати пайса». Но вызывает недоумение, почему чарйак должен равняться шести полукадокам, а не трем целым кадокам, тем более что дальнейшее деление идет не через полукадоки, а именно через целые кадоки (1 кадок = 20 пайса, а не 1 полукадок = 10 пайса).

Поэтому более достоверным представляется иное понимание текста: «Каждый чарйак [состоит из] шести с половиной кадоков, а каждый кадок — [из] двадцати пайса». В этом случае придется признать, что кадок и пайса являются не органической частью местной весовой системы, а включены в нее путем пересчета. Такое включение в местную весовую систему чужеродных, но ставших употребительными единиц веса — явление обычное. Каждый пример подобного заимствования интересен как свидетельство тесных и постоянных экономических связей разных областей. В данном же случае этот факт важен и для выяснения абсолютных размеров манна.

При втором толковании текста Мухаммад Салиха манн получается равным 41 600 мискалям (64 чарйака × 6,5 кадоков × 20 пайса × 5 мискалей) и 8320 пайса (64 чарйака × × 6,5 кадоков × 20 пайса). В чарйаке же 130 пайса.

Из других источников XIX в. известен манн Ташкента в 10,5 пуда (171,99 *кг*) и 374 английских торговых фунта (169,99 *кг*). Это один и тот же манн, небольшая же разница абсолютных его размеров понятна при неизбежной и разной приблизительности перевода восточной единицы веса в русские и английские меры [2, стр. 92]. В дальнейшем, говоря об этой единице, мы будем исходить из 10,5 пуда (171,99 *кг*).

Естественно было бы предположить, что манн в 10,5 пуда и дехканский манн Мухаммад Салиха — одна и та же единица. Но расчет показывает, что это не так. В дехканском манне 41 600 мискалей. Если бы дехканский манн равнялся 10,5 пудам, т. е. 171,99 *кг*, мискаль был бы равен 171 990 : 41 600 = 4,131 *г*. Но такие маленькие мискали в Средней Азии неизвестны [1]. Наименьший из употреблявшихся мискалей — 4,26 *г*, но и его для сложения или пересчета крупных весовых единиц в позднесредневековой Средней Азии не использовали. Следовательно, расчет этот убедительно показывает, что манн в 10,5 пуда и манн дехканский — единицы разные. Вывод этот подтверждает и разная система деления этих двух маннов на меньшие единицы. Манн в 10,5 пуда делился на 64 чарйака, чарйак — на 4 йухча, йухча — на 4 гитча, т. е. это органическая система. Дехканский же манн, как было показано, после чарйака пересчитан в «чужеродные» кадоки, почему их и оказалось в чарйаке шесть с половиной.

В системе обоих маннов источники упоминают пайса. Но в манне, равном 10,5 пуда, пайса составляет $^1/_{80}$ часть чарйака, а в дехканском манне — $^1/_{130}$ часть чарйака. Для обеих систем эта единица является заимствованной, «подсчитанной» к местным мерам. Но различен и абсолютный размер этих двух пайса (см. ниже), и характер включения в местную весовую систему.

Оба разных манна — в 10,5 пуда и дехканский — относятся к единицам «большого веса». Сосуществование двух или даже большего числа крупных единиц веса в одном месте и в одно время — явление, обычное для позднесредневековой Средней Азии, так что и в данном случае оно не должно удивлять [2].

[1] Еще меньше сходства между манном в 10,5 пуда и дехканским манном, если принять первое толкование текста: чарйак равен 6 полукадокам. В этом случае в дехканском манне было бы всего 19 200 мискалей (64 × 3 × 20 × 5), следовательно, мискаль равнялся бы 171900 : 19200 = 8,958 *г*. Таких мискалей не бывает, самый большой среднеазиатский мискаль равен 5,0 *г*.

[2] Ср., например, единицы группы «большого веса» в Бухаре, Самарканде, Фергане и пр. [2, стр. 87 и сл.].

Чему же равняется дехканский ман? Ясно, что он больше манна в 10,5 пуда, так как подстановка даже самых малых мискалей дает значительно более крупную величину. Однако с полной достоверностью установить абсолютные размеры дехканского ма̀на сейчас не представляется возможным, так как неизвестны размер и происхождение того мискаля, который был положен в основу дехканского ма̀на. Не помогает и указание Мухаммад Салиха о том, что этот мискаль делился на 100 джау — «ячменных зерен» средней величины, так как такая система деления мискаля была в позднесредневековой Средней Азии распространена широко [3].

Сейчас известны следующие позднесредневековые мискали Средней Азии: 4,26 *г* (но крупные единицы веса на нем не строились); 4,8 *г* (крупные единицы веса пересчитывали в этот мискаль для контроля, но для дехканского манна он не подходит, так как делится не на 100, а на 96 джау); 4,55 *г* (Хорезм, Фергана); 5,0 *г* (Бухара и другие города и области). Если все же условно учесть мискаль в 4,26 *г* как наименьший, дехканский ман, высчитанный в таком мискале, равнялся бы 177,216 *кг*. Хотя, как уже отмечалось, мискаль в 4,26 *г* не использовали в позднесредневековой Средней Азии для построения или пересчета крупных весовых единиц «большого веса», 177,216 *кг* — это наименьшая контрольная цифра для дехканского манна. При мискале в 4,55 *г* дехканский ман равнялся бы 189,20 *кг*. При наибольшем из известных среднеазиатских мискалей в 5,0 *г* дехканский ман равнялся бы 208 *кг*. Поэтому пока уверенно можно заключить только следующее: дехканский ман Ташкента XIX в. был не менее 177,20 *кг*, но не более 208 *кг*.

Абсолютный размер пайса не был одинаковым, причем даже в одном месте и в одно время могли сосуществовать разные пайса. В Фергане XIX в., например, удалось выявить пайса трех разных размеров [2, стр. 98—100]. Пайса в системе ташкентского манна в 10,5 пуда равнялась 33,2 *г* или была несколько больше [2, стр. 100]. Пайса в системе дехканского манна не могла быть такого же размера, так как она равнялась 5 мискалям (33,2 : 5 = 6,61 *г*, а таких мискалей не было). Следовательно, в Ташкенте XIX в. сосуществовали две разные пайса в системе двух разных маннов, причем пайса дехканского манна была значительно меньше [4].

[3] Ср. мискали Хорезма и Ферганы, один из мискалей Бухары [2, стр. 94—95].

[4] Любопытно, что в Фергане широко употреблялась пайса именно в 5 мискалей по 4,55 *г*, равная 22,8—23 *г*. Если допустить, что эта группа единиц (пайса в 5 мискалей) была заимствована из Ферганы, оказалось бы что дехканский ман равен примерно 190 *кг*. Но имело ли место такое заимствование, или это просто совпадение — пока неизвестно.

Итак, сейчас можно сделать лишь следующие выводы. В Ташкенте и его области в XIX в. употреблялись и сосуществовали два манна «большого веса». Один из них равнялся 10,5 пуда (171,99 *кг*), второй, именуемый дехканским, был больше первого: точный его размер пока неизвестен, но он располагался в пределах 177,26 — 208 *кг*. Оба манна делились на 64 чарйака, а дальше первый из них делился на кратные обычным образом, характерным для местных весовых систем, второй же включал «чужеродную» единицу, искусственно соединенную с ним в систему (чарйак = 6,5 кадока). В Ташкенте и области употреблялась и другая заимствованная единица — пайса: двух разных размеров и по-разному включенная в весовые системы этих двух маннов. Пайса в системе деления первого манна составляла $^1/_{80}$ часть его чарйака (следовательно, в манне, равном 10,5 пуда, было 5120 пайса); пайса же в системе деления дехканского манна составляла $^1/_{130}$ часть его чарйака (следовательно, в дехканском манне было 8320 пайса). Пайса в системе первого манна равнялась 33,2 *г* или была несколько больше. Точный размер второй пайса неизвестен, но он был не больше 25 *г*, так как равнялся пяти мискалям (а наибольший из среднеазиатских мискалей XIX в. был в 5,0 *г*). В Фергане пятимискальная пайса равнялась 22,8—23 *г*.

Дехканский ман Мухаммад Салиха в его «Новой истории Ташкента» фигурирует и как мера площади. Известно, что в позднесредневековой Средней Азии для измерения земельных площадей использовали, с одной стороны, манны и их кратные, с другой стороны, танабы-джарибы (эти два термина употреблялись как синонимы). Один из наименее изученных вопросов средневековой среднеазиатской метрологии — отношение между маннами и танабами. Поэтому нижеприводимое свидетельство об этом имеет особенно большую ценность.

Мухаммад Салих сообщает (та же рукопись, л. 899б), что после смерти Юнус-хана ташкентского (XV в.) Алача-хан построил гумбаз возле мазара шейха Хавенди Тухура (Шейхантаура) и учредил вакф. Среди пожертвований был участок земли, размер которого указан в маннах по дехканскому весу Ташкента, причем оговорено, что каждый такой ман равен шести законным танабам:

و نیز در شرقی انهار سالار یک قطعه زمین موسم باسم پل یمس
که تخمیناً بسنک دهقانی متعارف این بلده صد من رسمیست
که در هر من آن شش طناب شرعی است

«Другое: за пределами стены [Ташкента] с восточной стороны и к востоку от реки Салар [в пользу мавзолея дан] один участок земли, называемый „Пул-и Йамис". [Его размер] по дехканскому весу, принятому в этом городе,— сто обычных маннов, в каждом манне по шести законных танабов».

Существенно было бы установить, единицы какого времени фигурируют в этом отрывке: конца XV в. (времени написания вакф-наме Алача-хана) или XIX в. (времени написания сочинения Мухаммад Салиха). Характер этого отрывка и некоторые детали, приводимые Мухаммад Салихом (например, он указывает, что вакф-наме Алача-хана была украшена печатями падишаха, амалдаров и казиев «того времени»), позволяют предположить, что он видел подлинную вакуфную грамоту в пользу мавзолея Юпус-хана, а следовательно, мог дословно списать из нее приведенные сведения. Это означало бы, что дехканский манн как единица веса и как мера площади употреблялся еще в XV в. и дожил до XIX в., коль скоро его употребление в XIX в. зафиксировано другим, выше уже разобранным отрывком из того же сочинения Мухаммад Салиха.

Но не исключено, что Мухаммад Салих не переписал, а лишь изложил содержание вакф-наме, внеся собственное объяснение размеров манна, соответствующее действительности XIX в., т. е. определил реальный размер земельного участка в современных ему единицах. Это означало бы, что размеры участка определены в ташкентских мерах XIX в., время появления которых и продолжительность существования пока неизвестны.

Итак, мы не можем уверенно решить, когда в Ташкенте появился дехканский манн как мера веса и площади и употреблялся ли он в XV в. Но одно несомненно: в XIX в. он употреблялся и как мера площади равнялся 6 танабам.

С точки зрения нормы высеваемости как реальной основы установления фиксированного равенства между манном и танабом это свидетельство Мухаммад Салиха означает, что один танаб = $^1/_6$ части дехканского манна. Дехканский манн, как выше было установлено, был не менее 177,216 *кг* и не более 208 *кг*. Следовательно, в Ташкенте XIX в. фиксированная норма высеваемости на танаб была 30—35 *кг* (точно: 29,536—34,667 *кг*). Если для сравнения с другими, уже имеющимися данными эту норму перевести в пуды, окажется, что в Ташкенте XIX в. на танаб считалось около двух пудов. Именно такую норму называют многие русские источники для ряда областей Средней Азии XIX в.

Однако это не проясняет вопроса о размерах того танаба, которому соответствует двухпудовая высеваемость. Любопытно, что в тех русских источниках, которые для разных мест зафиксировали эту норму высеваемости, танабы названы совсем разные, причем разница слишком велика, чтобы объяснить ее местными условиями. Поскольку в одних и тех же областях и даже районах сосуществовало по нескольку танабов, можно было предположить, что при характеристике высеваемости подразумевался один из них, одинаковый для всех названных пунктов. И размер этого общего танаба, на который высевали по два пуда зерна, удалось выяснить: это танаб, равный 3600 кв. газов по 106,68 *см* газ, что дает площадь 4097,025 *кв. м* [2, стр. 124]. Между прочим газ в 106,68 *см* русские застали и в Ташкенте. Следовательно, и танаб, построенный на этом газе, в Ташкенте м о г употребляться, хотя прямыми свидетельствами на этот счет мы не располагаем.

В более поздних русских источниках [2, стр. 113—114] для Ташкента упоминается другой, значительно меньший танаб в $^1/_6$ часть десятины (1820,83 *кв. м*), основанный на русском аршине (71,12 *см*). Подстановка этого малого танаба означала бы, что дехканский манн в 177,216—208 *кг* в Ташкенте XIX в. соответствовал десятине земли (1 *га* 925 *кв. м*), а норма высеваемости — 30—35 *кг*, т. е. примерно около двух пудов не на 4097,025 *кв. м*, а всего лишь на 1820,83 *кв. м*. Разница более чем в 2 раза! Правдоподобнее кажется, что Мухаммад Салих подразумевал танаб, построенный на очень употребительном газе в 106,68 *см* и равный именно 4097,025 *кв. м*. Это значило бы, что именно на такой танаб высевалось около 2 пудов зерна, а дехканский манн, равный шести таким танабам, тем самым равнялся бы площади 24582,15 *кв. м* (около 2,5 *га*). Однако вопрос этот нельзя считать решенным окончательно.

3) *Размер и соотношение танаба и манна в Ура-Тюбинском вилайате на рубеже XIX—XX вв.*

В трех документах, хранящихся в Институте истории АН ТаджССР (коллекция сектора истории средних веков, № 2014, № 2020, № 1380), содержатся весьма интересные свидетельства о размерах танаба, особенно важные тем, что представляется возможность выяснить отношение между маннами как мерой площади и танабами.

1) № 2014, дата составления документа указана дважды: в основном тексте — по хиджре (зуль-хиджа 1316 г. х. = III—IV 1899 г. н.э.), над текстом — в европейском летосчислении

арабскими буквами и цифрами апрель 1899 г. Участок орошенной земли расположен: در موضع ترناب قرا بچی تابع آبرو دعلیان ولایت‌اوراتپه. Размеры участка: на западе и востоке — по 100 алчинов, на севере и юге — по 180 алчинов, что составляет пять законных танабов.

Участок равен 180 × 100 = 18 000 кв. алчинов. Мера длины алчин (русский аршин) употреблялась в Средней Азии еще до присоединения к России. Охотно употреблялся и танаб, построенный на алчине. Он равен 1820,83 *кв. м* [2, стр. 109, 126—127, 129—130]. Его использование зафиксировано для многих районов Средней Азии. Публикуемые материалы свидетельствуют о том, что употреблялся этот танаб и в области Ура-Тюбе.

2) № 2020, дата составления документа — рамазан 1318 г. х.(= XII — 1900 — I — 1901 гг.). Участок орошенной земли расположен: در موضع قریچی از توابع آرو شهرستان ولایت اوراتپه. Размер участка: с каждой стороны по 200 газов, что составляет 11 танабов и 400 кв. газов: هر طرفی دو صد گزی یازده طناب چهار صد گز برعی. Участок, следовательно, равен 200 × 200 = 40 000 кв. газов, или 11 танабов и 400 кв. газов. Отсюда танаб равен (40 000—400) : 11 = 3600 кв. газов. В данном случае не оговорено, какой газ имелся в виду, очевидно какой-то местный. Размеры местных газов Ура-Тюбе и Ура-Тюбинского вилайата пока неизвестны. Но важно, что система равенства танаба 3600 единицам длины остается неизменной.

3) № 1380, дата составления документа — рамазан 1318 г. х. (= XII — 1900 — I — 1901 гг.). Упомянуты два участка земли и сад. Первый участок орошенной земли расположен в местности: خالدار قپچاق تابع دهد شهرستان تابع آبرو دعلیان ولایت اوراتپه. Второй участок частью орошенной, частью богарной земли расположен: در موضع شورک تابع موضع خالدار قپچاق. Сад расположен در موضع خالدار قپچاق مذکور. Таким образом, оба участка земли и сад расположены в одном месте — Халдар-Кипчак (один из участков — в местности Шурак, относящейся, однако, также к Халдар-Кипчаку), а это весьма существенно, ибо позволяет не сомневаться, что во всех трех случаях для определения площади земли использованы одни и те же меры [5].

Размер сада указан в газах и танабах. С запада и востока он равен 120 газам, а с севера и юга — 60 газам, и это соответствует двум танабам. Следовательно, площадь сада равна 120 × 60 = 7200 кв. газам, откуда танаб равен 3600 кв. газов. И в этом случае, очевидно, подразумевается местный газ, размер которого нам неизвестен, но система (танаб равен 3600 кв. газам) остается неизменной (что существенно для последующих расчетов).

Размеры двух земельных участков названы в документах не только в газах и танабах, но еще и в маннах. Приведем их в виде таблицы.

№	Размер участков земли		
	в газах	в танабах	в маннах
1	1060×180=190 800	64	11
2	270×270= 72 900	20,25	2,5 поливной и 1 богарной

Итак, размер второго участка — 72 900 кв. газов, откуда танаб равен 72 900 : 20,25 = = 3600 кв. газам, здесь обычная система. Но размер манна в танабах в данном случае вычислен быть не может, так как часть земли поливная, а часть богарная. Проще всего на первый взгляд отношение между танабами и маннами установить по данным относительно первого участка. Но здесь в тексте документа допущена ошибка, ибо размеры участка в газах и танабах не соответствуют друг другу, если исходить из равенства: танаб = 3600 кв. газам [6]. Все размеры обозначены цифрами. Где ошибка? Если считать правильным число танабов, это дает 64 × 3600 = 230 400 кв. газов вместо 190 800 (см. таблицу). Подстановка вместо нуля цифры 5 (что допустимо, так как нули изображены в виде кружков) в любом из трех случаев, в любых двух случаях из трех и во всех трех не дает 230 400 кв. газов [7]. Следовательно, в документе действительно ошибка, но в какой из трех цифр и в одной ли?

Привлекает внимание следующий факт. Если правильным считать размер в газах, это дает *целое* число танабов по 3600 кв. газов (190 800 : 3600 = 53 танаба). Так как в данной связи для нас важно число именно танабов, тут возможны только два решения: если в документе правильно указано число танабов (а ошибка в числах газов) — танабов будет 64; если же в документе правильно указано число газов (а ошибка в числе танабов) — танабов

[5] О местоположении селений Шурак и Халдар-Кипчак см. [4, стр. 68, прим. 1].

[6] 190 800 кв. газов : 64 = 2981,25 кв. газов. Если бы в одном районе употребляли два столь разных по системе исчисления танаба (в 3600 газов и в 2981,25 газов) и оба употребили бы для обозначения размеров земельных участков в одном и том же документе — это было бы оговорено.

[7] 1560 × 180 = 280 800; 1065 × 180 = 191 700; 1565 × 180 = 281 700; 1565 × 185 = 289 525; 1060 × × 185 = 196 100; 1065 × 185 = 197 025.

будет 53. В первом случае манн как мера площади получается равным 5,82 танаба (64 : 11); во втором случае манн равен 4,82 танаба (53 : 11).

Выбор одной из двух этих величин подсказывают данные о размерах второго земельного участка, равного 20,25 танаба, а в маннах — 2,5 манна поливной земли и 1 манну земли богарной. При манне в 5,82 танаба поливная часть земли второго участка = 14,55 танаба (5,82 × 2,5), следовательно, 1 манн богарной земли равен 5,70 танаба (20,25—14,55). При манне в 4,82 танаба поливная часть земли второго участка равна 12,05 танаба (4,82 × × 2,5), следовательно, 1 манн богарной земли равен 8,20 танаба (20,25—12,05). В первом случае манн поливной и богарной земли почти равны, манн богарной земли (5,70 танаба) по площади даже несколько меньше манна поливной земли (5,82 танаба), т. е. по норме высеваемости выше, что исключено. Во втором случае манн богарной земли (8,20 танаба) почти в 2 раза больше по площади (т. е. почти в 2 раза меньше по высеваемости) манна поливной земли (4,82 танаба), что естественно при весьма различной норме высеваемости на поливных и богарных землях. О соотношении норм высеваемости зерновых на богарных и поливных землях в условиях Таджикистана мы получили консультацию доктора сельскохозяйственных наук, акад. А. Н. Максумова (Душанбе), который сообщил, что норма высеваемости на богарных землях именно почти в 2 раза меньше, чем на поливных.

Все приведенные расчеты дают основание предполагать, что в документе при обозначении размеров первого участка поливной земли была допущена ошибка в цифровом обозначении числа танабов. Учет этой ошибки и сопоставление с данными о размерах второго участка земли (частично поливной, частично богарной) позволяют заключить достаточно уверенно, что в указанных местностях Ура-Тюбинского вилайата на рубеже XIX—XX вв. манн для измерения поливных земель равнялся 4,82 местного танаба, а манн для измерения богарных земель — 8,20 местного танаба.

К сожалению, размер местного танаба, построенного на местном газе, пока неизвестен, так как неизвестно, какой из уже выявленных среднеазиатских газов (или какой еще неизвестный) считался на рубеже XIX—XX в. «законным» во всем Ура-Тюбинском вилайате или в той его части, в которой расположены описанные участки земли. Не знаем мы в данном случае и абсолютных размеров того весового манна, который использовался в этих местах и в это время для измерения земельных площадей. Мы выясняем только *отношение* между двумя разными земельными мерами — *маннами* и *танабами* [8].

Сам по себе тройной способ определения земельных площадей (через газы, танабы и манны одновременно) намекает на то, что в Ура-Тюбинском вилайате употреблялись одинаковые по наименованию, но разные по размерам единицы длины и площади, так что во избежание последующих конфликтов в юридическом документе предпочитали размер земли выразить одновременно разными единицами, определенное отношение между которыми точно ориентировало современников, какие именно единицы употреблены в каждом случае. И если документ не позволяет выяснить абсолютных размеров газов, танабов, маннов, использованных для измерения земельных площадей, то он дает возможность вычислить хотя бы отношение между этими единицами: танаб = 3600 местным газам; манн богарной земли = = 8,20 местного танаба; манн поливной земли = 4,82 местного танаба. Два последних равенства представляют особую научную ценность из-за неизученности отношений именно между маннами и танабами как двумя типами мер поверхности.

1. Давидович Е. А., История монетного дела Средней Азии XVII—XVIII вв. (Золотые и серебряные монеты Джанидов), Душанбе, 1964.
2. Давидович Е. А., Материалы по метрологии средневековой Средней Азии, М., 1970.
3. Джапаридзе Г. И., [Рец. на:] В. Хинц. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему, пер. с нем.; Е. А. Давидович, Материалы по метрологии средневековой Средней Азии, М., 1970,— «Вопросы истории Ближнего Востока, II», Тбилиси, 1972.
4. «Материалы по истории Ура-Тюбе. Сборник актов XVII—XIX вв.», сост. пер. и предисл. А. Мухтарова, М., 1963.
5. Умняков И., Некоторые сведения из «Абдулланамэ» Хафизи-Таныша (XVI в.),— «Труды Самаркандского государственного педагогического института им. А. М. Горького», т. II, Самарканд, 1941.
6. Хинц В., Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему, пер. с нем., М., 1970.

[8] Имеет смысл, однако, рассмотреть следующую возможность. В источниках последней трети XIX и начала XX в. для Ура-Тюбе упоминаются два манна: 15 пудов 37 фунтов (260,859 *кг*) и 16 пудов (269,088 *кг*). Первый, очевидно, местный; второй — искусственно созданный путем «округления» размеров местного для приведения в удобное соответствие русским мерам. Аналогичные примеры «округления» местных единиц для удобства русско-среднеазиатской торговли известны [2, стр. 87 и сл.]. Если исходить из двух маннов, норма высеваемости на поливных землях будет равняться 54,12 или 55,83 *кг* на танаб. Если при этом условно подставить наибольший из известных в XIX в. среднеазиатских танабов — танаб в 4097,025 *кв. м*, норма высеваемости в Ура-Тюбе окажется много выше, чем, например, в самаркандском тумане Шаудар (где на этот танаб приходилось 2 пуда, т. е. 32,76 *кг*). Пока все это — уравнение со многими неизвестными.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АКД — автореферат кандидатской диссертации.
АО — Археологические открытия.
АРТ — Археологические работы в Таджикистане.
АС — «Археологический сборник».
Бр — Брихадараньяка упанишада.
ВА — «Вопросы антропологии», М.
ВДИ — «Вестник древней истории», М.
ВИ — «Вопросы истории», М.
ВМУ — Вестник Московского университета.
ГИМ — Государственный Исторический музей.
ГУОПМК — Государственное управление охраны памятников материальной культуры.
ГЭ — Государственный Эрмитаж.
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения», СПб.
ЗВОРАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества».
ИАО — Императорское Археологическое общество.
ИВАН — Институт востоковедения Академии наук СССР.
ИИМК — Институт истории материальной культуры.
ИМКУ — История материальной культуры Узбекистана.
ИООН — Известия отделения общественных наук.
ИТН — «История таджикского народа», М., 1967.
КСИА — «Краткие сообщения Института археологии», М.
КСИВАН — «Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР», М.— Л., М.
КСИИМК — «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР», М.— Л., М.
КСИЭ — «Краткие сообщения Института этнографии АН СССР», М.— Л., М.
Кт — Катха упанишада.
МАР — «Материалы по археологии России».
МАС — «Монгольский археологический сборник».
МАЭ — Музей антропологии и этнографии.
МИА — «Материалы и исследования по археологии СССР».
МИТТ — «Материалы по истории туркмен и Туркмении.
МКИИА — Международный конгресс по иранскому искусству и археологии.
МХЭ — «Материалы Хорезмской экспедиции».
НАА — «Народы Азии и Африки. История, экономика, культура», М.
ОНУ — «Общественные науки в Узбекистане».
ОРЯИС АН — Отделение русского языка и словесности Академии наук.
ПВ — «Проблемы востоковедения», М.
РГО — Русское географическое общество.
ркп — рукопись.
СА — «Советская археология», М.
СВ — «Советское востоковедение», М.—Л., М.
САГУ — Среднеазиатский государственный университет.
СКСО — «Справочная книжка Самаркандской области».
стб — столбец.
СЭ — «Советская этнография», М.
ТАН — «Труды Академии наук СССР».
ТаджГУ — Таджикский государственный университет.
ТашГУ — Ташкентский государственный университет.
ТашЗНИИЭП — Ташкентский зональный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования.
ТИИ — «Труды Института истории АН СССР».
ТОВЭ — «Труды Отдела Востока Эрмитажа», Л.
Тр. КАЭЭ — «Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции».
ТХАЭЭ — «Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции».
Чх — Чхандогья упанишада.
ЭВ — «Эпиграфика Востока», М.—Л.
ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция.
AP — «Ancient Pakistan».
BGA — Bibliotheca geographorum arabicorum, Lugduni Batavorum.
BSO(A)S — «Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies, London Institution (University of London)».
CAJ — «Central Asiatic Journal», The Hague — Wiesbaden.
CRAIBL — Comptes rendue de l'Academie des Belles-Lettres, Paris.
DK — «Date of Kanishka», London, 1960.
EW — «East and West», Roma.
EWA — «Encyclopaedia of World Art», London.
IsMEO — Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
JA — «Journal Asiatique», Paris.
JAIGB — «Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland», London.
JAOS — «Journal of the American Oriental Society», New York — New-Haven.
JNES — «Journal of Near Eastern studies», Chicago.
JRAS — Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland», London.
MASI — «Memoirs of the Archaeological Survey of India».
MDAFA — «Mémoires de la Délégation archéologique française en Afhanistan», Paris.
MRDTB — «Memoirs of the Research Department of Tôyô Bunko (Oriental Library)», Tokyo.
NC — «Numismatic Chronicle».
RE — Paul's Real-Enzyclopedie der Classischen Altertumswissenschaft, neue Bearbeitung, begonnen von G. Wissowa, hrsg. von W. Kroll.
OIP — «The University of Chicago, Oriental Institute publications», Chicago.
RDSO — «Rivista degli studi Orientali», Roma.
SPAW — «Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften», philologisch-historische Klasse, Berlin.
TP — «T'oung Pao, ou Archives concernant l'histoire, les langues, la geographie, ethnographie et les arts de l'Asie Orientale», Paris — Leiden.
ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», Leipzig, Wiesbaden.

ABSTRACTS OF PAPERS INCLUDED IN THE COLLECTION

Reflection of some mythological views in the architecture of the Eastern Iranian peoples in the first half of the first millennium B. C. by L. A. Lelekov.

The present article treats the correlation between direct archaeological and indirect literary data on the funeral rites in the Aral Sea region. It is presumed that the basis of these rites was the symbolic idea of the fiery renewal of the world which has been recorded in all the major cycles of the Indo-European epos. The cult and religious unity of the Indo-European funeral rites of cremation, proved by multiple archaeological data corresponding to the concept of G. Dumézil, justifies the use of the Homeric tradition and the Upanisad texts to explain the cremation rites and the burning of funeral buildings. It also provides a base for a provisional reconstruction of separate fragments of the pre-Avesta Eastern Iranian epos.

The Bactrian Griffin in Antique Literature by J. V. Pyankov.

A tale on griffins with reference to Bactrians and Indians (Ctes., fr. 45, 45h, Jacoby) is recounted by Ctesias, in his stories of the miracles of India. Philostratus has a story similar in its contents (Philostr., V. A., III, 48). An analysis of the Ctesian tale shows that it is composed of different details from three stories by Herodotus: the story on griffins (Herod., III, 116), the one on ants (Herod., III, 102—5), and the one on the cinam-bearing birds (Herod., III, 111). Nevertheless it can in no way be excluded that Ctesias actually used some oral stories which he had heard in Persia. Ctesias depicts the griffin itself, keeping in mind the two then-existing Greek versions of the griffin-image: the one by Aristeas and the other by Aeschylus. Besides these, Ctesias made use of the griffin-depictions which were known to him in the applied arts. But even here certain details recounted by Ctesias might go back to the Oriental tradition, the Bactrian one in particular. This conclusion is based on a number of facts, among which the following ones may be pointed out: 1) Bactrians in the time of Ctesias did know the griffin in general and also in the dog-like variant; 2) the dog-birds appear in the later Middle Asian folklore, as gem-guardians, in high mountains in particular; 3) the ancient Middle Asian arts knew the motif of gryphomachia, i. e. elephant-riders fighting griffins in the wall-paintings of Varaksha.

Ferghana as reported by antique authors by N. G. Gorbunova.

There is no direct data on Ferghana in reports by antique authors. They only had access to information on the territory of the Western Ferghana, where the army of Alexander the Great was halted.

The river of Syr Darya, flowing through Ferghana, is named Tanaid or Jaxartes by antique authors. The purpose of the present article is to examine the area of the river as it was known in antiquity. The antique authors indicate the course as of the upper river's flowing from South to North, and not East to West as in reality. A comparison of the Ptolemaic map to a present day geographical one enables us to identify the left tributaries of the Jaxartes, the Dimos and Baskatis, as the rivers of Aksu and Isfana; while the upper Jaxartes can be identified as that of Knodja-Baqirghan, which means that the antique authors thought the South-Western Ferghana pertained to Soghdia, while the rest of it was automatically attributed to the land of the Sakas.

The antique authors, judging from archaeological data, did not possess any real knowledge of the peasant population of Ferghana far to the East of the river of Khodja-Baqirghan. Although the «barbarians», mentioned by Arrian in the description of the march of Alexander the Great to the Jaxartes, could very well be the settled inhabitants of the region.

Genealogy of the first Arsacids (More about the Nisian ostrakon No. 1760) by G. A. Koshelenko.

The article contains an analysis of the data on the genealogy of the first Arsacids from the ostrakon No. 1760 of the Nisian Archive. On comparing these data with those from the written sources (Justin and Arrian), the author is able to modify the genealogy established by his predecessors. A comparison of the data from early Parthian history from works by Justin and Arrian enables the author to elucidate a number of trends which existed in the official ideology of Parthia and substantiated the right of decendants of Tiridades to the Parthian throne.

Bactrian House by G. A. Pugachenkova.

The archaeological excavations of a Greek-Bactrian house in Aï-Khanum (Northern Afganistan) and a num-

ber of Kushan-Bactrian houses in Dalverzin-Tepe, Khatin-Rabat, Airtam, Khalchayan (Southern Uzbekistan) enable us to form an identification of the architecture of the Bactrian urban dwelling. A definite regional architecture developed here. The house consists of the central main group (an iwan with columns, entrance hall, and reception hall), a perimeter inner corridor, sometimes divided into blocks, with living and store rooms situated around into perimeter. On two sides there is a court donner and courtyard. The Greek architectural influence is limited to such details as capitals with acanthi, antefix, and a laurel-leaf ornamental motif. But the general planning and space composition of the house has a purely local basis.

The typology of such houses greatly influenced other kinds of Bactrian architecture, i. e. palaces (Khalchayan, Saksanohur) and temples (Dilberjin, Surkh-Khotal). It determined to a certain extent, some compositional features of early medieval houses (Piandjikent).

On the Northern frontiers of the Kushan Bactria by B. Ya. Stavisky.

Ancient Bactria played an eminent role in the history of the Ancient World, and the history of the Kushan power, in particular. Thus the problem of definition of the Bactrian frontiers in the Kushan period is fairly important. The article is based on an analysis of written sources, archaeological monuments, epigraphic and numismatic data. They provide sufficient evidence to the thesis that the lands on the right bank of the Amu Darya were an unquestionable part of the Kushan Bactria in the time of the apogee of Kushan power.

Problems of the ethnic history of the ancient and early-medieval Ferghana by B. A. Litvinsky.

The present article treats the process of the formation of the ancient Ferghanan ethnos, based on the evidence of written, archaeological, linguistic and anthropological sources. The author considers the Ferghana ethnos as being Eastern Iranian in origin. The article also traces the initiate steps of turkization of the population of Ferghana. The author analyzes the sources, detecting in them information on Ferghana and the ancient Ferghanan nation. He also examines its correspondence to the Sakas, K'ang-chii, Hephthalites. The analysis goes up to the 6th-8th century.

Notes op the Mongolian signs and tamgas by E. A. Novgorodova and B. I. Wainberg.

The present article is based on the new materials from Mongolia, received as a result of the joint Soviet-Mongolian historico-cultural expedition.

The tamgas and signs of property already existed in Mongolia in ancient times; they still exist today. The authors attribute the following images on the stone monuments of the first millennium B. C. to the most ancient decorative signs and symbols on the Mongolian territory: various types of circles on the arrow headpart; signs and objects stamped on the lower part of the stones.

The authors suggest that the 'traditionality' of these drawings and signs, as well as a certain localisation of the signs, shows not only symbolic images but reflects the ethnic map of the country in the times of bronze and the early Iron Age.

The second part of the article contains a comparison of the Tsagangolian (South Western Mongolian group of tangas) with those from the Middle Asian (Khwarezm, Bokhara, Samarqand), the Sarmathian signs from the Northern Black Sea area. The Origin of the latter is connected with the Iranian nomads called «*yuechji* of the house of Chjaowu» in the Chinese chronicles. They inhabited the area from the South-West of Mongolia to the steppes of Eastern Europe including Middle Asia and the Northern Caspian Sea region.

The worldview of the Soghdians in the 7th-8th centuries in the arts of Pyandjikent by A. M. Belenitski and B. I. Marshak.

The present article contains an interpretation of the subjects for a significant part of the monumental painting discovered during many years of archaeological work at the site of Pyandjikent. The authors select a group of images with religious and lay subjects and attempt to interpret them. In addition they use a wide range of analogies from monuments in India, Afghanistan and other regions to trace the formation of the iconography of a number of ritual motifs in the paintings of Pyandjikent. A number of scenes are interpreted by the authors as illustrations to local cycles, others as connected to literary subjects, as for instance illustrations of Aesop's fables. The authors determined a definite system the placement of various subjects in the decor of the interior of the Soghdian house.

The chronology of the revolt of al-Muqanna by O. G. Bolshakov.

The present article compares the data on the course and duration of the revolt of al-Muqanna in works by different medieval authors. The article focuses on the analysis of the data preserved in the works by Narshakhi, Bal'ami, Ghardizi and Ibn al-Athir. The author comes to the conclusion that the revolt ran for a bit longer than four years, and the suicide of Muganna might be dated between April and August of 780 A. D. There are also a number of refinements in the interpretation of several events which took place during the revolt-time.

The Northern gates of Ancient Samarqand by G. V. Shishkina.

The article contains an analysis of the latest data procured as a result of the archaeological investigation of the site of Afrasiab. The study of the stratigraphy of the fortifications and of the topography of ancient roads allowed the author to determine the location of the gates of the ancient Samarqand, the existence of which was re-

ported by Arab authors. The article introduces a number of modifications in the periodisation of the history of the fortification system of the ancient Samarqand.

On the method of planning of Middle Asian Architects by A. M. Pribytkova.

The author treats the problem of the drawings used by Middle Asian architects in the process of carrying out projects.

Drawing-plans on a modular grid solved the problem of transferring the plan. The author attempts to prove the existence of drawings for the façades; that is why she examines the monuments themselves. Through an analysis of the work she establishes that the façades were drawn according to natural size on special squares, where all preliminary work was done.

New readings of the masters' names on vhe Shah-i Zindah mausolea by O. F. Akimushkin and A. A. Ivanov.

In 1970 V. A. Shishkin published the Corpus of inscriptions of the Shah-i Zindah in Samarqand. The authors attempt to improve the reading of masters' signatures on three mausolea. Three masters participated in the erection of the mausoleum of Shadi-Mulk-aka: Shams ad-Din, Birr ad-Din and Zayn ad-Din Shams-i Tabriz (*fakhkhār*). The so-called Ali Nasafi mausoleum was decorated by two masters: Alim Nasafi and Ali. The calligraphy signature on the 1405 mausoleum (the so-called Tuman-aka) should be read as following: «The script of the Shaykh» Muhammad ibn Haji Bandgir at-Tughra-i Tabrizi».

The decorative system of the interior of the Ghur-i Amir mausoleum in Samarqand by I. F. Borodina.

The interior of the Ghur-i Amir mausoleum is remarkable for its harmony of decor and architecture. The ornamental blue-go'd murals are of major importance in achieving the interior's artistic effect. The materials and techniques of gilding are specific and various: papier-maché reliefs, hollows in plaster, *ganch* mouldings glued with paper. Tinsel gold leaves were used as well as mineral colors.

The monument preserved the original decorative system of the early 15th century, although in the time of Ulugh-Bek there was partial renovation. Being limited to a slight touching up of separate pannels, it affected neither the composition as a whole nor the main designs.

The origin and meaning of the term miri in the monetary system of Middle Asia in the 15th — early 20th centuries by E. A Davidovich.

According to historical sources the term *miri* meant a coin or a counting unit equal to one quarter of a silver *tanga*, and less often a quarter of a golden *tilla*. Neither the origin of the term nor the coins themselves called the same name in the nineteenth century were known. The author established the term *miri* as having originated from the title of Timur, i.e. *amir*. In the times of Timur, quarter-like smaller silver coins were so named. A whole group of the mid-eighteenth century coins with a lower silver percentage was found, these were the coins called *miri* in the nineteenth — early twentieth centuries, and were valued a quarter of the high-carat silver *tanga* of Bokhara of the period.

To the Research of Architectural Monuments of Shahr-i Sabz by L. Yu. Mankovskaya.

The article deals with the history of an architectural complex situated in Shahr-i Sabz, as well as to the determination of the place of some Qashqa Darya monuments in the history of Middle Asian architecture. A number of examples using an universal spacial structure convenient to fulfil various functions is being treated.

The town of Tashkent selfgovernment in the 18th century by O. D. Chekhovich.

In the eighteenth century the town of Tashkent was considered «a free town», it was not dependent in its internal affairs or external relations on any despotic monarchy. The town only paid a definite tribute to the Kazakh or Kalmuk Khanats. The leadership of the town was in the hands of a group of rich and noble aristocrats (*khodjas*). The local khans were rather limited in their jurisdiction. By the end of the eighteenth century the town subordinated Kazakh nomads of the area and made them pay tribute in the form of cattle.

The article characterizes the political organisation of Tashkent in the period of «the Four *Khodjas*», i. e. of the feudal aristocratic republic. A thorough analysis of the extant written sources, the history of the problem and conclusions are also presented in the article.

Sketches of the History of Samarqand and Bokhara by O. A. Sukhareva.

The article deals with the problem of the feudal city and consists of two parts.

The first sketch treats of the history of formation and ethnic composition of the population of Samarqand. In the eighteenth century this town was in utter decay. The historians dealing with the written sources thought that Samarqand became depopulated in a short period of time. The author's main cource being the familytales and the names of the town-quarters (quzars), the town was proved to get not desolated; a part of the population remained there. Their decendents live there now composing the Tajik part of inhabitants of the town itself and its suburbs. After overcoming Samarqand's disaster, some groups from villages and other towns were transplanted there. The Uzbeks constituted their bulk. They partly adopted the Tajik language while in the family they still spoke their mothertongue.

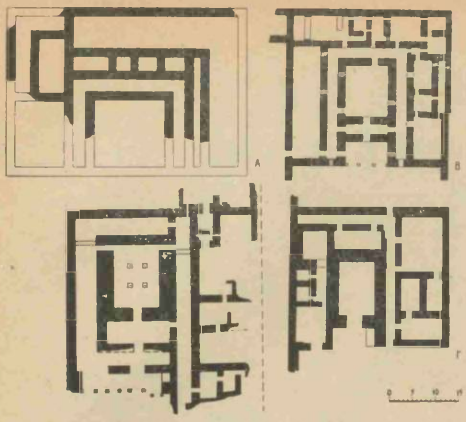
The second part is dedicated to the structure of feudal cities as an indication of the urban life develop-

ment. Up to now there were known two structural phases of the feudal town: the division into 2—4 big parts und many quarters-parishes. Basing her study on a recently published plan of Bokhara composed by an anonymous Bokharian in the mid-nineteenth century, the author discovers a third (interpace) structural phase: the division into 12 microdistricts: each of them being composed of several quarters. Among the dwellers themselves this division has gone into oblivion. The plan demonstrates that some century ago it was still in use. This phase of structure appeared in consequence of the urban life development but was not as enduring as the division into 2—4 big parts and many quarters which was in use the lifelong of the feudal city. The survivals could still be seen in the years before the world war.

New data on the metrology of Middle Asia by E. A. Davidovich, A. A. Yegani, O. D. Chekhovich.

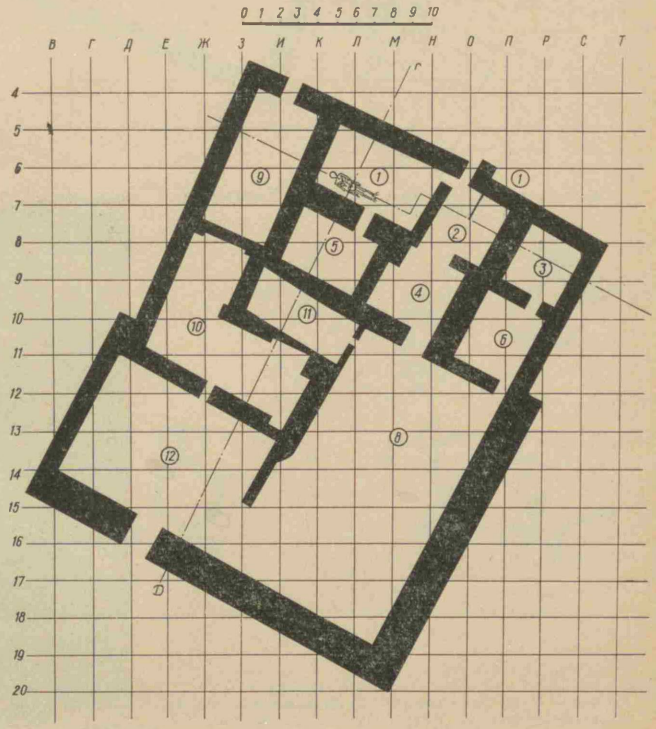
In this article some additional data to the book by W. Hinz and E. A. Davidovich on the metrology of Middle Asia are presented. The artic] shown that the *mann* of 25.6 *kg.* and the *shuturvar* (a camel-sack) of 256 *kg.* were in use in the sixteenth century. The problem of the *dehqen mann* as a measure of weight and area in Tashkent of the nineteenth century was also heated. Contradictory data from some written sources on measures of area is analyzed for the Ura-Tubah region at the turn of the century. A local *tanab* is proved to be equal to 3,600 square *ghazes*, and a *mann* of bogar lands to 8.20 local *tanabs*, while a *mann* of irrigated land equals 4.82 local *tanabs*.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



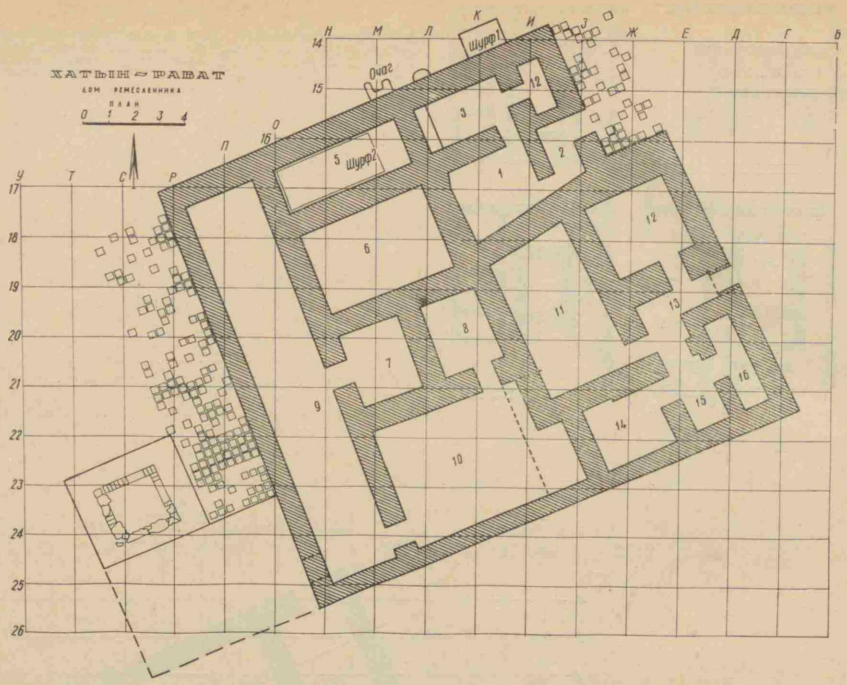
К статье Г. А. Пугаченковой. Рис. 1.

А — Айртам, дворец-форт (II в. до н. э.); Б — Ай-Ханум, жилой дом (II в. до н. э.); В — Дальверзин-тепе, жилой дом ДТ—6 (I—II вв.); Г — Дальверзин-тепе, жилой дом ДТ—5 (I—II вв.); планы В и Г — по данным незавершенных вскрытий 1973 г.

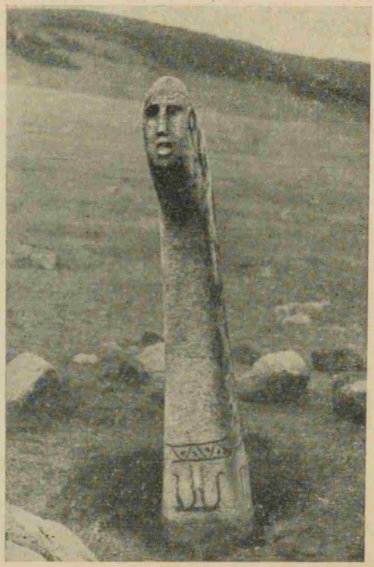


К статье Г. А. Пугаченковой.

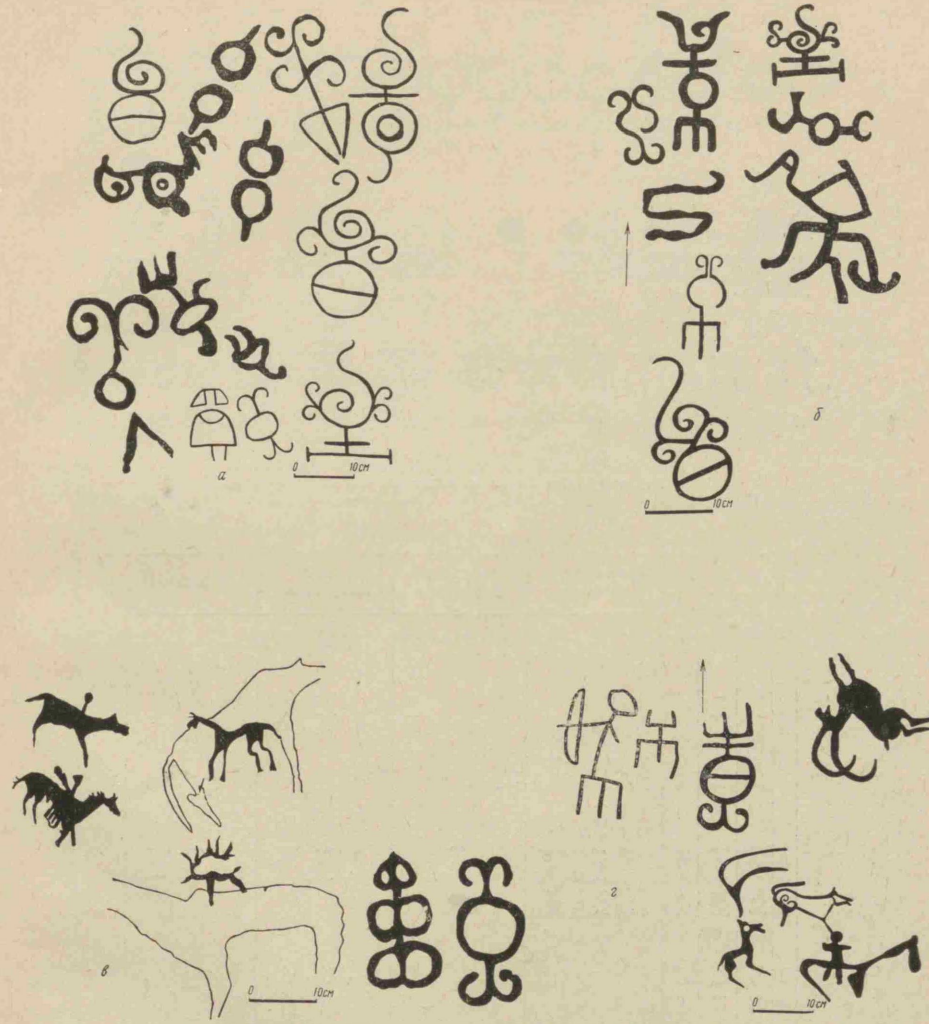
Рис. 2. Дальверзин-тепе, жилой дом ДТ — 2 (I—II вв.)



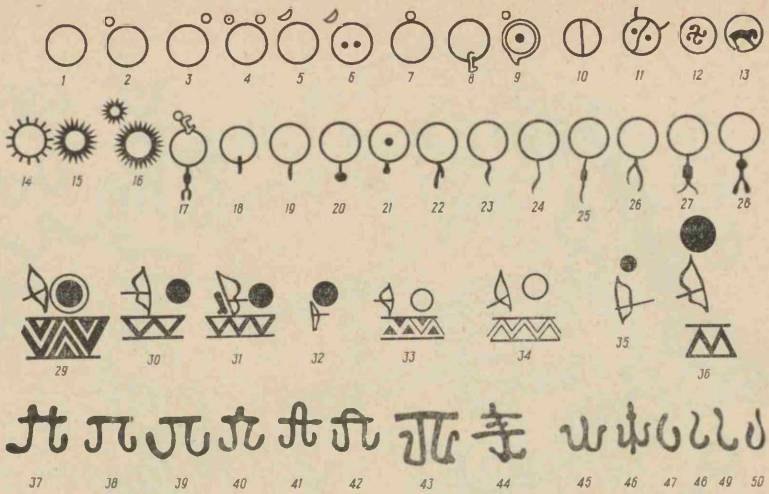
К статье Г. А. Пугаченковой. Рис. 3. Хатын-рабат, жилой дом (I—II вв.)



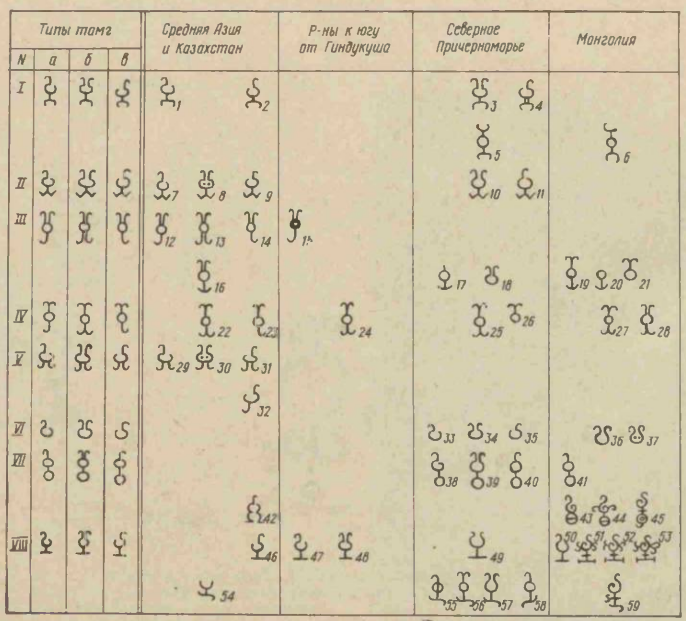
К статье Б. И. Вайнберг и Э. А. Новгородовой. Рис. 4. Оленный камень из Агрын-бригады (Хубсугульский аймак, Сев. Монголия)



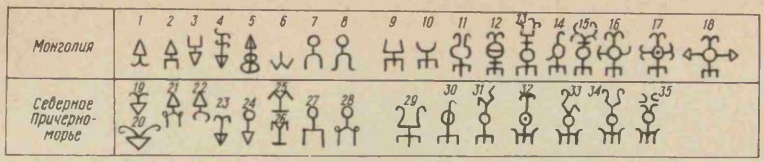
К статье Б. И. Вайнберг и Э. А. Новгородовой. Рис. 5.
(А, Б, В, Г). Изображения тамг на скалах Цаган-гола



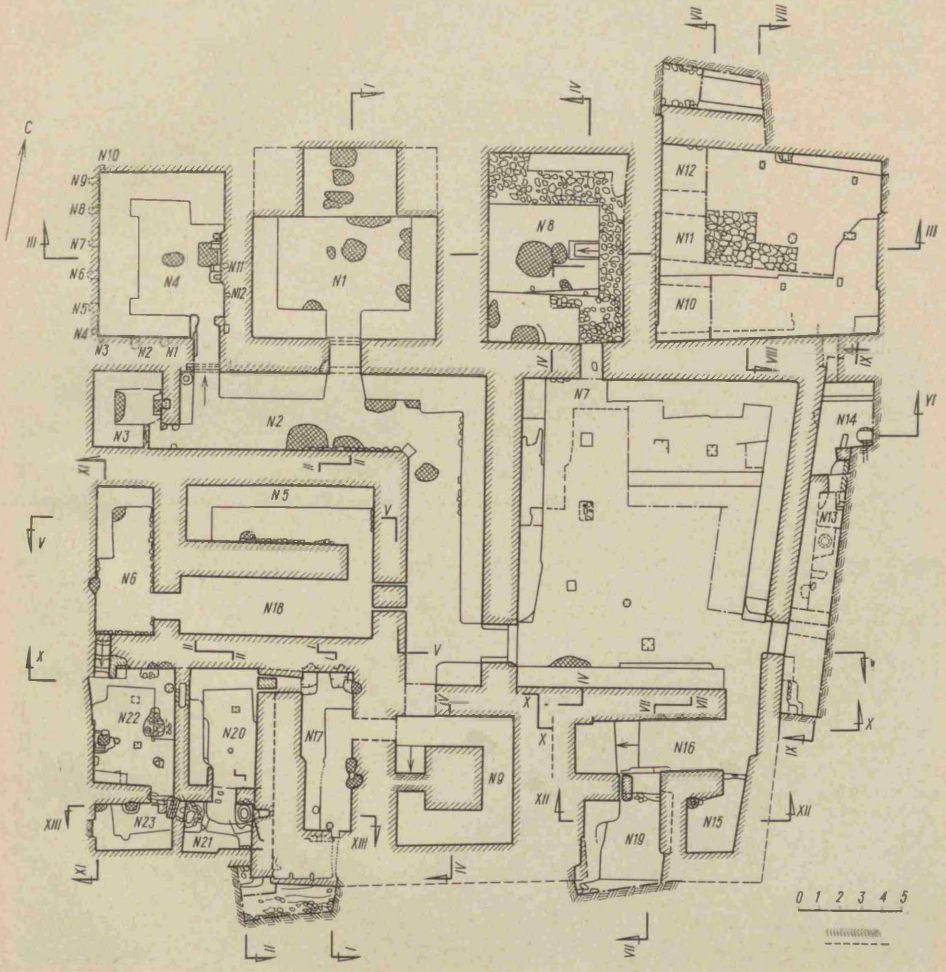
К статье Б. И. Вайнберг и Э. А. Новгородовой. Рис. 6.
Таблица I. Знаки на оленных камнях Монголии



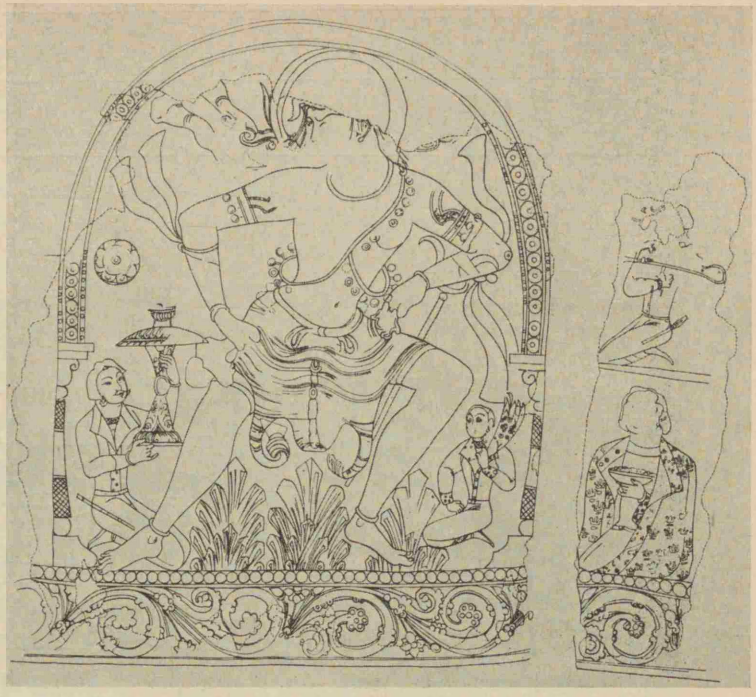
К статье Б. И. Вайнберг и Э. А. Новгородовой. Рис. 7. Таблица II



К статье Б. И. Вайнберг и Э. А. Новгородовой. Рис. 8. Таблица III



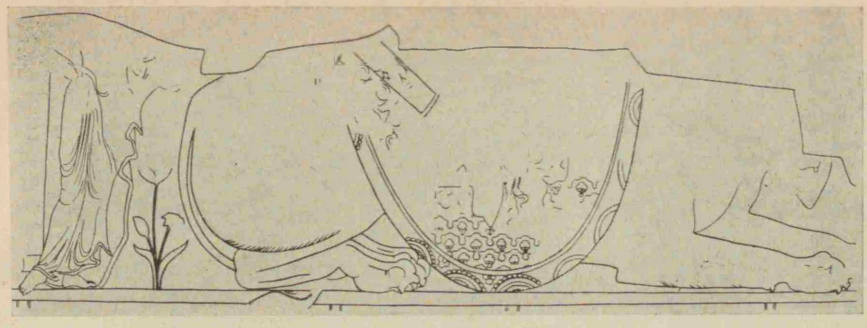
К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 9. План аристократического дома, объект XXI (помещения № 1, 2, 3, 4 с живописью; помещение № 1 — зал, помещение № 4 — «капелла»)



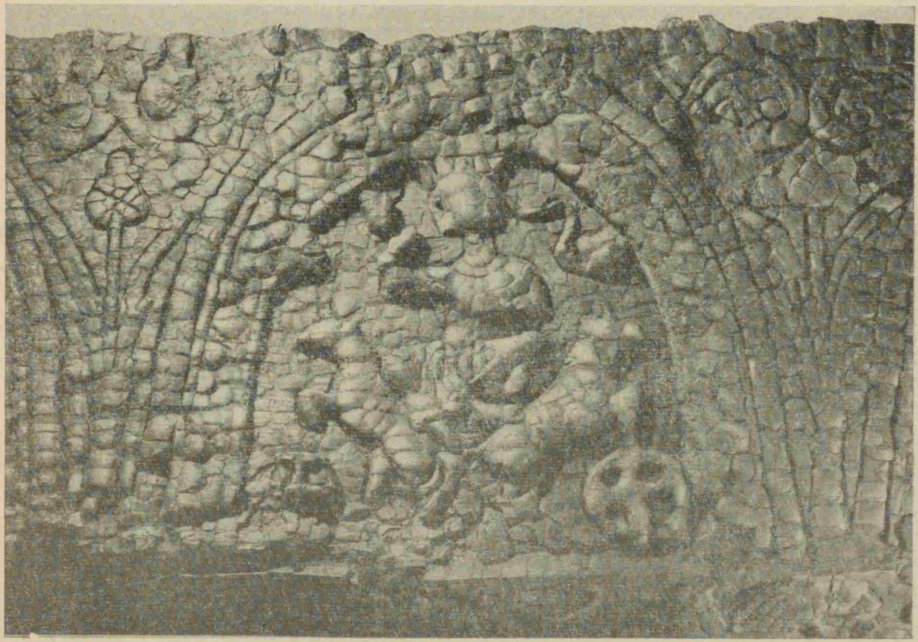
К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 10. Синетелое божество. Прорисовка П. И. Кострова



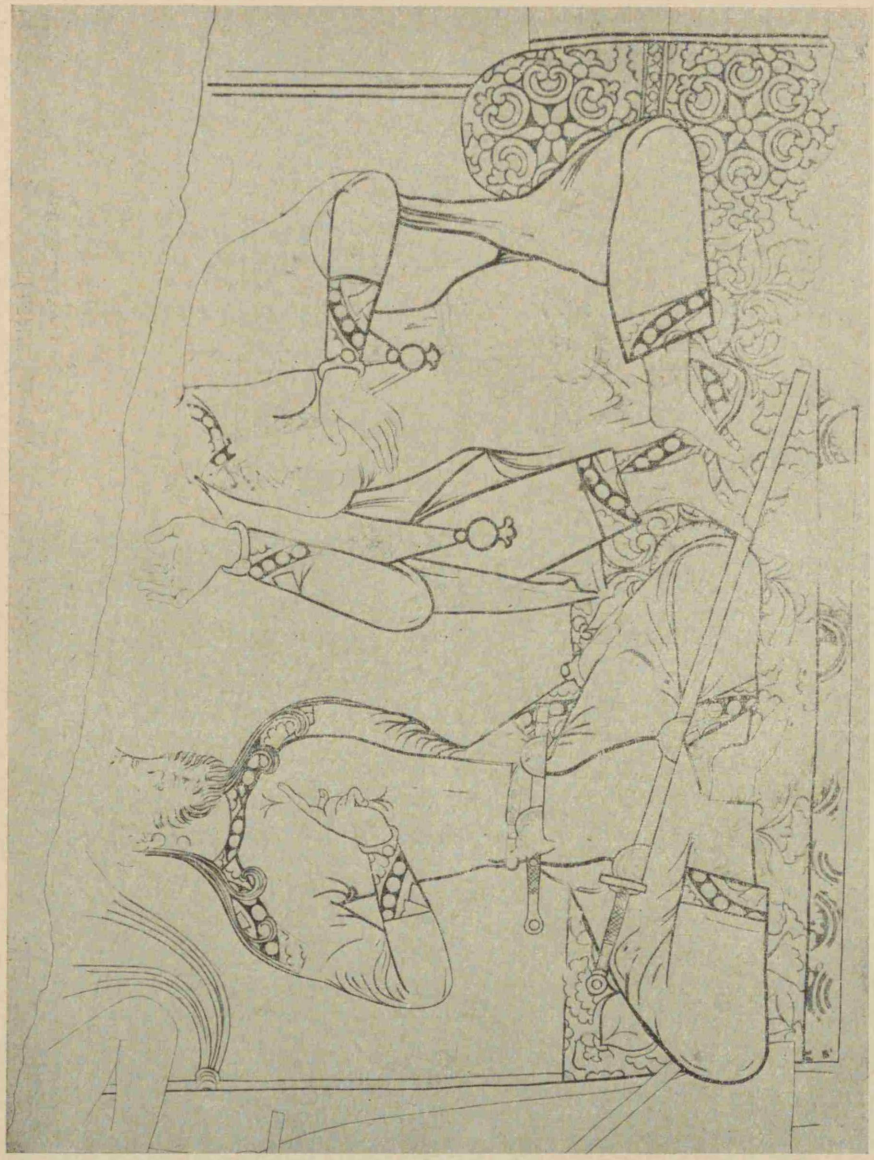
К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 11. Трехглавый бог. Прорисовка В. М. Соколовского



К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 12. Трон в виде льва. Прорисовка П. И. Кострова



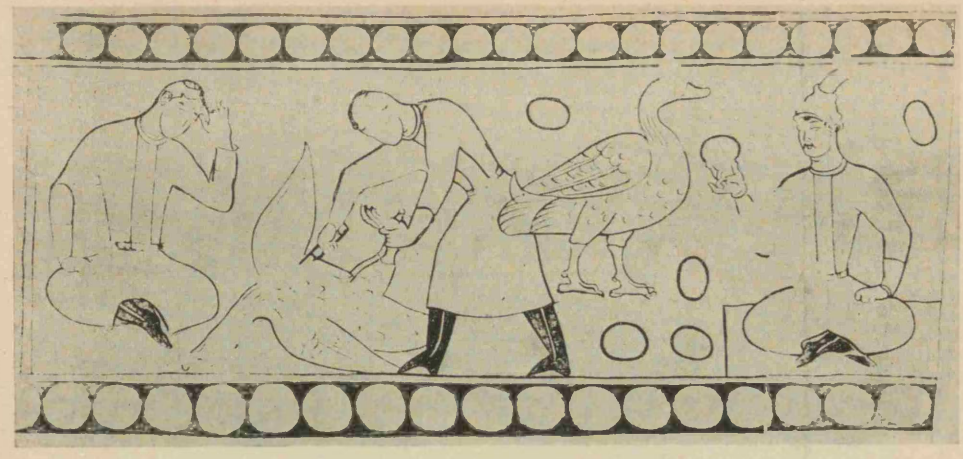
К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 13. Бог Солнца. Обугленное резное дерево



К статье А. М. Белецкого и Б. Н. Маршака. Рис. 14. Чета знатных согдийцев. Прорисовка П. И. Кострова



К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 15. Воин.
Прорисовка П. И. Кострова



К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 16. Басня о птице с золотыми яйцами. Прорисовка П. И. Кострова



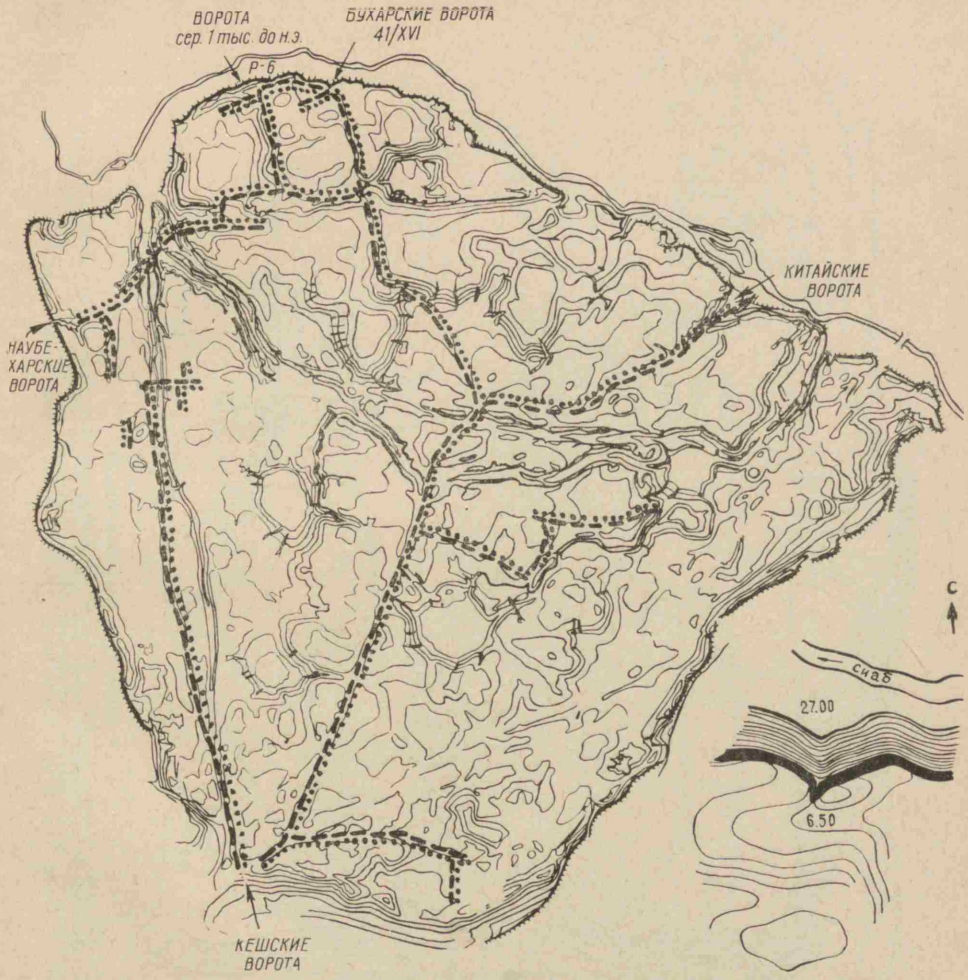
К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 17. Притча о льве и зайце. Эскизная прорисовка



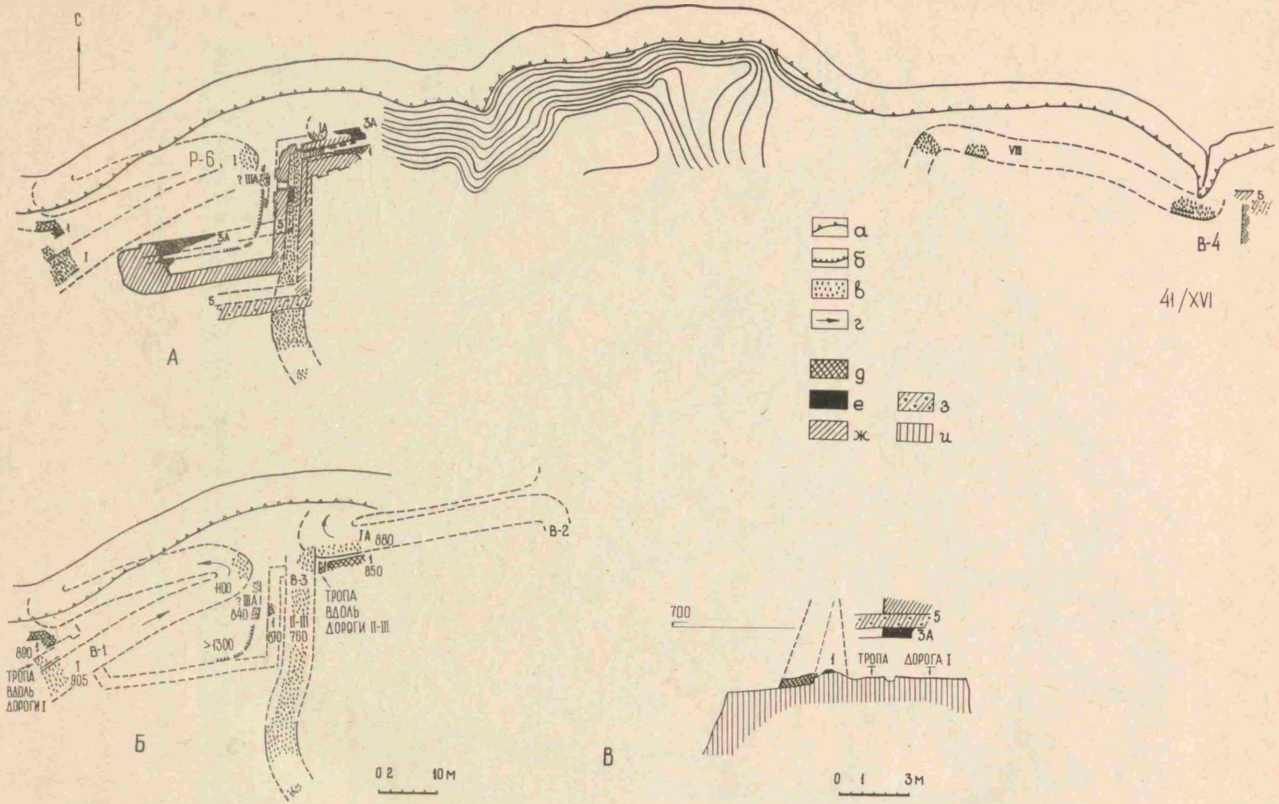
К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 18. Эпизоды эпоса. Прорисовка П. И. Кострова



К статье А. М. Беленицкого и Б. И. Маршака. Рис. 19. Спортивная борьба. Прорисовка П. И. Кострова

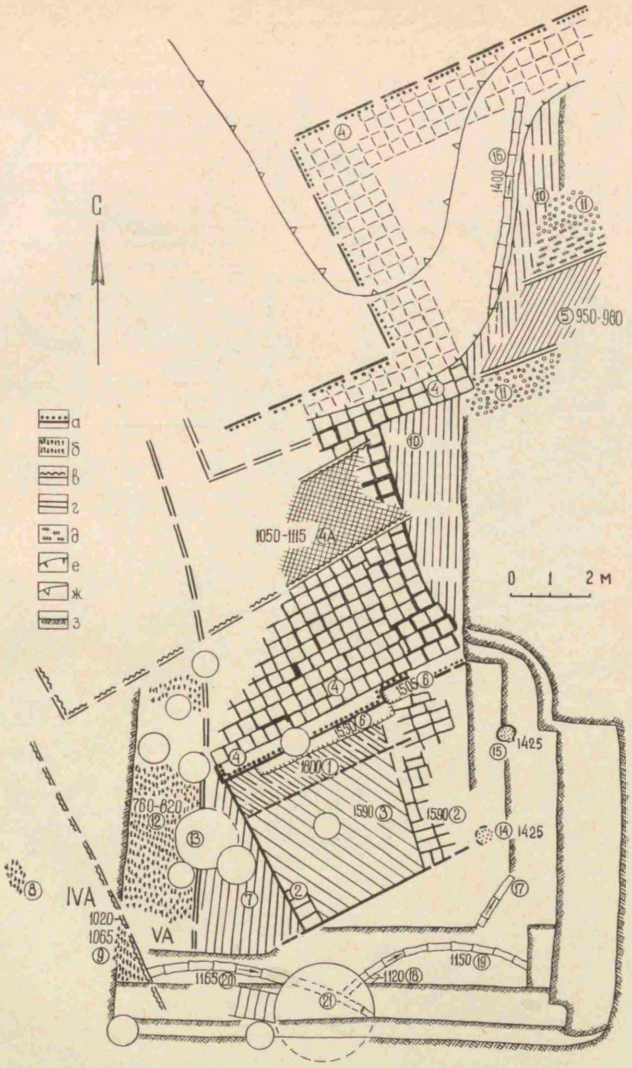


К статье Г. В. Шишкиной. Рис. 20. План городища Афрасиаб. Двойным пунктиром показаны средневековые дороги, выявленные археологическими работами. На врезке — участок 41/XVI до начала раскопок, по плану 1885 г.



К статье Г. В. Шишкиной. **Рис. 21.**

А — северный фас городища с раскопами 6 — на западе и 41/XVI — на востоке; Б — ранние крепостные сооружения на раскопе 6; В — стратиграфическая схема ранних стен на раскопе 6: *а* — современный обрыв; *б* — древние вертикальные срезы и обрывы; *в* — грунтовые дороги; *г* — направление уклона полотна дороги; *д* — стена 1; *е* — стена 3А; *ж* — стена 5; *з* — щебнево-галечное основание стены 5; *и* — материковый лесс. В—1, В—2, В—3, В—4 — место расположения ворот в хронологическом порядке. Трех- и четырехзначные цифры — высотные отметки уровней полотна дороги и основания стен

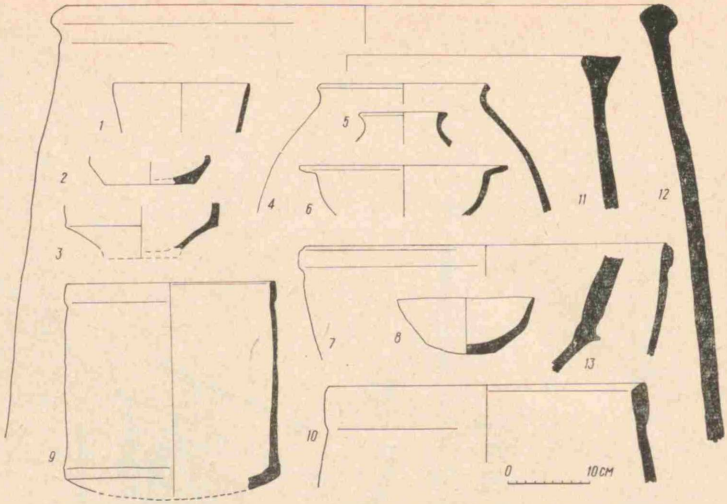


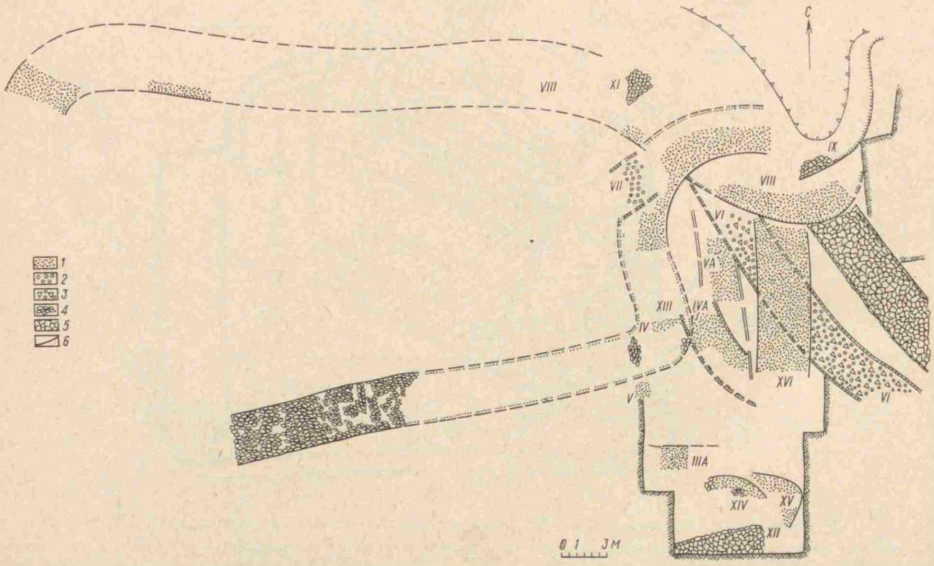
К статье Г. В. Шишкиной. Рис. 22. План сооружений нижних слоев раскопа 41/XVI.

1 — пахсовая стена середины I тысячелетия до н.э.; 2 — кладка из сырцового кирпича V(?) — IV вв. до н. э.; 3 — кладка из квадратного сырцового кирпича IV в. до н. э.; 4 — стена конца IV — начала III в. до н. э.; 4а — стена III в. до н. э.; 5 — внутренняя часть стены с коридором второй половины III—II вв. до н. э.; 6 — ступенчатая траншея в кладке стен 1 и 2 под основание стены 4; 7 — подтесанный останец лессового холма; 8—9 — дорога III в. до н. э.; 10 — насыпной лесс; 11 — галечно-пахсовое основание стены 5; 12 — дорога второй половины III—II вв. до н. э.; 13 — яма около рубежа н. э.; 14, 15 — остатки горнов IV—III вв. до н. э.; 16—20 — системы сточных кубуров; 21 — подземное помещение IX в. Кружками без цифр обозначены средневековые бадрабы и ташнау. Трех- и четырехзначные цифры указывают глубину от реперной точки; *а* — край стены 4; *б* — грунтовое полотно дороги; *в* — край дороги и стены III в. до н. э.; *г* — край дороги и стены второй половины III—II вв. до н. э.; *д* — тлен от досок пола в коридоре стены 5; *е* — срез серпантином IX—X вв.; *ж* — современный обрыв; *з* — край раскопа на разных уровнях.

К статье Г. В. Шишкиной. Рис. 23. Керамика из нижних слоев раскопа 41/XVI.

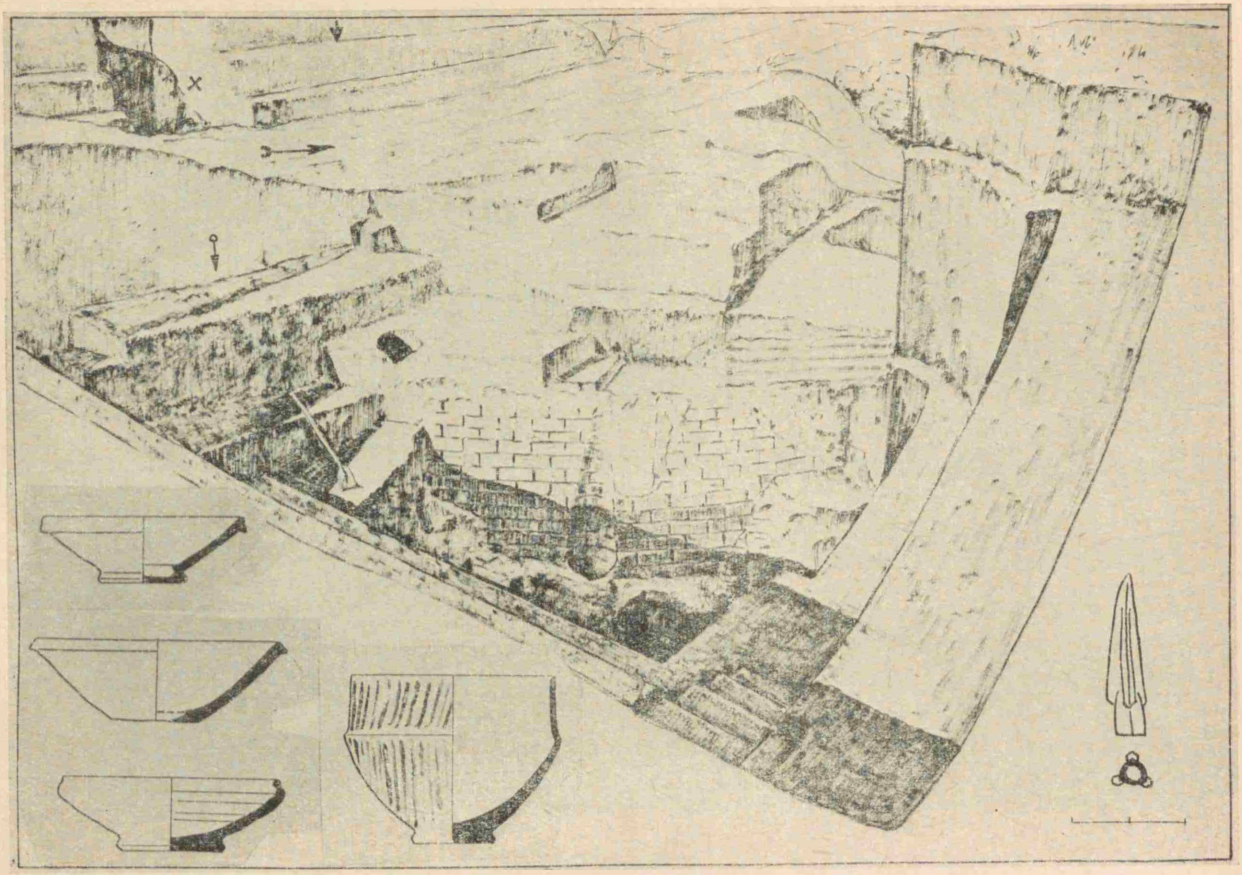
1—6, 11 — из забутовки городской стены 3; 7—10, 12, 13 — под насыпным лессом над системой кубуров 16 (см. рис. 22)





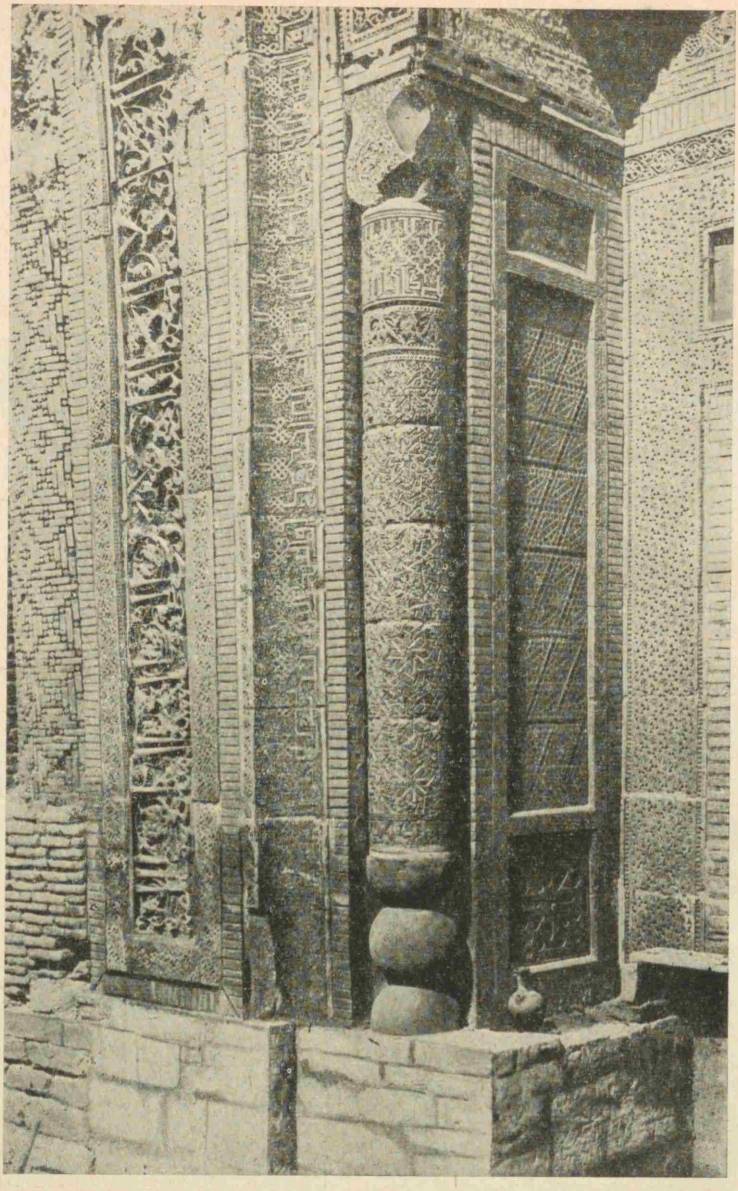
К статье Г. В. Шишкиной. Рис. 24. План дорог раскопа 41/XVI в месте расположения городских ворот

1 — полотно грунтовой дороги; 2 — полотно дороги, устланной гравием; 3 — полотно дороги, устланной гравием и битой керамикой; 4 — полотно дороги, мощенной крупной галькой; 5 — полотно дороги, мощенной рваным сланцем; 6 — обрыв по краю дороги; IIIA — дорога V(?) — IV вв. до н. э.; IV—IVA — дороги конца IV—III вв. до н. э.; V—VA — дороги III—II вв. до н. э.; VI, VII — дороги IV — первой половины V вв. н. э.; VIII — дорога VI—VII вв. (?); IX, X, XI, XII — дороги IX—X вв.; XIII—XVI — дороги XI — начала XIII вв.

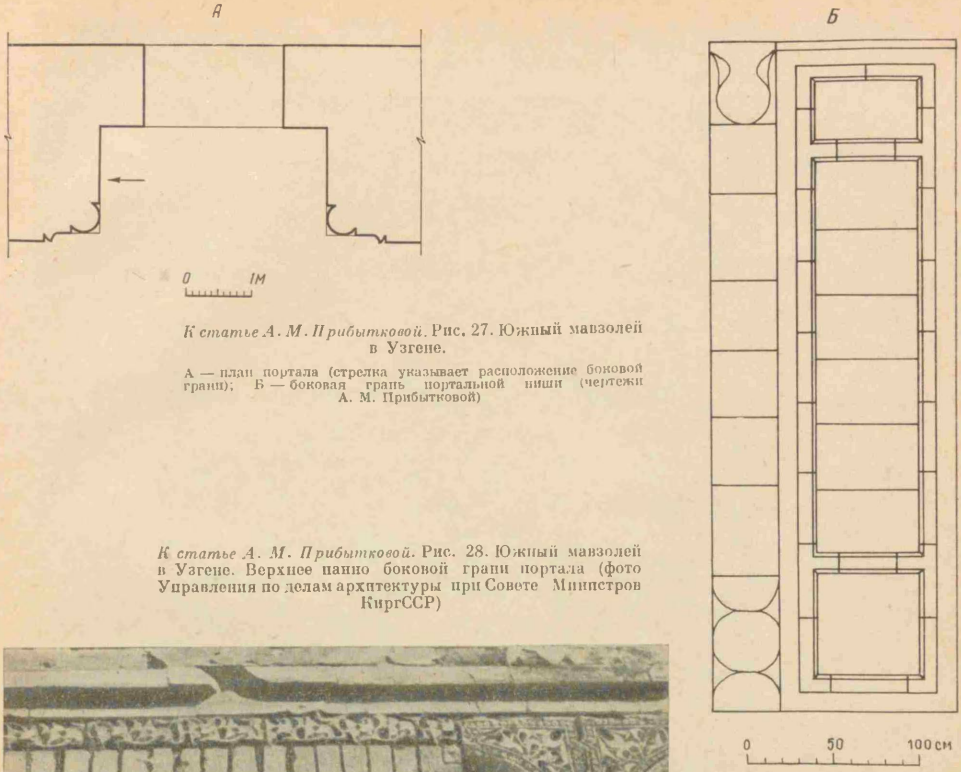


К статье Г. В. Шишкиной. Рис. 25. Общий вид раскопа 41/XVI (рис. А. Исламова)

↓ — уровень дороги V; ↓ — уровень дороги VII; |→ — полотно дороги XVI; × — топочная камера кирпичеобжигательной печи XI в. Керамика из слоев, перекрывающих дороги IV—IVA. Бронзовый наконечник стрелы из слоя над стеной 4



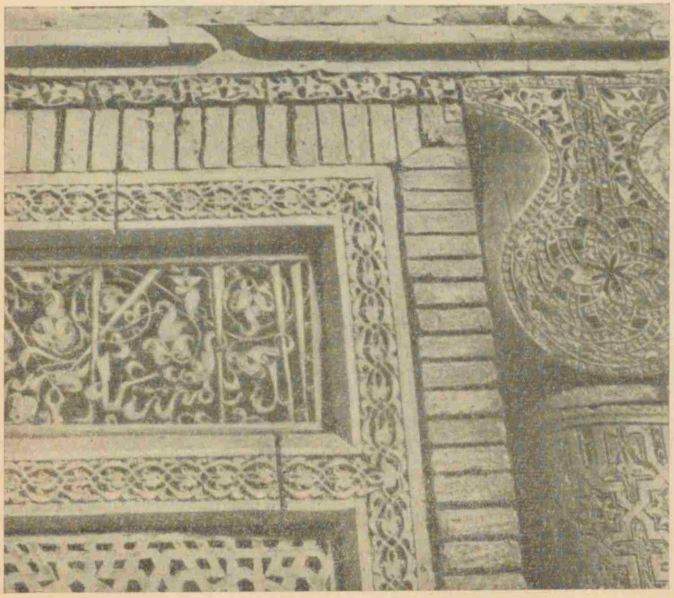
К статье А. М. Прибытковой. Рис. 26. Южный мавзолей в Узгене. Портал (фото Государственного Научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева)

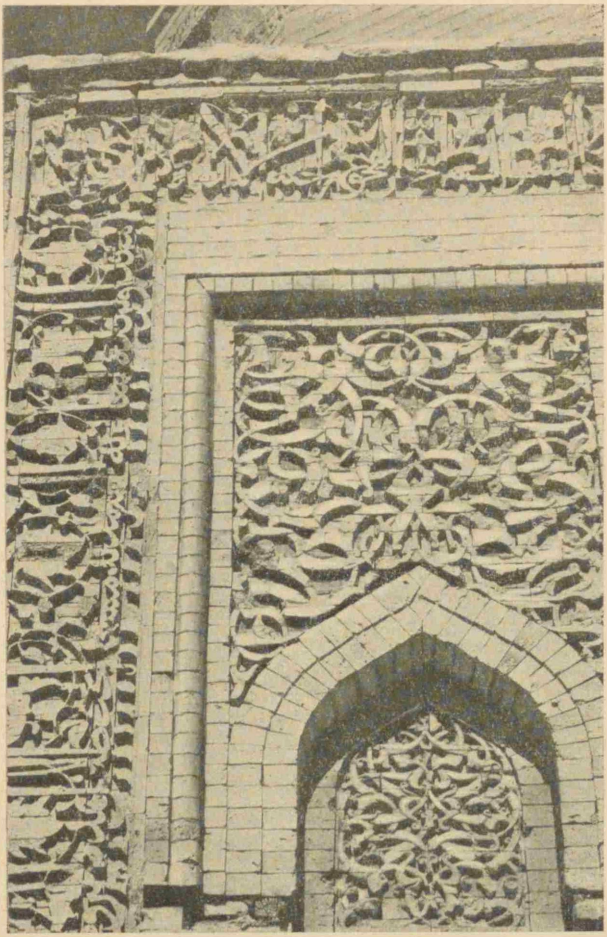


К статье А. М. Прибытковой. Рис. 27. Южный мавзолей в Узгене.

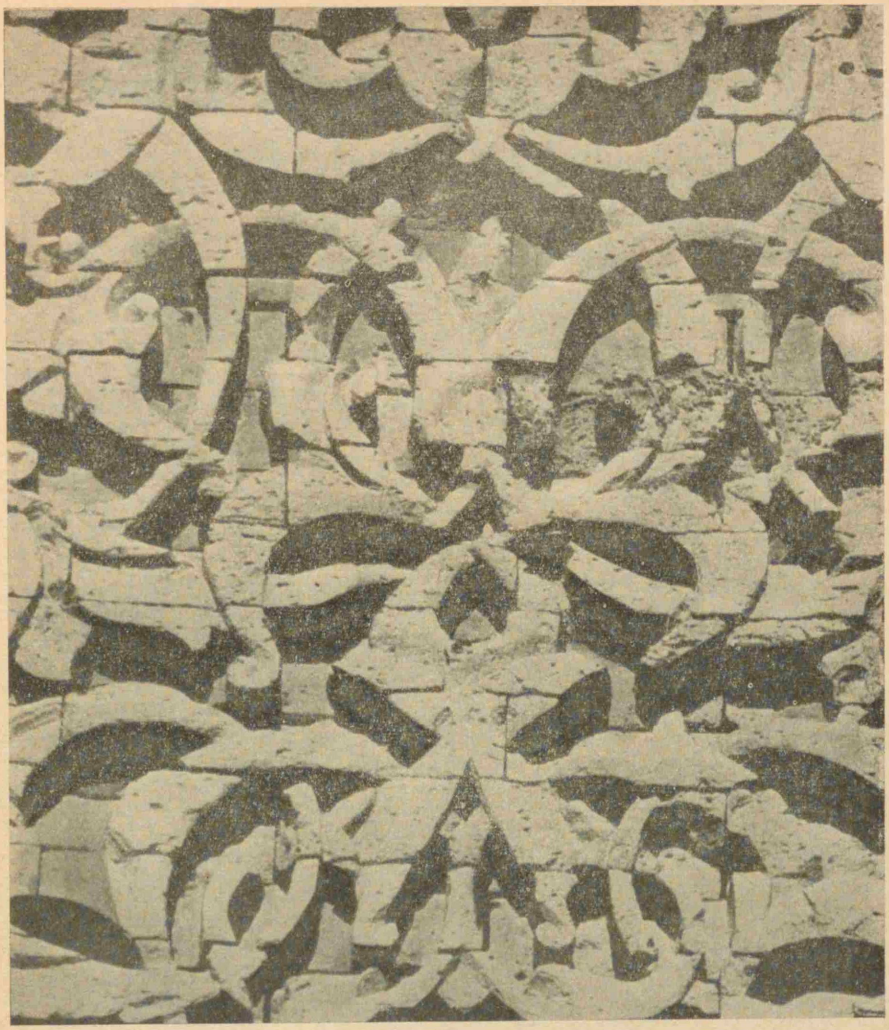
А — план портала (стрелка указывает расположение боковой грани); Б — боковая грань портальной ниши (чертежи А. М. Прибытковой)

К статье А. М. Прибытковой. Рис. 28. Южный мавзолей в Узгене. Верхнее панно боковой грани портала (фото Управления по делам архитектуры при Совете Министров КиргССР)





К статье А. М. Прибытковой. Рис. 29. Мавзолей Фахр ад-Дин Рази в Ургенче. Фрагмент фасада (фото Д. С. Смирнова)



К статье А. М. Прибытковой. Рис. 30. Мавзолей Фахр ад-Дин Рази в Ургенче. Резная терракота (фото Д. С. Смирнова)



К статье О. Ф. Акимушкина и А. А. Иванова. Рис. 31. Подпись на полуколонке портала мавзолея Шади-мульк



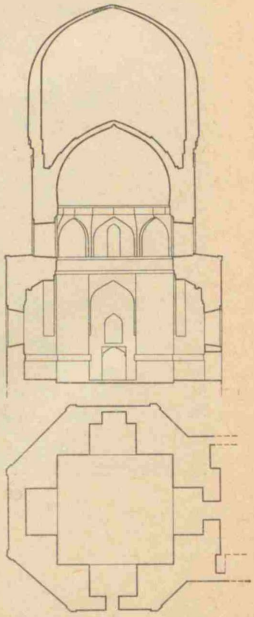
К статье О. Ф. Акимушкина и А. А. Иванова. Рис. 32. Подпись на правой колонке безымянного мавзолея (так называемого «Али Несефи»)



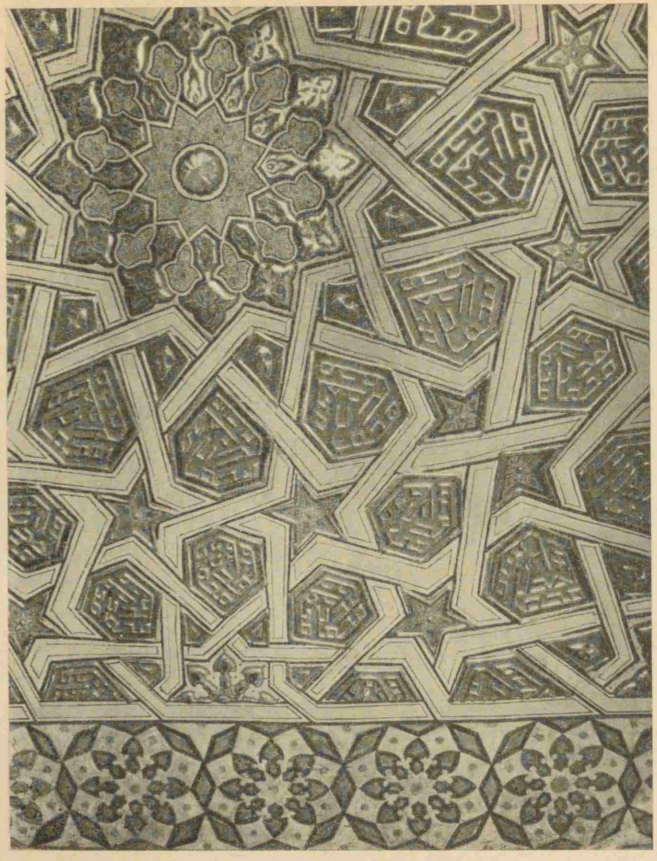
К статье О. Ф. Акимушкина и А. А. Иванова. Рис. 33. Подпись на левой колонке безымянного мавзолея (так называемого «Али Несефи»)



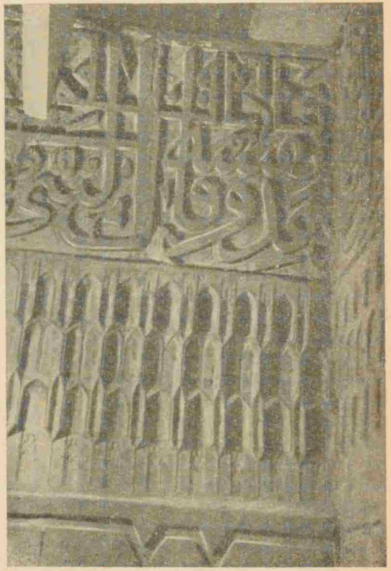
К статье О. Ф. Акимушкина и А. А. Иванова. Рис. 34. Подпись на левой стороне портала мавзолея 808/1405—06 г.



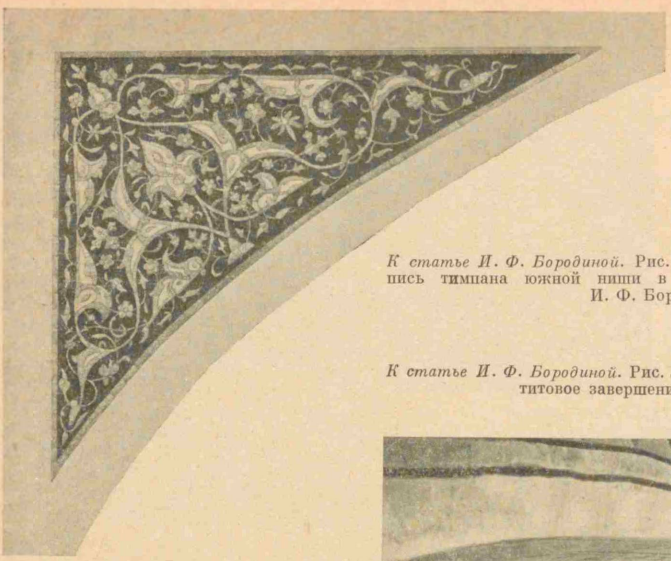
К статье И. Ф. Бородиной. Рис. 35. Мавзолей Гури-Эмир. Разрез, план



К статье И. Ф. Бородиной. Рис. 37. Мавзолей Гури-Эмир. Стены; панно с гирихами (вид во время реставрации)

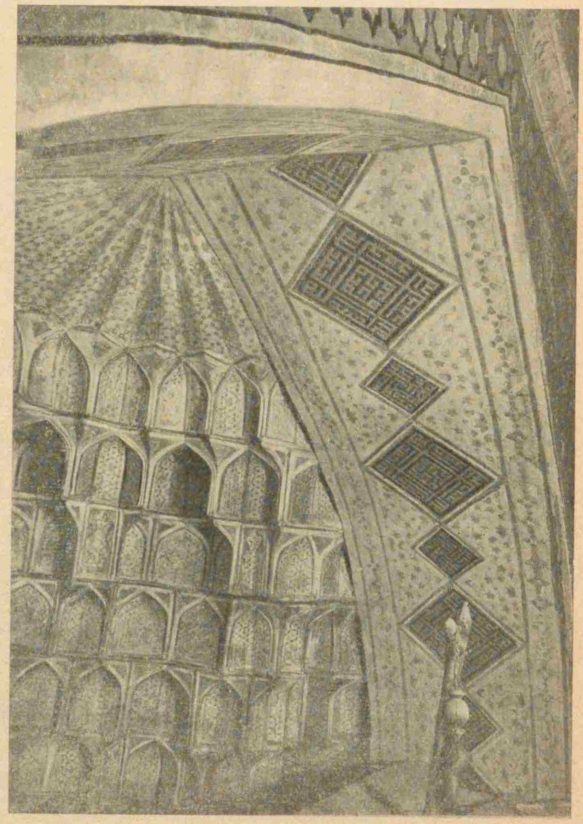


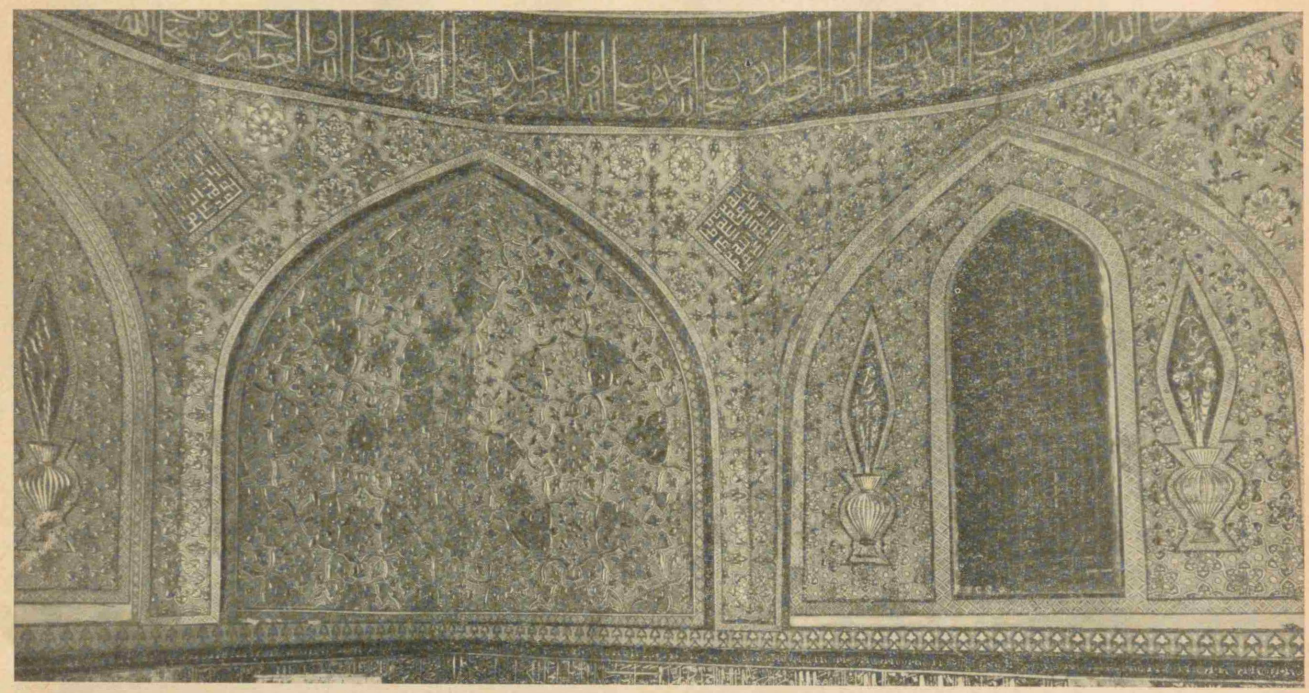
К статье И. Ф. Бородиной. Рис. 36. Мавзолей Гури-Эмир. Мраморный сталактитовый карниз и надпись



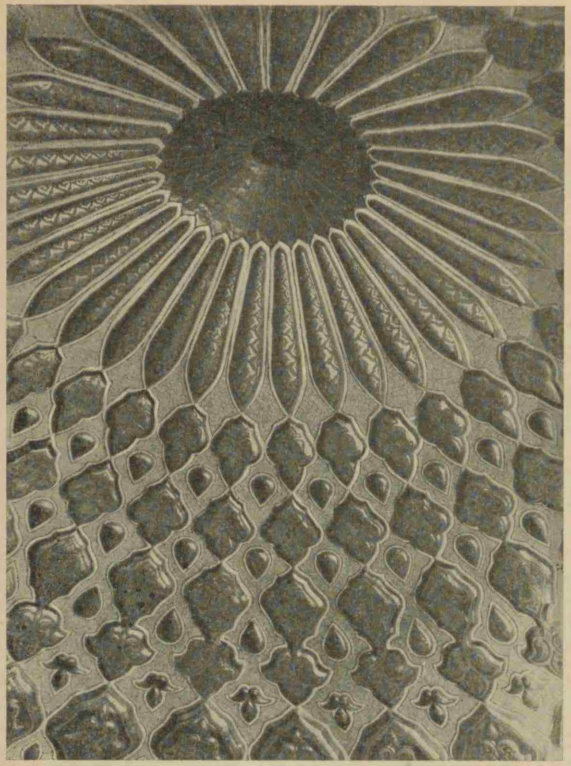
К статье И. Ф. Бородиной. Рис. 39. Мавзолей Гури-Эмир. Роспись тимпана южной ниши в южной стене (реконструкция И. Ф. Бородиной)

К статье И. Ф. Бородиной. Рис. 38. Мавзолей Гури-Эмир. Сталактитовое завершение ниш в стенах

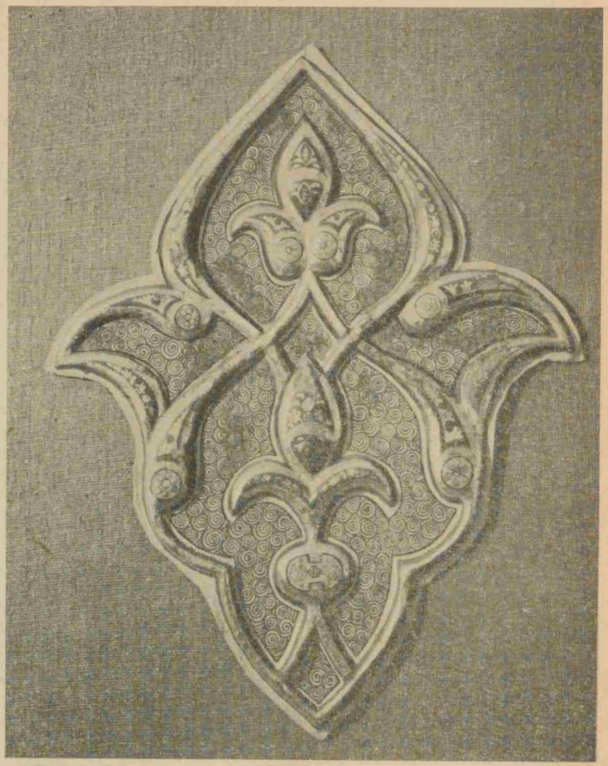




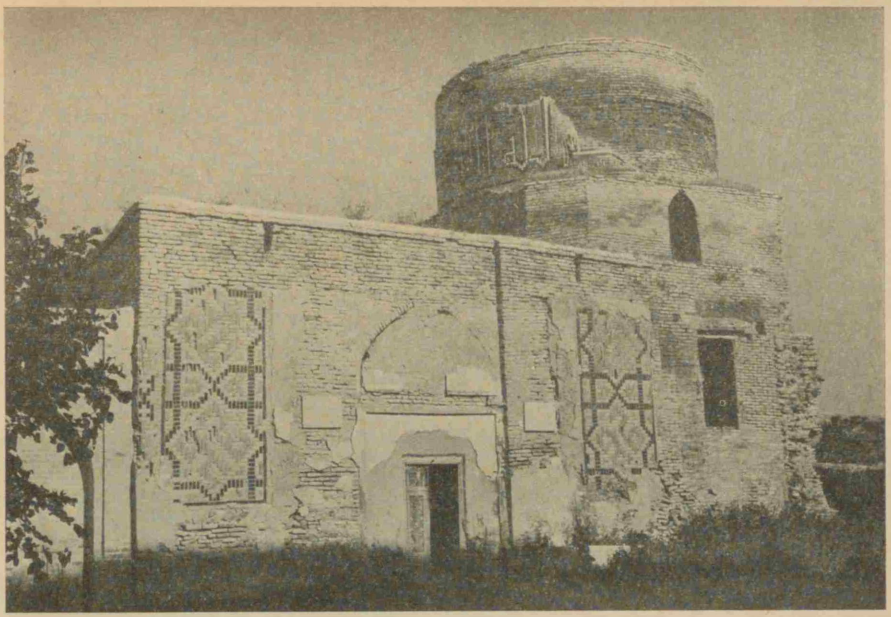
К статье И. Ф. Бородиной. Рис. 40. Мавзолей Гури-Эмир. Декор тромпового яруса (реставрация)



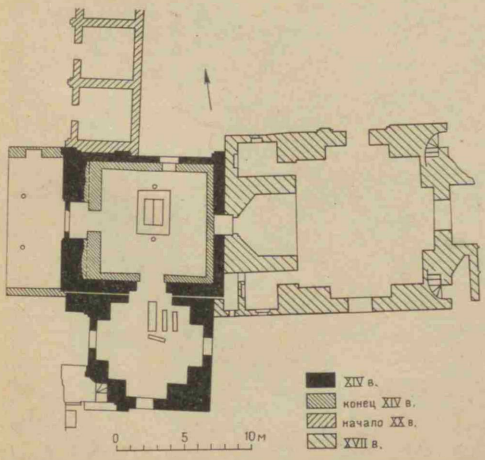
К статье И. Ф. Бородиной. Рис. 41. Мавзолей Гури-Эмир. Купол. Декор верхней части (реставрация)



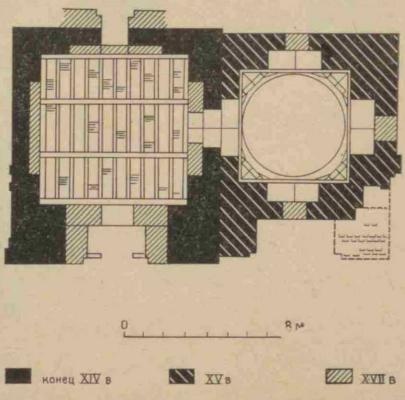
К статье И. Ф. Бородиной. Рис. 42. Мавзолей Гури-Эмир. Медальон папье-маше из декора купола (реставрация)



К статье Л. Ю. Маньковской. Рис. 43. Мавзолей Шамседдина Куляля и *макбарат* потомков Улугбека. Вид с северо-запада (фото Е. Н. Юдицкого)



К статье Л. Ю. Маньковской. Рис. 44. Мавзолей Шамседдина Куляля и *макбарат* потомков Улугбека. Схема развития комплекса по А. Н. Виноградову

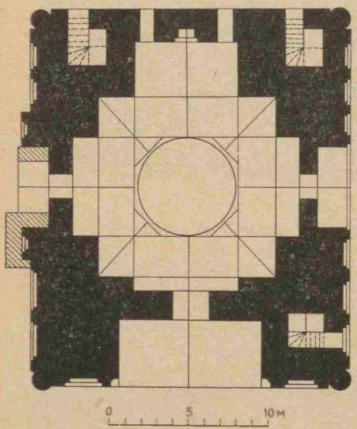


К статье Л. Ю. Маньковской. Рис. 45. План комплекса с обозначением наслоений

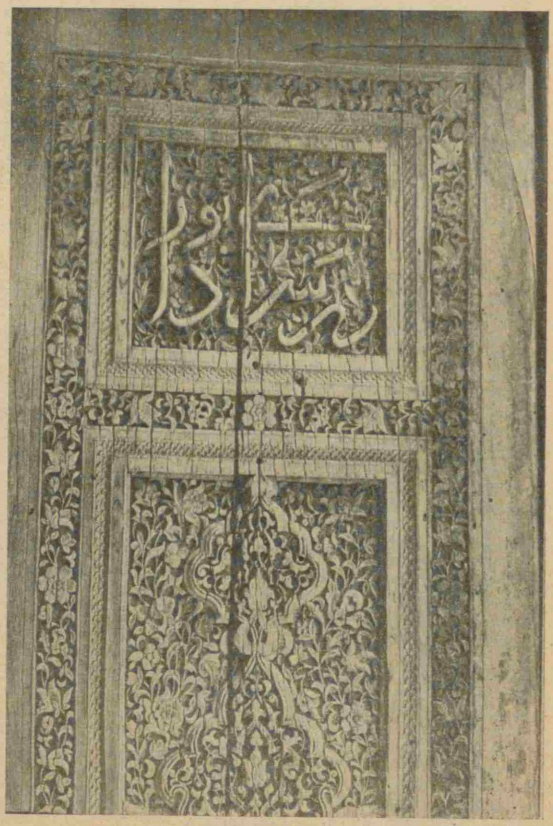


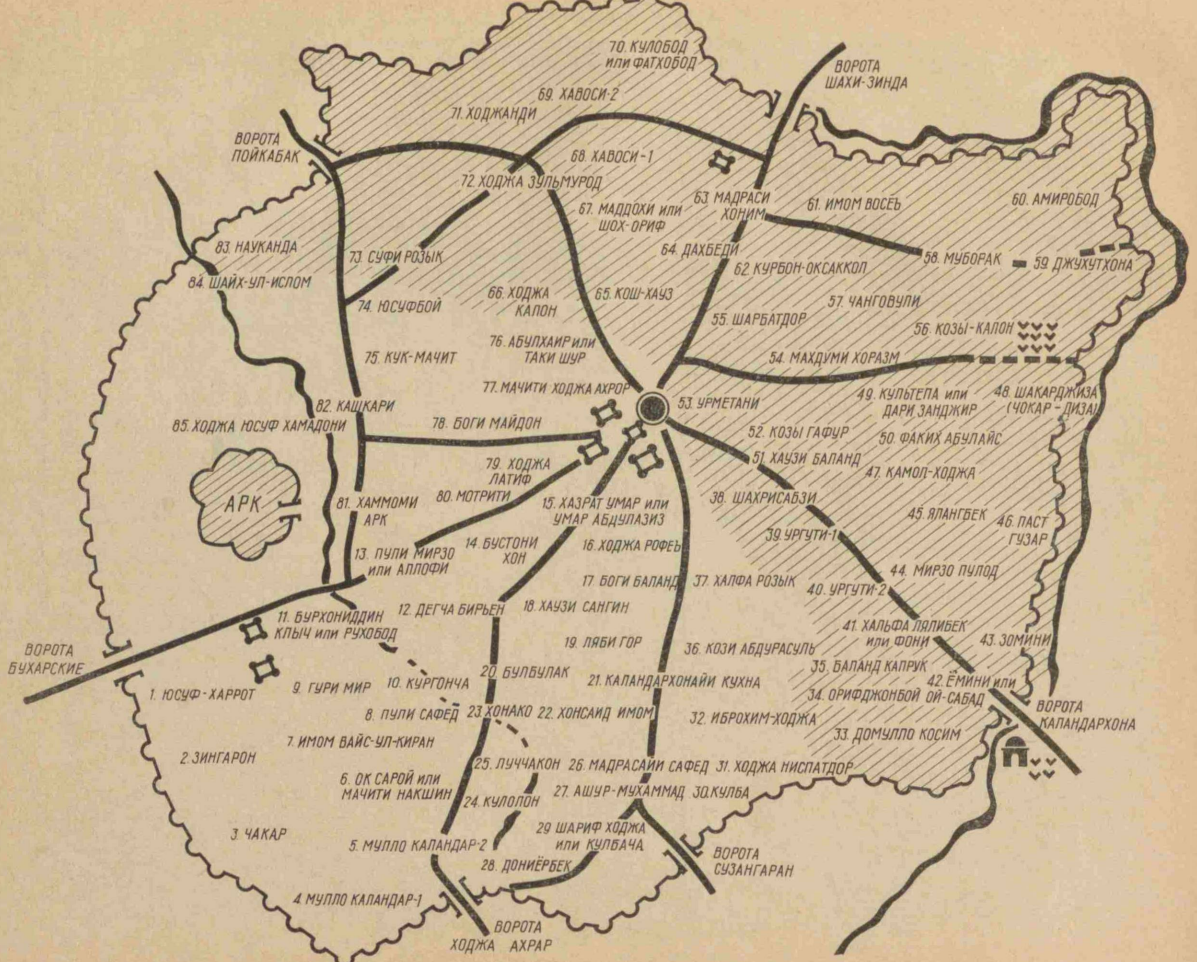
К статье Л. Ю. Маньковской. Рис. 47. Разрезные швы кладки в проеме между мавзолеями Шамседдина Куляла и *мақбаратом* потомков Улугбека. Вид со стороны *мақбарата*

К статье Л. Ю. Маньковской. Рис. 46. Резная деревянная дверь мавзолея Куляля (фото Е. Н. Юдицкого)



К статье Л. Ю. Маньковской. Рис. 48. Ханака Ходжа Илпм-хан (план)

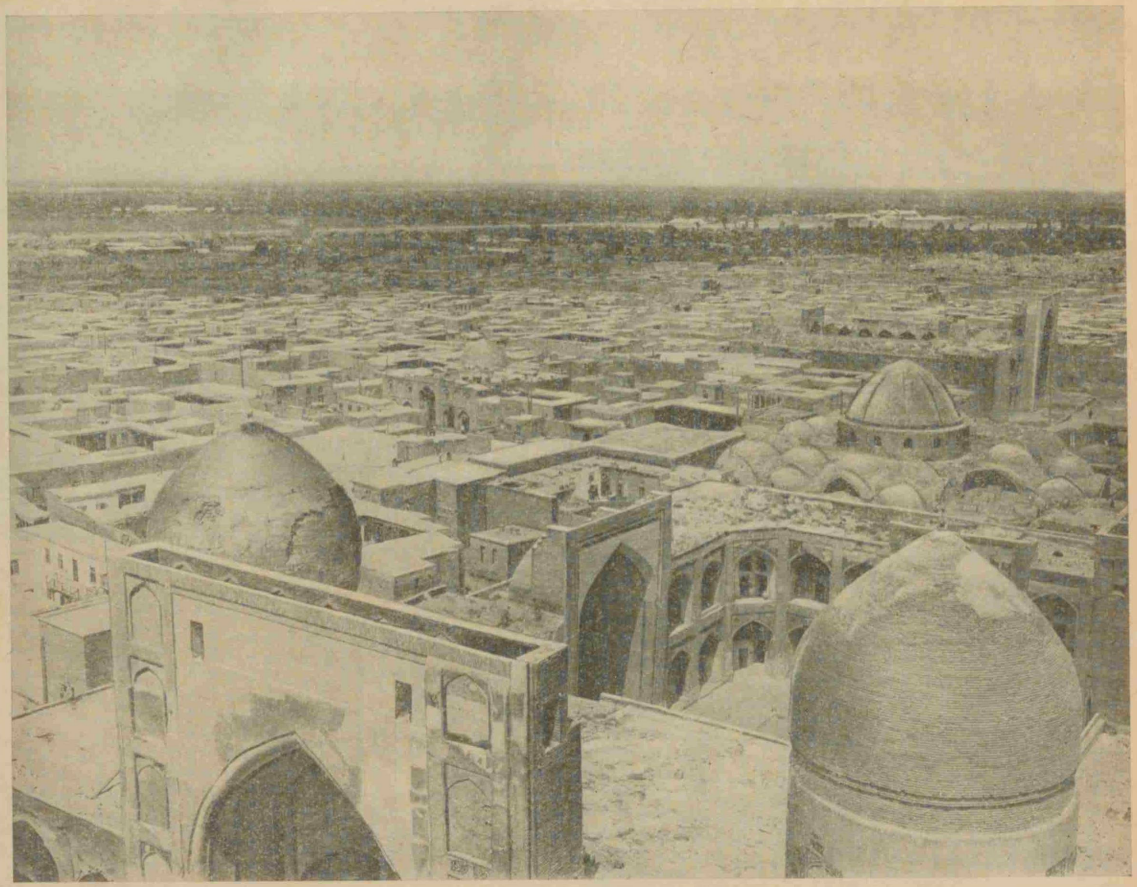




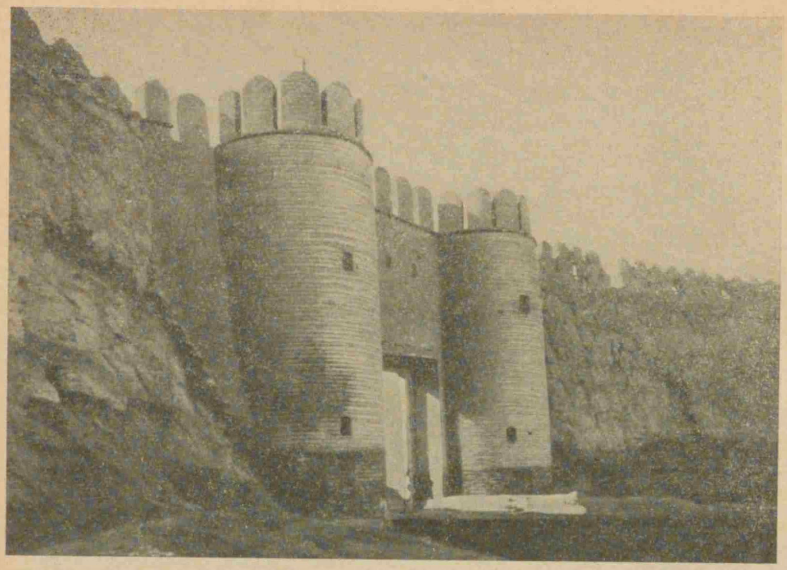
К статье О. А. Сухаревой. Рис. 49. План Самарканда с указанием кварталов и частей города, запустевавших в XVIII в.



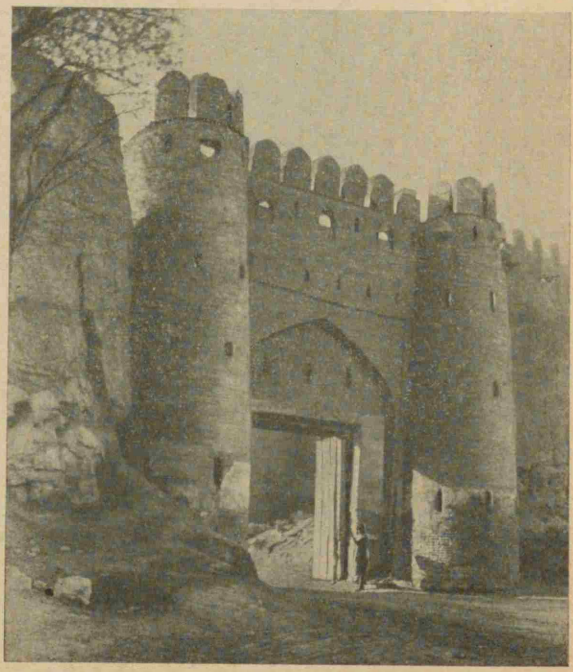
К статье О. А. Сухаревой. Рис. 50. План Бухары (составлен на основе планов 1911 и 1923 гг.); стрелками показано размещение кварталов на плане из архива П. И. Лерха



К статье О. А. Сухаревой. Рис. 51. Бухара. Центральная часть (фото)



К статье О. А. Сухаревой. Рис. 52. Городские ворота Дарвозайи Мазор (фото)



К статье О. А. Сухаревой. Рис. 53. Городские ворота Дарвозайи Самарканд (фото)

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ
(древность и средние века)

Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР

*

Редактор *Н. Б. Кондырева*
Младшие редакторы *Н. Х. Винокурова, Р. Г. Канторович*
Художник *А. Г. Кобрин*
Художественный редактор *И. Р. Бескин*
Технический редактор *С. В. Цветкова*
Корректоры *Л. И. Романова* и *О. Л. Щигорева*

Сдано в набор 26/VI 1975 г.
Подписано к печати 3/VIII 1976 г.
А-06672. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. № 1
Печ. л. 13 + 0,25 п. л. вкл. Усл. п. л. 22,26. Уч.-изд. л. 24,21
Тираж 6200 экз. Изд. № 3313
Заказ № 2664. Цена 1 р. 96 к.

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва К-45, ул. Жданова, 12/1

2-я типография издательства «Наука»
Москва, Шубинский пер., 10